

The background of the cover is an impressionistic painting. The upper portion is dominated by a vibrant blue sky, rendered with thick, expressive brushstrokes. Numerous dark silhouettes of birds are scattered across the sky, some in flight. Below the sky, the foreground is a field of golden-yellow and orange tones, also created with heavy, textured brushwork, suggesting tall grass or a field of grain. The overall style is reminiscent of the Impressionist movement, with a focus on light and color over fine detail.

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ

САБУРОВСКОЕ ПОЛЕ

ПОВЕСТИ

РЕАЛЬНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

И. Золотарева

ЛЕОНАРД ЗОЛОТАРЕВ

«САБУРОВСКОЕ ПОЛЕ»

повести

РЕАЛЬНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ

Литературно-критические статьи

Игоря Золотарева

Орел – 2008

УДК 82.091-4
+ 82.091
ББК 84 (2р) 6
3 80

Золотарев Л.М. Сабуровское поле (повести) /Л.М.Золотарев.

Золотарев И.Л. О реальном и невероятном (вместо послесловия). – Орел:
издатель Воробьев А.В., 2008. – 440 с.

В сборник большого русского писателя Леонарда Михайловича Золотарева, известного не только своей прозой, но и поэзией, драматургией, публицистикой, вошли современные повести на различные темы, объединенные стремлением автора к романтизации, обновлению реализма, приданию ему уже в конце прошлого века эстетических, жанровых, стилевых особенностей наступившего XXI века. Вселенское, божественно-нравственное начало особенно заметно в таких произведениях, как «Не рыдай меня, мати» (повесть-притча), «Коренная пустынь» (повесть-притча), вместо нее тут повесть «36 писем женщины», а также повесть «Седмица» (реальное в мистическом освещении). Несколько особняком стоит повесть «Дан приказ, или Сабуровское поле» на военно-патриотическую тему, взятая из будущего романа задуманной Леонардом Золотаревым супер-эпопеи в прозе «Степь широкая».

Статьи Золотарева И.Л. помогают автору как в прозе, так и в поэзии, драматургии формировать научное мировоззрение, новую эстетику XXI века с ее ограничением социологии, большей зависимостью судьбы от онтологических, вселенских законов. Такие художественные произведения, существуя под меньшей эгидой от сиюминутного времени и локального пространства, менее подвержены устареванию.

Книга предназначена как для подготовленного, так и для широкого читателя, особенно для молодежи.

ББК 84 (2р) 6
3 80

© Золотарев Л.М., 2008
Золотарев И.Л., 2008
© Воробьев А.В., 2008

Возлюби другого (ближнего),
как самого себя.
Бойся Данаев, дары приносящих.
Не верь, не проси и не бойся.

Библейские грехи:

зависть – скупость –
гнев – лень – блуд –
гордыня – чревоугодие.
Из старых истин,
из Нового завета.

Шесть великих принципов:

благо (добро), любовь, красота,
творчество, свобода, ответственность.
Из ключа альтруизма,
гармонии духа.

Чтобы оставаться на месте,
надо все время бежать.

Из принципов современности.

«НЕ РЫДАЙ МЕНЯ, МАТИ...»

(Повесть-причеть)

«Она на меня смотрит и смотрит. Спать ложусь – смотрит, вскинусь с постели – смотрит, кусок в рот протяну – и тогда смотрит.

– Да кто хоть?

– А все она вот, житная женщина, наша всематерь людская»

(Из разговора у фрески «Не рыдая меня, мати» триптиха Карпа Золотарева, что в церкви Покрова в Филях).

Марии Сергеевне – матери
Василия Макаровича Шукшина,
моей матери Марии Герасимовне –
посвящается.

К дверной ручке привязан плоский железный крючок, по черному дерматину написано мелом, коряво: «Стучать».

– Это я, – поднимает письмоноска к возникшей расщелине свой огромный живот – подраспухшую сумку. – Гляди, мать, не забывают сыночка.

– Смертушка его меня окале-е-е-чила, – раздается за дверью. – Бела света не вижу, телефона не слышу, давление всю сокрушило... Я-то, миленькие вы мои, свое пожила, он, сердечный, ушел не пожимши...

В комнате сумеречно, зрение налаживается, и письмоноска начинает видеть перед собой невысокую, широкой, работой кости Старую Женщину. Она в кожаных шлепанцах, простеньком ситцевом платьишке горошком, в черном платке шалашиком. Губы по-старинному поджаты, крупные, с красной прожилкой

глаза полнятся скорой влагой. Письмоноска в них глядеть не решается: больно топко. Она вытряхивает, держа за углы, свою сумку – на стол льются белые, синие, розовые, узкие и лопатой, увесистые и всего в листик конверты. Старая берет одно наугад:

– На-ка, милая, без очков я не шибко, буквы мотаются.

– «Сегодня побывала на могилке Вашего Сына...»

– Ох, да что же я, – так и села Старая Женщина и, утерев ладонью сухие губы, шаркнула на кухню. – Да мы чайку счас. Сам-то любил угощать, был ши-ро-окай. К человеку по-человечески – он к тебе по-человечески, так она, жизнь, и налаживается...

Письмоноска с интересом разглядывает портрет на стене: это Сын Старой Женщины, их земляк; даже не верится, здешний, из села, и столичная знаменитость, шел в искусстве сразу по трем направлениям. В простой крашенной рамке, как вчера снят: пиджак нараспашку, все такой же отчаянный, а взгляд уж не тот – будто подстрелен человек. В квартирке все обыкновенно, по-деревенски: самотканые половички-кругляши, дорожки рядновые, на диване – пестрый свойский ковер. А это вот его вещи: золотой, в полметра, ключ от Ростова-на-Дону, сигареты «Опал», на машинке недопечатанный лист, часы настенные остановлены на без десяти шесть...

– Утра, конечно, утра, – перехватывает взгляд Старая Женщина и стелет на стол рушник, расшитый петухами, ставит пироги с гольяном-рыбкой, плошку светлого горного меду, тарелку с калеными яйцами, дробные, все в чесночных дольках, малосольные огурцы.

– «Сегодня побывала на могилке Вашего Сына, – в этом месте голос письмоноски дрогнул, она передохнула. – Добралась наконец из своих сибирей. Человек Вам, родная, я совсем незнакомый, но утрата и для меня велика...»

– О Господи, – вырвалось из груди Старой Женщины.

– «...Вот уж не забыта эта могилка. На деревцо набросил кто-то ветку горькой рябины. Стоишь, хочешь – плачь, хочешь – молчи, говори с собой и с ним, с близким тебе человеком... Поклон за него, Матерь Вы наша...»

Ложка в стакане письмоноски подрагивает. Тонкий звук далеко-далеко, а боль в груди близко-близко из-за того, что муж уже в третий раз не приносит полочки, прожито и пережито все за всю свою жизнь. Пора уходить, засиделась, засмотрелась. На стене в темных рамах картины – старинные люди; отец – с окладистой бородой, в меховой, сбитой на ухо шапке, в человеке что-то казацкое; отец – фанатично сверкает взглядом, и свеча у него за спиной.

– Это, миленькая моя, наши предки, с Волги, – каменеет Матьер лицом. – Они, изначальники наши. В нашем роду все несломные, это Он пожил мало, дальше себя не пересигнул...

Матьер смахивает в фартук крошки от пирога, огуречные попки, сминает рушник с петухами.

– С молодости все мы лихо берем, а потом, глядишь, забуреем, упрем в гнездышке. Кабы вместе, в согласье, жизнь бы скорей приподняли... Вот они, – глядит Матьер на письма, – и расшибают, и как живая вода. Прочитаю иное – уревусь, обрежусь слезьми, а камень с души спадет, значит, есть они, хорошие, близкие люди... Он сюда, в город, на этажи, меня определил: «скорая» тут тебе, телефон, вода, топки не надо – живи, мама!» А Сам не пожимши. Каково это – дитя свое пережить? Все Он предомной, веки разведу – опять Он. Уже год как отлетел, завтра еду в деревню на поминки. Все места его обойду, обголошу, обкукую кукушечкой... А в Москву на могилку, боюсь, не доеду, завалюсь где-нить по дороге. А тут, случись что, подымут люди, да и помереть, дочк, не страшно, положат рядом со всеми, где все.

I

В эту ночь Матьер не сомкнула очей, сомлела вся в жданках: когда же в окне затеется утро? Она ехала к себе в деревню, в свои Схлестки, на поминки Сына. Приедет – придет на погост, как ляжет на горяч-камень под которым отцы-деды-пращурь, так и не подыметя, не сумеет подняться: ворон выклюет ей глубокие очи, дожди выполощут белые косточки, отлетит в высокое небо душа. А пока она стояла на автобусной остановке,

скорбная, в черном своем шерстяном полушалке, с тонко подобранными губами.

Солнце намекнуло о себе за мостом, за новым трамвайным кольцом, и на открытом месте воздух зарозовел, прояснился. Она плечами передернулась зябко и покосилась на четкие трубы химкомбината, на город за ним. Сколько тут своих, деревенских, а где они, где?.. Подтаивая, иней оседал на лицо, шуршали листья о плечи – пришел первый зазимок, завтра покров.

Костановке подходили и подходили люди, сторонились, стояли тихонько – народ трудовой, молчаливый, еще плохо проснувшийся. Она потеряла ладонью виски: ее подташнивало, видно, снова поднялось давление. Простуженным басом расхныкался совсем близко ребенок. Молодая женщина стала заботливо подтыкать одеяльце, потом ворковать в сверток, потом отшлепала его. «Бедная, бедная женщина, – вздохнула Мать. – Бедный, бедный ребенок». Молодая женщина была в закрученном вокруг шеи грубом платке. Таким платком Она, Мать, покрывалась всякий раз, когда вот так же выходила чуть свет на работу. А ну отмахай свой век тряпкой, вычисти, выскреби за всем госхозом полгектара полов – правление, клуб и гостиничку. Так-то ставят на ноги сыновей, а на тот свет – ничего не стоит спровадить, раз – и нет человека. Председатель, бывало, придет в кабинет уж на тепленькое да еще и наорет, что она больно приткая, успела, дуреха вытряхнуть мусор, а он, оказывается, швырнул в корзину вчера нужную бумаженцию...

В автобусе на Схлестки Ей уступили местечко возле шофера. Пока тот оформлял документы, людей поднабилось – свои, схлесткинские, и незнакомые. Она слушала всех затылком, узнавала по голосам. Одна только близость земляков, одно только их слово смягчало душу, тяжелило веки. Больше всех Мать боялась не доехать, завалиться где-нибудь по дороге.

Запыхавшись, в автобус ввалилась еще одна группа – тоже схлесткинские. И еще с порога завелась говоруха:

– Ой, расскажу такую штуку...

– ... что не влезет в руку, – подхватил сипловатый бас.

– А чего?

– А то взорвется.

– Га-га-га, – грохнул автобус.

– Дурак, – обиделась баба. – Еще не проспался, идол! Опять вчера пришел: «Нюр, Нюр, я в дугу». Когда ж тебя черти в оглобли растянут?

Матерь не выдержала, оглянулась. И все узнали Ее, замолчали. «Жалеют», – догадалась Матерь, и ей стало трудно дышать.

Сразу за новым мостом начинался их знаменитый Граевский тракт, по которому возят грузы в горные районы и еще дальше, за перевалы, в Монголию; тридцать пятым столбом по счету, у схлесткинской столовки, для Нее он кончается. С полгода уже живет в городе Матерь, а домой в деревню все манит. Вот и вчера все высовывалась с балкона, все смотрела сюда, за Крутунь-реку, как бывало... И теперь, чуя в себе падение сердца, неожиданную липкость-испарину, мысленно подгоняла Матерь автобус туда, в долину, к лесистым увалам, мимо столбов, столбов А долина выдвигалась, ширилась, золотилась на последнем своем осеннем дыхании.

«Сидишь на этажах, – думала Матерь, – сжимает тебя стеной бетон и малая подвижность, и ведать не ведаешь, как осень пришла и как ушла». Попала Она, помнится, в Москву, к Самому, а у них во дворе, как в колодце, небо такусенькое. Бабки сидят на скамейке, полжизни здесь оттерпужили, коров, небось, в глаза не видали, а доить не доили – это уж точно. А ты, говорят, домяки такие видала? Век бы, говорю, их не видеть. А теперь вот нужда заставляет: здоровьишка нет, а тут рядом – «Скорая», магазин, отопление, дрова не колоть. Сын устроил... А сам взял да и помер...

Автобус взлетал на увалы и спускался с увалов, от быстрого хода вертушкой вертелись околки, поселки, поля сливались в бело-серые полосы березы, березки, березоньки. Слева мелькнула, вся обитая железом, изба бабы-яги. И не читая, Матерь знала, что там, на вывеске: «Верхне-Крутунское камнедробильное предприятие». Дробят гальку с Крутунь-реки, вывозят на тракт.

Когда взлетели на самый высокий увал, у Нее так все внутри и загорелось: вот оно, Прикрутунье, родная краюшка земли. Золотая осень движется ввысь по долине, против хода Крутуни и полета птиц. Там, в городе, ближе к устью, березы и липы уже сквозятся, догорают осины-рябины, здесь же едва начинают буреть. А самым берегом тянется темно-зеленая лента – река. Щедры ныне верховые дожди.

Их автобус обгоняли автофургоны: из засушливых районов везли скот в предгорье. Словно тучки живые, в обратную сторону, вниз по долине, летели, перепархивали овсянки, скворцы, жаворонки. И отсюда видать, как ястреб вил над ними круги, над ястребом зависал орел, над орлом тянул белый шлейф самолет. Но вот самолет пошел к земле, орел грудью врезался в ястреба, ястреб впился в овсянку, и кровавые перья пичужки упали в овсы. В недозрелой бороде овса мелькнула вся в перьях хитроватая мордочка лиски-огневки. И только дрозд-рябинник как сидел, так и остался сидеть на ветке, прохваченной зазимком алой рябины...

Все живое и мертвое падает наземь. Вот и Сам походил по заоблачью, а упал, где и все...

В Березовце, под самыми Схлестками, остановились, шофер полез заднюю ось поддомкратить, сменить баллон, и все вышли из автобуса. У газетного киоска уже стояла та самая женщина, с дитем. Свой грубый платок она ссадила на плечи, и Матерь увидела, что она совсем молоденькая. Вертела наборчик кинооткрыток, и вдруг полыхнуло по глазам Матери Его родное лицо. Спросила в киоске для себя, – наборчик оказался последним.

– Продайте мне, – сказала она молодой женщине чужим, самой себе незнакомым голосом. – Продайте, зачем он вам?

Не дожидаясь автобуса, Матерь двинула в Схлестки напрямки, через поле. Вот она, единственная, неизъяснима кочка земли. Бревнинка к бревнинке, стоймя натянулась к горизонту плантация хмеля. В войну здесь выращивали табак для махорочной фабрики, что в городе, солдатам на курево. На подростках вытягивали план да на бракованных из госпиталей, в память об этих госпиталях

столько сейчас табличек по зданьям города: «Здесь в 1941-1945 гг. размещался эвакогоспиталь»...

Когда-то Она Сама учила Сына, как запрягать, следила, как надевает хомут Он, Ее Сын, Ее кусочек, кровинка. О боже!.. Сын вдруг возник перед Ней из воздуха, просто из складок земных, просто из ничего и пошел рядом. Мать даже посторонилась, чтобы уступить местечко, так явственно, остро-близко Он шел сейчас рядом с Ней, таким, как видела Его только что на открытке – уже не мальчишкой, мужчиной с понимающим взглядом. Он шумно вздохнул, и у Нее задрожали губы...

Вот Ты и вернулся к Матери, Сыночек мой, живой, невредимый. Как будто и не было этого черного года, ничего с Тобой не произошло. Ты ушел и вернулся к Матери. Да и стоило ль все дело Твое, чтобы ради него уйти навсегда от Матери, из дому и не вернуться? Ну, что людям Твои ночи бессонные, Твои думушки думные да вся Твоя жизнь, как ветки у рябины, что качаются на ветру? Ну, что в том, что та кисть отгорела так рано? А люди – одни уж забыли, другие забудут. Сколь в жизни у каждого, сколь в каждом всего своего.

– Не плачь, мать, не отпевай. Прожил, как умел, по-другому не мог, – услышала старая Его голос и увидела, что в левом глазу у Него держится, вот-вот выкатится и хлопнется оземь слеза. – Только вот обидно, мама, не успел сколько! Главное, не успел хоть на капельку людей сделать счастливее.

– Ты был широ-о-кай, широкай был, как Земля. А перевитой весь, а бурный, ходил по кроме. И где ж такому жить долго?.. А помнишь, как в последний раз были здесь вместе с Тобой? Как шли по Схлесткам и вспоминали: вот тут, на углу, возле тополя, всадил Ты еще мальчишкой в пятку дно от бутылки, я прибежала, стянула Тебе пятку электрокабелем... Вот отсюда провожала Тебя в Москву, в институт и каждый раз провожала тут после отпуска. А туточки вот, как метнуться на похороны, взбиралась на самосвал...

Но вот и солнце ударило, охватило Плоскун-гору, веером зарисовало по-всякому облака, но один бок Плоскуна, сами

Схлестки, лепившиеся к Плоскуну, все в сумраке стали, кажется, даже темнее. Нет нигде такой горы, нет. Как будто кто взял да и срезал вершок, оставил ее, как стол, плоской, а вершок взял да отшвырнул за Крутунь-реку в пойму Монахову. К Плоскуну-столу притулился их бывший дом, последний, где жили: видный, беленый, с оцинкованной крышей, темных лишь два квадрата на свесе – не хватило листов. С этого дома начинается улица, переходит в другой край села – «Сарынь, сарынь на кичку!» От дедов еще слышала, что брела с Волги артель бурлаков, переселенцы, горластая, с истертыми бечевой плечами – долгогривая братия, брела степью, тоскуя по яблоням, оставленным там, в центральной России, пока не уперлась в Плоскун-гору на берегу Крутунь-реки. В шаге от воды и облюбовали они землю; в Сарыни – решили – и у них будет лучшая доля. С Сарыни и взялось вон какое село, теперь раскинулось по обе стороны тракта. А давно ли здесь, где живут сейчас, где огороды, шумел березняк и она, Мать, была тогда девочкой, потерялась в траве, которая была ей поверх головы, и всей Сарыню ее на конях искать выезжали? Теперь и там давным-давно улица, дома довоенные, поглядистые, из кругляка. Что ж, лес кондовый, из спелой сосны. Дед Андрей, бывало, выдерживал дерево на корню, срежет к лету, когда прохватит солнышко, и бревно делается гулкое, смоляное, гниль-грибок не подступись. Это сейчас все подряд валят, как синевой окольцует по срезу, так и мальцу по-нятно: незрела лесина. Да ведь всего сколько надо – страна строит и строит. Вон машины с лесом по тракту идут и идут... Жизнь длится, а Его нет...

Мать заметила, что изморозь уже сошла с травы, с деревьев съехала сизоватость, с веток докапывают капли. Она приостановилась, загляделась на солнце, что выглянуло из-за Плоскуна, и до того захотелось Ей поговорить, побыть на свиданьи с Самим подольше, потом зайти по пути в одно местечко, куда, наезжая в Схлестки, Он забегал, бывало, каждый раз прямо с автобуса, чтобы свидеться с кем-либо, а уже после шел с друзьями домой.

Схлесткинская столовка сроду не пустовала: стояла на Граевском тракте, на самом ходу. Мать прошла через «хитрый рынок», кивнула схлесткинским бабам, разложившим прямо наземь яйца, семечки, чашки с черной смородиной, малосольные огурцы, и поднялась к пружинной двери. Пиво привезли, поэтому возле буфета ходит ходуном все, за столами рой голосов – это толчок схлесткинский, местная справка. Хочешь – враз всего нахватаешься: от кого Ванька Неведров нынче ушел на рассвете, почему у Катюшки Стремглавой куры несут самые крупные в Схлестках яйца и так далее. Вот и сейчас сидят, обставились к ружками в уголочке, под фикусом, схлесткинские мужики. К ним подсел Белый Лебедь – мужик-говорун, Сын любил с ним бывать, знаваться. Слышит Мать Белого Лебеда, как подкинул он всем сидящим вопросик: по какой-такой причине один азиатский владыка повадился ездить в другую страну каждый раз с новой бабой?

Как бы впился, Сын, Ты сейчас в их разговор! Это друзья, знакомцы Твои, «персонажи» из кино и книжек. Сам любил их, и люди Тебя любили, липли, ровно репы. «Испеки, мам, – говорил, бывало, – моих, из тертой картошки, драников. Друзья сегодня придут, посидим». – «Встретила управляющего, – говорю. – Чего это, спрашивает, с Белым Лебедем Сын Твой вожжается? Ай нет у нас в Схлестках более устойчивых, достойных, с Почетными грамотами? Что ему хороших людей для кино не хватает? Глянь, доска ломится». – «И это – люди! – поджал Ты так-то вот губы, аж побелели. – В народе, мать, много достойных, да не каждого же клеить на Доску Почета... Сама учила, выбирай жену по пяткам, коли репаные – значит, тудяга, надежа. А еще надо... по душе, поняла?»

Как сойдутся, придут на драники Его «персонажи», сидят – толкуют, и в разговорах летят долгие зимние вечера. И Сам то смеется, как хлопнет себя по коленке: «едрить твою раз», то нахохлится, свесит мохнатые брови, молчит. И сидит, поджавшись, где-нибудь с краешка она, Мать, следит – обмирает по Сыну, готовая тут же вскочить, подать что-нибудь, подсказать. И тихо теплится в Ней

радость, когда кто-либо назовет Его по имени-отчеству, когда Сам в нужном месте ввернет словцо, притчу – свою или услышанную накануне от Нее, Матери. И нет большего счастья Ей, когда все у Него хорошо, все ладится. И в Ее жестких ладонях клубок катится, катится, вжуют руки пуховую шалинку. Приотставит Мать очки, взглянет на Него: наклонился Сын, пишет-пишет, стопка бумаги растет...

А теперь Тебя нет, и сюда, на толчок, Ты уже не придешь. Здесь как было все при Тебе. Зальчик лишь подштукатурили, побелили, а плесень в углу не просветлили, чернеет. Ветерок из фортки отволакивает занавеску – помолочному фону, как горох, просыпаны скрипки. Красные, зеленые, синие. Каждая имеет свой цвет и тон, каждая слышит только себя... Все вокруг то же, все есть, как было, нет Тебя одного... Стенки возвести легче, человека попробуй выходи, поставь на ноги, дай разумение.

– Все на этом месте падали – скользко, – выделился под фикусом голос Белого Лебедя, – звезданулся и Он. Поднялся, задрал голову – видит, вывеска: «Госбанк, областная контора». Как вскочит, как вскинется: «Денег до чертовой матери, а дорожку посыпать не можете?!»

– Ну дает, – засмеялись, заскрипели столиками Тюха-Матюха да Колупай с братом. – Дальше-то, дальше что?

– А дальше, естессьно, у него на лапах по кило грязи. Но ничего, говорит, пардон-мерси, грязно камни грузить, а за стакан браться можно...

– И когда ж хоть водка будет стоить тыщу рублей? – сказала Мать вроде буфетчице, но на всю столовку до самого фикуса. – Когда ж хоть отопьются ее?

– Плачет по нас палка, нам и тыщи не жа...

И тишина. Лишь звякнул у Белого Лебедя косо поставленный стакан на стакан.

– Сама приехала, – прошелестело по столикам, – Мать.

«Жалеют», – загорелось внутри, и Она заторопилась в воздух.

Взбиралась на Плоскун-гору, придерживая грудь. Вот и обрыв, Его любимый. На том берегу паром, стада, поля – до самых гор, до

самого Солнца. Жизнь, она бесконечна, человек смертен. Сколько нужно было всего Земле, чтобы наслоиться, вздыбить этот Плоскун? Сколько нужно было Крутунь-реке, чтобы промыть эту долину? Сколько надо теперь всего Плоскуну, чтобы выдержать натиск Крутуни. Стоит Она, Матерь, над самым обрывом в черном своем полушалке, снежна волосом, землиста лицом, упориста работной, крестьянской кости. Протрещал за спиной мотоцикл; ребятишки овец пасут, но Она, Матерь, не шевельнулась, напряглась вся, подавшись вперед... Ты все это видел и больше никогда не увидишь. Да стоило ль этого дело Твое?..

Со снежных гор, вся литая-перевитая-стремглавная, катит Крутунь-река полные воды свои, словно прямо в Тебя летит, рушит себя Крутунь на граниты – экая сила; и все дрожит под ногами, даже деньги в кармане подзвенивают; сбиваясь, завивается, крутит воронки, напреет – саданет как бомба взорвется, и металлически сухо зашелестят по обрыву осинки, а Крутунь-река копит уже новые силы. Отделяя Плоскун-стол от Монахова Камня, несется словно в трубе, узким створом, чтобы ниже разбиться на множество русел, обметать голубыми протоками облепиховые острова. Как отвесны седые граниты – подломись, соскользни в Крутунь, что получится, даже жутко подумать. А Плоскун все стоит. Чтобы пройти, не виляя, прямо через него, сколько надо было упорства и мощи Крутуни. Сам, бывало, шутил все: не хватает реке сущего пустяка – всего пары бутылок. Да вон же она, эта пара бутылок воды: за березовой перемычкой от главного русла шагом перешагнуть, синей лентой по зеленому лугу вьется малая речка Федуловка. Не разгонится, не наморщит себя – увильнула от общего русла, чтобы не тратиться на Плоскун-стол. Тихо – мирно – уютно. А вверх по течению, по самой Крутунь-реке (как видать хорошо!) рвется, натужается лодка-моторка...

Он любил это высокое место: вся Сарынь как на ладони, впереди город с химической трубой, в дымке неоглядные дали, Россия, Родина. По сарыньским улицам все движется. Живут-хлопочут Его земляки. Вот Глашка Проконина сорвалась, летит куда-то: знай, в магазин. Не за спичками же! У Евстигнеевых посеред двора

расстелен кабан на соломе – без времени, хватил, должно быть, горяченького. Вдоль всей протоки – Прибрежная улица, по всей улице – дома, возле каждого дома – лавочки. «Коля+Вера = Любовь». С утра столбятся дымы, топятся печки. Под вечер к затону тянутся парочки посидеть, погуркать на камушках. Сидят, прижавшись друг к дружке в сентябреющей свежести, и ведут беседы при ясной луне – о том же и уже о другом... И Сам, приезжая, бывало, по Плоскуну-столу босиком ходил – так слышнее, пронзительнее после долгой отлучки Родина... Теперь уже не пройдешь, не присядешь на камушки, ни их не послушаешь, ни они не услышат Тебя...

Несется вниз по створу Крутунь-река, рождает вниз по створу движение воздуха. Сползла с горы, оторвалась, вывернулась из-под солнца золотая шалинка и туда же вниз по долине, где всегда сереет город, торчат – и отсюда видать – трубы химкомбината. Крутунью, отсюда вниз по долине, подпоясавшись речкой, уходили отходники: ковать на заводах железо, ладить столицам дворцы, торчать в козлах «ваньками». Потом уже в песках тянули Турксиб, перекрывали Днепр. Сама Она провожала мужа на уральскую гору Магнитку, там до фронта и примагнитился. Самаюшки подымала-вздымала Сына. И Он отлетел куда и все, – вниз по Крутуни. Не ушел бы в город, не стал бы Писателем, Режиссером, Артистом, жил бы и до сих пор. Сам взвалил на себя эту ношу – говорить от имени всех, и все боли, все радости человеческие, переполнив, должны были разорвать Его сердце.

По краю Плоскуна – оспинка к оспинке метки, археологи искали стоянки. Вот так всегда ищут-ищем древнего человека, как не ищем себя. «Видишь, мать, – говорил Он, гордясь, – здесь, на развалинах что написано: «Охраняется? государством». Охраняется, значит, надо. Тринадцатый век! Это еще когда кругом бесновались кочевники, а князь Дмитрий не выводил полки за Непрядву...» Камнем из храма настелили дорогу, а дорогу уже затолкли. А ведь помнят люди, это еще на памяти Матери, как высился, плыл белым лебедем, укрощал Крутунь-реку своим отражением светлокаменный храм Покрова.

Вот и день покова, уж год, как ушел Он, ее Сын, надежа. И знобят душу ветры, сердце не сдюживает, изранилось-изнемоглось. Заступница наша, Дева-Заря, мать ты наша людская, прими меня бедную, под небесное крыло свое, расстели над головушкой горькой свой розовый плат-покрыв, помоги мне, дай силы жить!.. Телефон вчерась хотели отрезать, в погребке дверь проломили, а к кому я пойду?.. Заря-Зарница, роженица наша земная, ты дала полю силушку выродить урожай, отчего же с меня, прозяблой, сняла жатву страшно ужасную? Или я тебеюшки крайняя, не трудилась век, не вытягивалась? Или людям нехороша, отрывала кусок у сироток? Или черной завистью душу чернила?.. Намедни отдала цыганке Его почти новый костюм, в магазине алкающему купила бутылку... Зарница, краса-девица, расстелись платом розовым по небу, покрывом своим покрой мою скробную скорбь!

Седина ль моя, сединушка,

Седина моя посеребряная.

Ах, измыкала я свое мыканье

В распроклятом вдовстве-одиночестве.

Дева-Зорюшка, защити Его, бедного, от зла всякой напасти, от меча отравленного, стрелы – перемоги вражьей! Зоря-Зорюшка, защити Его доброе имя от глазливого глаза, злого навета, торопкого слова! Он не может себя защитить...

Мать вздрогнула, переступила к обрыву, обхватила руками, стала качаться-раскачиваться, заголосила, запричитала:

Ах да у соловушки крылья примахались,

Ах да сизы перышки подломались.

А Крутунь-река крутит, под ногой крушит граниты, и дрожит-содрогаются вся Плоскун-гора, даже зубы вызвенивают. На Монаховой Камне в стаю сбивается воронье.

II

Да вот же она, Сарынь, хвосты всех четырех улиц по-над Крутунью. «Сарынь на кичку!» Пить, бывало, так огулом, тут же у магазина двинут по башке кому-нибудь кантырем, отнесут домой: «Нате». Передерутся, помиряются, есть причина пить

мировую. Вытащит один какой-нибудь из Крутуни налима, все дворы обегает, каждого оделит куском, и его же отполоскают: известно, на весь мир пирога не пропечешь, кому-нибудь сырой кус да достанется. С Сарыни выходили самые пустые, завалищие и самые дельные, отчаянные, какими гордились все Схлестки. И кто по сей день живет на Сарыни, кроет по чем зря Сарынь: и грязь по пузо, и магазин далеко, как в какой-нибудь Эфиопии. А встретить сарынца где-нибудь на стороне – от истовых слов о Сарыни не отобьешься.

Да вот же, вот она, их избенка, утлая, вдовья изба. Подслепова-та крыша, в буро-зеленом мху, пальцем в крышу ткни – проскво-зишь. Мать дернула привычно калитку, та привычно рыкнула и привычно повисла на верхней петле. Она прошла в горницу, не зашибив о дверной косяк лба. Два оконца у самого пола. Всей и утвари, что стол, кровать, сундучок и две лавки. На оконцах мит-калевые занавесочки. Что вдовство, что старость – одно. «А ведь я здесь жила, – толкнулась в Матери мысль и обручами стянула виски. – Уж не во сне ли все было? Может, это все снится? Опять я здесь, в этом доме, где прошли молодые, лучшие годы».

Кто-то сунулся в дверь, носом к носу Матьерь столкнулась с Поруней – все такая же, востровата, здоровенны колеса – очки. Как сова. Все годочки с ней, а уж худа-худюча, вся подшита, кочерыжка и только время приубавило тела Поруни. Но таким сносу нет, все внутри сгладилось, все навечно. Ей за доброе слово отдала Матьерь эту обитель, когда Сын, сбив уже после учебной скамейки деньжонок, настоял купить пятистенный дом под горой.

– А-а, кто пришел-приехал, свои! Свои родные свои миленькие, – всплеснула плетьюми-руками Поруня и содрогнулась всем своим трепетным тельцем. – А то ложка со стола нарани юркнула – ну, думаю, кто бы это должен? А это ты – желанные вы мои, лучезарные... Как живу-то? Да как одуванчик; не сдуло ветром, и ладно. Сынок-то? Бывает. В редкую стежку, в редкую стежку. Да я сама ему туда в город то огурчика, то картошечки. Чижало там, все с купли... Ну, да что я? Сичас,

– заметалась она по горнице. Достала из сундучка простыню, расстелила по лавке. Сделала большие глаза: – Может, добежать до «Эфиопии»? Чай, не басурманы... Ах, давление. Ну, тогда да, тогда ясно-понятно. Аичка? Сердце жмет, воздуху не хватает? В свою деревню приехала, в свою избу зашла – и не хватает? Да мы сейчас форточку откроем, а то вовсе окно...

И Поруня толкнула оконце. Уличной свежестью овеяло лицо Матери, и Она поняла, если чует воздух и само сердце, значит, жива. Она сидела в красном углу на лавке слушала Поруню, как самое себя, и понимала все, как когда-то. Тут вот Она была молодой, а Сын был мальчонкой. Да думалось ли, что ко-гда-нибудь Она придет сюда Его поминать и Ей будет не хватать воздуху, чего-чего, а уж воздуху-то должно всем хватать. Свои, привычные запахи – ближние: дубовых половых досок, пересушенной глины от печки, мышинового приторного духа от клеенных мукой обоев, – и дальние: с огорода, курятника, ягодной ныне, чуть прибитой морозцем рябины, – укрепили Ее. Она почувяла, что снова способна жить.

Поруня выставила на стол, что смогла собрать на скорую руку; сбегала за подкреплением к соседям, принесла ставец гусяного холодцу; когда ходила от стола к печке, от печки к столу, в ставочке тряслось. Присела напротив и, уперев в щеку кулачок, все говорила Матери, все говорила.

– Да ты прикурни, прикурни, коли томко, – наклонялась Поруня к Матери. – Вот сюда, на кухваечку. Бабка так, бабка спит на кухваечке. Насобираю пера на подушку и сынку в город, а сама все без подушки. Сквозь живут крепко, а я все так себе, по-крестьянски. Это когда кому много надо, тот все рывом, терпежу никакого, а мне что, мне много не надо. Не смотри, что у меня такая-то юбка, у меня есть и другая. Я хорошее приберегаю, за плохим и хорошее держится. Я когда сына своего родила...

– Это какого, с зубами, что ль? – оживляется Матерь.

– С зубами! А ты отколь знаешь? – стреляет Поруня веселыми глазками. – Ах, родимец! Да сама ж тебе и говорила... Да ты ешь глазуню-то, ешь, остывает...

Воспоминания, как вино, зарозовили Порунины щеки. Ведь знали с Матерью друг про дружку все до самой малой мелочи, и все равно было все интересно. Совсем забыла, что все это она рассказывала Матери в третий раз, а Мать забыла, что слушала в третий раз. «...Приехал Васятка, сынок-то, из городу, сунулся за молоком: «А тебе, мать, за такое дело могут и пришпандорить». – «А за что ж это, милоч, а?» – «Да за газету. Прессой кубаны накрывать нельзя». – «Да она ж для детей, пионерская...» Ну я и расскажи, что пионеры у нас тут вырабатывают. Принесли как-то с почты открыток целый ворох, вкрутили ей. Пропаганда, говорят, из этого... из Эрмитажу. Опосля разглядела: сплошняком голые. Надо же, старому человеку такое! Это Верки Евтиховой дочка пионеров там научает, вожатая. Стишки, газетки читают – навучные дети... А глянь-ка, на чем я обедаю: на телевизоре. Бывало, луплюсь и луплюсь в него, дела заброшены, куры-утки не кормлены, прямо язва какая-то. Сидим с Васяткой, уперлись в ящик, а там – в черном, ужака – не человек, ну выкручивается всем телом. «Кто же это?» – спрашиваю. – «Это мимо», – отвечает Васятка. – «Вижу, а чего все молчком? Уж сказать чего-нить не может?» – «Да нет, – го-ворит, – может, да...» Ну я хватъ по ящичку кулачишком, чтобы звук прочистить. А теперь вот сижу и... обедаю... А с хозяйством не расстаюсь, нет, нельзя. Волна есть, правда: валенок наваяно, варежек навязано, а вот будут овечек весной выгонять, а у меня ни одной нетти – беда-а... А теперь у меня поросеночек да куры. Да Бублик еще, собака, хвост бубликом. Васятка притащил захудалого, говорит, сибирская лайка, выходили. А курица у меня одна молодая, всего четвертым яичком. Так я петуха отдельно подкармливаю, его благородие, а то сам не долбаает, отдает все курам. Кормлю, чтобы куры побольше неслись. Жизнь-то какая, все с магазина, а продавцы и от яйца отольют... Васятка-то мой под двумя страстями ходил, ты знаешь: один раз чуть лесинной не убило, другой раз чуть не утоп, а все вот живой. Значит, оно что-то есть. Если б знать, то б не думалось. Неученая я, конечно, и живу, в грязи ворочаюсь. А кто ученый, хоть голову морочит, да живет чисто...»

– Много ты понимаешь, – раздвинула, наконец, сжатый рот Матерь, а сама думала: «Сколько всего наговорено, – жалеет все. Понимает Поруня материнскую душу...».

– Раньше печка за все отвечала, – продолжала Поруня, и в Матери все смешалось: свое с Поруниним, близкое и далекое сливалось, все сошлось в тугой, целый, неразволочный комок. Она снова дома, а здесь все свое, деревенское, и вот она, даже рукой можно тронуть, Поруня. – А теперь газовая плитка отдувается. Ни жара, ни пара, в пять минут все готово. А я – спасибо тебе и Ему особо – все живу тут. Потерпи, в совхозе говорят, дай разгрузимся. А я радио слушаю: там водой затопило, там землетрясение, где же разгрузишься? На Поруню средств пока не хватает, подождет Поруня, Поруня своя. А вот из-за садилов, говорят, в городах бедствуют, с детьми чижало, бабы рожать разучились, это правда?..

«Понимает Поруня материнскую душу», – ухватила Матерь конец своих мыслей, и в груди Ее утеплилось от осознания, что оттого Поруня и крутит, ничего не скажет о Сыне, что помнит Его, добром поминает, на добро добром отвечает, – доброе незабываемо. И такое подступило вдруг к горлу, так Ей, Матери, захотелось вслух услышать что-либо о Сыне, что Сама не выдержала и сказала:

– Это мы с тобой разучились, по одному выродили и успокоились. Дед-то наш все говорил мне: учи, мать, Его, дюже умственный. И сама знала, а с чего учить-то было сразу после войны? Наделала чернил из красной свеклы, а они, родимец их, застывают, трясутся, как холодец. И руки у малого краснющие, не хуже как у гусака. Из сажи сделала – еще хуже, на другой стороне листа отпечатка. Пристал: купи да купи тетрадку у дяди Гришки, тот припер из Германии, дело до ревушка дошло. Как Он плакал, учиться, бедный, хотел.

– Навучный ребенок, – вздохнула Поруня. – Э, да мы с тобой как только живы! Потому и на свет белый смотрим, что не застылось солнце, не перестали течь облака...

И тут в дверь постучали. Распахнулась дверь – библиотечарша, Федосовна! Друг-товарищ Сына по книжным делам. Как бросится на грудь к Матери, зарылась, затряслась вся плечишками.

– Ну, что ты, что ты, дочк? – гладила ее Матерь.

– А я сижу в библиотеке, а мне, мол, Сама приехала, – подняла она улыбающееся, полное слез лицо. – Куда, думаю? К Поруне, в старую избу.

– Ну, вот и мясца у соседей позычила, – внесла Поруня в горницу дымящуюся тарелку.

– А вот вегетарианцы, особо в таком возрасте, не едят мяса, – внимательно посмотрела на Матерь Федосовна.

– Оттого-то они в воину такие и слабые, эти тальянцы-то, – оторвала Поруня от тарелки свое хитроватое личико.

– Да не итальянцы – вегетарианцы.

– А я вот приехала, горе позвало, – вздохнула Матерь.

– Ну, мне на собрание надо, – набросила Поруня на плечи ватную телогрейку. – Про землю говорить будут, по пятнадцать соток оставят...

– Да зачем вам полгектара, не понимаю, – все смотрела на Матерь Федосовна.

– Да ежели б они землю-то в дело производили, – задрожал подбородок у Поруня. – А то ведь отняли в соседней бригаде да бросили. Поросеночка чем кормить? Сад у меня, ты знаешь, а в саду одни плети, картошки всего три борозды. У нас ведь не как у этих... тальянцев... комбикорм поучи... р... р... риждениям. Тьфу, право, не выговоришь, зубов мало стало. Ох, да взывалась тут, всквакалась. Ну, я побежала.

Матерь вынула из сумочки, выбрала и поставила на столе перед собой портрет Сына, когда Он был еще юным, совсем молодым. Он плыл через литую Крутунь-реку, и водяные струи свивались-завивались вокруг плечей, шеи, стекали капли с волос, подбородка; так и застыл, раскрыв рот, улыбаясь хмельно-молодо, глядя прямо сюда. Таким Он был в те ихние годы.

– А ведь я здесь жила, – качнула Матерь Сыновий портрет. – В этой, дочк, самой хатенке.

Ей захотелось вдруг все рассказать о Нем, обо всей своей жизни, обо всем пережитом здесь, когда была совсем молодой, как

сейчас Федосовна, как осталась с малым дитем, как жила всяко-разно, всяко-разное мыкала. Вслух Она не говорила, шевелила губами и знала, что Федосовна слышит все, все понимает, все о Них знает Федосовна – молодая, но беспредельная женщина. Кто знает – про вдовьи слезы в подушку, когда сама-одна, а рядом спит спокойно мальчонка – Он, Ее Сын? Кто знает про колготу днем на ферме, а ночью за рукоделием – расшивала людям покрывала, блузки и наволочки «рюшкой» и «ришелье»? Все помощь, все дому копейка, мальцу рубашонка, чтобы ходил не хуже других. Исполняла дедов, отцова отца, завет, его наушение: все отдай, расшибись, у тебя не простой – малой такой, а как рассуждает; поставишь на ноги – честь тебе и хвала. И Она все отдавала – зрение, здоровье, молодость. А помнишь, Федосовна?.. Э, да где тебе, помнить, дочк, как обгорела эта хатенка, как пошли погорелые, по Сарыни. С месяц – у одних, два – у других. Горевали вместе с людьми, радость делили в кучке. В войну вслушивались, страшно было: с фронта тогда поступали тяжелые вести. Пришел домой с пустым рукавом их сосед Перепелкин, отчаянный гармонист. Сбились все в избу к нему, Сынок прижался к Ней, смотрит огромными глазищами. «Ну, что там, что самое страшное? – спрашивают бабы. – Может, бомбы?» – «Привыкли». – «В атаку идтить?» – «Уходишься хуже лошади, – отвечает. – Деревяшка бесчувственная. Думаешь, уложат навечно, и ладно». – «А что ж тогда солдату страшнее страшного?» – спросил и дрожит весь Сынок. – «А то, малый, – положил сосед на голову Ему целую руку, – к чему человек никогда не привыкнет: голод и холод!.. Цельный месяц сидели перед Москвой во льду на корточках. Траншейка – тьфу, по коленки. А глубже – нельзя, болото. Затекут ноги, а приподнимешься – из пулемета. В неделю раз отводили нас назад метров за двадцать, на соломке ноги хоть развести. Вот так сидишь-сидишь, околеченешь, насквозь льдом тебя прошибет, и курсак своего требует. И вот не курил сроду, верите ли, а тут закурил – в ладонях, чую, живое, родимое, теплое. И село наше вспомнил и вас, бабы, всех по дворам перебрал. И поле у Крутунь-реки, где табак сажаете,

вижу, как вас вот сейчас. И вся страна – за спиной у солдата... Ясно-понятно выражаюсь, дорогие товарищи женщины?..»

И ведь после того (помнишь, Федосовна?) отвела Она, Матерь, Сына в полевую бригаду, на табачок, на фронтовую культуру. Сказала Ему: плохому здесь не научишься, без куска у людей не останешься. А уж щегленок был, рубаха обвисла, как на колу, помнишь, дочк? На лошади тогда Ему воду велели возить. Приедет на Крутунь-речку с бочкой, ведро в воду – течением руку чуть не оторвет... Тогда-то Перепелкин и снял Его в Крутунь-реке, сделал вот это фото... Где люди, где сама учила Сыночка: как в воду заезжать, с какого краешка черпать, чтобы не закрутило самого, лошадь, повозку. Сам-то был, помнишь, ниже оглобли, кобыленка все вздергивала голову, не давала запрягаться. Да ты, говорю, наступи на повод да споднизу хомут, а на холке перевернешь... Самой пришлось хлебнуть вдовьего, хоть Сын, думалось, пусть живет...

Матерь встала в своей черной шалинке и завела прядку за ухо пальцем, и увидела Федосовна, как за год оснежилась, оснеговелась волосом Матерь. Вместе они вышли во двор. Отсюда был виден другой, низкий, топкий берег Крутуни. Туда, в чужой район, в Талицу, Сын бегал по льду за топкой, а когда стали восстанавливать хатенку, таскал с Талицы по бревнинке – солому, хворост не толще руки.

– Бывало, мечусь на этом боку, – подставляет Матерь лицо ветру с Крутуни, – а Он призывает лодку оттуда: «Выплывите меня, люди!!» Береги Сына, говорил отцов отец – дед. А как уберечь?

– Он всегда носил с собой книжки, – смотрит туда, на Поповский остров, Федосовна и видит там, на массовых гуляньях, все склесткинцев, всю их школу, всех сверстников, себя с косичками и Его, Сына Матери. – Волосы, бывало, по плечи, за поясом – Гоголь. Все вместе играют, смеются, а Он – в сторонку, в кусты. Подкралась как-то на цыпочках, а Он наотлет книжку и – «Чуден Днепр при тихой погоде». И в грудь кулаком – «Да разве пересилишь русскую силу?» Потом упал лицом в траву, трясется: «Ух, гады, сожгли!» Подошла к нему: «Кого сожгли?» – «Да Тараса же, Бульбу!» И приподнялся на локоть, лицо мокро от слез.

Солнце уже высоко стояло. А тракт все гудел, Крутунь-река все катила-крутила воды крутые, а здесь было тихо, уютно.

– Спросишь, бывало, – облокотилась Мать на стол, – что читаешь, Сынок, уроки делаешь? Подойдешь, а книжка шлеп за сундук. Не порвешь же, срамно, да и жалко – из библиотеки... И сидишь допоздна, вышиваешь, а Он рядом. И говоришь, говоришь Ему все, что знаешь, – про отца, про дедов, про соседей, как жили – живем, у Него глазки таращатся, никогда не уснет. Из-за книжек тех и сгорели мы. Среди ночи, помню, как что-то толкнуло меня: чад! Отвернула одеялку – уж вата затлелась, а Он, бедненький, лежит крючком, подперев щеку, и не ворохнется, а рядом коптущечка – пузырек с керосинцем, фитилек над сырой картошкой, огонек с мышиный хвостик. И под щекой – «Тарас Бульба»... Сижу, бывало, вышиваю «рюшки» и «ришелье», говорю с Ним. Прикрою веки и слушаю, как рассказывает Он про то, что на днях Ему сама говорила, только все на свой лад. И так сладко мне, что дите такое разумное, понимает людей, так хорошо, будто крылья за спиной прорезаются, облаками идешь, а Он у тебя на руках еще малолеток, и ветры в лицо, дожди хльщут, молнии нижут, и страх крадется на толстых собачьих лапах, а ты все прикрываешь дитя собой, своим телом, своей душой от всего, что может быть впереди. И города внизу, поселенья, и где какой костерок, какая боль, какая улыбка – все толкается в сердце, держит, не отпускает, поднимает все выше, выше, до той необъяснимой черты, за которой уже нет человека, одни только звезды в своей дневной бесцветности, как бестелесные души людей, целые россыпи односельчан, скопившиеся за века, и среди них самая близкая, родная, светящая через всю дневную бесцветность звезда... Душа рвется к ней, золотой, и только руки набрякшие да тело работное, грузное прижимают тебя к земле, к Схлесткам, к этой вдовьей избе... Когда родила Сына, лежала разбитая, не думала ни о чем. Это чуточку позже роженицы-матери начинают думать о ребенке, когда привыкают, что он явился на свет, существует. Потом приходит боязнь, как бы его не перепутали с другим, не подменили. «Ваш приметный, – улыбнулась мне медсестра – пожилая, усталая женщина. – Такой

горластый, такая линия жизни! Не волнуйтесь, жить будет вечно». И вот... каково Матери дитя свое пережить?..

– Боцман первым заметил в Нем эту способность – Артиста, – сказала Она. – Когда провожал на гражданку, напутствовал: «Из тебя, матрос, выйдет что-нибудь дельное, если, конечно, подучиться маленько».

– Пришел к нам в Схлесткинскую библиотеку, – сказала Федосовна. – Спросил, есть, мол, книжки, где пишется, как на Киноактера, на Писателя учатся. Я еще тогда пожала плечами: мол, всегда знала тебя, как серьезного челове-ка. Да что там, в городах, ай своих не хватает, а вон оно как получилось.

– Когда провожала в Москву, продала нашу кормилицу, корову Райку, – едва продохнула Мать набежавшие слезы. – Ждала обратно, как голубя, а получила весточку: мама, куда идти учиться – на Историка ай на Актера? По-чему так, дочк, чтобы выучиться, надо ехать куда-то?.. Собрала ему подкрепленье, приходит ответ, слово в слово вот: «Дорогая моя! Получил посылку (вторую) и письмо. Мама, ты что это делаешь? Купила пальто. Милая моя, я с успехом прохожу и в шинели. Получаю посылку, опять как маленький вагончик. Прошу, ничего мне не покупай. Деньги у меня есть, питаюсь хорошо. Выручает Москва-товарная». И другое письмо, оно пришло следом: «Недавно на курсе у нас был опрос: кто у кого родители, т.е. профессия, образование. У всех почти писатели, артисты, разные работники. Доходит очередь до меня. Спрашивают: «Кто из родителей есть?» Отвечаю: «Мать». – «Какое у нее образование?» – «Два класса, – отвечаю и улыбаюсь. – Но понимает она у меня не меньше министра»... Кабы пошел на Историка, был бы жив до сих пор...

– Не плачьте, мама, не надо, – сказала Федосовна. – Теперь все увидели, что и наши, схлесткинские, что-то могут... Вчера встретила Белого Лебедя, пить бросил, за дело взялся. Силы, говорит, заглушенные пить больше не позволяют. Если бы не Сын Ваш, сгинул бы где-нибудь под забором...

– Нелегко, дочк, жить на земле.

– И сейчас не легче, чем тогда, в войну, и сразу после нее. Беднее были, моложе, щедрее, потому – победители! А как стремились к чему-то, как чего-то хотели! А сейчас иные гарнитурами обставились, пылесосами обкрутились и не видят друг друга. Людей вокруг вроде много и мало, талантов и того меньше. Ваш Сын помогал всем, Сам себя искал в людях, люди в Нем теперь ищут себя...

Федосовна говорила что-то еще и еще, но вдруг замолкала, посмотрела на Матерь. За окном хлынул по-майски пролетный, скоропалительный ливень. В одну минуту потемнело и запотело оконце, обильно кипящие струи, как живые, ударили с неба и падали на ноги, на пол, на плечи; Федосовна на миг куда-то пропала, и Матерь как будто вошла в нее, стала с ней заедино, одно. И тут чья-то тень в оконце, приложилась к стеклу – Поруня или не Поруня, сама Матерь отразилась в стекле. И в сполохах возник перед Матерью Он – плывет по Крутунь-реке под вечер сюда, на огонек, почему-то на льдине. И в резких порывах ливня летит почти с того берега длительный крик: «Выплывите, выплывите меня, лю-ди-и!..»

III

Своя, родная, привычная улица. Матерь шла в конец Сарыни, к дому на взвершье со слепкой оцинкованной кровлей, на свесе два крашенных суриком железных листа. Проходила перед слабенькой, крытой только избенкой, зато цветы в палисаде какие, а над окнами деревянная резьба – птица-лира. По ого-родам лопушился хрен, тянулись к солнцу ярко-желтые решета подсолнухов; вдоль заборов, под тополями, акациями, кленами, возле самых завалинок, вспыхивала синеглазая мята, запах ее кружил голову. И всюду, где только можно, раскачивались, грозили ожечь плечи, шею, щеки длиннобудылые, крупно нарезанные, тяжело осемененные метлы крапивы. Матерь всей кожей чувяла жгучий ее холодок в тени, невыносимую огненность. Еще девчонкой, играя в «салки», влетела Она, полуголая, в такую вот жуть, а вечером дед утешал Ее: «Ничего-ничего, до свадьбы, поди, пройдет». Вот так же,

живого места нет, слитый весь, в белых волдырях, стоял здесь перед Ней весь настегаанный ее Сын, мальчишкой еще. «Ничего-ничего, мама, – крепился Он – До свадьбы, поди, заживет».

В пятистенник с оцинкованной крышей они перебрались из той хатенки, где теперь Поруня. Веранда, шесть комнат на две половины, две печные трубы. Сын купил дом уже на «киношные» деньги, все мечтал, чтобы сюда наезжали друзья-товарищи, чтобы места хватало всем. Он стал их зарабатывать, деньги, но приносят ли радость они, когда с ними уходит главное – жизнь? Она может вызвать в памяти любое Его письмо, хотя бы вот это: «Здравствуй, родная моя! Дай бог здоровья тебе, только ведь жить начали. Мне обидно, что деньгами ты мало пользуешься в свое облегчение. Может, нанять бы человека, который приходил бы и топил раз в день, когда тебе бывает невмочь?»

На двери висел гаражный замок. Мать грузно опустилась на чистые, еще не просохшие от мытья доски крыльца. Конечно, можно встать, подняться, взять ключ, где всегда, но Она не хотела этого делать. Отерла ладонью лоб и просто сидела, мысленно шла к сараю, от огорода, с огорода через заднее крыльцо входила в дом на кухню, из кухни через коридорчик в Его комнатку – на обоях мальчишки, каждый с удочкой на плече, бегут гурьбой к своему солнцу. Много-много мальчишек, много маленьких солнц...

Мать смотрела в вишенник, и в зарослях виделось Ей окно – то самое, Его окно, выходящее в сад. Молнией вспыхнуло в памяти: прогоняли стадо, чей-то теленок сунулся через калитку к сирени, и Она ринулась с палкой. В один миг Сын вылетел в это окно, обхватил теленка за мордочку: «Так он, мама, гляди какой, че он понимает. А сирень, когда ломают, только кустится». И такие родные стояли, хлоп-хлоп глазами, такие свои. Один – белошерстый, с молочной полоской по шее, другой – в расстегнутой белой рубахе, загорелая грудь...

Когда Сын появился, в доме все закипало. Приходили, спрашивали, оставались. Приводил Сам, усаживал за стол, оставались. Она, Мать, смотрела на Сына, видела, как все,

что говорится здесь, нравится Ему, падает в душу, и млела от счастья. «Почему хоть Он с Гришечкой водится? Тот же ворует, спер вчера баллон у механизаторов», – напала на нее по дороге соседка. – «На себя обернись, – так и просилось сорваться с языка Матери. – Уж неделю как бюллетенишь, а сама все на своем огороде».

Когда Сын приехал в Схлестки снимать свой первый фильм, Мать не знала, куда Его усадить. Прежде слушала да не верила, что Он может снимать, не верили и односельчане. Когда на сцене местного кинотеатра все приехавшие говорили на творческом вечере о Нем как о будущем деятеле культуры, а Он вышел на сцену и слова в горле комьями, всем в зале стало неловко, как-то не по себе: ихний, деревенский, Сын Матери, которая век, знали, мыла полы, и вдруг нате, какой-то деятель...

Тот фильм – о шофере – был за границей оценен золотой медалью. Раз поверив, Мать верила, не могла не верить в Него; не было человека на свете, который бы верил в Него теперь так же истово, как и Она. Она видела, в Нем что-то лопнуло, развернулось, отчаялось. Он рванулся вперед с такой безоглядной, всепокрушающей силой: роли и фильмы, книги и поездки; женщинам Он не доверял, они любили в Нем не Его самого – скорее удачу, успех, Его деньги. И сердце Матери тоже рванулось за Ним, потом огляделось и задрожало за Сына, она стала молиться...

Перед тем, как ехать сюда запускать фильм о Сарыни, Он прислал Ей письмо. Она терла это письмо в ладонях почему-то дольше других: «Мамочка. Как живешь, голубушка? Как здоровье? Милая моя, прошу тебя, спиши песню, которую ты, кажется, знаешь:

...скрывался месяц в облаках.

На ту зеленую могилку

Пришла казачка во слеза-ах...

И еще парочку каких-нибудь старых песен. Мне надо для работы».

А потом Мать видела, как вели хоровод на горе над их домом годки – подружки Порунины, как пели ту самую песню, а Сын

все метался, то останавливал их, требовал чего-то, ругал тех, кто трещал аппаратами.

Пришел домой взъерошенный, нервный. Засел на всю ночь писать. Попьет чаю – сидит, пишет, попьет чаю – снова пишет. И стопка бумаги растет, в окне уже брезжит свет, пискнула первая птаха; за домом – на полгоре – белая рощица проснулась, по березкам кустье красной рябины, как они рдеют под осень! Она, Мать, входит неслышимо в комнату, Сын лежит, сморенный утром. От лампы лицо накрыто листами, только что написанные страницы. Встрепенулся под ними:

– Ты что, родная?

– Затворил бы окошко, сынок.

А у Него мысли там, за глазами. И слезы.

– Об чем Ты, сынок?

– О том, что пока неподступно, не могу, не умею помочь людям, как бы хотел. Горит душа, ломит... не могу...

– Идем, сынок, по венички по березовые. Пришла пора, наготовим под зиму.

Через Плоскун-гору прошли и спустились к речке Федуловке. Как увидел березки-красавицы: «Родные какие, желанные! Да разве ж можно с таких веники брать? Да на таких молиться надо, думам их надо внимать». – «Да ведь засмеют люди, коли веники корявые принесем. Скажут, что ж они, Мать-то с Сыном, неудельные». – «А пусть, мама, корят, пусть хулят, а красоту рушить никому не велено». И нашел березу, грозой разбитую. А те невесты стоят по сю пору...

– А ведь я здесь жила, – сказала Сама себе Мать, прошла во двор, стала шарить рукой ключ под камнем возле акации, где и положила его, уезжая.

В одно такое утро, когда Сын просидел над бумагой до третьих петухов, соседка обронила нечаянно: «Сынок-то твой ай чекан завел, не спит ночами, деньги чеканит». – «А ты подсядь, посиди, – только и сказала в ответ, – да вот так почекань, надолго ли хватит?» Соседка жива, что ей, а «чеканщика» нет.

Каждый раз, едва Он уезжал, Матьер принималась ждать от Него письма. Читать сама не могла, так, самый пустяк, по складам. Читал каждый раз кто-нибудь из своих, деревенских. И выслушав письмо единожды, Она уже помнила его почти что насквозь, знала, где и какая мысль, где какое слово со словом стыкуется и, вытаскивая листок вечером, после управки по двору, надевала на нос колеса-очки, водила черствым пальцем по буквам, тужась и припоминая памятью то, что было прочитано кем-нибудь накануне. День по дню письмо полегоньку ветшало; когда видела, что лист ложится на ладонь рыхлой лепешкой, сворачивала его вчетверо, клала сверх стопки прежних; маленько помаевшись, наострив себя, бралась за ответное письмо Сыну. Писала сама, грубые коротыши-пальцы плохо повиновались Ей, рука делалась деревянной. Все лучшие слова обрывались, разбегались в стороны, оставались только такие, которые Она никогда бы не сказала, постеснялась написать, вычернила чернилами, если бы, как следует, могла прочитать написанное. Сердцем материнским выяснивала в письме: как Он там, что с Ним, когда снова ждать?

Каково слесткинским в городе? Насмотрелась. Как суббота, так битья в автобусы: едут домой за подкормкой, просто проведать, просто побыть. В городе все с купли-копейки, все приглядывайся, пока поймешь кой-чего, станешь вровень с городскими. Оттого такие-то нервные в городе. Хлебнет какой-нибудь там огоньку, разожжется – прикатит, заявится в клуб, подавай ему праздник, ходит козырем: он теперь городской! А Ей, Матери, жаль до боли сердечной, когда влекут его, глупого такого, дружинники с драки, как он костерит, почем зря кроет всех двенадцать апостолов.

В городе на одной площадке с Ней молодая семья – прежде жила в общежитии. Молодайка из деревенских, уж и сбить была, уж добрячка, а за годы скрутило ее... Каково же было Сыну там, от дома за тысячи верст?...

И прежде Его письма к Ней были ласковы, потом стали еще нежнее, ласкательней, в последних письмах Он и вовсе такой лучезарный, что немочно. Полетела бы к Нему, как горлиночка, да не близок свет, расстояния. Все писал Ей: решай-

ся, мама, да я тебя отсюда назад самолетом, ты глянь хоть на внучек да на кремлевские звезды, а то ведь помрешь, не увидишь рубины-то. Решилась, да так натерпелась, что вспомнить жутко. Подался тот самолет сначала куда-то не туда: нелетная, сказали, погода. Уж молнии наширялись в окно, под крылья, в самую душу. Ну, ладно, добралась до места, в ту, еще первую их квартиренку. Он и там у себя и пишет и пишет... К соседу-кавказцу тоже старушка-мать прикатила. И скоропостижно скончалась. Собрались хоронить. «А где ж она-то?» – спросила Матерь. – «Да вот же, – показывают на спичечный коробок, – вот она». Боже, мой, у Нее, Матери, ажник челюсть отвисла. Скорее домой, Сынок: от пращуров, от земли никуда! Спичечный коробок, такая-то страсть...

– А ведь я здесь жила, – повторила Матерь и услышала, как гулко отдалось в пустых комнатах.

Каково Ему было там, Она видела. Не присядет – мотор. То фильм задумает, потом ставит, то книжку замыслил. Пишет и ставит, ставит и пишет. Интересно это, когда про своих, деревенских. А слова, словечко в словечко, как на подбор, и откуда только берется? А после – критики в Него там словами кидаются, а тут попадают Ей в самое сердце. Сам про себя того не читал, что про Него приходилось читать Матери – Федосовна, эта молодец, из библиотеки все ей поставляла. Вечерами, под метель или сечку дождя, вытягивала из комода Матерь очки-окуляры, навешивала на уши дужки и водила пальцем по строчкам, плакала и гордилась, если Его хвалили за дело. Сама ругала, если знала, что лестили. И на чем свет крыла, насылала лихую грозу мужикам, даже – грешным делом – бесплодие бабам этим, корреспонденткам, коль подсказывало Ей материнское сердце, что корили они Его незаслуженно, из-за какой-то своей корысти, из-за чего такого, что чуют чужая, а понять не могла. Правда как солнце, ладошкой ее не прикроешь, глядишь – все вывернется наружу. И тогда садилась, Сама принималась писать Ему: о чем думает да что тут у них происходит. Письма Ее, как Он любил говорить, Ему были лучше бальзама...

В ту осень целым табором прикатили они ставить второй Его фильм. Он Сам писал сценарий для него, а дописывал его уже здесь. Просиживал вечера с «лелькой», своим крестным, родным дядькой Меркулом Игнатичем, все из него по крупичам вытягивал. Так всю осень и работал ночами до солнца с распахнутым в сад окном, и горела на плече, просунувшись, ветка горькой рябины. Всему киношному табору в большой комнате места хватило. Они с Поруней носили с кухни шаньги в масле, карасей в сметане, шипающие в носы квасы и домашние вина-наливки. Все ели, хвалили-нахваливали Ее, Матерь, и Его, Ее Сына, и всю семью, и всю их Сарынь, все Схлестки и все, все, все Прикрутунье, Сибирь. И Матерь горела щеками, вся млела от тихой гордости за Сына своего, который, душа всего, привез и привел их сюда, которого все так уважают и ценят. И только раз поймала Она боковой, нехороший взгляд за Него, только раз услышала, как кто-то мимолетно сказал, что точно такую же натуру для съемок можно было подыскать где-нибудь и в Подмоскovie, и Матерь вся вздрогнула, натянулась, но тут же все утонуло в Ней в потоке людского добра и любви.

Когда гости ушли отдыхать – иные на сеновал, иные в соседние комна-ты, они с Сыном остались одни.

– Они тебя любят, Сын? – кивнула Матерь на еще теплые стулья.

– У меня перед своей деревней долг, – наклонил Сын упрямую голову, и Матерь увидела, как высверкнули под электрическим светом виски. Он катал пальцем хлебный шарик, а Она смотрела, разглядывала Его вблизи: суше, вытянутее стало лицо, резко прорубились складки у рта, глаза стали глубже, точно подвалы. – Я уехал, чтобы вернуться другим... чтобы что-то понять... Я хочу, чтоб вместе со мной это «что-то» поняли мои земляки. Иду вчера по Подберезовцу, дед один чапает, рупор под мышкой. «Куда путь, старина, держим?» – спрашиваю. – «Да в кручу, – говорит, – сбросить к фенькиной матери». – «Чего так?» Оказывается, бригадир вчера, как обычно, раздавал наряды по радио, а тут гроза, молния и убей у деда старушку. Мигом все обрезали провода. Теперь бригадир

опять будет кричать под окнами... Вот мы, мама, часто треплем слово «народ». А народ – это, между прочим, каждый из нас. Если бы каждый осознал себя, а? Личности, мама, нужны, это дефицит! Она – провинция – не только здесь, сколь хочешь ее и в столицах. Это – категория, как бы тебе сказать, духовное состояние... Ты меня понимаешь?.. Можно быть высокодуховным и здесь, это суцая правда. Бездуховным жить проще, а попробуй чего-то хотеть, к чему-то стремиться...

Матерь слушала Сына, кивала Ему, улыбалась. В его рассуждениях отдаленно слышалось что-то знакомое, Самой прежде сказанное, Им прежде написанное; все словечки Его, все до мельчайшей мелочи знала и своим крестьянским умом могла дать Ему дельный совет. В последнее время Он стал и вовсе нетерпеливым – не все выходило, должно, как хотелось, оттого самые мягкие, от кого раньше, бывало, ни язвочки, остро раясь, бычатыся и тигреют. Она понимала Его, приникалась к Нему, оттого была счастлива...

Перед Матерью неожиданно всплыл зеленовато-пурпурный веноч из восковых, шелестяще мертвых цветов. Где Она его видела? Он словно ходит, крадется за Ней по пятам, это какой-то кошмар, наваждение, крик – болезнь, ни сна, ни покою. Нехорошее это, вдруг вонзившееся в мысли, отяжелило Ее, мешало разогнуться спине, руке оторваться от сердца. Тот пурпурный веноч вносили из сада, и Она, Матерь, толком не разглядела, кто вносил, чей веноч, все хотела после отослать его туда на могилку, а вернувшись, просто деньги послала, а веноч все стоит, дожидается часу... Один учитель из города – свой, схлесткинский – все просил продать дом, не решила сразу – все еще Сыном тут полнится, прежней жизнью. А ведь, если вдуматься, человек – учитель этот – пожелал вернуться домой; все только и едут отсюда, покидая деревню, а этому захотелось обратно. Она отдала бы, кажется, все теперь, только бы глянуть в живые глаза...

Матерь привычно толкнула дверь в комнату Сына, привычно скрипнула половицей. Потянуло непривычно сладковато-приторным духом сосны. Посреди пустой комнаты – деревянный топчан, на топчане с обернутым тряпицей краном – ведерный самовар,

у двери сиротливо жметя венок. Тот самый. Серовато-пурпурный, в бумажных цветах, на лепестках застыли крупные слезы воска. Как стоял в углу, так и стоит целый год, пылью покрылся на четверть пальца.

Не помня себя, Мать проволочлась на кухню. Сидела, слышала скрежет в висках, лому то в груди, то в темени, дважды в груди – дважды в темени, в такт биению сердца. В этом доме когда-то Она была счастлива. Как все вдруг пересеклось? Счастье всегда неожиданно-негадано пересекается. Здесь, на кухне, почтальонка отдала Ей ту телеграмму. Отдает, а сама заревана, глаза – с кулаки. Притормаживала Мать сердечко: мало ли, может, автомобильная катастрофа? Ну, ногу сломал. Ну позвоночник повредил, как поза той неделей парнишка-десятиклассник из Подберезовца. Ведь что устроил на перекрестке? Со всего маху перелетел через кузов машины на мотоцикле. Пусть хотя с костылем, на носилках, она и к таким оборотам готова.

На аэродроме в Москве Ее, Мать, встречали все в полном сборе, подлетели к Ней, подхватили под руки, повели.

– Как хоть Сам-то? – все вытягивалась Она, заглядывала через головы.

– Сам-то? Ничего, как живой, мы сюда Его, – успокаивал Мать близкий друг Сына артист Журавлев, – в цинковом гробу... самолетом...

Мать с ног так и слетела, как литовкой подрезанная. А дальше уж и не помнила ничего, все задернулось шторкой черной. Приоткрыла веки – захлопнуть не может, на распорках веки: Сын перед Ней – лежит, бедненький, в красном весь, вроде как тогда под тлеющей одеялкой над Гоголем, и будто с улыбочкой, губы тоньше, белые, а дочки вокруг: «Папа играет, папа спит». И ки-слород в Нее, слышит, накачивают, лекарства через зубы толкают. Только те Его слова и стоят в груди колом: «Нас, мама, с тобой не сожгут, не засунут в коробочку, предадут тело земле...»

Пока Мать сидела на кухне, бередила себя, через весь дом шаги раздались, Плоскун как ходуном заходил – шаги Сыновы!

Глянула: перед дверью венюк не колыхнулся. Поняла: дядя сродный, Меркул Игнатьич, копия Сына, только суше, полегче, Сын, бывало, «лелькой» да «лелькой» его, по-деревенски...

– Здравствуй, Матерь, – поклонился Меркул Игнатьич. – А я слышу, примчалась. Ну как ты там, жива?

– Какое здоровье, – махнула рукой. – Как за двести давление, гложу. Бьет, ну, думаю, вот-вот убьет. А то вниз давление, и того хуже. Теперь, лельк, здоровья не спрашивай.

Он сходил на кухню, принес табуретку, присел к столу – Матерь ахнула; Сынок вылитый. Ну черточка в черточку, росинка в росинку. И голосом и посадкой головы, глаза тоже с голубизной, крутуньские, нос раздвинут, нашлепкой. За стол сейчас бы да в руки перо... Сынок-то был ихней, отцовской породы...

Толечко раздышалась, белые мухи с глаз стекли, а тут опять шаги – венюк вздрогнул, иголки просыпались, все качались на проволоке цветы. Белый Лебедь вдвинулся, стянул картуз с головы, сел молчком на корточки у двери.

– Как придет, бывало, так ко мне, не минет, – подает голос Меркул Игнатьич. – А потом уж домой, куда денется.

– Не-е, поначалу к нам в столовку, – натянул Белый Лебедь на колено картуз. – Вспомни, без меня к тебе, Игнатьич, Он не заходил.

– Что-то у тебя там такое тяжелое? – скосила Матерь глаз на сумку у ног Белого Лебеда.

– В торбе-то? – провел по шершавому брезенту рукой Белый Лебедь. – Вериги мои, крест свой несу. Бутылки с водой, видала, «Славяновская». Пить бросил, зарок твоему Сыну дал... Э, не знаешь, что ли, – махнул он, – помнишь, проехал почти до самой Монголии да желтуху где-то на тракте схватил? Сын твой еще сказал, пей воду, пройдет. Забылось, а печенка напомнила. Вот и таскаю тягость, пудика полтора, помогает. Хожу, как гвоздь, ничего. Одолел себя, на комбайне это лето работал, пять костюмов хороших, как вот на тебе, Игнатьич, в карман положил за сезон...

«Сын советовал, – шевельнулась Матерь. – Как не помнить, все помню». – «Пей с разбором, Гриша, – сказал тогда Сын. – Не то,

гляди, станешь из белого желтым, не лебедь, а утка-пекинка».

Мать слышит разговор Сынова дядьки-лельки и Сынова друга-товарища, смежает веки: как будто ни года этого не было, ни лиха черного, ни порога последнего, один только голос Меркула Игнатъича – Его, Сынов, голос, другой голос все тот же – Гриши, Белого Лебеда, третий голос того из «киношников», что тогда говорил, мол, зазря они приехали сюда ставить картину, такую натуру можно было подыскать и под Москвой. Этот третий был смоляной, черный, как головешка на погорелом, про себя Мать тогда прозвала его Черным Лебедем.

– Все пять костюмов, небось, и пропьешь, – слышит Мать голос Меркула Игнатъича, голос чуточку глуше, у Сына звонче, почище.

– На воде не пропьешь, – отвечает ему Белый Лебедь. – И нельзя мне, нельзя.

– Сколько, Гриш, в тебе всякой крови намешано, а? – говорит Меркул Игнатъич – лицо его пористее, загорело, но все так же в глазах бесенята, крючок – язык, руки в боки, в карманы – стоит фертом, лишь понижее, покряжестее, Сын был телом пожиже. «Только числишься, Гриш, Белым Лебедем, – слышит Мать в себе другой, свежее голос – голос Сына; все встает перед Ней, как тогда, как живое. – Вся семья твоя так... хоть и пашет, да не пачкается, пахотой разве пачкаются?»

– Почему, говоришь, под Москвой подыскать можно? Нет такого куска земли под Москвой, – хмурился Гриша тому, головешке на погорелом, Черному Лебедею. – Снять-то можно, техникой сейчас все исделаешь, а вот нас таких там найдешь? Нашу душу, мыслю нашу поймешь?

– Обойдемся, – отводил напор смоляной. – Главное – это художник, его недра, как он видит натуру.

– А чего я хочу – это так, наплевать, да! – чуть ли не схватывал за грудки Черного Лебеда Гриша.

– Тихо вы, петухи, – клокотал Сын из бутылки себе минеральной. – Отряхнем черный прах с наших ног... Ты черную работу, Гриша, но забывай, в ней все наше спасение, не перервутся

Сабуровское поле на тебе все твои Белые Лебеди... «Эх, за что я люблю Черного Лебедя, – хлопнул Сын по плечу смоляного, – так это за то, что у него красный нос...»

– Ну ты, Белый Лебедь, – прерывает Меркул Игнатъич Материны воспоминания. – Помнишь, что тебе говорилось здесь? Не все-то долбай перед носом, крылья на что тебе, крылья?

– А я вериги, Меркул Игнатъич, навесил.

– К земле тянет? А кому тогда небо? – шумно, похоже, как Сын Ее, вздохнул Меркул Игнатъич и совсем уж, как Сын Ее, дернулся левым боком и потер, жвык-жвы-ык, ладонь о ладонь, ажник искры просыпались. Так-то делал отец Его, так-то делал Сынок, так-то делает вот он, дядька сродный Его – вся их такая неподъемная, электрическая порода. Все им больше всех надо, все не как у людей.

Хлеб, какой едим теперь в Схлестках, лучше господского прежнего. Дед, бывало, рассказывал: зачерствеет хлеб, в куски его да в ставец, водицы туда да постного масла – тюря получается, и здоровше были, об дорогу не расшибешь. «Это потому что душой так не мучились, – подумала Матерь. – Вывозила и тюря. А теперь скрозь хотят не просто, а хлеба нашенского, схлесткинского – особой сдобы и вкусноты». Изобрел его вот он, Маркел Игнатъич, с дедом одним – ленинградским блокадником. Года три приспособивали печку, искали выкваску да дежу. На заводах принцип закваски принудительный, побыстрее надо, а у них на поду естественный; чтобы тесто само поднималось, подходило быстрее, все применяли: и тепло, и мешали сорта пшеницы – мягкие с твердыми, свои с канадскими, лишь бы были хлебы сдобнее и чтобы не черствели. Его – в формы, а он во какой – тянется. Дали выпечку, а он по ГОСТу в городе не прошел: не влезает в казенные формы, в хлебовозках ячейки переделывать надо, углы переваривать, а народ требует только этого хлеба. Машины на Граевском тракте так и подгадывают остановку. «Одобрю», – сказал после ГОСТа Сын Меркулу Игнатъичу и повез хлеб в столицу, на пробу ребятам. Вся такая порода у них натурная, им бы все свое, поперек, руки на дело так и чешутся.

– Верно, Матерь? – глянул в глаза Ей Меркул Игнатъич.

– Верно, Сынок, верно, – скривилась Матерь, и пурпурово-серый венок перед ней опять закачался, поплыл.

– Ты вот что, идем-ка ко мне ночевать, – взял Меркул Игнатъич Ее за рукав. – Чего тебе тут в настылом? Идем.

Вдвоем с Гришей выводили Ее за порог, и восковые цветы дрожали, кивали следом на проволоке, старой, уже изъязвленной ржой.

Не смыкая очей, лежала Она, а сон все не являлся. На кухне наигрывало радио, крепкий мужской голос пел русские песни. Как любил Сын эту вот песню. Тело ямщика замирало где-то от зимнего холода, а в Ней изгибалось и млело все от переизбытка тепла. Весь день перелистывался перед Матерью, все слова людские, все лица. И завтрашний день горбатился перед Ней. Как придет Она на погост, как ляжет на горяч-камень, под которым отцы-деды – пращурьы, так и не подняться, не сумеет подняться, некому будет подняться: ворон выклюет Ей очи, дожди выполошат белые косточки, отлетит в высокое небо душа. И в дне отходящем, в дне приходящем глаза Ее Сына, как капли живые на тусклом воске венка...

IV

С утра думала, как бы это собраться да посидеть за столом, помянуть, согласно обычаю, Сына, как вот она прилетела, Поруня:

– Пойдем, Матерь, народ уж сволакивается.

Поруня с погодками успели облететь не то, что Сарынь, а все Схлестки. Схлесткинцы сыпали, сыпали сначала к Поруниной избенке, а потом, прикинув, сколько их, двинулись на взверхье, к дому с оцинкованной крышей. Шли близкие родичи и дальние сродники, горячие и холодные друзья-сотоварищи, кто знал Его с детства и даже те, кто в Схлестках недавно. Шли разделить горе чу-жое – не забыть при этом свое, уважить Матерь – ублажить в себе человеческое, еще раз поставить в памяти Сына Ее и себя рядом с Ним, поглядеть друг на друга, на всех своих схлесткинс-

ких. Понимали особенно резко, что все ходят под луной, а косая, кого хочешь, сломит, даже Его вот нашла, лишь нащупала дорогу, незачем, кажется, было и помирать.

– Косит, стерва, – начинали суждение одни. – Никого не жалеет. Все желудочки да сердечники, все моторы, моторы.

– Время такое, моторное, – подкрепляли суждение другие.

Все несли в сумках с собой, кто что мог и имел: кусок окорока от освежеванного на днях поросенка, с десяток-другой яичек, варенных вкрутую и сырых, обломок пирога, банку соленых огурцов-помидоров; у мужчин бока топорщились от бутылок. Принесли из соседних дворов скамейки и стулья, сдвинули столы, все расставили, только сели-расселись, как, глядь, в дверь еще один воот с такой бутылицей мутной.

– Куда родимец тебя? – замахали на него оглядчиво. – Прешь, ровно как самосвал.

– Все свои, все свои, – метнулась Поруня к двери и увела опоздавшего вместе с его стеклянным баллоном на кухню.

«Все свои, все свои»... Персонажи, герои из книжек, из фильмов. Вон того учителя, без руки, Он взял в рассказ целиком, лишь фамилию чуть подправил; этой военно-лихолетней судьбе не позавидуешь. А вон ту, Любашу, и эту вон, Антонида Кирилловну, связал в одно, соединил несоединимое: та предана мужу, зато дети заброшены, а эта, залетка, всю жизнь по дворам, а ребятишки все, как картиночки... Персонажи, характеры...

У двери сидит Гриша, Белый Лебедь. Только Поруня наклонилась с бутылкой к его стакану, а он стакан на ладонь и в стакан из своих арсеналов.

– Нельзя, Поруня, себя ломаю. Вот Ему зарок, знаешь, дал. – И показывает глазами на стенку, а на стене – Он, Материн Сын, ямка на подбородке. Вроде как пригрустнувши, вроде как из левого глаза влага навывкате; Федосовна постаралась, портрет из библиотеки принесла. «Думалось ли, Сынок, что по Тебе будем тризну править, вот так висеть будешь Ты у себя на поминках?» – сидит Матерь недвижимая, черная, в черной своей шалинке и смотрит прямо в глаза напротив, в глаза тем, кто справа, кто слева. Они не

выдерживают тяжелого взгляда, угибаются в сторону. – Думалось ли, гадалось, Сынок, что от нас будет столько ниточек к людям, от людей столько ниточек к нам? У каждого в жизни всего своего хватает, а вот пришли подставить плечо, облегчить материнскую ношу... Персонажи Твои, земляки, люди как люди, как все...

– Спасибо, родные, – поднялась Матерь, – что пришли помянуть мово Сына. Он не может, – повела она по портрету взглядом, губы дернулись, дрогнули плечи. – Он ничего уж... не может... сказать...

– Он сказал свое, – зашумел народ. – Он свое выразил. Помянул наши Схлестки на всю страну. Помянем и мы Его, добрые люди, Он того заслужил.

Кусок не лез в горло, потянулись руками к еде просто так, по привычке, потому что выпили по капочке, захрустеть надо, по приличию закусить. Но вот по столу расстелился шумок. Сколько голосов, сколько лиц – все свои, все родные, друзья Его схлесткинские. Среди общего гуда Матерь чутко выбрала чей-то голос: «Чекан помер, ишь, как жалкует». – «Ить Сын же, – остановили тот голос сразу с обеих сторон. – Сын единственный». И все для Матери утонуло в общем русле разделенного горя. «Памятник Ему хлопотать надо, памятник в Схлестках, – слышалось Ей отовсюду. – Пусть стоит принародно, Он того заслужил». То в одном, то в другом конце стола стали вспыхивать разговоры о Нем, Ее Сыне. «Не переборчив в еде был, нет, – говорит Матерь вправо от себя, к Ней прислушиваются. – Беляши не сильно любил – больно жирные. Любил пирог из тертой картошечки с луком, вот любил! Бывало, приедет из Москвы, тут же: мама, мне любимые... Манты любил – не жирные, из говяжьего мяса. Только делала малыми порциями, у него же желудок... Он желудок на флоте себе посадил. Плавали-плавали, а до берега все далеко, а море все бушует да бушует. А у него аппарат этот, всем управляющий, ну как у космонавта, плохо работает, никак не привыкнет, ну с души, ну болеть. А у них там где-то бочка стояла с селедкой. Съешь селедку – полегше, съешь другую – еще легче. Так соль желудок и съела, язва исделалась. Уж я Ему всякую рецептуру:

Сабуровское поле и меду, и масла, и барсучьего жиру. Только мед особый надо, из первоцвета. Все прилагала, чтобы залечить. Время трудное было, где масла достать? Доставала... Желудком болел, а от сердца сгиб...»

Катится, катится разговор, с еды переходит уже на другое, на третье и четвертое.

– Боцман Его первым заметил, – говорит Матьер тем, что по левую руку. – Прибыли на корабле своем, куда надо. Остановились, где надо, дали концерт. Боцман похвалил Сына: «Молодец! Учиться вам надо по этой линии. Способности есть – дело пойдет»... И пошло, покатило, вот дошло до чего... Все писал из больницы, как ты, мама, советуешь: может, съездить на курорт подлечиться? Подлечись, говорю, подлечись, милый. Только вышел из больницы, еще шаткий-валкий, а тут Ему один режиссер: иди, снимись в моем фильме, в главной роли только тебя вижу. А потом к тебе всем табором, снимем твой фильм. А у Него, Сына-то, была давняя думка запустить свой главный фильм про героя из героев – про Степана Тимофеича. Группу надо всю собирать – актеров, операторов, осветителей, а все лучшие нарасхват, а тут и собирать не надо, готовая группа... Вот и согласился, Сыночек мой миленький, мой жалконький, да зачем же ты согласилси-и-и да покинул всех Ты нас, обездолил Матьер свою, детишек своих осироти-и-ил?..

Успокоившись, Матьер сидит ровно-прямо, боится сорваться, пустить себя под откос: что же тогда за столом-то станется, расстроится весь разговор о Сыне, обо всей Его и своей жизни здесь, в Схлестках, среди земляков. Сидит и Сама корить никого не пытается, только слушает тех, что справа и слева, прямо против Нее.

Едят полегонечку, полегонечку выпивают. Поруня с погодками-подружками носят вдоль стола миски с дымящейся цельной картошкой, то у этого, то у другого останавливаются за спиной. Разговор гудит заведенно, как в пчелином улье. Лишь время от времени прорезаются голоса, чтобы тут же затонуть в общем рое-гудении.

– Больше всего при прежнем режиме тут у нас боялись «железки», – выделяет Матьер голос самого старого человека в Схлест-

тках – деда Прокопия. – Придет «железка», говорили, появятся жулики, другая жисть грядет. Мужики приходили сюда издалече, с малоземелья, приходили на разведку, землю смотреть. Идут-идут ровной, как скатерть, степью, пока не наткнутся на Крутунь-реку да на горы. Поднесут обществу пару ведерок очищенной – бери, говорят им, земли, сколько хошь, поселяйся. Ну, с этими ясно – свои мужики, на телегах, а вот жулики поездами...

– А вот, помнится, мы с Ним, – кивнул на портрет Сына дружок Его, с кем вместе в классе учились, Александр Стародубцев, – в первый раз в город попали. Город большой, людей много, и все куда-то бегом, всем некогда, друг дружку, выходит, не знают. Пришли на базар, стоим глядим, интересно: сколько честных, а сколько жуликов? А потом идем по наплавному мосту, а мост провисает да качается, да скрипит. А Он топнул вот так ногой, уставился в пожарную каланчу и говорит: «Вот кем буду – пожарником! – Да зачем, говорю, тебе? – Как зачем, на каланче стоять, весь город видеть, каждого различать, а жуликов из пожарной кишки поливать».

– Так и сказал, из кишки? – интересуется дед Прокопий и трясет седой бородашкой, смеется.

– Так и сказал.

– Мог сказать, этот с детства был прыткий, за словом в карман не полезет.

«Всю жизнь к городу привыкал, – глядит на портрет Сына с напряжением Матерь.– Сколько надо всего согнать с себя деревенским, чтобы зацепиться. Все приглядывался, сколько в городе Азии, как звучит в нем Европа. В городе, говорил, есть музеи, концертные залы, театры, а у нас в Схлестках – свое есть, и все это должно идти на сближение, навстречу друг другу...»

– А мы с Ним еще пацанами пошли по малину на остров, – из угла подает робко голос Паша Калачиков, другой закадычный с детства дружок Сына, но его услышали все и затихли, – а вальдшнеп хор-хор-перехорх из-под ног и туда-сюда над травой, низко-низко. А Он тогда и скажи такое, что только сейчас понимать

начинаю: на всех крышах по Образцовке торчат, вырезаны, петухи, а на одной Илья Муромец поднял руку, глядит вперед – это искусство. Богатырь дорогу ломит...

«Сколько люди помнят о Тебе, – умягчается сердце Матери. – А я все не могу войти в память, совсем стала плохая... Да вот еще письмо Твое. Заботушки у Тебя хватало, а помнил, Сынок, и о Матери. Вот оно, строчка в строчку:

«Мама, родная ты наша! Здравствуй! Писала, что собираешься проситься из больницы домой. Мамочка, надо бы полежать. У меня дома все хорошо, работаю. Болит душа только, что ты нездорова. Скоро уж начну работу над «Степаном». Выздоровлявай, родная. Господи, дай тебе здоровья!!! Спроси врачей, может, чего-нибудь нужно, какое-нибудь лекарство, спроси».

За столом снова тихо. Только и слышно, как вилки скребут по тарелкам да ветер залетает в фортку с Крутунь-реки. Поднимается с рюмкой Федосовна – темноруса, мягка лицом, волосы гладко зачесаны.

– Много читано о Нем, перечитано, – начинает она замедленно, с затрудненным дыханием, преодолевая себя. – Говорили иные, Он, как крапива жгучая, нелегкий в общении был человек, редко кому открывался. Да ведь берег себя для дела – для бумаги и ленты. И талант Его чист, как наши реки в истоках. И выносил все свое на суд людей, не страшась суждений. И болело за все Его сердце, изболелось вконец... Город принял, поднял Его, в городе Он остался, лежит... Сколько работал в архивах, с документами, все готовился к главному фильму о Степане... Мы гордимся им, мы... – Голос у Федосовны сорвался, она махнула рукой, присела.

– Все просил меня вспомнить ту песню, – скривилась Матьерь. – Какую песню, Поруня? Ту, что записывал вас тогда на магнитофон, ...скрывался месяц в облаках.

На ту зеленую могилку

Пришла казачка во слеза-ах, – ахнув, завершила Поруня. И вдруг потянулась всем своим сухоньким тельцем, качнула птичьей головкой да провела длинным взглядом по бабам-подружкам,

начала одиноко, как звенит березка-сухостволица, что осталась стоять одиночкой над обрывом, над речкой Федуловкой:

Зачем калинушка

Увяла горьки-я-я?

Подружки ойкнули, оттолкнулись от далека далекого, где Крутунь-река где-то в самых горах начинается, помогли Поруне:

Зачем головушка

Поникла гордыя-я?

Сошлись и вздохнули, ударили все разом, все, кто был за столом:

Зачем скрутила так

Нас боль-кручинушка?

Мать глотнула воздушку, тут же закаменела, сидела тихо: новая песня, в первый раз слышима, откуда Ей знать ее, а словам уже почти год, поются бабами в Схлестках на мотив той же песни, которую Поруня с подружками напевали Ему на пленку.

Зачем сломалась ты,

Моя калинушка?

«Не уберег, Сынок, себя, сгинул, – чуж, как жутко забирают ввысь голоса, шевелит Мать выветренными губами. – Зачем я живу, а Тебеюшки, миленький, нет?» – всматривалась Она в Сыновний портрет, если б не люди, упала бы головой на стол и сердце бы разлетелось в куски, на осколки, на тысячи брызг. – «Не жалея, не убивайся так, не рыдай меня, мати», – шевелятся ответ-но Ей губы. – «Милая моя мама! Не беспокойся, пожалуйста, у меня ничего особенного, лег в больницу в связи с обострением язвы. Решил подремонтироваться, так как впереди огромная работа (три фильма о казаке Степане – года на четыре работы). Запрягусь, некогда полежать будет. А так все ничего, пока несет. Скоро обязательно приеду, сам измучился, сил нет, и вас измучил своими обещаниями приехать. После этой большой картины подумываю с кино связываться пореже, а лучше писать и жить дома. Не совсем, но подолгу, по году так... Тянуть эти три воза мне уже как-то не под силу становится. Мечтаю жить и работать с удовольствием на своей родине... Сплю и вижу, как мы, родная, с тобой вместе...»

Какие-то таинственные, неизъяснимые силы вдруг прорезали Матерь. Она услышала в себе голоса всех когда-либо живших в роду их – отцов, дедов, пращуров до седых, нескончаемых веков, голоса живущих ныне, сидящих сейчас за этим столом – и, обозрив всех, ясно увидела, осознала, что все они родичи, все из единого корня, только ветки, как в яблони разветвились, древо сделали кустоватым, а так они вместе все, единый народ. И Она впервые, как бы на месте Сына, задумалась о судьбе здесь сидящих, о землетрясениях, мировых потрясениях, об их всеобщей слитности, и люди поняли Матерь, плечами сдвинулись, пронзились едиными мыслями, а чувствами воедино сплотились. Горе кого не сдружает?.. Слова, как пчелы, роятся в Ней, сливаются в сказы, из сказов выплывает на стрежень Он, Ее Сын, и вопрошает, нахмурясь: «Где вы все, братцы, сколько тут со мной вас, казаков? Остальные где? Изредили дедовские свои села Красношкино, Суртайку, Верталицы, Образцовку?» И, сбросив златом шитый кафтан в волну, берет острую шашку, рубит ею со плеча: «А ну за мной с Волги, на землю отцов, пока всех нас не поглотила волна, не дадим себе изничтожиться в битвах, раствориться во времени не дадим!» – «Сынок, Сын», – тянет Матерь руки к Нему, и Ей страшно – слова непривычны, непривычна одежда Его, но ведь Сын же, Он дурного не скажет, ничего не сглазит, никого не обидит, болит сердцем за всех.

– Зачем головушка

Поникла гордая? – обмирает Поруня, и подружки ее обмирают, душу голосами вытягивают, так они гонки-высоки, так плачут по Сынам, что умирают раньше своих матерей. И вдруг бабы, взвизгнув, рассыпаются, как зеркало, вдребезги, осколки все разные, но об одном: вот ушел, вот уехал, горький, из родных стенок, чтобы взвиться орлом, только слово нашлось, только молвить бы, а Он взял да и помер...

За окно Матерь глянет – Он сажал ту сирень, приносил весной в дом охапками; переведет взгляд на дверь – ручку Сам с Белым Лебедем приколачивал; смотрит в угол, не оторвется – сколько сживали при ясной луне рядком-ладком, сколько беседовали...

И вдруг вопленицы как обрезались, даже уши тишиной заложило, повели протяжно-скорбно, на последнем дыхании: ой да ты, баба житная-пожитная, радостью питанная, горестью битая, Мать-всемать Ты наша людская, сколько всего приняла на себя, сколько всего воздыгнула на плечушки, опустила на сердце себе, удовольствовала всех своим Сыном, да старый ворон не каркнет даром: либо было что, либо будет, вот и закуржавились тучи черные, пональнуло снегу под полозья, порасщелило душу твою материнскую, ознобило и нас, твоих подружек. Ой да плачем-рыдаем мы, товарка наша, вместе с Тобоюшкой; смертушка смертная грянула, ой не мост она – не объедешь, хоть под кем колесо подломится, хоть кого выберет, приберет. Ой да всплакни, пролейся, туча черная, снеговым дождем, горючими реками, облегчись слезьми, укряжись, стой стоймя, верно-правда, не дряблая болотная сосна какая-нибудь – Мать наша, всемать Ты наша людская, че-ло-веческая...

При последних словах щека у Матери ушла в сторону. Мать посилилась что-то сказать, но за окном резанула молния, забусил в стекла дождишко, и уж тут же грянуло жемчугом. Перед Ней все жемчужится, гает, тучи сходят, и душе пролетно, завивает глаза белый, густой дым, а в дыму, как в тумане, Крутунь-река:

– Выплывите, выплывите, выплывите меня, люди!..

* * *

Мать шла вдоль Крутуни, слабая после только что перенесенного. Ей хотелось пройти по всем этим близким Сыну местам, взойти на погост, где лежат отцы-матери, и обрушить всю себя на горюч-камень Алатырь, под которым одна-единая наша прама-ть – земля, а уж она, бесконечная, за тыщи верст донесет туда, до большого сиятельного города, где лежит Сын, все Ее материнское. Только бы добраться до горюч-камня, только бы облегнуться, припасть, утопить душу в неодолимой тверди! «Сын мой, Сын, – шелестят Ее ссохшиеся губы, – я пришла к Тебе, видишь; слышишь ли, как угнездилась в сердце Матери боль, никакой бальзам не одолевает».

Она проходит Сарынью, улицей Побережной, у ворот на деревянных катках черные, просмоленные лодки, между дворами кое-где узкие проходы к реке. У заборов калитки и лавочки, над крышами асбестовые и кирпичные трубы, из которых утрами, Она знает, исторгается в небо горьковато-приторный угольный запах, а вечерами по заборам, как вот здесь, в уголочке, кем-то пишутся разговоры. Мелом, в столбик вот так: «Вера + Вася = любовь», «Я вчера сидела на лавочке, а ты не пришел», «Ты себя раз в году любишь и Петьку П.», «Вася, я тебя одного знаю, буду знать всю свою жизнь», «Приходи на камушки, будем любиться», «Дураки, в омут не упадите».

Вот и Поповский остров, между ним и берегом неглубокая, дно видать, протока Слезница. Когда-то здесь выгибался мостик, по которому на гулянье переходили на остров схлесткинцы, теперь все переходят Слезницу бород. Сын убегал туда на рыбалку и так просто с книжкой за поясом.

Поповский остров как парк для Схлесток, по самому краю – стежка, по стежке высоченная мята, крапива жгучая, тысячелистник – и все могуче, листовенно, вода везде, влаги хватает. И топольки по поляне, рябина горькая, тополя в пять обхватов, из одного корня сразу два ствола – один помоложе, уже догоняет брата, у обоих один берег, одна нанесенная Крутунью почва, вершины обоих братьев сомкнувшись, теряются где-то у звезд.

За зеленой зарослью Матерь слышит другую протоку – длинной, многоводней. Ишь, как разговорилась, перепадая, катает на перекате цветную гальку – переливчато-женский голос: бьется на перекате о камни голос пониже, крупнее, сипловато-мужской, часть воды уходит в затон, затихает, часть идет в основное русло, на тяжелые, обомшелые скалы-осколы, и граниты гудят, и все звуки, сливаясь, создают этот говор, неумолчную, привычную, сызмала родимую песню Крутунь-реки. Стоит в ушах, налагается на эту песню другая – Порунина, голоса всех подружек, слышанные только что там, на поминках; нала-гаются звуки другие, живо все кругом, все живет: топор тюк-тюк-тюк – где-то строят, раскри-

чалась курица – яйцо снесла и всем о том, всему миру вешает, прострочили по стежке мопеды, а на них мальчишки. И весь берег в ключах, и ключи в синей глине, Крутунь-река сине-белая здесь, ледяная, как несет, как крутит все аж до того дальнего дымковатого берега, на котором березки со спички. Он въезжал сюда на лошади с бочкой, черпал с краешка воду, вместе с ведром, Крутунь стремилась вырвать плечо; здесь ловил чебачишлек, а поймал налима, обежал пол-Сарыни, оделяя кусками дворы. С большой водой вниз теперь скатываются чебачишко, пескарь, гольян...

Матерь наклонилась, ковырнула из синей глины красноватую гальку – с кулак, надтреснутую, в кровеносных прожилках и посторонилась: прямо на Нее пер по стежке парень в кримпленовом новом костюме, пиджак через плечо, одна штанина закатана выше другой, русый и круглолицый, еще не обстуканный жизнью... Как несет река в этом месте! Недавно стал тонуть мальчик, только недавно паспорт вручили, за ним кинулась девушка, за девушкой еще мальчик, и все трое... На том, низком берегу мигают сюда огоньки. Он, бывало, кричал, призывая лодку отсюда, к тому берегу. Сколько случаев, сколько в жизни всего, а Сына нет...

Матерь прошла Поповский остров, поднялась к Плоскуну, где на полгоре, среди пышнотравья, выделялся обсадкой их старинный общесельский погост. Как поселенцы-сарынцы положили первого почившего, так с тех пор и предают всех здесь земле.

Ноги сами несли сюда Матерь. И чем ближе к вечной обители, тем в груди стучало сильнее, слабели колени, душу схватывало: как будто и в самом деле вот-вот увидит могилку Его тут где-нибудь в лебеде или жгучей крапиве, дорогую могилку.

Она представилась Ей так живо, во всех своих мельчайших подробностях: глазами на восход, с березкой у изголовья, где-то поблизости от того острого горяч-камня Алатыря, который с незапамятных времен лежит, чернеет в центре погоста и на который Она, дай доберется, как обрушит себя, так и не встанет, не захочет подняться, дожди вымоют ее белые косточки, солнце высушит те дожди, отлетит в высокое небо душа... Она оберну-

ласть и с полгоры внизу увидела Схлестки и город в дымке за Крутунью-рекой, и всю Россию до ее нескончания, – с Востока по западный край, и сердце Матери опять подтолкнуло это самое прошлое. Вот оно, то Его последнее письмо, пришло как раз перед нехорошей такой телеграммой. Писано красными чернилами, вот:

«Мама, родненькая моя!

Я жив-здоров, все в порядке. Вот увидишь в картине, на лицо даже поправился. Все хорошо, родная. Мама, если с бальзама тебя слегка расшибает, что прислал тебе от сердца, он на четырнадцать травах, то попей на ночь, попить его надо подольше. Вреда никакого... Дай бог тебе здоровья! За меня не беспокойся, я серьезно говорю, что хорошо себя чувствую. Ну, обнимаю тебя».

Сжавшись вся, Она прошла через липы и вошла в полумрак. Грачи на липах завозились и гаркнули, Она вздрогнула, и слова во всем этом красном, которыми только что наполнилось все в Ней, отлетели, очистили память, чтобы освободившееся место тут же заняло другое: лицо мужа встало неожиданно перед Ней. Как и Сын, мало пожил, ушел рано; как и Сын, тоже лежит не здесь. Другие, пока молодые, себе жизнь устраивали, а Она отдала себя Ему, Сыну, воспоминаниям, недаром говорят, отдавай детям то, что ты хочешь от них получить. Оба ушли не поживши, почему же иные живут и живут, заживаются, год от году только кондовеют, крепнут, а другие не разбойники ведь какие-нибудь, не супостаты, нужные люди, а уходят? Если бы пожили, задержались, разве бы жизнь от того ущемилась, жиже стала, окривела бы правда? Почему же так часто уходят самые лучшие – совесть каждого, наша общая совесть?

Скорее открываются у таких, что ли, раны, за всех болят, за то, что свершается рядом и дальше-дальше, по всей земле-матушке.

Вот здесь лежат отошедшие – при жизни врозь, а могилками близко, при жизни близко, а могилками врозь. Но если всех нас держит по эту сторону что-то одно, то и всех увело по ту сторону тоже одно... Как тихо, какая стоит тишина. Вечная. Все свои вопли-крики, суету-дела оставили они за чертой, ничего туда не взяли с

собой. Первый шаг ребенка – от матери, к людям, шаг последний – сюда, а между ними – вся жизнь. Сколько стоит поднять человека, сколько сил и седин, а сюда – одним шагом... Здесь лежат, как жили-дружили, как мирились и ссорились, перепутаны только годами, все равно по слоям. Жизнь кладем за завтрашний день, а на кладбище все, как вчера: церковка, камни, кресты, кое-где железные звездочки, словно капельки крови...

Вопль Порунин сверлил душу, перекрывался многоголосым хором Крутунь-реки, едва тлелся меж ними Его, Сына, голос. Мать огляделась, словно чужая здесь, потом вся подобралась, укрепилась внутренне, двинулась узкой стезей меж оградок к центру погоста. Или взрывом в уши ударило – строят тракт, уширяют дорогу в горы, торный Граевский тракт, или громом с неба рвануло, плещут сухими саблями молнии. Только глянула Она с полугоры Плоскуна, а тут все, как было, все навечно: долина, река, вдали Богдырхан, облитая золотом гора, ниже куржавятся тучи, как бы ни низали молнии, ни гремели раскаты, пересилит их солнце, если хочет того Богдырхан. Так все быстро-течно, особо эти сухие ярко-белые сабли над головой; из сабель этих, говорил Сын, собирается энергия всех живущих, а уж ею движется жизнь.

С подножия Богдырхана сваливались тучи, засвежело, видно, пролился дождь.

Мать отвлекала себя на посторонние мысли, а голос Порунин стоял у горла, сжимал грудь, не давал продохнуть. Идти вперед было страшно – на погосте, где лежит Ее мать, было что-то не так. Сын жил, так об этом даже не думалось, и вот Его нет, и Он как бы мог бы лежать вот здесь и вот здесь, где отцов отец, дедов дед. Он и лежит тут, Она это знает, дай придет, обовьет телом горюч-камень и под камнем услышит Его.

Серораморный столб крестом, на кресте вязью церковной: «Здесь покоится прах преподобной схимонахини Асенефы. Мир вам, честные люди». С гранитной плиты, из обвислой травы мрачно-вато глянуло: «Мы лежим, а выживете, мы вас ждем, и вы придете». «Придем-придем, батюшка», – вздохнула Мать и свернула в

боковую аллею, на молодое кладбище. Ей хотелось провести годков-сверстников Сына, кого прибрало перед Ним в последние годы. Уже и таких немало, не дожили своего. С коими вместе Сам гонял лошадей в ночное, читывал книжки. С коими сиживал на лавочках по Побережной, а потом уходил на камушки у обрыва, к Плоскуну-столу. С коими, это когда уже приезжал из института, засиживался до рассвета, читал, повторяя свое, размахивал руками до крика, все допытывался: ну, как прохватило? И вот теперь иные уж тут... Все мы в ту сторону смотрим и видим там всех, какие были до нас. Уходят каждый раз и не знают, кто и что будет за ними, можно только предчувствовать, кто и что будет уже после нас...

Мать остановилась: из-за крапивы с фотографии на Нее смотрело знакомое лицо, подошла поближе – челка на лоб, это Вася Куксин. Одногодок Сыну или капельку позже явился на свет. Учился в своем институте, поехал с отрядом где-то комплексы строить, командиром был, на кедр полез перед всеми за авторитетом, а веточка и подломись...

Мать двинулась дальше. Грачи граяли в спину, забивали уши, Она снова начала слышать сердце свое. Мать сунула левой рукой прядь под шалинку, придержала грудь правой. И снова сбоку, за низкой оградкой, качнулась крапива – жгучая, длинношеяя, полыхнула зеленым под алую ветку рябины. И такой привычный, почти родной взгляд – Леонтий Попов... «Любимому сыночку, ушедшему без времени...» Мать не могла стоять, двинулась дальше. Этот и вовсе свой: вместе с Белым Лебедем появлялись в их доме. Сын с ним спорил, но, видела Мать, Сын его любит и спорит не потому, что хочет поссориться, а как бы с самим собой разговаривает, проверяет себя, укрепляет себя, прежде чем пойти на какое-то новое дело. «Вели съемки в селе под Владимиром, – рассказывал Сын. – Зашли с другом в клуб, а билеты не продают. Дай, говорят, с десяток хоть наберется. Друг на меня: «А ведь это автор кино». – «Что же вы раньше-то не сказали, – вскинулся киномеханик, – я бы паблисити дал, объявление выкинул». – «Значит, не дошел еще до народа, не знают, – возражал Сыну Леонтий». – «Не дошел, – вздыхал Сын. – Так

уж вышло к сорока годам. Ни городской еще, ни уже деревенский. Хреновое положение. Одна нога тут, другая там. Плюсы-флюсы... И мысли приходят разные. Не только о деревне, о городе – о России. Сколько радости недополучили люди из-за того, что не гото-вы еще понимать некрикливое, серьезное искусство. Грустно только, что за этим «разумным и вечным» надо уходить с земли отцов и дедов». – «А ты по моги им, – стоял на своем Леонтий. – Ты дай возможность им разобраться, дай образцы...» Говорят, и в городе, на автостанции, Леонтий стоял вот так же упрямо против троих с ножом, когда те подошли к женщине и все убежали... Леонтий, Леонтий, друг-товарищ Сына...

Изволоком, разбито как-то двигалась Мать к центру погоста, а за Ней – оглянуться боялась, даже зябко спине – кто-то словно бы по пятам, по пятам шел. Все эти могилки, утешая спокойствием, вливались в Нее бальзамом и расшибали своим утешением. В ушах жили всякие звуки – от звона кузнечиков до громов на Богдырхане и одиночного голоса Поруни там внизу, в Схлестках. Да вот же, вот совсем свеженький холмик, заброшенный венками, еще не успели выцвествить ленты: «Майору Рябцеву от сослуживцев части», «...от схлесткинцев-односельчан», «...от схлесткинских школьников». Его останки привезли, писала Федосовна, на вертолете, прилетели солдаты и офицеры, давали салют. Сын его особо не знал, тот служил далеко, возле самой границы, наезжал нечасто, некогда. Это не из тех Рябцевых, что управляющим здесь в отделении, а тот Рябцев, у которого мать, как и Она, век провдовствовала, умерла года три назад. Да вот же лежит и сама... Ах ты, боже ты мой, сын – герой, а мать не поплакала даже, прежде сына ушла...

Мать взялась рукой за березу, губы подпрыгнули, глаза наполнились влагой, и вдруг ноги сами собой сделали шаг, и Она, как подкошенная, рухнула на венки, обхватила их руками.

– Ах ты, миленька-ай ты мо-ой, – заголосила, запричитала Она, – ох ты, бедненький, родимый ты мо-о-о-ой, да и в мирные-то денечки положил ты за нас за всех жизнь свою молодую, да и некому по тебе пролить слезы горькие, выплакаться некому,

Сабуровское поле
миленька-ай, по тебе! Крылышки у соколика примахались, денечки золотые отсчитались...

Венок впивался в щеку чем-то острым, а Она в полупамяти забиралась руками в венки, добиралась, докапывалась и наконец добралась до земли сырой, заскребла ее пальцами до боли и все нажимала на твердое пальцами: ей была нужна сейчас эта боль. Рядом гаркнула птица-ворон, Матерь и не повела головой: ворон взмыл с обломком пирога – приносили на поминки – и как провалился. И тогда уж яснее ясного прочертился в Матери голос Поруни, и хором подружки-сверстницы совсем близко тут, за погостом, так и ведут за Ней плачем своим:

...скрывался месяц молодой.

На ту зеленую могилку

Пришла казачка во слеза-ах...

– А-ах, – Матерь приподнялась, оперлась на коленки и встала. Перед глазами высилась стена, пелена серела перед глазами, и Матерь двинулась в пелене, как во сне. Слева должен быть выступ железной ограды, справа – тополь шершавый, за тополем – камень. Горюч-камень. Валун-вековик Алатырь. Сейчас он покажется из-за той вон ограды, такой, каким Она его знала всегда. Не полы черной одежды – вороновы крылья вознесут Ее ввысь, и грянется Она оттуда, и все в Ней зачерствеет, Она сама станет камнем и им останется здесь навсегда. Куда Ей отсюда, тут старой самое место; лишь бы Его дети, внуки бы жили. Жили бы, жили бы внуки...

Она толкнулась грудью о камень, припала к нему, облегла. Еще заостреннее он стал с той поры, как схоронила Она отца: каменюку щербит-выщербляет людскими слезьми. Ущелья-протоки, протоки-бороздки, о каждую думой обрежешься... Где-то грохнуло – прокатилось вершинами эхо, снова грохнуло... Это мирные взрывы, – уширяют дорогу, горный Граевский тракт... Этот камень был просто камень – не обдут ветрами, не промыт дождями, ослепительный, как только что выпавший снег. Но угораздило ему тут оказаться, где скрестились пути-дороги, где людские потоки, бросаясь с востока на запад и с запада на восток,

здесь безлюдели в исторических сечах. Тут же после разводили костры у камня, укрывались за камнем от ветра. Но совсем не от дыма почернел он – обхвачан, оглажен грудьми материнскими, укрыт чернью-скорбью по пропавшим зазря сыновьям, и там, где черкнуло о камень острое сердце, остался рваный след, камень белый, сахаристый, как снег.

Облегла Мать горюч-камень, распласталась, никак не войдет в память, что у Нее под одной рукой, что под другой. А под правой рукой у Нее – рваная борозда еще от степного кочевья, от булатной кольчуги скорбящей хранительницы очага, родившей того самого воина-русича, какой был первым зарыт здесь, на этом погосте. Прямо перед глазами у Матери тонкий, длинный росчерк по камню – от латунной пуговицы с царским орлом, от студенческой куртки на плечах старенькой донюшки – вот и все, что осталось от Сына. А под левой рукой у Матери обломан краешек да затерт до блеска и Ее одеждой – черной шерстью с лавсаном. Холодит руки камень, в грудь толкается: то растет из земли, поднимает Ее над погостом, то швыряет, как в могилу, а сам опадает. Так и дышит ритмически, с сердцем так и живет: вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз, до отказа.

Сколько связано с ним, с этим камнем, и подумать страшно, сколько раз пытались его уничтожить. В рваную борозду наливали водицы – не расколело морозом. Окольцовывали костром, поливали из проруби – не рвануло. Уже после гражданской подложили бандиты под него фугас, отрубили на камне голову сельсоветскому председателю Феоктистову. Кровь его все смывали, а она не смывалась, попытались камень взорвать, да отбилась от него всего ничего, лишь исподнизу, а щербину затянуло упрелой травой. И лежит, вобрав в себя слезы и кровь, тот плакучий камень, камень всех матерей.

...на ту зеленую могилку

Пришла казачка во слеза-а-ах...

Порунин голос да хор подружек Поруниных, которых Сын записывал в свой последний приезд, не сходили с памяти, держа-

лись где-то там, по-за кладбищем вместе, то набирая силы, то изнемогая вовсе, в такт приливам-отливам сердца. Перед глазами Матери перемелькали могилки, – летчик Рябцев с лицом Сына возник вдруг, стоял перед Ней и клонился долу, клонился...

– Миленькаи, жалкинькаи вы мои-и-и, – упала Мать на камень так, что порезала щеку, со щеки на горяч-камень капнула алая капля. – Ой да кто же вас пожалеет, кто вспомянет вас, ой да душенька моя горемычная, мои родненькие, исстрададась-изнемоглась...

– Не плачь, не убивайся так, Матьер! – сомкнул летчик суровые брови.

– Ой да не колышутся дыханием травы буйные, – замкнула Она камень руками. – Ой да не текут краснолесьем пышные облака, солнышко ясное не сияет, бурями разрывает... Облечу все места, обкукую кукушечкой... Ой да что же мы мать свою, деревню родную спокладаем-спокинули, все в свет ломимся, отлетаем с калины-рябины по Крутуни кондовыми листьями! Эх, да кабы не совестливыми, простоватее были, легче себя бы несли. А за все надо платить, за все и платим по самой дорогой мерке: инфарктами, сосудами, всякой чернью в организме. Разошлось-разъехалось все, и не в стык тело с духом, и в конце горяч-камень. Раньше семьи были, как ракеты многоступенчатые: деды прививали и правили, все в жмене были, все свою линию знали и помнили. А теперь оборвался листок, помотался по белу светушку, от рощи березовой отлетел и до пахотного не долетел, лежит где-нибудь на асфальте, по которому ходят. Вот и в Схлестках наших сколько дел, сколько неперделанного, а люди все уезжают, бросают отцовское... Раскидало по миру, засуетило. Звери лютые, волки алчные скоро будут дорогами править, не давать проходу А потомочко опять на сырой корень да за плуг, да все сызнава?.. Я ведь знаю, сынки, ушли вы попытать себя, разве вас надержишься? Не с одного цветка пчела мед берет. А как мед наядренеет, так чего не задуматься? Вот сыновья из дому и глядят. Жизнь текуча да вся-то на ваших костях: заводы строите, книжки пишете, в небе летаете, бьетесь-сражаетесь за лучшую долю; дай за вас покричу, поплачу,

чтобы камень этот пересигнули. Ой, да наперед знати бы – заслонила бы каждого от ветра знобкого, глаза глазливого, слова торопкого. Ой, да наперед видети бы – пособила бы каждому молодому, ретивому всем своим материнским. Ой, да наперед слышати бы – отвела бы рукой от каждого стрелу ядовитую, смертную...

Кто-то кашлянул совеем близко. Мать оторвала голову от горячкамя: прошли двое старичок со старушечкой, оба в черном, подпирая друг друга, на Нее и не глянули. Незнакомые, чьи-то, но коли здесь, то свои. Простучала копытцами с косуленком косуля: снизу, видать, от березовой рощи, с Федуловки; поглядели на Мать топким взглядом и ушла, полынок не качнулся. И тут совсем явственно, морозко как-то, повис в редком воздухе голос не то с автобуса, с тракта, не то Сына Ее – сыночка: «Где ты-ы-ы-ы?..»

– Зовет к себе, – колыхнулась Мать на камне. – Пока молодые, все мечутся, больно много надо всего, за деньги себя не жалеют, нет. А взнудали бы себя, призадумались бы, и за ними ведь кто-то в затылок стоит, и они кому-то отцы... Ой, да расколись ты, доска гробовая, да завейтесь вы, ветры буйные, да взлетите ввысь вы, соколики, да утишьтеесь вы, думы звончатые! Дева Зорянка, помоги!.. Молодая жена плачет до утренней росы, сестра – до золота кольца, а мать – довеку...

Запищал комарик над ухом, вот нудит, вот прилаживается, востер. Положил Матери кто-то руку на плечо – снял комарика, опустил на камень, повела Она головой: летчик не летчик, Сын не Сын, глаза тяжелы, провальны, щеками заросший, телом прогонист, значит, не день – не два идет по земле.

– По ком плачешь, Мать? – наклонился он. Она смотрит – уже не он, вроде тот старичок, что пришел сюда со старушкой. Поднялась Мать, стоит на коленках, а по голове чем-то долбит, как долотом, – впереди пелена, туман сизый. Пригляделась получше – опять тот щекастый, рубаха в синюю, цвета Крутуни, клеточку. И тут вспомнила, что Она уже старая, дальноркая -- все очистилось перед Ней, далеко видать стала: город ближний и далекие города, хутора и деревни, и то самое место священное, где лежит сейчас Ее Сын.

– По поколению, – молвила Мать.

Мать проснулась рано и поняла, что сегодня что-то должно произойти. Если не произойдет, сердце, переполненное вчерашним, лопнет, а что человек без него, что без человека этот маленький, с кулак, беспокойный комок? Лежала и ждала, но ничего не происходило. В жизни, если подумать, не так уж часто что происходит. Все ждем, вот-вот что-то произойдет, а мы просто живем, хлеб-соль жуем, кабы не дырка во рту, и того бы меньше что-то происходило.

Поскребли ногтями в окно. Мать отволокнула занавесочку: кто бы это? Поруня. Чего тебе спозаранку, плетуха плетеная, душа неумная?

– И молчи, и молчи, Мать, – поставила глаза на нее Поруня, сама не может никак раздышаться. – Артисты прикатили, на «пазике», проследовали в кинотеатр. Дружки твоего Сына, среди них, сама видела, тот Журавлев. Говорят, вечер памяти будут устраивать, кино, в каком Сын твой сымался в последний разочек, будут крутить...

«Ну вот и произошло», – подумала Мать, но после того, что случилось год назад, все остальное для Нее было настолько мелким, что Она и мысли вначале не допустила отнестись к приезду артистов к событию, но извечное беспокойство натуры, привычка заботиться обо всех, кто бывал с Сыном дома у них, заставили Ее побыстрее собраться, выйти на улицу, двинуться к кинотеатру.

Вот и нет Его, Самого, а как бы рад был, как бы сразу метнулся домой, приволок бы всех к себе, не знал бы, где кого усадить! «А ну, мама, – засмеялся бы и ладонь о ладонь вот так жвык-жвык-жвык, ажник с ладони искры сухие, – испеки-ка любимых драников да поставь че-нить, промерзли ребята, с дороги». Она бы кинулась на кухню, а они бы как засели в Его комнатке на диванчике, как положили бы руки друг другу на плечи, так бы, кажется, и проговорили вподряд три дня и три ночи, пока уж не надоумило кому-нибудь пойти подняться на Плоскун-стол, проведать с высоты Схлестки... Журавлев тогда, говорят, себя клял, что такой несуразный: надо же ляпнуть Матери в Москве тогда, в аэропорту,

про цинковый гроб! Как хрястнулась Она на чьи-то руки, словно литовкой подкошена, а он, говорят, аж затрясся весь, растерялся.

Она тогда привезла в подарок золовке новину – кусок льняного холста, ткала Сама еще в детстве, да кусок все лежал-вылеживался до случая в сундуке. Вот оно и случилось. Думала, сгодится кусок, гроб на холстах опускать, как испокон велось в Схлестках, а опустили на веревках, сырой глиной метнули по горсти, заколотили по крышке сразу во много лопат.

«Приехал, бедненький, исполнил завет. Все говорил: мол, приеду, вот тогда поглядишь. Дай чуток дела разгребу, помянем, согласно обычаю», – подумала Матерь, потуже схватывая пальцами черную свою шалинку, и тут услышала впереди рев мотора: рычит, натужается, зверь. Подошла поближе, а это бульдозер, на бульдозере сродник Порунин под тополь подлаживается, бугры вокруг уже срезал, хочет и тополь смахнуть. Сердце у Матери так и захолодало: да ведь место не чужое – свой корень, дед еще по отцу доживал здесь под тополем в утлой избенке. Она, бывало, к нему прилетит, когда сердцу томко: весточки с фронта от Сына не получал? Может, тебе, старому, сообщает что-нибудь о себе в треугольном письме? – Да нет, говорит, не присылал пока что. – Она, бывало, ну кричать в трубу, звать хозяина на родную сторонushку. А Сынок, раз-раз-раз, уже на тополе, на самом верхшке. Сколько так-то лазал, все глядел – углядывал отца с фронта, не догляделся...

– Слышь, кум? – подходит Матерь к перевесившемуся через дверцу бульдозера механизатору. – Тополь нельзя, заветный он, этот тополь.

– Велено все сровнять, – махнул впереди себя сродник Порунин. – Дом на двадцать квартир будут ставить.

– Дом-то ставьте, – поджала Матерь строгие губы, – а тополь не трожь. Смотри, какой царь... Сын мой, Сынок, отца с фронта отсюда смотрел...

– Ну тада ясно-понятно, – прикрикнул из желтой кабинки Матери сродник. – Чай, не басурманы, не будем.

Встреча с бульдозером, то, что Она защитила тополь, успокоили Матерь, придали твердости, шаг сделался ровней, не вихлялись

ноги, как только что, когда вышла от Меркула Игнатъича. Проходила мимо школы – экую под березы взгромадили, трехэтажная, из серого кирпича, углядела свежую бело-зеленую вывеску, прочитала по свежине еще одну, нижнюю строчку – имя Сына, и в душу лучик от солнца плеснул, дальше шла уже с этим лучиком.

У конторы сельхозпредприятия приостановилась: показатели, жаркие краски, не пожалели кубового железа. В здании когда-то располагался райисполком, сколько раз, на Ее памяти, привозили и увозили район, сколько раз меняли хозяйственную стратегию – то молочное направление, то овощеводческое. Мать пригнулась, прочитала на стенгазете аршинными буквами «За урожаем», и лучик в груди подпрыгнул, заколотился...

Из конторы как раз выходил управляющий отделением Рябцев – «фином» был, инспектором в райфинотделе когда-то. Вот кто помучил Ее, вот кто кровушки, было дело, попил.

– Здравствуй, Мать, – уперся в Нее управляющий мелкими глазками.

– Здравствуй, Аникей Митрофанъич, – качнулась в сторону Мать, чтобы пройти побыстрее своею дорогой обочь его.

– Что-то больно торопкая стала. Как же, вы теперь де-я-тели...

– Я всегда такая торопкая, вся в трудах да заботах. Кабы лодырем была, вам была бы без интересу.

– Упрекаешь? Да ведь дело делал, работа такая. Какие финансы после войны, разруха, а средства давай. Метро строить, возводить высотные зданья...

– Так что ж, на моей иголке возводить, на моих «ришелье»? Обложил налогом, не продыхнешь. Каждый вечер крадучись под окно, жилы вытянул, раньше срока состарил.

– Дак у меня, Мать, тоже какое здоровье? Так, фантазия одна, видимость лицезрения, морда, говорят, кирпича просит.

– Так мне, Аникей Митрофанъич, такая-то жизнь за что? За труды мои, за эти вот руки? Говорила вам, отрыгнутся кошке мышкены слезки?

– Кто тебе Сына помогал определить в вожатые, кто рекомендовал? Митрофанъич. Перебиться дал в самый трудный момент.

Митрофаныч теперь редиска, нехорош теперь Митрофаныч. Возгордилась, Сына на ноги сама подняла. А Сына твоего, между прочим, поднимали на ноги все, каждый руку к судьбе приложил.

– Ну ты свою, спасибо тебе, приложил, век будем помнить... Можно бы-ло бы по осознанию фактора: так-то и так-то, мол, прореха в бюджете, помогите по силе-возможности, а то сразу налогом да по всей строгости. У меня до сих пор все трясется, как тебя увижу, ажник шерсть на затылке дыбом, вот как ты меня ухондокал.

– Вас таких уговоришь! Все сознание забываете, как касается денег, дела общественного. Вас, таких, во держать надо как!

– Как же ты, Аникей, мог на такой работе людей не любить? А мне Сын еще мальчонкой все, бывало: «Не плачь, мам, не плачь, он дядька добрый, только неловкий, не умеет делать добро, все у него нескладно». А тебя, выходит, чужое добро из себя выводило? Так, выходит?

– Да ладно тебе, прицепилась. Я к тебе с добром подошел, а ты меня сечь да еще в такой день. Дружки твоего Сына приехали, артисты, кино новое привезли, нигде, говорят, еще не показывали, на нас будут пробовать, как на собаках. В общем, сегодня в кинотеатре вечер памяти Сына твоего.

– Сказали уж, – обкрутила Матерь покруче вокруг шеи шалинку да так в своей черной шалинке и двинула дальше, по Схлесткам, к кинотеатру «Крутунь».

Только за поворот – тут нос к носу и столкнулась Она с Гришей, с Белым Лебедем.

– Слыхала? – спросил.

– Слыхала, – ответила.

– А этот что? – показал он уже в спину управляющему.

– Да, говорит, на комбайне этим летом ты больно уж намолотил. Теперь, говорит, не какой-нить... можно и на Доску клеить.

– Еще рано, – отмахнулся Белый Лебедь, – не нахожу в себе таких аргументов.

– Ну, ищи-ищи, – вздохнула Матерь, тут и дошли они до кинотеатра.

Глянули, а возле него автобус «пазик» стоит, люди крутятся. Объявленьице черным по красному, пишут: вечер памяти Сына... А Журавлева, друга Сынова, нет. «Где бы этого быть ему?» – забеспокоилась Матерь и вошла в прохладную глубину кинотеатра, в фойе. Со всех стенок на Нее глянули лица артистов, глаза, глаза. На самом виднущке, над дверьми, кто-то бил молотком, приколавывая портреты: Сын на портретах, незнакомый такой – в гимнастерке и в каске, а кругом самолеты летают, танки движутся, земля горит, люди насмерть стоят. «Боже ж ты мой», – замерла Матерь, и тут же тот, кто прибывал все это, бросился с лестницы вниз к Ней, и Матерь упала к нему на грудь. Щупает пальцами каждую выемку на плече, на спине, гладит каждую складочку, тянется на носочках, заглядывает в глаза ему – ну не Сын ведь, ну знает – не Сын, а как вроде свиданка короткая, огнеметная вспышка.

– Сынок, – сами дергаются плечи Ее. – Сынок ми-ленька-ай, Сынок жал-конька-а-ай, да дай я тебя огляжу-разгляжу, да дай я печальную головушку преклоню к тебе, тоску-кручинушку разволоку...

– Видишь, я приехал, мам, как обещал, – весь в Нее взглядом он – такой же ясноокий, голубые глаза, как и у Сына, у того, бывало, правда, то ласковые, то колючие, как елки голубые, что У Меркула Игнатъича во дворе, перед окнами в палисаде.

– Ну вот и хорошо, что приехал, вот и ладнучко, что приехал, не забыл одинокую, стылу-у-ю-ю...

– Ну что вы, мама, что вы! Я буду, если позволите, к вам иногда приезжать.

– Приезжай, милоч, дорогой, приезжай. Не забывай никому не нужную, старую.

И вот уже со всех сторон Схлесток потянулся к кинотеатру народ. Шли впервые вот так в кино не для смеха, не для развлечения – помянуть земляка. Уж помянем, как следует, по-человечески, коли не предали тело тут, родимой земле. Шли кто в черном костюме, в косынке, кто с бессмертником в руке – последним, осенним, кто с букетом листьев багряной рябины. Шли, вытягиваясь, выходили на площадь перед кинотеатром с главной улицы, со всех боковых пе-

реулков. Вышли, собрались перед трибуной и удивились, как тесно стоят – локоть в локоть, друг к другу, сколько их еще в Схлестках, не развеялись по городам, еще вот они, здесь, – крепкие, упористые, широкой работной кости. И, прежде чем войти в хоромное строение, каждый подумал, что вот приехали к ним сюда люди ради памяти их земляка, ради них самих, люди эвон откуда, из-за тысячи верст, а ведь что они, ихние Схлестки, если глянуть с тысячеверстья, – так, какая-то крошка на карте страны, и все они на этой крошке, как бы в доме одном, как семья единая, что ли, если глянуть на Схлестки миллионами глаз, всем народом, со всего этого тысячеверстья. И тогда схлесткинцы еще крепче сдвинулись, теснее прижались друг к другу да так, локоть в локоть, и вкачнулись на первый порожек, в парадную дверь.

В фойе на них, как всегда, глянула репродукция известной, еще древо-люционной картины: крестьянский хлопчик в лаптях, переросток, этакый Ломоносов, смотрит в дверь деревенской школенки, не решаясь войти. И тут все увидели Сына Матери, земляка, галерею фото из нового фильма. В воздухе стало тревожно, полыхнуло прошедшей войной...

Зал был хорош для Схлесток: мягкие кресла, стены обшиты рейками; прошлись олифой и закрепили лаком, оттого они солнечны, теплы. Такому залу позавидовал бы и город, трубы которого видать с Плоскуна, но теперь и там, возле химкомбината, приличный кинотеатр.

Схлесткинцы заходили и молча рассаживались, заполняя зал молча до самого дальнего ряда, старались не хлопать откидными сиденьями, но нет-нет, да где-то срывалось, хлопало, и тогда все с укоризной поворачивались на неловкого человека, все нетерпеливее ждали поднятия занавеса. Занавес был тяжелый – голубовато-серебряный бархат, в тон Крутунь-реке, гордость администрации, которая отпала за него когда-то несусветные денежки.

Все следили за занавесом и потому проморгали, когда на сцену, сразу из обеих боковушек, вышли участники вечера – постановщики, киноактеры, районное начальство – и расселись на невесть

откуда взявшиеся стулья со столиками. Зал гудел в ожидании самого главного: когда Сама, Мать Сына, появится там, на сцене? Но тут получилась заминка, Мать искали за кулисами, с ног сбились, никак не могли найти, а в это время Она сидела в первом ряду и, вместе со всеми, волновалась, чего там они мешкают? Артист Журавлев заметил Ее и к ней туда ринулся прямо со сцены, проводил осторожненько за плечи, усадил за свой столик. И все началось.

Седой, пожилой человек рассказывал залу о Ее Сыне, слова были хорошие, справедливые, но какие-то не такие, слишком уж выкатанные, как голыши, не подцепишься, а потому не свои. Мать прикрыла веки и слушала о Сыне как не о Сыне, а о чужом человеке, который жил когда-то, творил для искусства, а теперь не живет, не творит. А для Нее Он жил... «Образ простого советского солдата, созданный им в кинофильме, войдет в нашу сокровищницу...» А Ей представлялось, как Сын Ее, почему-то в лаптях, просовывается сюда, в еще приходскую сельскую школу, вдвигается осторожненько в зал. Мать пошире открыла глаза, чтобы Его разглядеть, косилась на боковую дверь – никого. Чуда не бывает, оттуда не возвращаются. И вдруг занавесь ворохнулась, в боковой двери появился Гриша – Белый Лебедь, шатнулся, хватнул пустой воздух, едва не сдернул наземь всю эту бархатную, выдавшую виды занавесь. Махнула ему: уходи, чего окологлазишь, давай на воздух, гляди как тут надышано. Сидела после, слушала, совсем забыла про молот, который уж с год как бил в Ней, буд-то по наковальне, готовый в один момент сокрушить Ее всю до тла, до изнемо-жения. Журавлев наклонился к ней: «Ну, Вы, мам, чего-нибудь скажете?» – «Чего я скажу, – угнула Она, – ну, чего такого нового, все про все знают давно, вся жисть прошла у людей на виду». – «Да нет, надо сказать, обязательно», – едва шепнул он Ей, как его вызвали говорить.

Говорил он ближе как-то, чем седой районный начальник, в легковатом сером костюмчике. Мать даже повернулась к нему всем обликом, тревога, вошедшая в Нее, едва только Она увидела «пазик» и всех друзей-товарищей Сына по киношному делу, с

каждым словом усиливалась, захватывала и Ее. Порыскала Она глазами по первому ряду, узрела лельку Сына – Меркула Игнагьевиича – там, где и оставила, рядом с ним место пустое – Ее место, и Она стала тшить себя надеждой поскорее убраться отсюда, пересесть туда, к людям. Каково это торчать здесь, как на нашесте, когда на тебя пялятся сразу столько-то глаз.

Что он делает с Ней, этот друг Ее Сына, артист Журавлев! Не словами – камнями огневыми, каленым чем-то швыряет в материнское сердце. Со вчерашнего приустало в груди, глуше сделалось, а теперь распалилось, горит – просто невмочь. Как сошлись они с Сыном, были душа в душу там, на съемках этого, Его последнего, фильма. Сын любил те широкие степи, говорил: «С этих мест отцы мои, пращуры; бунтарями были. В четырнадцатом томе «Истории России» по Соловьеву о них есть местечко. Должны знать, какого мы роду-племени, откуда идем, чтобы видеть, куда нам идти...»

– Он мечтал о Степане Тимофеевиче, Он готовился. Для этого, говорил, натуры у нас, интеллекта хватает, а чего не хватает – подучимся... Жадный был, однако, до знаний, как утка ряску, хватал эти знания...

Матерь слушает друга Сына, и плывет зал перед глазами. Так все вместе схлесткинцы, так все заодно! Что ни скажет он – вправо качнулись, что ни повторит – качнулись влево, вздохнет – прямо двинулись. Лишь в войну, помнит, было так же вот, когда враг к столице надвинулся, когда письма получали общие от мужей-сыновей да отдельные похоронки. Вот народ, вот глаза какие падучие, и впиваются, и жалкуют, аж глядеть в ответ топко!.. Сын рассказывал про институты: где же нам, деревенским, мама, за городскими угнаться? Там театры, музеи, миллионные библиотеки, специальные школы – сколько всяческого! А чего не хватит, отцы-матери репетитора наймут. А наш брат на себя на-дейся, на природу свою отроду-отродинскую. Хорошо, что нас много было, шли косяком – выбирай, а теперь, когда перебрали деревню, как теперь?.. Вот и фокус придумал, надел, Он, вроде как демобилизованный, гимнастерку и галифе, сдавал

сразу в два института – на актера и на историка, в оба приняли. Все писал, спрашивал: на чем, мама, выбор сделать? – А что по душе, сынок, на том и останавливайся. Не остановился, эвон куда шагнул...

Матерь смотрит на Журавлева, слушает зал. Почему хоть так получается, на каком повороте люди расходятся в разные стороны? Ведь друзьями с детства Сын с Ожоговым. Сын рискованный был, всего, кажется, ожидать можно, а Ожогин в достатке рос, тихоня, все исподтишка... Сын приехал, едва на порог, как стук-стук: милиция, полковник и лейтенант. Так и ухнуло сердце у Матери: неужели?.. Да нет, смеются, приехали в колонию пригласить, перед ребятами выступить. После фильма о судьбе человека, отбывавшего срок, ребята хотят автора послушать, из его собственных уст узнать. Ну, говорю, иди-иди, милоч, говори, коли этим поможешь. Ишь, как бедненьких крутит, завьюживает, жизнь всем чесу дает... После письма получала оттуда, из колонии. А за долгие ноченьки чего только не передумывала.

«Дорогая Матерь уважаемого мною Вашего Сына!

Долго не решался написать Вам, но все же набрался духу, пишу. Я из тех, кому не повезло. В настоящее время нахожусь в местах лишения свободы. Прошное вспоминать не хочется, и я живу надеждой на лучшее. Много размышлял в последнее время и многое, кажется, понял. И взгляды мои изменились, а также отношение к людям, к себе. Большую роль в этом сыграли произведения Вашего Сына, особенно фильм, где он рассказал о трагической судьбе человека, которого не отбросили в отбросы, а помогли, и он встал, поднялся, трезво стоит на ногах. Вот что значит товарищество, гуманизм... Вы меня извините, я пишу и так волнуюсь, что ничего не вижу вокруг, окромя лица Вашего Сына в этом его фильме, и все думаю, как оно так получилось, что учились мы в одной школе, один хлеб ели, а такие разные. Жена от меня отказалась, ушла, – конечно, кто захочет жить со шпаной? Это я не к тому, чтобы разжалобить вас, а к тому, что вы такого человека воспитали, мы все в отряде его книжки читаем, он нам помогает, он перед нами как бы живой. Вы не плачьте,

мама, в обиду вас никому не дадим. Напишите, как быть мне с женой и вообще, как мне жить. И если что не так, еще раз извините. Крепко жду ответа, как соловей лета. Ожогин».

Мать отвлеклась на минуту и слушает каждого, кто говорит со сцены, весь зал перед Ней – свои все, привычные, давние. Каждого знаешь вон от какого колена, насквозь. И мать с отцом знаешь, и деда с бабушкой, и братьев с сестрами, теток с дядьками. Да не просто знаешь, а кто за кем ухаживал, кто кому отказал, кто на дело годен, а кто скоморошничать. Сколько всего проходит перед глазами – как на Почетной доске перед Ней, вот они все на ладошке. Поруня в углу с подружками, Меркул Игнатъич и тот дед-ленинградец, с которым они вместе квашню затевали. Доярки, учителя, механизаторы – народ обнадеенный, с преданными руками, с прямою в душе, свойский. Вот они, земляки Ее, земляки Ее Сына, люди всяческих судеб...

Журавлев шагнул вперед, голос его оборвался, заставил Мать снова затрепетать.

– Вот последние слова Ее Сына, вашего земляка: «Благословляю тебя, моя Родина. Будешь ты счастлива, и я буду счастлив с тобой. И если я буду умирать в сознании, то прежде всего вспомню Родину, мать свою и детей».

И тишина. Зал, как струна, натянулся – так отзвенивает в ушах. Журавлев подошел к Матери, коснулся плеча:

– Может, Вам слово?

Мать повела взглядом вокруг, закрыла лицо руками:

– Сама живу, а Сыночка-то не-ет...

– Не надо, не надо, – зашумели из зала. – Все знаем. Знаем обоих и так.

Мать увидела Его на экране. Поначалу Она даже оторопела: так живо глянул Он с полотна. Мелькали лица, кони, танки, самолеты, слышались вы-стрелы, взрывы, были кровь и смерть, шло известное отступление по сожженной солнцем волгодонской степи, и перед врагом вставал Ее Сын со товарищами... Вот, оказывается, как там было, когда Сын еще был мальчонкой, во-зил воду с Крутуни в поле на «табачок», когда залезал на

тополь, поджидая отца, хоть раненого, без ноги-руки, но живого. Как Он был сейчас, на экране, похож на отца, на всю их отцовскую породу. До чего же синими, топкими, как вода в Дону, как волна крутунская, были у Сына глаза. И сколько же огня-полымя в них, сколько боли, смертей мечется, отражаясь. Вот Он отступает вместе со всеми выжженной степью. Идут, понурясь, наши мужья, детишки наши – сыны, оставляя родную землю. Вот Он оперся рукой о тополь, дальше немочно: а все этот мотор, надо было погодить сниматься после больницы, надо бы передохнуть! Вот Он долбит киркой и лопатой сбитую в камень землю, роет траншею, чтобы остановить танки. Отер ладонью испарину, гимнастерку одернул, а гимнастерка сырая от пота, белая, колом от соли.

– Эх, да кабы они все это играли, – шепчет справа Матери Маркел Игнатич, – а то ведь взаправду, всерьез. И землю, черепушку эту, кирками, и марши-броски по полсотни верст в день.

– Всерьез, еще как всерьез, – сжимается Матерь.

Она видит, как после атаки подходит к Сыну друг Его, артист Журавлев, и они валяются на траву у окопа, Сын достает кисет, подцепливает щепоть махорки, Сын имел право на это... Вот Он поворачивается, смотрит с экрана только на Нее, говорит только с Ней, живет лишь для Нее... Сколько же нужно усилий, человеческих мускулов, чтобы сдерживать все это железо, не дать огню разойтись, сжечь вокруг все живое! Уж Она, Матерь, знает, каково это выходить, поставить на ноги, дать дыхание родному существу, чтобы потом оно смогло рыть вот эту траншею. Сын еще был мальчонкой, а Она печку топила, да попался в хоботье кусок от скворешника, только хотела сунуть его в огонь, как кинется Он за скворешником: здесь же, мамочка, птицы жили!..

– Он не играл ролей, Он никогда не играл, – шепчет Матери друг-товарищ Сына артист Журавлев, и Она видит, как отсверкивает-пересверкивает в его взгляде экран. – В нем же, видите, ничего нет актерского. Говорили, опасен для конкурентов.

Сын-Сынок не играл, Он делал по-крестьянски дело, как папсут землю, как сеют хлеб. Было бы даже нехорошо перед деревней

– играть: что Он, скоморох, что ли? Простой трудовой человек. А сесть начал не как все, с висков, а с усов... по чем доставалось...

Мелькают то свет, то тень, шелестит кинолента. Он ходит, шутит, ухаживает за девчонкой – батя вылитый, батя. Как солдаты сидят перед танковой атакой, беседуют друг с другом, как на камушках говорят о серьезном и вечном, вроде не будет тут же, через десять минут, ни огненного смерча, ни вражеских танков, ни гибели...

Люди впились в экран, в Него, в Сына.

– День был трудный, – шепчет Матери Журавлев, – допоздна засиделись на палубе... катер – наша гостиница... Дон был красновато-дымчатый, в закате дневное сражение. И Он говорил об искусстве, о жизни, как бесконечной цепи, из которой мы вышли и из которой не выпадем, так и останемся в ней особым звеном... Он говорил здорово, хотя и чертовски устал. Люди себя баюкают сказкой и тем отдалают правду. В древнем Новгороде жила легенда о золотом веке, согласно которой прошлое, век ушедший кажется счастливее, чем век настоящий. Но ведь жить – и то уже счастье, представляете?!

– Чиш-ш-ше, – зашевелились, зашикали на них рядом сидящие.

Сын смотрит с экрана, говорит с экрана только Ей, Матери, жив сейчас, курит, шутит, смеется, идет в атаку сидит на палубе катера, а через мгновение Его не будет; все останется, как и было: эта степь, эти тысячи тысяч, друзья и враги, человеческое иступление, когда жажда крови ведет одних к нападению, порабошенью других, к захвату пространств, и когда этой жажде противостоит юркий, живой, простой человек в гимнастерке, в тело которого пули входят, как в воск, и только любовь, только долг перед Родиной, продолжают держать Его там, на сожженной земле, дают силы выстоять, не пропустить врага. «А ведь они хотели замкнуть колечко, – шепчет друг Сына слева, – со степей этих ударить в Среднюю Азию, оттуда в Индию – это одна стрела, через север Африки; по Ближнему Востоку Роммель танками – другая стрела... мы не дали»... Не дали врагу осуществить планы наши отцы, солдатик в гимнастерке седовато-жестяной, просоленной от пота. На экране все движется, живет, сохраненное на века, а Сына нет...

«Сыночек мой любый, мой листик упавший, Ты вот где – в душе материнской. Ты видишь, судьба от меня отвернулась, взяла, отняла самое дорогое – Тебя, но если в последний свой час Ты жил так, как жил, как видим, Матери можно гордиться; зло нас с Тобой пересекло, но я не ропщу, терпелива, да в нас не иссякнет добро, храни его, Сын, во мне своей вечностью, дай мне всегда видеть Тебя, покоя уж не прошу, покоя Матери нет, пока вблизи несчастлив хотя бы один человек! Я иду по земле, я глажу ладонью каждую ее складку, каждую выемку, выбоину, перебираю каждую травинку, росинку каждую смыкаю в реки-озера, колосья свиваю в житницы, чтобы всех напоить-накормить; тогда, лишь тогда и в мирные дни не будут коверкать душу разрывы, дымиться на камне алая кровь, и нечеловеческой болью разрываться сострадающее боли людской и горю материнское сердце. Сын мой, мой путь остатный уж краток, но я ухожу беспечальная, а все от сознания, что, если Ты нужен людям и днесь, и вовеки, не зря явилась миру и я, не зря жила от первого Твоего крика и шага до этих седин, вела Тебя материнской любовью. Я знала не только друзей Тво-их, но и врагов, они, как змея шипучая, но Ты-то шутил, что готов поставить им памятник: они Тебя заставляют работать и делают Тебя таким, как Ты есть. И все же, Сынок, они Тебе дни сокращали, а мне тяжелили кровь... Сынок мой, я плачу за все неустройство земное, за всех не устроенных в жизни.

Добро строится только добром, злом берут молодые и слабые, молодые и сильные берут только добром, умудренные мудростью старых, все старые – сильные или слабые в молодости – в свои годы слабы телом, зато сильны умом, они должны вести себя от добра. – «И тем сохранять себя, мама?» – И тем сохранять, Сынок, каждого – от зла, а народы – от крови. – «Но это, мама, что-то толстовское. Старец знал, как в людях продлиться...»

– Матерь, – шепчет Ей Меркул Игнатич, – смотри, смотри, что-то не то!

А Матерь саму уже приподняло: не Он на экране, не Сын!! Все в той же шинелишке, все в той же степи, среди тех же людей, а не Он. Спиной к экрану, да все как-то бочком-бочком. «Не Он, – рвану-

лось из Матери сердце. – Не Он!!!» – мотнулась к экрану туда сама собой голова.

– Не Он-н-н... – прошелестело по залу, как выстрелы, захлопали хлопал-ки-кресла.

Вот тут Он и оборвался, вот тут и не стало Его.

– Не Он уж, не Он, – шепчет Матери артист Журавлев. – Вот с этого кадра – дублер.

«Дублер, дублер... а Сына уж нет, нет Его с этого кадра, не будет уже никогда, никогда. Не придет письма-грамотки, не придет к Ней в Схлестки». Волнение Матери передалось залу, весь зал развернуло сюда в Ее сторону, к Ней, все поняли, только что кончилась жизнь земляка, солдата, Сына сидящей здесь Матери...

И тут вспыхнул свет. И Мать сидела, а люди все встали, в едином порыве, стояли. Потом Мать подняли на руки и понесли над собой. Потом опустили на сцене, и Она утонула в цветах. А кресла все хлопали, и люди срывались, бежали к себе в палисады и схватывали там, в палисадах, все лучшее, вбегали обратно, вносили в зал цветы охапками и клали их, клали к ногам Ее. Она утопала в них по колено, по грудь – в алых, как кровь солдатская, в белых, как снег на Богдырхане, в синих, как глаза Сына, как волны-воронки Крутунь-реки... цветах...

И вдруг зал смолк, совсем стало тихо и сделалось слышно, как где-то за Поповским островом играет звуками та протока, с которой на тот берег отправлялась лодка на Его крик. «Выплывите, выплывите меня, люди!..»

– Спасибо, Мать! – склонил седины руководитель артистов, и зал тишиной прокалило, и звуки протоки той как отсекло, ушел пол из-под ног Ее, надвинулись стены, Мать качнулась влево, Ее подхватили, так и стояли, держа под крылья, а Ее подняло ввысь, несло облаками, и звенело сердце толчками в ушах, а где-то далеко за толчками все там, у Поповской протоки, ревела-металась Крутунь-река, скатывала туда, к городу, свитые-перевитые воды свои, а с ними едва уловимый мальчишеский голос на том берегу; и здесь, в зале, голос Поруни, подружек Ее, всех схлесткинских баб, единый, сдруженный голос откуда-то снизу,

с Крутуни, все выше забирает, все выше взвизывается, к самому Богдырхану, вздыхая, ведет величальную Матери:

– Ах ты, Матьерь наша, житная-пожитная женщина, во вдовстве-одиночестве подняла Ты Сына на нужду людскую-народную. Должен же кто-то сказать, высоко душу, круто слово нести: не вишь, наш народ вымирает, кончается, боже! С высоты поднебесной Русь-матушку как бы сызнава мы увидали, по-над тучными прошлись по-над хлебами, по-над бурными проволоклись по-над судьбами человечими. Сама всех заслоняла, за всех душой распиналась, а себя от горюшка, товарочка наша, не уберегла. Ах, да не стони по уснувшему, непобудному, не дрожи, Матьерь, землю своим стоном-выстоном. Ах, да перемогнись, переложи, Матьерь, тягость свою неподъемную на плечо наше вниз уходящее, топкое, горюшко неотступное на судьбу нашу, ах, да на всю нашу жисть деревенскую... не вишь разве, с Ним весь наш народ вымирает, великий народ... кричу на весь белый свет – все услышьте... заслуженный перед миром народ...

И тут голос Поруни прорезался, как стекло тонкое, звень-звеньской:

– Мелки пташечки вылетали,
Одна пташечка оставалася,
Горемычная кукушечка.
Она плачет, как река льется,
Возрыдает, что ключи кипят.

Как живые, вот они, вспыхнули перед Матьерью последние, в красных чернилах, строки письма: «...на ту зеленую могилку»... Еще нужна Она, старая, людям, еще поживет... Горюч-камень Алатырь ты наш дорогой, погоди, не бугрись, не чернись, Матьерь просит тебя, дай дождю пережиться, людям с войны еще той перебиться, хоть немного пожить, только ведь жить начали... не дай кончиться нам, не дай народу пропасть... Припала Матьерь к горюч-камню, облеглась, принакрыла руками Алатырь, как крыльями, а когда поднялась, то одежда на Ней черней черного сделалась, вороной стала, а горюч-камень сверкнул по рваной от пуговицы бороздке, засиял снеговитым ущельем на макушке самого Богдырхана.

Вы завейтесь, ветры буйные,
Отлетает мой соколик
Из очей, из глаз моих...

Едва слышим голос Порунин, в голосах ее подружек. Зал весь возговорил, возговорило все в Матери. Эх, да каждый день по доброму делу, хоть по ма-аленькому, по капельке – капелюшечке, эх, да будет ворох добра на земле. Эх, да никогда эта земля пашнями не оскудеет, людьми не разжижится, не остынет талантами; не перервется на нас эта ниточка, через нас протянется, соединит берега.

Вы леса ль мои, лесочки...

Не жалеем друг друга, сечемся часто, за что? Все свои, одна волна всего в реке времени, в море народов Хвалынском, в окояне судьбы, и ведь все сыновья чьи-то, у всех где-то матери. Да когда же хоть жить-то научимся, длить друг другу, а не укорачивать век?.. Ведь народ-то наш пропадает, так не дайте, не дайте народу пропасть...

Матерь открыла глаза – стих звон в ушах, истончился голос Порунин, улетели-исчезли слова все, какие владели Ею. Меркул Игнатъич рядом сидит с голубыми своими, как у Сына Ее, как ель голубая, глазами. Дружок Сына – артист Журавлев с желтой от курева по самую кисть ладонью. И все схлесткинские, все свои, все свои, все свои – дважды, трижды, четырежды, Господи!..

– Слава Матери, слава Матери Сына!

– Слава всем, которые Матери!!!

– Слава, слава, слава всем Матерям на Земле!!!

И Матерь глянула во множество глаз и содрогнулась, не могла не содрогнуться душой. И вспомнилось Ей отчего-то, что Сын рассказывал про Степана Тимофеича, как на московском холме, уже лежа на плахе, в последний раз почуял он крыльями обрубленный топором ветер. И, зажав сердце ладонью, поясным, низким поклоном как Сын Ее в облике Разина, поклонилась Матерь народу.

* * *

Она шла к автобусной остановке, на Граевский тракт, чтобы уехать обратно в город, к себе на квартиру. В какой-то день

Ее погрузило здесь, и подняло. Пронзительно оглядывала Она Схлестки – доведется ли еще когда-либо увидеть все это, пройти этой улицей, этим путем? Проходя мимо детишек, подошла, провела одному из них по шелкам-торчинкам волос: с каждым годом они все, как родня, все ближе, все свои, ровно внуки. Как под старость все хорошее ввысь поднимается, на добро отвечает добром, злобой много ль возьмешь? Это молодые пытаются что-то силой сделать, – а сила рождает зло; старому человеку остается добро, только свет высветляющий; вот почему так стелется перед Ней эта улица, вся округа. Воздуху, что ли, сделалось больше? Молот не хлопает по наковальне, – вот что значит Родина, свои люди, любимые сызмальства места. И только левое плечо, как осушено, ноет, и вся Она, растрескана от жара внутри, она – житно-пожитная Женщина, Матерь ты наша земная, человеческая...

Как последнему листику остаться на березе, так и придет день рождения Сына. Помнится, еще лежала в палате, а листок рябиновый приклеился к окну, не хотел падать. Сын родился сразу с зубами и зрячий. «Либо генерала родила, либо какого другого деятеля», – шутили соседки по койке. Багряный, вот-вот грянется он, последний листик, наземь с рябины...

Уже почти возле тракта встретила Она ту, знакомую молодайку с ребенком, вокруг шеи все так же закручена шаль.

– И куда теперь? – спросила Матерь ее просто так, чтобы что-то сказать.

– А никуда, – махнула та в неизвестность. – Переехали родственнички отсюда, а теперь... не знаю – никуда...

«Бедная женщина, – вздохнула Матерь. – Бедный, бедный ребенок». – И сказала вдруг и для себя неожиданно: – Видишь, во-он дом с оцинкованной крышей, два темных железных листа на свесе? Ключ под камнем, иди и живи. Помни Сына мово...

– Натe, Вы же просили, – протянула молодайка набор кинооткрыток.

– Оставь себе, я уже старая, – повернулась Матьер и пошла далее своею дорогой, на тракт.

У самого тракта, прямо возле столовки, валялся пьяный – кто бы это? – ах, Белый Лебедь, напоили киношники. Видела, двое крутились возле него. Еще с первого приезда заметила их, еще тогда пили неаккуратно. Снова Гришу втравили, на поминках устоял, а тут – нате вам. За Сына, должно, предлагали.

Холщовая сумка валялась рядом, из нее раскатились в разные стороны бутылки минеральной. Матьер наклонилась и стала их запихивать в сумку обратно.

Эх, Гриша, Гриша, нахвтался, братец, черных перышек, никак не отбелиться, Белый Лебедь с черными перьями, дурная головушка... Гриша лежал вверх лицом, по щекам ползали зеленые мухи, что избыточно водились тут на помойке, Гриша морщился, дергал то одной щекой, то другой, шевелил мягкими губами, отплевывался, словно семечками, эти мухи осенние, дуже злые, щекотные...

Матьер стала его переворачивать набок. Обычно легкий, на сей раз Гриша как камней наглотался. Она поискала глазами, кто бы это помог, покачала рукой бабам-торговкам, что расселись у порожков столовки, те и бровью, однако, не повели.

И тут, свернув с тракта, прокатил мимо Белого Лебеда самосвал, так впритирку прошел, что у Матери сердце екнуло, и она заругалась на шофера: куда же ты, анчибал, не вишь, прешь прямо на человека? Из кабинки выскочил совсем молодой. За хлебом остановился, зачем же еще?

– А ну, подмогни, сынок, – приказала Матьер. – Давай его вон туда, к заборчику, а то ездят тут, недалеко до греха.

Из кабинки вылез еще помощник: с рюкзаком, в клетчатой рубаше, в вельветке и огромных очках. Уходил, прямой, как аршин, туда к школе, на которой еще не успела просохнуть краской бело-зеленая вывеска с именем Ее Сына. Там, во дворе, такое обилие роз, широкий, ровно подстриженный пояс вокруг здания; когда розы зацветают, двор становится алым, даже в классах розовеют стены и потолок, такой стоит аромат, даже мутит. Если уж начинают цвести розы эти, то и цветут, и цветут,

одни округляются, только сходят, как уж рядом другие бутонятся. Бутоны зеленые, едва намекнулись, а не сломишь – шипы...

Мальчишка со двора школы выкатился на самокате. Задержался возле очастого, задрал голову, смотрит. Натянул очастый картуз ему на уши, щелкнул по козырьку, спросил, как пройти к дому, где жили они тут, Мать с Сыном. Мать это точно услышала: где тот дом, где жил Сын Ее; быть в краях этих да не заглянуть к своему человеку?

– А вы, дядя, случаем не автор? – спросил его самокатчик.

– Нет, – засмеялся очастый, рубаха в клетку, – а что?

– А то, – оттолкнулся ногой мальчишка и покатил дальше, уже издали крикнул: – У нас авторов лю-буют!

Мать смотрела в след очастому, в клеточку. Сколько путей-дорог перебрал человек, сколько пыли на его щекастых ботинках. И чего люди блудят по свету, чего потеряли, что ищут? И едут, и едут по всему Прикрутунью в горы, по пробитым и еще не пробитым маршрутам, вот крутит кого, вот кого лихорадит. Придет сейчас этот очастый к их дому, а ставни закрыты, настыла труба, и Сын уже не встретит его на пороге, не встретит уж никого... И защипала веки Матери скорая влага, оглянулась Она, повернула было к дому обратно, да вовремя вспомнила про женщину, какой отдала ключи, и через ресницы вроде как Сына увидела – идет сюда к Ней по Крутунь-реке, а за Ним свои, схлесткинские, земляки, много лиц. Он идет по воде, и вода сокрушает Плоскун-гору, завивает под нею воронки, а он все идет и идет, наклоняется к Ней, говорит доверительно Матери:

– Я свое, мама, пожил, как смог. Прошагал, как сумел. Ах, да не убивайся так, не рыдай, не рыдай меня, маги!..

И что потом.

Издравле звали ее златоглавой. Вот они, золотые маковки монастыря, за красным камнем стены. Здесь, на кладбище, лежат лучшие люди страны, те, что пришли сюда со всех бесконечных краин, но принадлежат теперь только этой земле. Где лежит и Сын Матери, спрашивать и не надо: уже из ворот льется струйка людская к Нему сюда. Куст сирени над Ним, на сирень, как на

плечи, наброшена ветка горячей рябины. День стоит теплый, не совсем ясный – то дождь крупный, то тут же и солнышко, а так ничего себе, славный денек. А люди идут и идут, замедляют ход, смотрят на фото – лицо такое знакомое, даже привычное по кино, приустиало, и слезинка в глазу. Рано уходят такие. А всегда хочется, чтобы хороший человек пожил бы еще...

Женщина в черном, наклонясь, устраивает на могилке цветы, ведет по бумажке ладонью, чуть пониже фотографии оправляет тетрадочный лист, на нем крупно, коряво написаны, как соль непромолотая, алые буквы: «К дню рождения Сына».

Еще ниже так же крупно, коряво:

«Плач Матери.

Вы, леса ль мои, лесочки, вы, дубровы людские, дубровушки, укачилось красное солнышко за горы да за высокие, за облака да за ходячие, за часты звезды да подвосточные. Люди добрые, сродники и суседушки, как Самаюшки на вдовьих рученьках подымала-воздымала Сына своєю ясным соколиком, отлетел, куда и все, вниз по Крутуни. Ой, да настигла Его злодейка-зломанка, смерть – змея лютая, подколодная. Ой, да сколько всего наготовил Он в себе-юшке люду, не успел сказать-выразить. Ой да ушел от нас, печальная головушка, семеюшка моя, заборонушка... Когда мне сказали-то, что умер на съемках, так меня, как литовкой, снесло, так косьем и скосило.. Ох, да без Тебя, Сынок, и есть не ем, и пить не пью, и жить не живу. Да Ты встань, открой очи, погляди, что тут с нами, прозяблыми, деется. Все-то думалось, жить вместе будем, под одной крышей, что заступишься Ты за нашу деревню, за свой народ, защитишь, а то тает, тает, страшно-ужасно как истекает, все скоро втянемся в трубу химическую, все там и останемся. А сказать о том-то и некому, выразить миру все про народ. Он и город жалел, всех сердечных-желанных, был широко-о-окай. Спасибо вам, люди добрые, сродники и суседушки, как подняли Его, но Он там лежит теперь – высоко, на святом месте, а мне, Матери, каково туточки? На могилку бы сходила, как все, отнесла бы гостинцев, а хожу вот, крошу куски на могилки сиротские – все свои, все свои, все свои... уходящие, все уходим, уходим большущими тыщами... Мне все Ты, Сынок, видишься так: все плывешь на льдине вниз по Крутуни, а с

Тобою наша корова Райка, которую я тогда продала, чтобы Ты в город поехал учиться, а громом-молнией то в Крутунь, то под Тебя так и нижет, так и ширяет. И Ты кричишь сюда с того берега: «Выплывите, выплывите, выплывите меня, люди!» Но не во страхе кричишь, а как вроде улыбочатый. Так и вижу Тебя, как тогда, когда фильм Ты снимал на Плоскуне, босиком стоишь, молодешенький, поскакучий.

Ах ты, боже ж ты мой, огонь-пламя грудь сжигает, ах да не могу, не могушеньки я прилечь-облегнуться грудью жгучею на твою могилку умершую, ах, да что же нас с Тобою выбрало, на нас с Тобой навалилося. Да Ты сказать скажи хоть словечко, испромявь мне хоть что-нибудь, прости своей Матери все, какие были, обиды. Не пришлешь больше письмо-грамотку, про житье-бытье свое не поделишься... Поля чистые, травы шелковые, цветы лазоревые, переймите на себя, эту мою печаль-тоску материнскую. Ветры буйные, снега сыпучие, морозы трескучие, перебейте мою боль-спорыданье... Жизнь моя прошла не в пирах да не в забавах, во трудах прошла да в заботах, во слезах прошла да во горячих. И летаю, летаю кукушечкой, обкукукиваю все места твои, чтобы в памяти хоть Тебе жилось дольше.

Люди добрые, сродники и суседушки, Он старался для всех. Не обидь, Человек, могилку-то. Он хотел каждый деиь по доброму делу, станет ворох добра на Земле. У него, соколика, крылышки примахалися, сизы перышки подломалися. Кланяюсь вам, люди добрые, материнским низким поклоном за все ваши письма-грамотки, за цветы-апельсины, за слова дорогие, сердечные, мне они, как бальзам на четырнадцати тысячах трав. Спасибо вам, добрый народ». Женщина в черном стояла плечом в сирень, утопила в руки лицо. Кто-то вышел из живой людской струйки, коснулся плеча:

– По ком плачешь, мать?

Струйка замедлилась, остановилась.

– По народу своему, по человечеству, – сняла руки с лица Старая Женщина.

Струйка двинулась дальше. Мимо Женщины, старой сирени с веткой алой рябины. Ветер перебирал тетрабочный лист с

Леонард Золотарев

серыми, крупными, как не-промолотая соль, корявыми буквами.
Фото косилось на соль, шевелило немymi устами:

– Я свое, люди, прожил, как смог. Прошагал, как сумел, над Крутунью. Ах да не убивайся так, не рыдай, не рыдай, не рыдай меня, мати!.. Накрути ремешок на прясло, завяжи узелок на память, выживи мой любимый – любимый – добрый народ!..

г. Бийск, Алтай – Королицевичи, Беларусь –
г. Малоархангельск, Орловщина.
Лето-осень 1973 – осень 2003 года.

СЕДМИЦА

Повествование в рассказах,
реальное – в мистическом освещении

Война – чума XX века.

Из разговора

Пал, а норов худ и дух ворона лап.

Из Велимира Хлебникова

Стон, однако, стоит по земле, матери плачут по убиенным. Черное море, белый пароход, а молодые косточки пущены в расход. Все норовим, чтобы ворон пал крыльями ввысь, а он лапами, лапами. Вот и село Седмица как село на речку Седмицу, так и сидит; помидоры красные чернеют из сердцевины. А надьсь привезли уснувшего из Чечни, а сегодня опять прислали в Седмицкую школу повестки – и опять суши сухари. А ведь медицинская комиссия констатировала: ни одного практически здорового после десятого.

Еще гроб в яму не опустили, а уж другому являйся, очередному. Кто тут же в район вознамерился на призывной пункт, а кто возьми да соберись за речку Седмицу, на моховой Языческий Холм, где стоит в отдалении Храм Казанской Божьей Матери, как руины. А влечет, однако, туда, когда припечет, таинственным образом. Странная, преподобная храмина. Когда-то тут было капище, камень, что ли, с неба свалился, камню и поклонялись. А когда церковь христианскую на этом месте поставили, то все больше служителями епархия присылала сюда еретиков, греховодников всяких – пьяниц, дебоширов, прелюбодеев. Они своим норовом больше всего подходили этому полудикому, глуховатому краю, залегшему между осколками девственно таежных лесов и широкою степью. Вот куда потянуло седмицких парней, а с ними и девчат, как прижарило, припекло. Семеро молодых людей – как семь планет вокруг Солнца. Думали, может, укроются тут, отсидятся на колоколенке-то, куда исстари заключали в цепях, кандалах хулителей веры Господ-

ней, и про них позабудут, больно нужны их Седмицы сильным мир сего – что им, городов не хватает?..

Вот и Володька Кусакин и иже с ним сюда заявили. Жжет карман нагрудный ему повестка военкоматская – призыв летний, сразу же после школы. И сжигает всего изнутри – нет покоя, ночи пошли бессонные, бессловесные, а дни оглядчивые.

С тем и оказались все они у храма Господня и остановились перед его воротами высокими. А на воротах огромный ржавый замчище. И поплыло из Володьки белое Магелланово облако – душа его нереальная, реальное потекло вперемешку с невероятным... И так, крадучись, вслед за Магелланом они и втекли в этот храм. Камешек хрустнул под пяткой да и пошел кидаться эхом гулким, истошными языческими воплями. А по стенке-то «ад» малеванный, языки пламени, грешники, приосанясь, лижут, сидя в котлах, огненные сковородки. А по стенке насупротив – «рай», Раи райские летают: сады Эдемовы, Ева рвет с яблони плоды искушения...

Не тот страх, что на стене, а тот пот, что на спине, черных птиц в душу допускает. А черные птицы – дрозды ли, грачи – тут же расселись поблизости, на кладбищенских липах, и там внизу, в Седмицах, на деревьях гаркают у здания сельской администрации с государственным флагом и уже гуртуются к осени, кого еще накроют они черным своим крылом?

В этой церкви Казанской, еще на нашей памяти, размещались тракторные мастерские, и по сю пору воздух горчит от солярки, по углам валяются промасленные ватники. Шаткой-валкой лестницей поднимались они в звонницу, задрав голову, – а ну как и оттудова камешком да в самое темечко! Вот местечко, где, оказывается, восседала отдельно учетчица, закрывала наряды... Высоко-то как, далеко отсюда видать – благолепное место! Вся Седмица, как на ладошке, за излукой – широкая степь. Вот и шло веками оттуда сюда, и, если прийти, то придет. Вот гуляет по Дикому полю, до сих пор ноздри ловят запахи крови, в воздухе пахнет грозой. Прежнее пало – новое не народилось. Одни торопятся, другие вниз головой. Чечня в копейчку, рубль в червонец, жизнь человеческая ни во грош...

– Эх, да прекратили бы вы свою панихиду! – стоит перед Марией, грудь нараспашку, Кусакин Володька, самый крупный и самый красивый парень из всех. – Я бы рад дома сидеть, да, как сказал поэт, оглядка на долг и на совесть гасит лучшие свойства души...

– Ну и дурак! – перебивая мысли всяческие, липнет к нему Мария, его подружка. – А еще Владимир – Красное Солнышко.

– Ребята, ребята! – говорит, торжествуя, Фрося, подружка ее задушевная. – А зачем мы пришли сюда? Чтобы любить, может, в последний раз.

Все семеро взвинчены, экзальтированы состоянием воздуха, этой близостью кладбища, красками заходящего солнца. Разбавленный кровью воздух красит атмосферу лица, древнюю штукатурку; черные птицы, мелькая в оконных просветах, лезут в зенки. Разверзлись вещице зенницы, как у испуганной орлицы. Задел Володька плечом трубу – кирпичи пали вниз по ступенькам, вот бы кому-то по темечку.

– Кыгы, кыгы, – взметнулась тень за спиной. – Ка-ка-ка.

Черные птицы – белый пароход, древние инстинкты, зашифрован код. Знал бы где упасть, подстелил бы соломки. Знал бы с кем прилечь, нагляделся бы в очи ее. В глаза синие, васильковые, в прорвы-омуты, в звезды очные и заочные... Из всех парней один только он, Володька Кусакин, собирается остаться в деревне, в качестве агронома. А вот друг его, Алеша Попович, поэт в душе и в натуре, этот пишет стихи. Иван же врачом хочет стать, эх, завьюжиться бы куда-нибудь на Мадагаскар. Ну, а девушки – кто такие? Мария – подружка Володькина, – это мать урожденная, коровушка смиренная, нетель, хочет иметь кучу детей. А вот Катя-Катерина – эта любит коней, лошадица. Ниночка – полненькая такая, пончик, сама любит поесть и других покормить, эта, скорее всего, поваром будет, однако все фантазия в ней перевешивает. И только Фросю – ироничную, отчаюгу такую, дочку главы ихней сельской администрации, в небо тянет, в летчицы штурмовой авиации, но девка себе на уме, сразу не прочитаешь.

– Хватит вам, – выговаривает она, – заниматься на соломе сексом своим повальным. – Самая обаятельная и самая привлекательная,

а в шапке отцовой ходит и в отцовой рубаше, и одна почему-то, без пары. – Давайте хоть поговорим по душам напоследок.

– А мы тупые, – смеется Ниночка – пересмешница этакая, однако всему открытая настезь.

– Помните царицу восточную Шахерезаду? – это все Фрося свое продолжает, тянет ее на подобное. – Царь приказал царице на грядущую ночь рассказывать сказки и всякий раз ей оттягивал казнь, – интересно было ему, что дальше-то? Тысячу и одну ночь продержалась царица, и царь помиловал женщину...

– Нас не помилуют, – вздохнула Мария. – За что раньше миловали, теперь за это казнят.

– Вот в издательстве «Ридерз Дайджест» книга вышла, – не отрывала глаз от Володьки Фрося.

– И об чем, интересно? – живо к ней повернулся Володька.

– О любви.

– Чур-чур-чур! – взмахнула руками Мария, заслоня просветы звонницы. – Ка-ка-ка.

Кровавые краски, лица таинственные, черные птичьи росчерки по кровавому фону. Стеная, сбиваются в стаю, и летит все, летит сюда на них воронье. Ка-ка-ка. А где-то грузят на военные вертолеты «груз», как его, «триста», что ль? И уплывает душа – белое Магелланово облако...

О, Русская земля! Ты уже за холмом...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ЛЮБОВЬ

Солнце едва за лес, а страх с колокольни не слез, никак не переступит порог и еще подогревается обездвижением ночи. Только грозди домов посерели за речкой, да цыркает молоко о подойник, да кобель у Уразовых – вот подлец – разбрехался, как разоряется. Зря его Володька не истратил зимой на шапку, по-жалел, падлу такую, а теперь одним ликом своим волковатым пес страшит каждого, кидается схожестью в Володьке Кусакине то на бомжа – самого Митю Уразова, то даже на хозяйку свою в белозубом оскале, в нечеловеческой улыбочке...

– Ну, кто первый? – обратилась Фрося к Марии, и та от неожиданности икнула, звук настоящего спутал Володькины мысли с будущим.

– Я не чувствую времени, – вместо этого раздался шаткий, неуверенный голос Алеши. – Я просто плыву в нем, как это вот... облако...

– Не чуди, – рассмеялся Володька, привык же всегда быть первым.

– И ты первым уснешь там, в Чечне, – отрезал Алексей. – Я вижу это так явственно.

– Ну начинается! – перебила его Фрося и обратилась к Марии: – Давай-ка ты, что ль, невеста Христова.

– Мое сердце в крови, – тихо сказала Мария и заплакала. – Я чувствую краешек ямы.

– Ну что – накаркал?! – набросились все на Алешу. – Ясновидец корявый.

– Не надо слез, – отвернулась Мария к стене. – Ну, хорошо, вот вам история. Это наша семейная драма, еще от нашей прабабки.

РАССКАЗ МАРИИ

– Видите, род какой у нас – то мы смазные, чернявые, а то белявые, ржаная солома... Это прабабка сделала меня тугокозой, а от деда – голубые глаза.

Так в роду у нас и идут, как река за Бийском – Бия с Катунью, то поврозь, желтое с синим, а то вместе – Обью...

Бабка моя Евтихьевна какой-то чудной была. Конец жизни провела и вовсе за печкой. А привез ее прадед мой (лихой был человек) из далеких краев – с Кавказских гор. Не нашей – другой была она веры, чужой и по роду-племени. Ну вот в Седмице ее и не приняли. Дом-то наш на ветрах, на отшибе, лет уж сто стоит наперекор всему. Не прощали бабке масти ее смазной, только мамке моей уж простили... А за то, что лучше всех в хороводе плыла – лебедь черная... Вот однажды она возьми да и сшей себе белое платье. Да усыпь его вышивкой – белыми розами, и тогда они прочь прогнали ее. И такая горечь взяла Евтихьевну. Красно-

та! А некому глянуть, просто жить невозможно. И пошла она на речку топиться – вон туда, где Синие Скалы, невысказанная глубина. И встала она на краешек и от горя заплакала. И запела свою длинную, длинную песню, словно косы ее смоляные, и ветер подхватил ее голос, затрепал во широкой степи.

Кто-то зырь из окошка на Дикое поле и захлопни створки – страшно стало...

А мой прадед как раз возвращался с извоза. Услыхал он голос, неужто Евтихьевна? Да и плетью коня, да на голос тоски. А Евтихьевна уже на краю скалы – вот-вот взмахнет белой птицей. Обмер он, слова не может молвить. А потом по-пластунски, по-пластунски да под скалу, под шелест волны, и сам Евтихьевне шепотом:

– Я люблю тебя... люблю тебя... у нас еще будет много детей...

Приподнялся, идет к ней, а она-то на самом краю. Не успел он обнять, приглубить ее, сердечную, как та вниз, только белые крылья поплыли... Белые крылья – черный пароход, молодые косточки пущены в расход... Многожды раз он нырял – все же вытащил ее за волосы.

После того и поставил свой двор на отшибе. И любили они друг друга, и много детей у них было – и светлоголовых, и смоляных, тугокосых – всяких...

– От большой любви, – заметил Алеша, – родится большой, красивый народ.

– Ну и что дальше-то? – спросили Марию.

– Вот, Володичка, – приоткрыла Мария свои полные белые груди, – этот мешочек – ладанка. Щепотка родимой земли. – И сняла она с себя оберег, и перевесила на шею Володьке. – Может, так хоть тебя не убьют...

– И прильнула она к Володьке своим бесстыже распахнутым, пышущим жаром телом. Отвела от другого плеча Володьки наглуую Фросину руку. А закат уже догорал, и Синие Скалы тускнели. И черные птицы, все еще гомоня, рассаживались по веткам.

– Схожу домой на разведку, – высказалась Фрося. А Володька все смотрел на скалу. И та, острая, все кривилась, держала на острие своем остатки уходящего солнца с четким Володькиным силуэтом.

И собачья морда Уразова пугалась с белым платком Евтихьевны, усеянным блестками звезд, а звезды, возникая на небе, принимали очертания невесомого тела Евтихьевны. И сама Евтихьевна глядела оттуда и грозила пальцем Володьке, когда он трогал тугое плечо Марии, лежащей тут же с ним на соломе: «Гляди у меня, не балуй», И небо казалось ему таким сильным, очеловеченным, а Млечный путь таким тугокосым и тугоплавким. Это Евтихьевна прибавляла сил ему, красоты, а это сливало духотворность неба с темным ликом Евтихьевны, знакомым по раскосости глаз с самого детства... Фрося вернулась уже на рассвете.

– Ищут вас, – сказала она. – Говорят, будут судить.

– А рассказ? – спросили ребята.

– Так день же прошел, – усмехнулась Фрося.

– Это для нее он прошел, – показал глазами Алексей на Марию, спящую на плече у Володьки. – А у нас продолжается.

РАССКАЗ ФРОСИ

Воздух остекленел, оцепенело все вокруг в предошущении солнца. И – о чудо! – вдоль багрового краешка по всему Перунову капищу рванули холсты соловьи. Сегодня Троица – дохристианский, еще с язычества, праздник. И травы уже косою по лугам положены, а тут кавардак соловьиный, звонница отзванивает каждым камешком, каждой расщелинкой, Володьке же – ни до чего. Слова Алешины как встали, так и стоят торчком. Никогда бы не думал, что может болеть так в груди, а ведь болит, переворачивает всего изнутри, – всю Евтихьевну в нем, колокольню, землю и небо, всех этих божьих птах в Володькином сердце. Чечня эта с глаз никуда не девается, военком направляет в него пистолет...

– А себя вижу птицей, – сказала Фрося. – Сплю и вижу, слышишь, Володичка? Как Гризодубова, Марина Чечнева – наша землячка и Осипенко Полина...

– Ты тоже упадешь в болото, опустишься с парашютом, – вставил Алеша и протянул руку, не видя перед собой никого, – ни Марины Расковой, ни Осипенко Полины, ни Гризодубовой... – Помню, когда

ребенком был, меня спрашивали, как это летчицы пробирались по зеленой траве, по болоту? И я ложился на пол и полз: вот так... вот так...

– Не ты это, – сказала Фрося. – Я знаю, это был твой отец, тебе все это рассказывали.

– Какая разница, – вздохнул Алеша. – Мы – это все мы.

– Он ненормальный, – заговорили ребята, придвигаясь к нему. – Он выражается непонятно.

– Не трожьте его, – заслоняла его собой Мария. – Поэты – они такие.

Фрося отводила всех от Марии, не перекрывая белой энергией темную.

– Всю жизнь мечтаю увидеть лицо настоящего летчика, – косилась она на Володьку. И глаза ее загорались зеленым, фосфорическим блеском. – У Ку-саки-ных на столе, на комодке плексигласовые самолеты. Это от старшего брата, от Николая.

– А откуда ты знаешь? – впился глазами в нее Володька.

Фрося густо покраснела и опустила голову:

– Не скажу.

– Скажешь, скажешь, – накинулись на нее все остальные. – Говори! – хватали они ее за руки, за тело. – А ну, Алексей, сделай так, чтоб сказала. Ты все можешь, ясновидец, умеешь. Ну, Алексей!

Диктаг коллектива. Темная энергия над белой. И Алеша встал перед Фросей, впился в нее кровавыми глазами. И она замерла перед ним, затрепетала. Он сделал несколько пасов – нервных круговых движений руками, задышал ей в лицо:

– А помнишь, как ты еще в восьмом классе потеряла невинность... помнишь?..

– Помню, – пролепетала несчастная Фрося.

– Ну так рассказывай, говори, – приказал Алексей, глаза его были пусты и бесцветны. Пот покрывал бисеринками его лоб. – На Балканах скоро будет война, – сказал он. – И в боевой истребитель попадет ракета, и летчик катапультируется...

– Ну, и кто же тот летчик? – спросили разом все Алексея, и голос Фросин: – Николай, да?

– Тот летчик? – замотал головой Алексей.

– Тот летчик? – опустилась Фрося на него темной тучкой. – Тот летчик не Николай, Николай – вот его брат, – смотрела она на Володьку, – не боевой истребитель. Он картошку возит в Якутию из Кореи на грузовом самолете... А все из-за меня...

– Говори же, говори! – настаивали ребята.

– Рассказывай! – приказал Фросе Алеша.

– А ночь была хороша, – вздохнула Фрося, ничего не видя прямо перед собой. – И я, девчонка, впервые в объятиях мужчины. Для чего и приехала туда к нему, в Киев, в общагу...

– А откуда ты знаешь все это? – подседа к Алеше Катерина.

– Отойди, – помрачнел Алексей. – Мистика бытия...

– Да не перебивайте же человека! – вмешался реальный Иван, мечтавший стать доктором. – Пусть рассказывает...

– Сначала мы плыли в лодке, – продолжала сомнамбулически Фрося. – Потом – на крейсере, авианосце, на палубе... откуда взлетали в небо... Он задыхался от страсти, пропадал от любви. И я удивилась: летчик, а слабое сердце. Мелькнуло такое и упало... в огнедышащий кратер любви... Он выпил лишнее и все говорил мне: «Хочешь, докажу, как я люблю тебя?» – «Ну докажи, докажи». И он пытался доказать, но не мог. Друг его заглянул – я хотела уйти с его другом...

– Такая молодая еще и такая сексуальная, да? – сказала Катерина.

– «Хочешь, я катапультируюсь? – так сказал он, – продолжала темная Фрося. – Или же застрелюсь?»

– Ну?! – все повернулись к Володьке Кусакину – брату Николая. Николая же не было в Седмице уже года три.

– Утром он не пришел на плац, – бормотала сбивчиво Фрося. – Не давал клятвы, лейтенанта ему не присвоили. Он просто скрылся, бежал...

– В Якутию? – спросил кто-то Володьку.

– Сначала в Якутию, – открыла Фрося глаза и сказала уже реально, так явственно: – А последнюю весточку я получила от него из Чечни, там воюет...

– Вот это любовь, – засмеялась Катерина. – Это я понимаю!

– Чему завидовать? – усмехнулся Иван. – У него просто крыша поехала, комплекс неверия в свои силы. Трагедия жизни, кувырком личные планы.

– Ему бабу бы, – засмеялся Володька. – Кобылицу объезженную, вот кто бы его утешил.

– И с какой стороны он воюет?

– Не знаю, – вздохнула Фрося. – Может, все наоборот?

Никто не смеялся. Зато Мария еще теснее прижалась к Володьке, а Нина – к Алеше, а Катя – к Ивану. И только Фрося, как и прежде, оставалась одна.

– Твоя очередь, – сказала Мария Ивану.

РАССКАЗ ИВАНА

– А все же, – вздохнул Иван, – все же этот Кондратий с меня не сходит, – страх! Никак не привыкну, что мы с вами тут, а они там, что нас где-то ищут, мы в розыске. Как сказано в «Слове о полку Игореве», лучше быть убитыми, чем полоненными...

– Не нагоняй тоску, дезертир! – обрезала его Фрося. Она исторгла из себя частицу нехорошей энергии и сидела отстраненно от всех и молча.

– Давайте я вам сбачаю, – вскочила она с соломы. – Танец про авиацию и конфискацию. В борьбе обретаем мы право свое, емое! – запела она, набирая не только звуку, но и все остальное. Однако тут же все на нее:

– Ты что, одурела? С колокольни слышать за километры.

«Аж до конца, то широкой, то глубокой – не одинокой, курганной такой, волоокой, сколько не акай – сколько не окая, близкой моей и далекой, нашей степи широкой, очень широкой степи», – такими словами завершилось в Алеше начатое другими.

– Еще давай, – поднажал коллектив на Ивана теперь уже с его белой, привычной энергией.

Как орда какая. Хошь не хошь, а чешись. Нечего прятаться за забор, выставлять поэтов, как сипаев, чтобы себя ухлопывали, захлопывали и притопывал, так-то или еще как?..

– Вот мой рассказ, – сбывился Иван за общественное невнимание. – Трепачей у нас хватает, ты попробуй дело скажи... Ну что ж, про любовь, так про любовь. Но особую, как половую энергию, половое напряжение. Из подвальных, исподнизу... Как вы знаете, я в медицинский собираюсь, на психиатра, уж три года, как начитываюсь всякого-якого. У одного писателя книжка есть «Люди лунного света»... Так о половой истерике, интересно вам хоть?

– Дави, научная медицина! – загалдели все, как черные грачи вчерашние, а сегодня им что-то нейдет, не носят что-то в воздухе, босиком не ходят по кладбищу.

– К мертвым тянет, – обратила на них внимание Фрося.

– И они тоже мертвые, – заметил Алеша. – Мертвые к мертвым падают.

– Великий хирург Пирогов, – продолжил Иван, – рассказал об одной своей встрече. Встретился ему под Ригой хороший знакомый, попросил совета. Женился тот недавно на молодой, ей шестнадцать, так он чувствует себя уже изможденным. Удивительно, юная, только что из чрева матери, а такая самочность.

– Мне только таких и давай, – засмеялся Володька, обнимая сразу двух – Марию и Ниночку.

– Вот видите, – улыбнулся Иван. – Пирогов поставил диагноз: наблюдения, дескать, показывают, что самочность – величина не постоянная, не одинаковая у всех. В одном ее больше, в другом – еще больше. Все трагедии жизни, оказывается, все драмы оттого, что не так подобраны пары. Скажем, в «Гамлете» королеве Гертруде было лучше на ложе с братом короля, чем с самим королем...

– Смотрите, Ниночка у нас – скромняга, даже застенчивая, так, да? Не то, что Фрося: нахальна, усики на губе, манеры, как у извозчика.

– Да, в тихом омуте черти водятся! – вспыхнула Фрося. – Ниночка – первая сексуалка.

– Это я так, к примеру, – угнулся, защищаясь от Фроси, Иван. – Голос-то апельсиновый, ангельский. Все можно подделать: и взгляд, и улыбку, лишь в апельсине больше всего естества...

(Вот дословно из Розанова: «...главная добродетель в женщине-семьянинке и домохозяйке, матери и жене есть изящество манер, милость, рост небольшой, но округлый, сложение тела нежное, не угловатое, ум проникновенный, душа добрая и ласковая. Это – те, которых помнят, к которым влекутся». – От автора).

– А где же энергия, белая, да?

– И еще одна встреча у хирурга Пирогова. Военный готов бежать от жены. Говорит, что ее могли бы насытить только трое. И что удивительно – милая дама... Соображаете, девочки? У нас же одним Володькой, бугаем этим, можно насытить троих. Липнете к нему, как, понимаешь, мухи.

– И это все? – поморщилась Фрося. – А где же рассказ?

– Представьте себе, – отвернулся Иван, стоя посередине звонницы, к просвету, выходящему на Древний Восток. – Что за странность такая? Египтяне – серьезный, глубокий народ. Однако именем «са та» – «священный» именовали проститутку. Именно тех, кто беспредельно отдавался каждому без разбора.

– Вот Ниночка тоже хочет всех накормить. Она жила давно уже когда-то... в Древнем Египте, – заговорил вдруг тихо, как в трансе, Алеша, и голос его напрягся, дрожал, а глаза стекленели, покрываясь исторической пленкой. – Я встречал ее где-то у ног статуи Озириса – этого «судии мертвых»...

– Ну хорошо, хорошо, – перебил его Иван – будущий психиатр. – Я сам постараюсь пересказать вам эту историю. Наша Нина под другим именем, конечно, родилась на окраине Каира, в знатной семье. Как редкие младенцы девочка несла в себе печать вечной женственности и любви, готовая ответить даже на слабый, неясный зов движением сердца... Конечно, всемирны войны, как Александр Македонский, всемирны философы, как Спиноза, наша Нина была всемирной невестой. Однако не знала об этом. Ей было всего четырнадцать, она невестилась перед всеми, потоки жизни истекали из нее, ей казалось, будто она родила всех и каждого. Как Наташа Ростова...

А наш Алеша, тоже под другим именем, был тогда уже седобородым, маститым поэтом. Однажды он заглянул через заросли

белых роз в цветущий апельсиновый сад и увидел ее. Он увидел и волосы ее, и сосцы, и очи, и бедра тугие, и чрево, и взгляд ее – первозданный, невинный, и пал он перед ней на колени, воскликнув: «О санта моя – о святая!»

Она ушла с ним из сада цветущего, из дворцов своей жизни, и поселилась с ним в бедном и тесном жилище среди камней и отбросов. И он развратил ее, но не смог истощить ее силы.

Она вернулась в свой сад уже женщиной, познавшей себя. Испив и насытись, она жила затем свои годы в спокойствии и равновесии, выбрав лучшего и одного. К ней, этой знатной матроне, ходили с улицы, и она принимала любого, мимолетно определяя в нем подлинность «сайты», в объятиях которого можно сгореть от любви...

Однажды к ней постучался юноша, очень похожий вот на него – на Алешу, но тоже под другим, египетским именем. Это был как бы предок и сын Алеши, и она приняла его на всю жизнь...

Иван закончил рассказ, вдохновясь. И было тихо, и слышалось, как по кладбищу, по хрустким, омертвелым исторически веткам ходят эти любезные черные монахи – грачи.

– Вот они тут и лежат, осиянные, – подал голос Алеша, – на этом кладбище. Но только под другими – не нашими именами. В зигзагах времени, переменах пространств.

Когда человека хотят лишить времени и пространства, его сажают в тюрьму

РАССКАЗ НИНОЧКИ

– Вот не знала-то, – улыбнулась Нина прямо-таки улыбочкой Нефертити, – что когда-то я была египтянкой. Но тут на кладбище лежит моя прабабушка, бабушка бабушки.

– Вот и расскажи про свою «санту»-бабушку, — усмехнулся Алеша.

– А все же страшно, – передернула плечами Ниночка. – Нас разыскивают, а мы тут сидим... еще и расстреляют...

– Типун тебе на язык, – одернула ее Катерина. – Что, разве лучше, если Володьку в цинковом гробу привезут?

– Не пушу! – вцепилась Мария в Красное Солнышко.

– Успокойтесь, невротики, – перебила Фрося общий грачиный галдеж. – Глядите, люди вон цепью идут, лес прочесывают. А где-то за кадром война в Чечне, там и тут люди гибнуть будут при зимних морозах, изгнанные из тюрем и не пущенные обратно... в свою буколическую идиллию...

– А по речке лодки, – заметила Катерина. – Сети тащат, баграми багровыми тычут...

– Да не мотайся же перед зыбкими окнами! – прикрикнула Фрося на Ниночку. – Не мешай глядеть в будущее.

Все улеглись на солому, ушли в себя. приготовились слушать.

– Ниночка, твой черед! Рассчитывай на себя.

– Значит, так, – начала неуверенно Ниночка. – А про страшное можно?

– Валяй, – согласилась компания. – Какова жизнь, такова и история.

– Прошлым летом я к Тоне, старшей сестре, ездила на Алтай, – начала Ниночка. – И такого там нагляделась! Тоня моя в поисковой партии бухгалтером, они землю бурят – артезианские скважины. Городок не так уж велик, хоть и трамваи ходят, все люди знают друг друга... Тоня повела меня к моей сверстнице: чего тебе тут скучать, хоть развеешься. Ну и развеялась...

– А что – кровью пахнет, да? – насторожился Алеша. – Про Алтай в таком случае прежде ничего не рассказывала.

– А что ты поп, что ли? – отмахнулась Ниночка. – Кто ты мне, чтобы тебе все докладывать?

– Главное – чтоб интересно! – аж затряслась, задрожала в сексуальном оргазме Катерина, только о жеребцах и думает, чтобы здить по инподромам.

– Интересно, – произнесла односложно ревнивая, уже имевшая опыт Ниночка. – Интереснее не бывает... Эта Бэлла только что вышла замуж и жила отдельно от родителей. Им с мужем ее родители подарили старенький бабушкин домик с садиком, а бабушку взяли к себе. Привела меня Тоня к Бэлле – Белкой звали ее, если дома, попроще. Так вот, Белка с мужем меня познакомила – с Колей.

У Коли дружок нашелся – Сережа. Вот к Сереже меня и хотели при-строить, чтобы лето целое я у них там не скучала, в узком этом полудомашнем кругу...

– А предавалась бы пошлости и разврату, – встрял Алешка, но его тут же одернули, крайне заинтригованные мысленно на этом ее сексуальном поприще.

– У них в Сибири-то герани по окнам, – пролепетала Ниночка. – Красные, белые, розовые – всякие. Это у нас тут, в серединной Руси, объявили войну мещанству. А герань – цветок очень даже красивый, пахучий, говорят, для здоровья полезный. Вот у них там, в бабушкином домике, окна просто утопали в геранях. А еще на комодке я заметила семь беломраморных слоников – тоже символ мещанского быта, как выражается наша Анастасия Кузьминишна – учи-тельница по литературе...

И вдруг, с первого взгляда, не Сережа, а Коля этот, Белкин, вторгнулся в меня. Просто ужас. Далее как-то неловко. Все сидят за столом, а он только меня и видит, в рюмочку мне одной подливает...

– Ты же у нас египтянка, весталка, – не успокаивался Алеша, он был возбужден и Ниночкины слова брал на свой счет, не принимая во внимание, что рассказ тоже ведь художественная апплика-тура, вырезаемая тут же перед глазами на дереве.

– А что же тебе, как в жизни, что ли: и машина времени, и всякая мистика, что – нельзя и краски сгустить?

– Да сгущай, сгущай! Вот как вас таких, всемирных невест, одних на Алтай отпускать!

– Ну и что?! – отвернулась Ниночка от Алешиной «аппли-катуры». – Что ж, я виновата, что ли, что он в меня вторгся?.. А дальше что? Выпили и танцевать начали. А Николай-то, Белкин муж, меня глазами ест, приглашает, тискает – не знаю уж, куда и деваться, а потом в другую комнату потащил и на диван хотел повалить. Я уж тут ему когти в лицо да как тигра из-под него. Вывернулась, вернулась в зальчик к магнитофону. И он присел рядом да все через плечо на грудь мне заглядывает. Я уж верхнюю пуговку проверила...

А Белка давно все заметила. Меры начала принимать. Хоп на колени Сереже – дружку мужа своего, да за шею его, и давай хохотать, обнимать, целовать. Обезумела просто. Сережа не знает прямо куда деваться-то. А Николай тут же отлип от меня. Пошел в сенцы не водички попить, чтобы охолониться, а наоборот, видать, еще стакан себе накатил.

А Бэлла хохочет, а Бэлла хохочет, а Бэлла...

Николай хватъ со стены ружье – у них над диваном поперек ковра висело охотничье ружье, да на Белку наставил. Мы все оторопели, как заклинило... готовые к сражению в общечеловеческом опыте за право любви... искорка где-то... во глубине... может, оно не заряженное? А он в висок ей наставил – и трах! – и все..

Мозги на ковре, ковер на стене – кошмар, в общем... жертва...

– Быстро девка отмучилась, – строго сказала Мария – Унылое повторение прежнего, все, как встарь.

– Лучше бы не рассказывала, – подала голос Катерина. – Страсть такую.

– Ну, а дети-то хоть были у них? – четко спросила Мария. – Или жили так, под ей-богу?

– На вскрытии беременной оказалась.

– Ну, а что с Николаем?

– Признали, на почве ревности... Дали немного... А Белку хоронили всем городом. Николай в тюрьме уж три раза пытался повеситься...

И тишина. Штукатурка со звонницы упала и чмякнулась о пол, так что стены храма внизу под ними аж зазвенели, эхо пошло гулять по каменной пустыне, ударяясь то о красные, жаром пышущие языки сонмов грешных, кипящих в аду, то о белые яблоки райских кущ. Тысячелетия библейским легендам, а все как вчера. Чистота, несмотря на грозящую катастрофу.

– Так что хоть это – любовь или наваждение, например, бесовство? – спросила сама же себя Мария исподнизу, из подвальчиков, а сама ведь собирается иметь много детей. Так любовь это или не любовь?

– Любовь, – вздохнула Ниночка. – Она любила его, зачем бы тогда и беременеть?

– А он?

Пауза. Долгая пауза. Невозможная, невероятная пауза. Надо уметь держать паузу – в жизни, в хоккее, в музыке. Святослав Рихтер сидит у рояля. Пауза – в тридцать секунд. Вся соната пронесится в его памяти, может быть, все его девяносто концертных программ, и вдруг пальцы падают вниз, и зал вздрагивает от чувства прекрасного – оно рванулось к людям, его уже не унять...

– А он? Он тоже любил. Иначе зачем бы на себя трижды накладывать руки? От черного, черного, черного – к белому.

РАССКАЗ АЛЕШИ

– А ты? – повернулся Владимир к Алеше. – Что думаешь ты, поэт? Он же убил ее – любовь, красоту! Что ты скажешь на это, Алеша, божий ты человек?

Алеша молчал. Он не слышал даже стука собственного сердца. Взгляд его захолодел, заколодило тело, кончики пальцев уже посинели. На правом оцарапанном ухе, повиснув, дрожала алая капля – падет или не падет? Как жемчужина, как рубин у великого Святослава.

Падет или не падет?

Что наша жизнь – игра?

В воздухе пахнет грозой.

О, Русская земля, ты уже за холмом!

– Кого же ты, Алеша, любишь из всех поэтов? – спросила Мария.

– Президента земного шара.

– Президента?

– Он дарит бессмертие. Возможность встречаться во времени...

– Да?

– Да-да, мы повторяемся, мы уже были, мы все будем живы – всегда!.. Жить на Земле в согласии с циклами Солнца. И каждый цикл

определять в триста шестьдесят пять лет. По Пифагору – прямые на плоскости не пересекаются, по Лобачевскому – прямые в сфере пересекутся. А по «Великому Аттрактору» («Притягателю» из иных миров и галактик) – они уйдут в небытие и, если вернуться, то с обратным знаком...

– Ну, и какое это имеет отношение к нашей истории? – сдвинул брови Володька. – Вы, поэты, гении – генофонд человечества и трезвые, так напутаете, что и десять пьяных не разберутся.

– А мне много и не надо, – улыбнулся Алеша мягкой своей, одушевленной улыбкой. – Пусть меня понимает только один человек в мире. Но – кто! Писатель Кедров с его поэтическим космосом.

– Ну так, Алеша, – прильнула к плечу его Ниночка – Теперь очередь за тобой, ты рассказывай.

И опять пауза. Ох, уж эти паузы! Они, как ракеты, перед тем, как ахнуть о землю где-то близко, в траншее; в конце концов, все они нас доконают.

– Всякие есть учения о переселении душ, – сказал Алеша, и веснушки его обозначились резче, словно блики от речки пробежали по этим веснушкам. – В Индии, например, души людей переселяются в мир животных, скажем, в собак. У друидов – в деревья... Я – береза, я – береза, я – береза...

– Выключись, – гладила Ниночка его по плечу. – Зачем же так волноваться?

– Вон тот лес – это я, вон тот лес – это я, вон тот лес – это...

– Ну, ладно, ладно, – и слезы стояли в ее глазах.

Строго она посмотрела на всех, и все глядели на нее со вниманием, понятно. А за Алешей и Иван уже, а за Иваном даже Володька и тот вдруг завелся и со всеми давай повторять:

– Вон тот лес – это мы, вон тот лес – это мы, это мы – тот березовый лес... мы – березы, мы – березы... нас на земле уже шесть миллиардов... нас шесть миллиардов... шесть миллиардов...

И тогда девчата, переглянувшись, поняли вдруг не то, что имела в виду медкомиссия, а что имеет, в конце концов, военкомат.

– Да ладно, захлопнитесь! Хватит вам, мальчишки. Не превращайтесь, юноши, в мужчин так быстро в их борьбе за право любить.

– так сказала, как обрезала, Фрося. – Продолжай, – повернулась она к Алеше, и тот сказал еще белее, по-человечески:

– По Велимиру, существуют кольца такие, циклы в 365 лет. Кем ты был, скажем, триста шестьдесят пять лет назад? Если ты личность, конечно, цен-ность какую-нибудь представляешь. Отсчитал назад от года своего рождения, нашел базовый год и ищи талант, из кого бы это душа в тебя переселилась? В Англии ищу – нету, во Франции – нету... Ни в Испании, ни в Италии... Злюсь на себя: «Вот бездарь-то. И ни из кого приличного душа в меня не переселялась. Сам по себе ты, болиголов, татарник какой-нибудь во степи...» И тут в Бельгии вдруг нахожу подходящего двойника! Художника Яна Брейгеля-старшего. Так обрадовался! Массовые сцены, фольклор, народность. Вот, оказывается, в ком я жил и проявлял себя творчески...

– И где тут, разрешите сказать, про любовь?

– Вот иду я по Брюсселю... ну не я, а Брейгель-старший... ну, как я, мой двойник... Еще и в помине нет там никакого Жака Бреля – барда французского, типа нашего Высоцкого. С его знаменитой песней «Страна на подносе». Эта песня про Бельгию... Значит, иду я, ну не я, а Брейгель-старший, и кого вижу? – делает паузу Алеша.

– Да кого хоть? – нетерпеливы все, завелись.

– Да вот ее, подружку свою, – улыбнулся он, обнимая Ниночку. – Она туда напрямиком из Древнего Египта, в облике еще той «святой», но уже в бельгийских одеждах, да, Нина?

– Да, – едва передохнула Ниночка, заинтригованная до крайности.

– Я тебе тогда еще стихи прочитал, помнишь?

– «Двойники», – прошептала Ниночка.

– Вот мелодия. – Не отрывая магнетического взора от Ниночки, Алеша запел вполголоса, как показалось ей, не на бельгийский даже, а на свой какой-то, древнеегипетский распев:

– Надо мною проплывают облака. Это длится уже годы и века. Жил когда-то Брейгель-старший, Я братишка его младший, Я двойник его, на мне его рука.

Алеша обернулся ко всем, они сидели все, как Нарциссы, сами в себе.

– Наши годы коротки и велики. Я узнал, что существуют двойники. В той же Бельгии когда-то Жил художник. Вроде я там Делал маслом свои первые мазки.

А солнце было уже высоко, лучи падали, высвистывая в облаках Магеллана изнутри. И Алеша продолжал, глядя за черный квадрат:

– Надо мною проплывают облака. Воплощаются в меня мои века. Я пою, а Брейгель-старший Мне нащентывает марши, Все слова живописует свысока.

– Да, Ниночка, так? – между черным успел-таки белое вставить Алеша.

– Хорошо, что существуют двойники. Поживем, хотя и годы коротки. Где ты, мой братишка младший? На сонет мой, чуть увядший, Ты положишь свои свежие венки.

И тишина. И голос Катерины:

– И где же тут про любовь?

– Как где? – удивился Алеша. – Все, что сочиняю, я посвящаю Магелланову облаку. Ради меня Ниночка шла босая через столетья в эту самую Бельгию, чтобы припасть, спасти, вдохновить...

– И вдохновила? – спросил ехидно Володька.

– Кого – тебя или Брейгеля? – это сказала Мария.

– Меня в облике Брейгеля-старшего, – невозмутим был Алеша. – А помнишь, Ниночка, как еще в XV веке в райских куцах Брюсселя мы сорвали первое яблоко? Меня называли тогда «мужицким» за грубоватый юмор, за озорство, за то, что крестьян рисовал. Острая деталь у меня переходила в фантастику, даже в мистику. Я посвятил тебе мою «Безумную Грету». Это мы с тобой, Грета, в свою очередь, вдохновили великого Рубенса... Помнишь, Нина, нашу встречу и тут на речке Седмица, на травке, о санта-святая, о санта Лючия...

– Вот поэты, – рассмеялась нервически Фрося. – Выдумают же! Даже в голову не взбредет.

– А еще в летчицы собралась, – вступилась Ниночка за Алешу, – а неба не видишь.

И тишина. Пауза. До следующей любовной истории.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

– Ну, чья очередь дальше? Катина. Твоя. Ну, Катерина!

– Я – Фрося Бурлакова! Я – Фрося Бурлакова! – встала в позу, как будто на сцене, Катя-Катерина.

– Ария из «Севильского цирюльника» у нас уже есть, – загалдели все биоэнергетически. – Фрося вот – летчица, а ты по коням помираешь, а сама вся какая-то автомобильная.

– У меня, как вы знаете, бабушка лимитчицей после войны Москву поехала обустраивать. Я, говорит, как Фрося Бурлакова из кинофильма «Приходите завтра», песни петь сюда вам прикатила...

– Маша Распутина тоже из Сибири, – зашумели спросонья ребята. – Историю давай, про любовь.

– Откровенно если – я люблю двоих сразу, – подняла голову Катерина. – Но присутствующих это не касается... Двух братьев, двойню, вы их знаете...

– Знаем, знаем, Диму-Тиму, москвичей. Внуков бабки Палаши. Приезжают к ней сюда каждое лето.

– То люблю Дмитрия, то Тимофея, – подобрала губки свои Катерина. – То врозь, то по очереди. Но втайне, конечно... Все знают, мы, Моторины, с техникой связаны. Кто на тракторе, кто на КАМАЗе. Дима-Тима из Москвы приезжают на собственной «Волге», и когда «Волга» проходит мимо, я за ней бегу аж за околицу, жадно вдыхаю запах бензина... Встречу где-нибудь после Диму, тянет прильнуть, все ловлю от куртки его слабый, тлеющий запах...

– Быть тебе, Катерина, начальником автопредприятия! – засмеялся Иван.

– А на другое лето больше Тиму я полюбила, – сказала Катя. – Как узнала, что он в Москве с конями дело имеет, в конно-спортивной школе... От его пиджака ловила я уже запахи конского пота – такое наслаждение...

– Быть тебе, Катюша, мастером-жокеем! – рассмеялся Володька. – Будешь, Катерина, по ипподромам раскатывать.

– А как же с этой летчицей быть? – обернулась к Фросе вдруг Катерина и подошла к квадрату просвета в звоннице да как заорет еще ту – дедовскую частушку-колотушку, вниз куда-то, как в преисподнюю:

– Товарищ Ворошилов!

Война уж на носу,

А Конная Буденного

Пошла на колбасу!

– Да за такую песню в тридцать седьмом сажали в Америке на электрический стул. – А почему хоть в Америке-то? – А где же еще? У нас же электрического стула не было. У нас вообще стульев не было – одни лавки по стенке. Р-раз – и к стенке.

– Окоротись, дурачок. Стенки разные, да побелка одна...

– А как же с эпиграфом, Алексей?! – добивалась своего Катерина – внучка той, что приехала в Москву показывать песни.

– Успокойся, – засмеялся от белой радости мыслей Алеша, признали-таки в нем провидца, хоть и нет, говорят, пророка в своем отечестве. – А знаешь, кем будешь ты, а, Бурлакова? Провижу: шеф-поваром в московском ресторане «Прага». Дедок у них там один имеется, умеет готовить всякие фрики-брики, князей всяких когда-то кормил, даже царской фамилии... старый уже, помрет вскоре и поставят тебя, и тебе в жалобную книгу будут писать одни благодарности...

– Так Ниночка у нас в повара собирается, – подал голос кто-то в углу на соломе.

– И за кого же замуж я выйду? – спросила Катюша.

– А ни за кого.

– Ха-ха-ха. – рассмеялась Катя-Катерина.

Она уже чувствовала себя главным специалистом по стряпне информации. И читала поваренную книгу Бальзака, написанную им по итогам встречи в Тифлисе с богатыми армянами, после чего в XX веке умрет французский президент Помпиду – человек с армянскими корнями.

– До сих пор не знаю, кому тогда отдалась – Диме или Тимофею?

– Ну дает, – загоготали ехидно, как-то черняво, ребята.

– А для чего надо знать-то? – удивилась Ниночка с белым платком на плечах, бывшая еще когда-когда «святой» египтянкой.

– А чтоб знать – за кого выходить?

– Да какая разница, – улыбнулся с высоты своего профессионализма Володька. – Кто берет, за того и выходи. Тем более двойня, половой экстаз одинаковый...

– А история где? – не сдержалась Мария.

– Вот история, – пролепетала убежденная и разубежденная, и опять убежденная Катерина. И, тряхнув головой, понеслась, закусив удила. – Вот иду я в первый раз на свидание. К Тиме, конечно, который имеет дело с конями... Прошлым летом дело было, вот так же под Троицу. Иду, значит, к речке, под Синие Скалы, соловьи бугруют вовсю... А силы на исходе, все думаю: «Вдруг да не Тима, а Дима, как их различить?». Если разом на обоих глянуть – у одного нос пошире, у другого ухо оттянуто. А как врозь – так оба вроде бы одинаковы. Боюсь, приеду к Тимофею, а уйду от Дмитрия... А тут планчик такой прорезался! – тряхнула Катерина рыжеволосой копной. Боевая, – во темперамент! И запела:

– Хотел бы в единое слово

Я слить свою грусть и печаль.

Гляжу, стоит он, миленький ты мой, стоит, родненький. Прильнула я к нему, а сама пиджак нюхаю: чем пахнет – лошадьё или бензином? Слышу, конским потом потягивает... «Значит, это Тимофей...» Так обрадовалась. В ту же ночь ему отдалась...

А утром сказала ему о пиджаке откровенно. А он улыбнулся и говорит: «А пиджак-то не мой. Тот пиджак, – говорит, – дал мне брат напрокат – какой поновее». Я так и присела. А он смеется: и не врет, и правду не говорит. Кто же он – Дима или Тимофей, до сих пор знать не знаю.

РАССКАЗ ВЛАДИМИРА

Настала Володькина очередь сказку рассказывать. А Володька сидит, раскрылехтясь, подперев рукой голову. Может, солнце головушку горькую, удалую ему напекло, он же с краю, к просвету, он всегда с краю.

– Отчего невеселый такой? – обнимает его Мария.

– Дни мои сочтены, – начал лазаря петь Владимир без всякой паузы, не-когда прохладиться. – Да, такая фантазия. Я, значит, попал в Чечню. И сразу погиб там от пули. Отца у меня, как известно, нет уж лет десять. А мать, знаю, умрет сразу же после известия о моей гибели. И ты, Маруся, вместо матери моей отправишься на Кавказ за моими останками в составе делегации Комитета солдатских матерей... Остальное, разрешите, я от имени Марии перескажу. Как и что с нею было и будет. Рассказ этот уже, считайте, после смерти моей.

– Ты, Мария, получила этот «консенсус» – бумажку из военкомата, но не поверила. Для тебя я бессмертен, так?

– Да, так, – прошептала Мария.

– И тогда собрала ты кое-какие деньжонки, люди в шапку тебе накидали, да и отправилась в те края. Думала, может, в заложниках где я, пока что живой. Не могут же они просто так, ни за что ни про что убить человека. Так не бывает, сразу вдруг и навсегда...

– Хороша Маша, когда она наша, – отвернулся Алеша.

– Приехали к ним туда наши матери, – продолжал Володька, – в первое ихнее поселение. Постучали в крайний, первопопавшийся домик – им открыли, покормили, спать уложили. А уже с утра к старейшинам повели...

С неделю, в общем, пробыла там с матерями ты, Маша. И всю неделю не спала, не пила и не ела, обо мне только и думала: «Может, где-то поблизости я, совсем рядом?..»

– Это подвиг.

– К домику, где они были, часового приставили. Сказали: чтобы вдруг не украли. И послали по селеньям гонцов, сказали: мол, приехали за своими детьми русские матери. Хотят видеть их

живыми или мертвыми. Такая весть летела по горным селениям, стучалась в грудь тем, у кого еще оставалось сердце...

Одной матери привели сыночка за выкуп, другой – возвратили больного, третьей – привезли останки... Мария собралась и ушла в темную ночь.

– Это – подвиг.

– Она поднялась в горы, – продолжал Владимир. – И ее провели в ихний штаб. Она стояла перед их стандартным полевым командиром – молодым, бородатым.

– Зачем вы тут?! – сверкнул он глазами.

– Зовите меня на «ты», – сказала она покорно.

– Зачем ты тут? – уже значительно тише сказал командир.

– За сыном пришла, – сказала она.

– Ты кто ему?

– Мать.

– Такая молодая?

– Я жена и мать ему после смерти его матери, получившей плохую весть.

И глаза у горца погасли.

– Это – подвиг, подвиг, – вслед за Марией вздохнула звонница.

Маша плакала в плечо Володькино, тихо скулила Маруся.

– Ну и что дальше-то, что? – строго спросила Володьку биоэнергетически уже не черная, но еще и не белая Фрося. – Веру свою не предлагали? А в школу снайперов?

– Дальше что? – вздохнул Владимир. – А дальше отвезли в горы ее к перекрестку, подвели к свежему холмику: «Забирай, если любишь...»

– И это – любовь.

И была пауза. Ни о чем не хотелось ни думать, ни говорить. Зыбко будущее, рассчитывай лишь на себя в человеческом опыте, в энергетике чувств. И тут тишину храма раскололо звуками – в ужасе влетела в дверную щель овечка-ярочка, за ней от самой деревни гнались собаки. Озверелые, одичалые, слюни клубом. По городам брошены, а тут объявились, в этой полудикой степи, хуже волков.

Бляние, крик овечий – почти человеческий, а визжание собачье. И шерсть клочьями, кровь по стенкам. Хрип и агония. Даже грешники на стенах, даже те, кипящие в котлах, поперхнулись в ужасе. И это все в храме; Боже, до чего допускаешь в своих владениях?!

С потолка падал кусок штукатурки, эхо копилось веками и эпохами, а тут прорвалось. Все в звоннице оцепенели, только и слышно было Володькино дыхание. Да как где-то движутся сюда, покрикивая, люди цепочкой от речки Седмицы, от Седмицкого леса. Уж не омовцы ль? Тучи клубились в широкой степи, в воздухе пахло грозой.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ВЕРА

Вечереет. Живая цепочка за лесом, – это омовцы? Горстка молодых людей на соломе, они лежат, напрягшись, под июньской жарой, – вчерашние школьники, молодежь, будущее страны. Сюда, до Языческого Холма, иногда долетает шум с реки, в ноздри шибает тиной.

Первый круг пройден. Начинается круг второй.

– Подъем! – скомандовала Фрося – этот пацан в джинсах, мальчишка в юбке.

Солнце уже на закате. О Любви мы закончили, теперь расскажем о Вере.

– Давай, Маша, – сказала Фрося.

РАССКАЗ МАРИИ

– Храм наш носит имя Казанской Божьей Матери – Богородицы, защитницы нашей. Как в Москве Василий Блаженный, как в есенинском Константинове, – выразительно высказалась Мария. – Еще прадед мой в этой церкви служил. Тихомировы мы, фамилия у нас такая церковная и имя мое библейское... Вот что я вам расскажу, какая легенда живет в нашей семье. Церковь эта еще не старая, с конца прошлого века. А до того мы к Мисайловскому приходу были приписаны. Хоть село наше не так уж и богато,

однако на сходе решено было свою церковь строить. А строили тогда на совесть. И чтобы не было подобного храма ни у кого, и набок сразу чтобы не повалился...

– В Орле однажды, – заметил Иван иронично, – институт «Гипродор» утром строили, вечером разбирали...

– На яйцах, на муке, на молоке храмы вечны, – сказала Мария.

От речки ветерком потянуло, и стало посвистывать в каждую щель. Звонница заговорила, завывала прямо-таки человечьи. И все один выделялся низковатый, басовятый, бархатный голос, это фанерка у пустого окна трепетала.

– Тесс! – пришикнула на сидящих Мария. – Так о чем я? Ах да, прадед мой был прислан сюда священником еще по молодости. Тут уже цоколь вывели, стены начали класть. Увидел он – храмину затеяли не по карману, вельми велик да пышен для такого села. Однако лет сорок, бывало, возводят такую храмину, а как возведут, глянут ввысь – шапка валится, а от красоты дух захватывает... Колокол на Валдае заказали, а как выкупать – три года подряд неурожай. Солнце на Седмицы за что-то разгневалось, выжигало основное наше богатство, как и поныне, – хлеба... И пошли мужики в отход по России. Не с шапкой по миру, а со трудами своими. И так говорили седмицкие по народу:

– Мы храм строим Казанской Божьей Матери – защитницы Отечества. Да, видать, согрешили. Может, с того, что на древнем капище поставили. Вот Бог и разгневался, три года как насылет напасть – засуху. Отощали мы, обнищали, однако совести не потеряли, перед Богом себя блюдем, храм возводим. Как в Москве, где при конце второго тысячелетия восстановлена будет храмина Спасителя. Вот идем мы по Руси, трудами своими чем кому можем-поможем, а вы уж, люди русские, нас не обесчестьте...

И на Север ходили, до Соловков добирались, – в Холуе были, Палехе, Мстере, и на юг, Кавказских гор достигали – всюду рупь в поте лица добывали. Набрали на колокол – привезли, начали его воздымать, а лесина под тягостью возьми да и подломись, хряснулся колокол оземь, треснул, голос, мать моя, потерял! Трех мужиков, притом лучших, убило – самых сильных и самых совестливых.

– Почему хоть так бывает, – вздохнул Алеша, – самых-самых Господь забирает? Вот три дядьки мои с войны не вернулись...

– Мужиков отпели, похоронили, – продолжала Мария, – новый колокол в земле сами начали лить и к куполам уже приступили. Изнутри расписывать начали, алтарь стали золотить... Матерьял-то сколько скоплено: и кирпича, и извести, вот в известь и давай совать яйца, муку, краски всякие, железо фольговое... И все хранилось в самом храме, все не на заперти, замков тогда никаких; не знали, что это такое, замки-то.

А тут голод нагрянул – осенью опять ничего не собрали. Даже на прокорм. Вот и зима подъявилась – белым-бело, а храм прямо-таки сияет незапертой дверью на Языческом Холме. И чего в нем только нет, богатства всенародные, немислимые, особо для голодного человека. Утром встанет мужик – лег с вечера натошак, да тут еще шестеро по лавке, сам – седьмой, так и тянет стянуть что-нибудь, где плохо лежит. Шмыг за дверь, глянет на капище – стоит, зияет, дает надежду. Перекрестится мужик и опять терпеть, несет и далее свой крест по зиме-то суровой. У друг друга еще, бывало, сопрут, это могут, и тогда было. А вот чтобы во храм войти с темной мыслишкой, да ни-ни-ни, ни за что, и в помыслах такого не было, не наблюдалось.

Голодно. Самыми первыми помирать начали дети. Собрался церковный совет – что ж это мы, вон мука, вон фольга дорогая в мешках; может, продать, как-нибудь перевернуться – хоть бы крайних два месяца, а там уж апрель, травка – солнышко – жизнь... «Нет, – решили. – Вера есть Вера. То – высокое, бо-жеское, а это – земное, человеческое, как-нибудь перетерпим...»

И ведь справились, возвели храм. Как освятили его да как глянули – красота! Нет другого такого в округе. С нами Бог, знай наших, мы неотступные, седмицкие!..

Мария заключила свой рассказ. Все сидели тише мышки, все прислушивались, как по полу там, внизу, с визгом носились худые церковные крысы. А с отсырелых стенок капель капала: кап-кап, точка-точка, тире... точка-точка... как в каких-нибудь петропавловских казематах... А по стенкам грешники все лизали своими длинными, шершавыми языками огненные сковородки.

РАССКАЗ ФРОСИ

Крысы взвизгнули и унеслись в небытие, откапелились капли. Жара июньская, духотища. Небо аж звенит своим медно-золотым, пронзительно-малиновым звоном. И Фрося начала свой рассказ:

– Твой прадедушка, Мария, строил храм, а мой дед его разрушал. После революции, после гражданской войны. По всей стране тогда церкви сносили, колокола сбрасывали, людей забирали и увозили. И особенно тут у нас, по Руси, южнее Москвы, в дворянско-помещичьих гнездах. Так строили новый мир.

Кто был никем, тот станет всем.

Церковь мешала им, давила авторитетами. Вот и в Седмицах было создано общество «Воинствующий атеист». И дед мой Ермила Дегтярев в него записался. Однажды вызывают его в район и говорят: «То была пропаганда и агитация, что Бога нет. А теперь будем переходить к конкретным мерам осуществления, церкви начинаем крушить. Как тебе это нравится?» – «Нравится не нравится, – пожимает плечами Ермила, – а указания центра исполнять следует!» – «Правильно, – говорят в районном масштабе. – Иначе нельзя. С вашего храма в качестве самого видного и начинаем. Торчит, понимаешь, как бельмо в глазу...» Отпрянул дед от райцентра, собрал своих сателлитов и говорит: «Храм разрушить велят... до основанья... а затем мы наш, мы новый мир построим, такая кампания». А сателлиты ему: «Кампания – да, а боги за церковь башку оторвут». «Как быть?» – морочует дед Ермила вместе со своей гоп-компанией. И на север не больно охота, и церковь жалко, хучь и она «опиум для народа».

Решили малой кровью отделаться, может, еще какое постановление выйдет, отменяющее преждевременное.

– Все равно твой дед был «г» на палочке, – в спину подтолкнула Фросю Мария. – Дюже воинствующий.

– Я легенду излагаю, – обиделась Фрося и отвернулась. – За что сама купила... Так вот что решили эти наши атеисты. Колокол упразднить, а церковь обойти. А в помещение практически зерно

ссыпать, в общем, храмину в склад превратить. И послали такую бумагу в район, мол, откликаемся на ваше прямое указание всем порывом души, однако с учетом местного практического акцента. А сами собрались и пошли на Языческий Холм, поднялись к храму – стоят, переталкиваются: «Кто первый полезет? Кому заводить веревку?». «Воинствующие атеисты»-то, а боятся гнева Господнего. «Ты, дед, – говорят, – главный у нас, ты и полезай». Как рассказывали, наострил дед сердце мужеством, перекрестился да и полез, помогай Бог. Накинули веревку на колокол – качали, качали – раскачали. Упал колокол – в соседней роще воронье в небо взмыло, солнце черным крылом как бы воздух охлостило. Так и стоит пыль перед всеми. Как чему-нибудь нехорошему случиться, так чернота эта в липовой роще и начинает грядать. Несметные черные тысячи заслоняют полдневное белое небо то с запада, то с востока...

– Ну, а с колоколом-то что? – спросил преспокойненько кто-то. – Какова его судьба?

– Упал, но не треснул, – продолжила Фрося. – Мягко этот опустился, как на спину кому-то большому. Говорят, главному богу языческому Перуну. Наш Языческий Холм – часть спины Перуна, выступает из-под земли... Упал он, значит, сиротка, лежит на Перуновой спине. Люди кинулись на колени, губами припали к бронзе, а дело зимнее, мороз – губы до крови пооборвали. Вот и лежит с той поры в бурьянах: «Эх, пролечу, прозвеню бубенцами». Ямщицкая надпись взята с бубенцов валдайских... Да! А потом за крест атеисты взялись, на крест завели веревки – тянули, тянули – никак, только веревка лопнула, а крест как похилился чуть, так и стоит, наклонясь, по ходу солнца. С востока на запад...

А колокол мужики седмицкие потом, до лучших времен, взяли да и обкопали. Чтобы не околдовал. А он после сам, говорят, в землю угрыз. И что интересно, как бедствию какому-либо прийти-нагрянуть, так он и гудет, предупреждает. Гудет-гудет в нутре земли колокол, аж воронье в соседней роще кидается, и черные верши тянутся ниже облачья то с запада, то с востока... Темные такие лохмотья...

– С запада – это что? – спросил Володька.

– Как случиться Отечественной, второй мировой, так и загудело снизу, а вверху взмыкалось воронье, – шваркнула сырой тряпкой о солому Фрося. – Коней повели в райцентр, мужики сами пешком пошли... Те, что с запада явились, мамка говорит, были в рогатых касках, на «соломенных» машинах...

– На «соломенных»? – удивились все, недоумевают.

– Октябрь уже был, холода ранние, – пояснила Фрося. – Моторы соломой стеганой прикрыты... Вот колокол гудел перед тем, надрывался. Мол, идет ворог, Западом всем наученный. Мол, терпим, оттого что вставать начали... А как битве на Вяжах произойти, летом сорок третьего, так и вовсе из себя выходил, ревел исподнизу, в земле, колокол этот наш – храма Казанской Божьей Матери, заступницы Отечества. Вокруг Седмиц окопы роют, оборону держат. А бабы детей похватали да сюда, на Холм Языческий, на Перунову спину – в божий-то храм. Семь недель, день в день, просидели с детьми в подвале храма Божьего и все слушали колокол, в землю ушедший. В свободу верили, в освобождение, вера какая была, в черные крылья не верили даже в самую тяжкую пору.

РАССКАЗ ИВАНА

– Ту же легенду слышал я, но только с другим концом, – сказал Иван, который собирался стать доктором. – Значит, летом сорок третьего наша разведка по руслу речки Седмицы проникла к нам сюда, на оккупированную территорию. Только водички в деревне попили, поговорили со своими – вот они на мотоциклах. Наша разведка – в храм, под крыло Божьей Матери. Окружили Божий храм мотоциклисты:

– Выходи, рус! Сдавайсь!

Сидят наши там, за каменной стеной, как у Христа за пазухой. А те давай их поливать из автоматов да из пулеметов... Когда выйдем, – сказал Иван, – обратите внимание: все стены в дырках – это от пуль, от гранат, даже от осколков минометных... Староста

наш Семен Козырев в храм туда с разведкой ушел, по-сле рассказывал:

«Сидим, значит, сутки, сидим трое. Воды ни грамма, патроны кончаются, что делать?» Вспомнил староста про подвалы храмовые, вроде люди там какие-то захороненные – значит, должны быть ходы. Спустился Семен в подвал, что пониже, видит – камень в углу как-то боком торчит. Пошатал его, этот камень, еще одного позвал – вдвоем пошатали, плечом сдвинули. А за камнем оказалась дыра. В общем, ход подземный. В общем, выскользнули. Ход кончался где-то у Синих Скал, прямо в поле. Во-он, где рожь колосится... Вот вам храм, вот вам Вера. Верить в лучшее надо всегда, до последнего...

– Свой рассказ расскажи, собственный, – потребовали ребята.

– Собственный? – пораздумывал с минуту Иван. И нашло на него какое-то остервенение. – Вот мы слышали от Фроси, то с запада, а то с востока тянутся к нам сюда крылья черные туч, воронье... И ведь Библии это известно давно, тысячи лет уж легенде о полыни-звезде, которая как взорвется, так и вода, и еда станут горькими... И вот вам рассказ. За что не получил орденок дед мой и за что получил мой отец. Как вы знаете, у нас – династия, все в роду агрономы...

– Ну и что? – спросила ехидновато Фрося. – Все на полях работают, а на ордена претендуют одни агрономы?

– Дедок мой, Спиридон Иваныч, – не обращал внимания Иван на Фро-сину выходку, – как известно, агрономом был сразу же после войны. Поля тогда какие были – кругом танки битые, траншеи, воронки... На коровах пашем, лопатой копаем, – какой там хлеб! Вот взял мой дед, как и все, повышенное, но осторожное обязательство: получить по девять центнеров с га. А собрал Спиридон к осени по пятнадцать, а кое-где на круг даже по восемнадцать. Только в Америке, какая войны на своей территории не знала, такое бывало. «Ну, – думает Спиридон Иваныч, – уж теперь-то орденок повесят!» Однако приходит осенью разрядка – Спиридону, деду моему, шиш с маслом, а соседям, у которых и по двенадцать-то центнерочков едва наскреблось, – ордена и медали. Спиридон наш в обиде:

– На каком основании? Почему?

– Нет тебе орденочка, – говорят ему в инстанции, – оттого что не верил. В силы народные, в урожай. Ты чего с весны заявлял? А осенью получил вдвое больше. А соседи твои сколько заявляли, столько и получили.

– Ну и что?

– А то. Что твое поле – поле битвы. На крови урожай, на костях. А у соседей – от прозорливости.

Вот так. Деду не то что орден, даже медали не дали. А вот за что отец мой Иван Спиридоныч Крученых орден получил.

– Интересно, за что? – смеется Володька как будущий агроном. – Небось, сто центнеров брал обязательство и получил сто, да?

– Я в семье, – усмехнулся Иван, – такую школу прошел! Получил батя орден «Знак Почета», и за что, опять-таки, спрашивается? За Веру теперь, а не за прозорливость... Вот мы говорим: реактор в Чернобыле взорвался, так с юго-запада галки черные к нам сюда полетели, еще Библией предсказано... В конце апреля, заметим, случилось, и беда пришла сюда к нам по розе ветров. Молоко из восточных районов в область стали возить, а про хлеб – про зерно позабыли. А тут грибы, а тут лопухи, а тут беда-лебеда – под крышу ростом, в зловещем черно-красном, шафранном изображении.

К осени хлеб собрали – центнера невозможные. Вызвали отца моего в район.

– Ты, – говорят, – мог, Крученых, подозревать о таком положении?

– Нет, – говорит, – и не подозревал даже. Но подразумевал, что чем больше, тем лучше.

– Чего... больше?

– Ну этого... как его...

– Стронция?

– Да нет, – говорит, – я про это молчу. Я – за большой урожай.

– Ну вот, – говорят, – правильно все понимаешь. Достоин.

– Чего достоин? – спрашивает отец. – Того, чего деду не дали?

– А чего деду не дали? Медали? – говорят в начальстве и сдвигают брови как покруче. – Ему медали не дали, а тебе, Крученых, орден даем, возлагаем надежды.

И пришпандорили ему, как на памятник какой, боевой орден Красной Звезды.

– Почему боевой? – даже дед офонарел от такого разворота оборота.

– Потому что обстановка в стране у нас завсегда боевая, военная, понял?

Вот так. Если не верите, приходите к нам домой, поглядите, в коробочке у отца хранится. Он сам его только в День Победы смотрит, носить не носит и показывать не показывает. Но до пенсии этот орденок дал ему дотянуть. Потому что верил в себя, в народ, в его неустанную прозорливость. Это дед его недоумил, хотя сам орденок-то недополучил. А если бы получил, то бы не научил. Так что все хорошо, где нас нет. Тем более, на этом Северном Кавказе, где даже Лермонтова не пожалели. На что – гений, поэт, гордость нации, демонические начала, а и то Мартынову не понравилось, что тот пишет стихи про «героев нашего времени», а он, Мартынов, не одолевает рифму стихосложения, и тогда он взял и лишил его самого главного. Я жалею Лермонтова, и, если поеду когда-нибудь на Кавказ, то не из-за Чечни, на кой она (да, Володь?), а исключительно ради Лермонтова, чтобы посмотреть на «лермонтовский провал», глянуть, куда это все в России провалилось и проваливается до сих пор. И хорошее, и плохое. А главное – дружба народов, теперь же повсюду воюют. Но плохое я не жалею, пущай проваливается, а вот хорошее жалко... Десять классов закончили, а теперь сам определяйся, гони деньги за учебу на медицину (да, Володь?)... Надо верить во все хорошее, а плохое мы будем подразумевать. Вот так. Все. Отзвонил и с колокольни долой, да, Володь?

– Да, да! – разразился Володька. – Вот бегемот! Как разволнуется, куда что девается, так и прут из него диалекты.

РАССКАЗ НИНОЧКИ

– Ой! – смеясь, схватилась за грудь Нина-Ниночка, побывавшая дотоле в Бельгии и даже в Древнем Египте. – Вот развеселил-то Ванек! Вроде строгий, серьезный такой, а тут – нате вам, как у пьяного, все наружу.

– А чего мне скрывать-то? – поджал губы Иван. – Раз про веру, значит, про веру. А ты не вихляй хвостом, Лисавета Патрикеевна.

– Я человек простой, – вздохнула Ниночка, – и рассказ у меня про себя. Видите, какая я маленькая, хрупкая.

– Не в коня корм, – улыбнулась Катерина.

– Я чего поваром быть хочу, – посерьезнев, вздохнула Ниночка. – Думаю, еды будет много, любой. Ешь, сколько влезет, может быть, подрасту, а?

– Это что-то внутри тебя, – заметила по-родительски рассудительная Мария. – Винтик какой-то недозавернут.

– Не знаю, – чертила соломинкой Нина что-то по пыли прямо перед собой. – Вот круг черчу, а получается треугольник... Помню, лет семь мне было, так все мне большим казалось: люди, дом наш, особенно Холм Языческий – Перунова спина. Встану утром, бывало, обязательно посмотрю на церковь. Если большой, красивой покажется, значит, со мной все в порядке, день будет хороший. С тем и росла...

– А чего же не выросла? – заметил Володька.

– Все кругом большое, красивое, а я ма-аленькая, козявка, – всхлипнула Ниночка и заплакала. – Хорошего мне никогда ничего не доставалось, всегда и во всем последняя.

– Вот дурочка, – обняла ее Мария. – Да какая же ты последняя, ты – красивая, только махонькая. А маленькие нарасхват, все маленьких любят – и гвардейцы, и недомерки... Надо верить в себя... Вон Фрося, видишь, одна, а не обижается же...

– А однажды, девочки, – оживясь, повернулась Ниночка к Фросе, – церковь наша показалась мне тоже маленькой-премаленькой, все показалось маленьким – и село, и речка, и дом, и люди... А я, по сравнению с ними, большая...

– Ой, – засмеялся Алеша, – краешек перехватила.

– И жить стало страшно, – сказала Ниночка. – Иду по тропинке, а ноги ставить боюсь. Все кажется мне, что туфли мои – туфлищи провалят землю – камушки раздавлю. Подойду к дому, поглажу угол, а кажется, кирпич вот-вот выгашу и угол развалится, дом рухнет...

Во двор выйду или в сад – боюсь до собаки дотронуться, клоч шерсти из бока выдеру... Просто жизни нет никакой, как нехорошо. Вот и стала я все в себе сокращать. С километр идти, а я пройду сто метров и стану, стою, ничего не делаю. Десять яблок за день, бывало, съедала, а я съем одно. Еще хочется, а не ем, останавливаю себя. В себя верю – мол, и так обойдусь...

– Вот ты расти и перестала, – заметила Фрося. – Со своими причудами.

– Первые огурцы пойдут, – продолжала Ниночка, – положат с десяток огурцов в решето – отнеси, мол, соседям. Я один огурец оставляю, остальные выкину, один соседям и отнесу... Сначала все надо мной смеялись, а потом плечами пожимать начали, не знали, что делать. Особо после того, как я сказала однажды, озирая церковный купол на фоне восходящего солнца, что все это не-хорошо, некрасиво, даже страшно...

Вот тут-то все и задумались.

– Красиво это, – сказали мне. – Красиво, разве не видишь?

– А я говорю – некрасиво. И стою на своем, аж плачу.

– Ну и дальше что? – спросила Мария нетерпеливо. – Ну что?!

– Дальше-то? – вздохнула Ниночка. – Наоборот все во мне перевернулось. Купол церковный стал казаться очень большим, очень красивым. Даже когда шли дожди, все равно он сиял своей красотой... Вот мать мне однажды и говорит: «Иди, доченька, с отцом травки корове подкосите». Спустились мы в суходол – отец «ручку» идет, я с граблями следом за ним иду, подгребаю. Головки ромашковые, синие колокольцы, слезки анютины так под косой и клонятся, рядком и ладком. А мне душу всю разрывает, сверху идут сигналы – выше неба откуда-то: такая красота, красотища живая, а мы смерти ее предаем. Я – дерг отца за локоть:

– Не коси!

– Чего ты? – останавливается он.

– Не коси, – говорю, а у самой слезы в глазах, а в груди теснота, все колом стоит, просто жить невозможно.

Отец посмотрел на меня искоса, но внимательно (умный был у меня отец, верила я ему), да и подает банку из-под кваса.

– На-ка, – говорит, – сбегай, дочка, домой! Что-то сохнет во рту...

И пока я бегала, он траву без меня и скошил.

Солнце еще не село. Грачи по гнездам начинали свою предвечернюю суету, и Синие Скалы теряли свои очертания. В речной излучине зарождался туман. «Ой, туман, туман, туман при долине»...

РАССКАЗ АЛЕШИ

Клонясь к горизонту, солнце заливало звонницу сумеречно-розоватым, каким-то таинственным, прямо-таки магнетическим светом. Лица, руки, солому, на которой они лежали, саму стенку, на которой, словно экран телевизора, сияло яркое солнечное пятно.

– Вот, – сказал Алеша – будущий поэт в миру или, в случае чего, служка монастырский. И расстегнул рубашку, снял с шеи серебряный крестик, держа за цепочку, покачал в воздухе. – В всячем положении это «биоэнергетический маятник» – «БЭМ».

И хлоп его на камень, прямо перед собой. Серебряный крестик в руке завис над розовато-солнечным камнем. Все впились в него... Мгновенье, семнадцатое, двадцать первое... И тут крестик дрогнул, качнулся и сдвинулся вправо, по ходу солнца. И круги все полнее, размашистее – по часовой, по часовой, опять же по ходу солнца. И послышалось ему в глубине самого себя, как белые, черные кольца в нем закачались и стали расти.

– Ну что? – повернулся беспокойно Алеша к сидящим.

– А ничего, – равнодушно пожали плечами сидящие.

– А вот, – Алеша переложил камень в угол.

Угол был темен, а камень еще темнее, настолько, что отливал синевой. Крестик на цепочке застыл над ним неподвижно, намертво. Всем уже надоело смотреть на зафиксированную руку Алеши, и тут крестик вздрогнул. И качнулся едва заметно, но, кажется, в другую, обратную сторону. И лучик вроде за тучку спрятался, стало сумеречно, через какое-то время крестик уже мотал круги против часовой, против хода самого солнца.

– Ну что??! – повернулся Алеша ко всем торжествуя. – Что я вам говорил?

– А что? – удивились серости своей все на соломе сидящие.

– А то, что в первом случае «маятник» показывает энергию белую, солнечную – положительную, – засмеялся Алеша.

– А во втором? Отрицательную, да? – пожала плечами Фрося.

– А ну, так вот попробуем, – поднял Алеша свой серебряный крестик над ее головой.

«БЭМ» долго стоял недвижимо, потом покачнулся, двинулся по часовой, однако с трудом, какими-то рывочками, рывками, пока опять-таки не раскачался в широкую амплитуду.

– Положительный заряд, – заключил Алексей. – Одно ясно, если взять за «кадастр»... за точку отсчета... солнечный камень, то что? Рывки, медленная раскатка – что-то сдерживает... влияет на душу отрицательным образом.

– Мать Фроси – глава администрации, – подала голос Катерина. – А на дочери отражается.

– А у тебя? – занес Алеша руку с крестиком над головой Катерины. – А у тебя дядя... в тюрьме.

– Как под гильотиной сижу, – засмеялась Катюша.

Крестик тут же ринулся вправо по часовой, по ходу солнца. Раскрутился быстренько в широкие, машистые круги.

– Ого! – вскрикнули сразу все. – Эта своего образа от жизни добьется. Будет жокеем – мастером раскатывать по ипподромам страны, знаменитостью, гордостью России, как Петушкова.

Над Марией «маятник» тоже сразу же двинулся вправо... раз, два... семь... и замер. И еще: раз, два и опять замер.

– Ну поняли? – продолжая улыбаться, повернулся ко всем Алеша.

– Поняли, – ответил Володька. – У Маруси будет куча детей. Сначала семеро, а потом еще двое... итого девять – вот сколько будет детей у Марии.

– Молчи, глупый, – заслонила собой Володьку Мария.

А над Владимиром «БЭМ» долго стоял неподвижно. Потом задрожал мелко-мелко, но даже с места не сдвинулся. Завис над затылком, замер и не дрожал.

– Ну ладно, – поспешил Алеша убрать свою «гильотину». – Я же говорил, владеть миром Владимиру не придется...

И все приняли близко к сердцу слова Алешины, все подумали о Чечне, остальное не так уж и трогало. Круги Ивановы были положительны, но не широки, а размеренны, ровны.

– Этот парень даст еще клятву своему Гиппократу, – констатировал Алексей. – Будет врачом где-нибудь на задрипаннейшем участке.

– Типун тебе на язык.

– Мы, поэты, словом хлеб себе зарабатываем, – улыбнулся Алеша, убирая крест свой себе под рубаху. – Нам слова для человека не жалко.

– А сам что же, – мимо? – не упустил своего бдительный Иван, только что задетый за живое Алешей.

– Не вилай, Алексей, не вилай, божий ты человек! – захолопотали, затопотали девчата.

Едва Мария подняла серебряный крестик над головой Алексея, как он тут же начал беспорядочное движение: вниз – ввысь, вправо – влево. Наконец, успокоясь, сорганизовался в движение слева направо – по ходу солнца, по часовой. Да так раскачался, что готов был сорваться с цепочки и вылететь вон...

– Ого! – опустила руку Мария.

Слышно было, как в липовой роще, поближе тут – на кладбище, гряли птичьи станицы. Только что прилетели с полей, наклевались там зелени кукурузной.

– Какой диагноз поставим? – лицом ко всем повернулась Мария, подавая Алеше его крестик на блестящей цепочке.

– Каждый второй с детства стихи пишет, и только один из мильенов восходит на Голгофу, – повертел головой Алеша. – Крест Господний для Иисуса был орудием позора и пыток. Но только после пыток Христа он стал святым распятием. Я буду писать стихи, буду иметь дело со словом, пока мы живы. Мне еще предстоит войти в карму, связать сферы и развязать, познать и еще более обосновать... себя в кристалле. Увидеть магические реалии... Я верю в себя...

– Смири гордыню.

– Откуда он взялся, этот «кудесник»? – широкими глазами смотрели на Алешу друзья, восседающие на соломе.

То были практические занятия, а теперь вот вам и теория, этот рассказ. Он краток... Все живое на Земле создано Солнцем. Культ Солнца существует с древнейших времен. Например, у ацтеков. Циклопические сооружения, устремленные в небо. Золото – солнечный металл, как диски самого Солнца, как нимб... И жили-были два брата ацтека. Один сиял, переполненный Солнцем. Над другим братом, наоборот, зияла дыра – вместо нимба черный провал. Брату с нимбом все поклонялись, каждый норовил пройти поближе, коснуться рукой, чтобы подзарядиться. Зато мимо брата с «черной дырой» старались шмыгнуть незаметно, чтобы, не дай Бог, пал тяжкий взгляд его на твою карму. Однажды стража перепутала и брата с «черной дырой» вместо брата «белого нимба» приставили к основанию циклопической лестницы, что вела в самое небо.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

Все были просто поражены судьбоносными экзерцисами Алексея. Странно и цыганке-то ладонь подать, лучше уж не знать часа своей смерти, а тут... этот «маятник»...

– А ну, в обратную крутани, против восхода, это можно? – спросила вдруг Катерина.

– В обратную? Против? – призадумался Алеша. – Конечно. Только против кого же?

– Против Гитлера... стопроцентно...

– Портрет бы, фото какое-нибудь, изображение.

– Это мы мигом, – подняла Катерина кусок картона в углу и уголек под ногами. Несколькими штрихами она начертала характерный портрет. Для полного сходства к челке прибавила еще и усики. Все знали эту способность Кати – рисовать.

– Вот, – тут закончила Катерина свою работу.

Картонку с портретом фюрера она положила на пол, и Алеша занес над ним свой «БЭМ». Серебряный крестик помыкался, подергался в разные стороны, потом задрожал и резко пошел налево, назад. «Маятник» сразу же взял ши-рокие шаги, но – против восхода.

– Видали? – восхитился Володька. – Гитлер в семье у нас всех мужиков побил, – объяснял действие «маятника» Алеша. – Ни один с войны не вернулся.

– Понятно, – сказал Иван. – Переходим к следующему, кого еще?

– Что я тебе Кукрыникса, что ли? – пожала плечами Катюша.

– Всякую пакость рисовать.

– Ну, например, Берию.

– Лысый такой, на кривых ножках, женщин любил, – вспомнила Катя.

– И в очках, – добавила Фрося. – Нос крючковатый. Раз-раз, три-четыре... Рисуи-рисуи! Копия, вылитый Лаврентий Палыч. Женолюб, гуманист, строитель светлого здания.

– Кручу, – сказала односложно Катерина. – Показываю суть.

– Перед кем?

– Перед поколениями.

Серебряный крестик тут же, как говорится, даже не поперхнувшись, так же попер против солнца.

– Дед мой не вернулся с Соловков, – пояснил Иван.

– С этим все ясно, – вздохнул Алексей. – Широкая амплитуда, черная биоэнергетика. А ты нарисуй...

– Кого, Сталина?

– А кого же?

– Наполеона.

– Так. Треуголка. Руки крест-накрест на груди. Губы сжаты. Взгляд стальной, прям и упрям... Молодец Катя! А лошадь? Лошадь под Наполеоном?

– Лошадь нельзя, – сказал Иван. – Лошадь всегда имеет положительный заряд. Будет влиять.

Навел Алеша серебряный крестик на Наполеона, и медленно-медленно, неширокими махами крестик, однако, пошел-таки по часовой.

– Почему? – удивился Володька. – Он же на Россию напал... Полнации своей оставил без мужиков...

– Да, почему? – крайне задумался Алексей. – Что-то не так трактуешь. Во-первых, он лично сам в битвах участвовал, все тело в шрамах. Во-вторых, концлагерей не создавал. А нес народам передовые идеи...

– Либерте, эгалите, фратерните, – сказала Маруся.

– Ну да. Свобода, равенство и братство, – засмеялся Алеша. – По «Кодексу Наполеона» до сих пор живут. Значит, энергия белая...

– Ну что? – обратился Володька к общественному мнению. – Зачем за рассказ Катерине эти ее «кукрыниксы»?

– Я и рассказ могу рассказать, – обиделась Катерина.

– Творческий человек, – засмеялись все.

– А вы не смейтесь, – поджала губки Катюша. – А ты сам-то доставай тетрадь со стихами, они у тебя, Алексей, в пиджаке. Вот мы у тебя их и продегустируем... Дай-ка крестик сюда. Так, наводим на лист – белое или черное, талант ты или не талант?

– По ходу, по ходу! – обрадовался Алеша, подставляя под крестик следующую страницу, еще страницу своих стихов.

– Стоит, стоит! – обрадовался Володька.

– Назад, назад пошел, – огорчились все искренне.

– Ну-ка, – заглянул Алеша в тетрадь через плечо Катерины. – А-а, это я про чертей писал...

– И пишут, и пишут, – покачала головой Катерина – важная, царственная такая. – Целые километры гонят. Редакции ломаются, полки трещат. Существуют всякие литературы, союзы и ассоциации, различные правления и управления, всякие конфедерации на всякие конфигурации...

– И откуда хоть берется все это? – удивилась общественность. – Откуда ты все это знаешь?

– А вы сидите на соломе своей и не квакайте! – как отрезала Катерина. – Брат у меня в Москве работает в одном центральном издательстве. Так приезжал – все нам дома рассказывал... Кто графоман, кто талант, – говорит, – не понять! Талант, – говорит, – он один всегда, особняком. А графоманов, – говорит, – много, они всегда вместе, в кодле. Они решают, кого – в печать, про кого – умолчать...

– Про кого это ты так? – сдвинул брови Владимир. – Про Шолохова, что ли, или как его?

– Эдика Лимонова?

– Да нет... как его...

– Про Китаева или Катаева?

– Тьфу, мать твою! Вылетело из головы...

– Из литературы вылетело, – строго сказала Катерина. – Вот он и спрашивает: сказал брат, но про кого? Вот мой брат и говорит: «эгалите» есть, а литературы нет. Все нам «Записки охотника», все классика как высшая и последняя стадия, а не фантастика того же Тургенева...»

– Совсем охренели...

– Так нельзя, все же музейные сотрудники и научные работники.

– А что же они, архайки? Настоящую литературу считают как «лучшее отражение», а она уж давно «выражение». И это большая, очень большая разница.

– Хоть бы не лезли агрономы эти, если ни бум-бум в этом вопросе, – твердо стояла Катерина на позициях нового критического реализма. – Что надо, говорит он, современникам и современности, так это в серебряный венок их цепочкой связать и тянуть далее в будущее эпохи... Вот я серебряный крестик куплю и подарю ему. Это тебе, Алешик милый ты мой, этот «БЭМ» – «био-энергетический маятник».

– А что, брат твой тоже Алеша?

– Так вот, принес тебе Сотников рукопись – навел ты на нее этот «БЭМ» – сразу видать: Берия это или Толстой, белое или черное?

– Легко как, ой-ой! – рассмеялись сидящие на соломе. – Да графоманов уже семьдесят пять лет ни одна экспертиза не берет. Все блюстителей, подхалимов воспитываем, чтобы за глиняные ноги держались. Черные страницы вон! Нечего в заблуждение вводить, подрывать психическое здоровье. А то вчера – депутат Госдумы, а сегодня уже мемуары строчит...

– Катя, Катерина! – завопили сидящие на соломе. – Вот царица, вот лошадица! Засчитываем тебе твой рассказ про Пегасов. Фрося, выдай ей яблоко в качестве премии «за лучшее отоображение начальника движения...»

Над кладбищем да под липами сидели и кричали, просто рыкали – просто граяли эти вороны – воронье, черные тени. Заслоня заходящее солнце, бились тени тут по стенке, по естественной монополии лиц и падали, опадали, но не пропадали, родимые.

РАССКАЗ ВЛАДИМИРА

– Отзвонила и с колокольни долой! – сказал Катерине Иван. – И черед твой, Володя! Расскажи-ка что-нибудь про Жилина и Костылина, как ты в яме сидел, раз Алеша тебя на это обрек.

– Это не я обрек, я не абрек, – отмахнулся от приятельских козней Алеша. – Это поэт во мне говорит такой, Велимир Хлебников, а я только его пересказываю.

– Раз, значит, братцы, Кавказ, – вздохнув поглубже, примирительным тоном сказал Владимир, – значит, абрек... Вот такая, значит, история. Ездил я не так давно в наш областной центр. Возвращаюсь электричкой. И, как обычно, из вагона к автобусу городскому бегом. А люди навстречу мне, да и говорят: «Чего это ты бежишь?» А я все равно бегом, привычка такая, пока не вскочил в транспорт. И спрашиваю сидящего рядом: «А чего не бежать?» – «Вишь, – говорит, – народу жидко, всего пол-автобуса, когда это было? Скоро совсем будет пусто. Пол-лимона за год из России как и не бывало...»

И как раз стоит автобус местный «Микрорайон АБСД» – с вокзала на автовокзал, откуда мы ездим сельским большаком к себе на Седмицу. И стоим, и стоим. И тут вдруг из-за автобу-

са рядом вымахивает баба – кондукторша, а за ней мужик – водитель. И хоп – она в переднюю дверь, он к себе на сиденье. И орет она благим матом водителю: «Закрывай дверь! Поезжай!» И что я вижу? Следом за ними женщина молодая бегом с ребенком грудным на руках. Следом еще одна женщина, тоже бегом. И ножонки-ручонки у ребенка голенькие, мотаются в разные стороны, дрожат, словно студень, – жуть. И дверь перед самым носом у женщины с грудным ребенком-то хоп – и закрылась. Вижу за стеклом что-то яркое, пестрое: черные волосы, губы крашенные, шаль, юбка веером. «Цыгане!» – пронзает меня. А автобус уж ходу. «О Господи!» – только и вздохнула одна пожилая русская женщина. А все остальные – молчат. И я молчу, как онемел. А кондукторша в какой-то безумной радости: «Граждане вошедшие (у меня в мозгу автоматически: «умные и сумасшедшие»), прошу оплатить за проезд («...при наличии занятых мест»), не то контроль на линии («...морды ваши заячьи, синие»)...

Еду дальше и думаю: «Что же это такое? Что хоть произошло? Ужасное что-то. А все ведь молчат. И я молчу, как дурак. Идиот ненормальный. Ну, почему хоть молчу? Никогда ведь прежде не молчал, при том режиме-то. Всегда говорил, когда что-то не так. Несправедливость какая-либо. А при этой свободной жизни – молчу. Да стоит ли жить нам, таким, на земле, стоит ли существовать? Спасибо, та женщина – пожилая русская баба, призывавшая Бога, спасибо тебе, безвестная Русская Мать! Ты – совесть моя, ты – вера, надежда народа...» И я заплакал, плачу, а все внутри кипит, переворачивает меня по сю пору. Ну почему, почему хоть тогда я смолчал?.. Вот мой рассказ вам, ребята...

– Гитлер глядел далеко, – наконец, насмелилась Фрося. – Цыгане, славяне, евреи... такие вот нации...

– Белград бомбят, а все молчат...

– Кто на маленького, кто на маленького?..

Миллион отошел, миллионы отходят. Новый миропорядок – век двадцать первый, третье тысячелетие. Пепел Клааса стучит в мое сердце. Пепел от нас и останется. Почему я молчу, почему ты молчишь?..

– О Господи! – тихо плакала в своем уголочке Мария.

– Господи, Господи, – шептали при заходящем солнце в этой розовой-розовой, просто ало-кровой звоннице все вместе они и каждый сам по себе.

– Вот и я пойду на войну, – говорит Владимир. – Слезу с этой звонницы, возьму повестку, явлюсь в военкомат. На той, большой войне погибали самые честные, самые совестливые и справедливые. Как сказал Алешка, я уже не жилец...

– Не надо, Володичка, не надо, – прижималась Мария к его ороселой щеке.

Как мумия, был неподвижен Володька. Слова говорились им как-то сами собой, они его не касались.

– Так вот, я попал в заложники. Днем мы работаем в поле, под палящими лучами, на самодельном устройстве гоним самопальный бензин. А на ночь нас бросают в глубокую круглую яму. Они склоняли нас к своей вере...

– И что?

– И я погиб. Мария найдет в горах могилку мою где-то на перекрестке. И привезет сюда, возвратит мой прах родимой земле...

– Зачем же так мрачно, Володя? – сказала Фрося. – Ты же молод, все еще впереди.

– Страна старая, – сказал Владимир. – Страной правят старцы. А молодые не жалеют ни себя, ни других.

– Кроме войны, не знаем, как выходить из ситуации.

– Старцы жалеют себя, – вздохнула Фрося. – Старцы – святые, да?

– Второй день на исходе, – сказала Мария. – И что будет дальше?

Фрося подошла к лестнице, чтобы спуститься вниз.

– Ты куда?

– На разведку.

На соломе они делали свое дело, они к этому были уже привычны.

Ближе к полночи загудела машина. Даже, кажется, две. С погашенными фарами, крадучись, автофургоны подбирались

к кладбищу, что за церковью на Перуновом Холме. Лежащие зашебурили соломой, насторожились. Голоса едва долетали, людей было трое, этих пришельцев из космоса – таинственных, невообразимых, из чуждых миров, – женщина и двое мужчин. Зазвенели лопаты. Гробокопатели! Копали там, где было немецкое кладбище. Сколько же тут было похоронено из ихнего лазарета! Отступая, те забрали лишь одного из своих – генерала.

Сердце у Марии заохлодало. Думалось, что все это было давно и неправда, а тут нате вам, в натуре: Эдгар По, О – Генри и прочие.

– Искатели кладов ищут золото, – задыхалась Володке на ухо Мария.

И слова эти стали возвращаться из эроса эхом, возвращаться и развращаться, соединяться в смысл, создавая партитуру нашествия. Кажется, Тэтчер сказала, что безработица – это то, что «я плачу за здоровую экономику». Цинично, но точно. Так вот, белый цветной летучий металл ныне чистят по дачам, по хагам, по высоковольтным линиям, – алюминий. Крепись, Россия! Держись, деревенька! Но тут другой, скорее всего, вопрос. Ага, в зубах золотые коронки! Так вот какая команда прибыла. Ящики достают из фургонов. Кости, что ли, кладут в эти ящики... Бедный, бедный Йорик... Рассматривают кости, что ли, при свете луны, сомнамбулическая атмосфера...

– Солдатские бляхи ищут, – осенило Ивана. – Номера на бляхах рассматривают.

– Ну да, – догадывался и Алеша. – Это Германия через посольство вывозит прах своих соотечественников. А это наши бомжи, бомжатники-медвежатники, им помогают... гляди, тетка жарит яичницу, как запахло...

– Слава Богу, – перекрестилась Мария. – И прах на родине упокоится, и наша земля станет чище.

Прислушались: внизу скрипнули дверь церковной. По лестнице к ним сюда поднимался кто-то тяжелый, огромный, в стенках отдавались шаги.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. НАДЕЖДА

Грузные шаги, шаги Командора. Толчками они отдаются в сердце, скрипят рассохшейся лестницей, врываются в грудь волнами страха. Тень скользнула мимо и прыгнула вглубь. «Га-га-га, кага-кага!» – захлопало крыльями и с криком ринулось вниз, и перекрученным, многоэкраным эхом по стенке, по стенке да кому-то...

– ... на темечко, – заключила вслух висевшую в воздухе фразу Мария. И тишина. Военкомат где-то в райцентре. А мать Фроси где-то тут поблизости в сельской администрации.

– Ты шаги слышала? – словно плеснула Мария в Ниночкино лицо.

– Нет, – едва выдохнула та, как очумелая. – А ты? А вы, ребята?

– Не-е-ет, – сидели они все в недоумении, куда это все пропало – и крик, и шаги Командора, и само чье-то «темечко»? На стене оставались одни только узкие лезвия – приосохшие тени. Тревога, а тут дыхание, слова да слабый отсвет надежды на лучшую жизнь. Береза самостоятельно, без чьего-то дозволения, выросла тут за годы на выступе и вот трепетала, вот трепетала.

Главное – не только шаги сгнули, но и даже машина с «соломенным» мотором. А там внизу, где-то на кладбище, и бомжи с лопатами, и сами лопаты, само кладбище вместе с ихними трупами времен второй мировой войны с их золотым запасом зубов и солдатскими бирками, – ничего не осталось, все превратилось в ночь, в этот рассеянный лунный свет, едва пробивающийся через тучи. Дай-то Бог больше средств, террористы и не такое минировали, а уж эту церковь... Надежда покидает корабль последней, и что остается людям? А ведь они еще молоды, и таинственный пепел внушает, что у них все еще впереди...

– И что же? – вздрогнула Катерина. – Пошли третьи сутки нашего пребывания. Продолжим, что ли, сказки Шехерезады? Кстати, мое первое имя – Надя, Надежда, в честь отцовской любов-

ницы. Это имя мне дали, как только я родилась. А записали в метрику Катериной...

– Ну и что, – потянулся этак вальяжно Владимир, – разве хуже? Катюша – это хорошо, победительница! А если бы Надя, возможно, была бы несчастной.

– Почему?

– Кому первому? – спрашивала Катюша. – А вот и Фрося! С возвращением, милая. Может, слово тебе?

– Коза пришла, молочка принесла, – реальным голосом нарушила Фрося молчание каменных стен. – Но что вы тут все про Ичкеррию? Это же миф... Посмотрите, нет ли машины? Ни лопат бомжовых, ничего, все растворилось. Только кладбище да перерезанный шинами след... И вот мой рассказ, но совсем не о том.

РАССКАЗ ФРОСИ

– Дома по «телику» только что показывали рекламу, – сказала Фрося. – Создан такой фонд социальной защиты. Под квартиры стариков и старух. Подпишешь квартиру – они тебе денег, цветной телевизор... Вот одинокие и подписывают – надеются, питают иллюзии. А тут как раз зашла соседка к нам Карагодина и рассказала такую историю. У нее сестра двоюродная в Москве – Анастасия Фоминишна. Еще молодой, сразу же после Отечественной войны, отправилась строить столицу. Век прожила там, состарилась и за свой беззаветный труд получила, наконец, однокомнатную в спальном районе. Муж помер, детей не было, сама стала малоподвижной, хлеба некому принести. Приставил собес к ней сестру-хожалку: в магазин ли, в аптеку ли за лекарствами. И такая эта сестрица попалась улизвивая, готова даже огурцов своих притащить, хоть целую банку. Все бабке гладит по шерсточке, по шерсточке, против шерсти ни слова.

А однажды Фоминишна к соседнему подъезду на лавочку-то возьми да и пересядь. Такая же старушка к ней подкатилась и говорит:

– Что это Надька к тебе зачастила?

– Это какая?

– Торонись ее, бойсь! У меня внук... грешным делом, между нами... в органах. И шепнул жене своей, а я слышала: скоро хожалку эту заарестуют...

– Это за что ж?

– Сколько квартир заработала, всю родню снабдила и у самой денег мешок.

– И откудова же это?

– Эх ты, деревня! Да оттедова же! Вот таких, как ты, охмуряет... Последнюю бабку, говорят, и вовсе с балкона сбросила. Подошла сзади и подтолкнула.

И Фоминишна обострилась вся. Примечать стала, как только она на балкон, так хожалка за ней туда. Бабка от греха балкон уж гвоздями забила. А тут, по телевизору слышит, лифты под такими старухами обрываются. Господи, думает, лучше уж сама как-нибудь проживу. Пришлось бабке духом воспрянуть, по магазинам сызнова начать ходить.

Да ведь не молоденькая, весь букет болезней никуда не девался. И решила Фоминишна лучше уж доктору, с каким дело имеет, квартиру свою подписать. А доктор тоже, и так перед ней, и этак – таблетками ее, клистирами всякими, спина у доктора перед ней прямо-таки гуттаперчевая. А однажды Фоминишна возьми да на дом к доктору-то и явись. Зашла, значит, в его трехкомнатную, шнырь в дальнюю комнату, а там по стенке в три шпалеры иконы висят. И уж крайняя – ее икона Пречистой Девы Марии.

– А это чья? – указала она на соседнюю. – А это?.. А это?..

Вернулась домой Фоминишна и задумалась: щедры старухи, а все ушли, как и все, долго не зажились. А ведь доктор-то сам до того давал надежду, что возраст человека зависит, мол, от длины хромосомы. Мол, с возрастом эта длина сокращается. И как только перейдет за опасную черту, так и все, летальный конец. И вот он, доктор, идет впереди планеты всей, знает, как содержать в тонусе эту самую хромосому. Фоминишна будет жить у

него не как все сейчас, а как после все люди – лет до ста пятидесяти, не меньше. Мол, знает он такую врачебную тайну и все силы отдает ей, внушая надежду!.. Помучилась же Фоминишна, решая, кому оставить свою квартиру – племянницу вытащить в Москву из глухой орловской деревеньки или доктора хоть чем-то убагатворить? Решила – доктора поощрить, доктору подписала дарственную... А вот когда побывала у него на квартире да иконы увидела и свою Пречистую в общем ряду, так что-то перевернулось в ней, переворот в душе произошел, изменение точки зрения. И утром встала бабка после тяжелой ночи да и порвала свою дарственную, написала новую – на племянницу. А икона Пречистой Девы Марии, что ж, пусть остается там у него в общем иконостасе, стенку не провисит... Вот тебе и надежды, иллюзии...

Да, рассказывает у нас на кухне про это соседка, а тут как раз по первому каналу реклама об этом благотворительном фонде, который предлагает стариков одиноких докармливать. Вот соседка глянула на телевизионный клип и говорит:

– Кабы кто не влип. А что ж это хожалку-то на балконе не покажут? Или икон целую картинную галерею? Односторонняя информация. Надежды, говорит, никакой не оставляет, а ведь именно надежда покидает человека последней...

И Фрося прилегла сексуально голым животом на Володьку, но Володька опять не обратил на эти ее сексуальности никакого внимания.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

Ночь сошла незаметно, и наступил день. Но ощущение лунного света, коснувшись ресниц, продолжало витать. Пепельное, едва уловимое внутреннее отражение из влаг души переходило в одежды, на лица, сохранялось в перепутанности волос, в особой мимике, жестах, телодвижениях. Однако они в себе этого не замечали, ощущая промытость, явственность своих очертаний вовне, и тени ночного, минувшего с восходом солнца таяли. Она

откинула за спину свои бегучие длинные волосы и воткнула в них гребень, и искры брызнули из-под него, вяло посыпались вниз, запахло жженым.

А солнце вставало, и страх сокращался. На кладбищенских липах после сна еще вскрикивали черные гроздья грачей. А след от ночных машин на дороге укрупнился и сдвоился. Военкомат райцентровский торчал костью в горле где-то за горизонтом, а сельская администрация в Седмице отсюда, с высоты колокольни, опустилась по вертикали и стала значительно ниже горизонта. А все же... а все же...

– А все же, – сказала Катерина, и голос ее задрожал, – надежды юношей питают... И мне вспоминается одна фотография из французского журнала «Эль» («Она») – жуткое фото. Женщина-роженица на операционном столе, еще теплая, но уже умерла... Ее уже нет, но где-то есть даденная ею жизнь, и в этом небезнадежность. Иначе никто бы не позволил себе забеременеть. Представьте себе...

– А я не могу, – сдавленно как-то, фальцетиком пискнула Ниночка.

– А я могу, – утвердила голос свой Катерина. – И вот рассказ... Володя, дай твой пиджак. – Она надела его пиджак и стала похожа на мужчину – решительная, бескомпромиссная. – Не верю в женщин, которые любят оперироваться, а есть ведь такие...

– Мы не из тех, – выдохнули обе разом – Мария и Фрося.

– Не верю Молоху Смерти, инстинкту самосожжения, – вытвердила Катерина истоиво, фанатично. – Ваалу сонтия, деторождения.

– Деторождения, – повторили за ней подружки.

– Не верю в святых монахов, какие никогда не взглянут на женщину, не соблазнясь.

– А как же насчет того, что где-то в Хорватии родился шестимиллиардный житель планеты? – заметил Алексей иронично. – А к 2020-му году нас будет уже все девять. Вот ты надела мужские одежды – и хоть отправляй в Чечню с «Калашниковым». Прикрыла мужским одеянием женские свои греховные сути...

– А в телепередаче «Поле чудес» одна милая такая, красивая девушка из Минска, показали, занимается тяжелой атлетикой, – как

бы между прочим сказала Фрося. – Ее личной рекорд – 115 кило. Девушки и в футбол играют, в хоккей на траве. А Катюша вот лошадица, по коням помирает...

– Да и сама-то в летчицы собираешься, бэмс, – щелкнула по носу ее Катерина. – Да не в этом дело, девоньки, а в чем? Почему это платье духовного покроя похоже на женское, а мы, женщины, ходим в брючках?.. И все же про фото. Все в той истории перемешалось – что из самой жизни, а что, мне представляется, – фантастика, мистика. Это как наша Кузьминишна – литераторша, все тараторит «про двуплановость изображения». Ну, как во сне бывает, – и про меня вроде, и про кого-то еще другого одновременно.

Вот одна молодая женщина (ну я навроде) вышла замуж. Живем себе с мужем полгода, год, полтора – никакого эффекта. Не беременею я, хоть убейся...

– Тебе бы Володьку, – усмехнулась Мария.

– Уж все в семье беспокоиться стали: как это так? И кто виноват, и что делать? Мать вопросиками скользкими закидала, а потом и напрямую: «Чего ж это, доченька, ты, как корова кооперативная, век будешь на передое?» Замучила мать, соседи замучили. Переталкиваются, подхихикивают. Это вам не большой город, где есть чем людям заняться, а тут село, общественное мнение тут же на языке.

Вот мать мне и говорит: «Может, мужа тебе сменить?» А еще тише, оглядливо: «А может, Витьку, племянника попросить? Или дядю Васю – младшего брата отца? Плетун – каких свет не видывал, он тебе это дело устроит...»

– Ой, девочка, вот секс, хорошо! – похотливо потер руками Алеша – божий человек, не говоря уже о Володьке и всех остальных: – Да гони давай! Обожаем!

– Представьте себе, – усмехнулась кривенько Катерина. – Прошло какое-то время, наконец, та женщина забеременела.

– А ты?

– Семь месяцев плод проносила... Патронаж теперь, медсестры. Вот врачи ей и говорят: мол, не может родить – узкий таз,

придется делать кесарево сечение. Представляете, девочки? Или в семь месяцев выкидыш, или ждать еще законных два месяца...

– А у лошади сколько этот период? – встрял Володька.

– Вот проходит еще два месяца, – продолжала Катерина. – На операционный стол нас с той женщиной и понесли. Положили под нож хирурга. И, пока еще не дали наркоз, без тумана, в сознании ясном, лежу я и лихорадочно соображаю: «Есть у меня еще шанс или нет? Есть или нет... есть или нет?..» И что я увидела, что меня посетило? Не человечество шестимиллиардное, даже не мать родная, а темень, жуть какая-то, страх несусветный, антарктический холод, от которого дух немеет, твердеет тело. И живот стал как будто не свой. И я уж думаю, надо в руки брать себя, плохо будет ребенку. А лошадь стоит надо мною, мотает уздечкой и черные яблоки жует. И слюни лошажьбы, как струны мне на живот – тоже черные, и от них замерзает то место, куда они капают; обмораживается, становится мертвым, хотя все остальное пока что живо, но и оно все обречено, потому что темно все кругом, хлад и мрак, только лучик впереди один, и в лучике чье-то лицо... И вот лицо это, оказывается, этой женщины, что на обложке того французского журнала «Эль» («Она»), который я только после увижу. Именно я, а не та женщина, та французская женщина, конечно, уже умерла. И это она, оказывается, очутилась на обложке журнала. А я вот живу, и лучик тот – ребенок той женщины, который родился как надежда умершей, как ее продолжение... А я вот замуж еще не выходила и боюсь выходить...

– От судьбы не уйдешь, – вздохнула покорно Мария. – Что начертано, будет исполнено.

– И с чего же это она родить-то не могла? – спросил Володька. – Интересно.

– Ничего интересного, – ответил Иван. – Сказано же, наследственность такая – узкий таз, ограничено деторождение.

– Да нет, – усмехнулся Алеша. – Я знаю эту семью. Единственный, долгожданный ребенок. Отец ждал мальчика, а родилась девочка. И все равно отец стал звать ее Алешиком, считать

мальчиком, и все стали также звать ее: «Алешик, Алешик...» Коротко стригли, по-мальчишески одевали; она в футбол гоняла с ребятами, по деревьям лазила, рыбу на речке ловила. Чего вы хотели от нее, чтоб она еще и рожала?

– Ну да, если штанги таскать, – заикнулся было Володька, но Иван его перебил:

– А может, и хватит рожать всем подряд? Вон Мария пусть рождает, у нее это хорошо получится.

– Ну, и чем закончилась та история? – обернулись все к Катерине.

– С фото, что ли? – вздохнула она. – А написала я во Францию, в редакцию журнала. Ответили: действительно, мол, гражданка такая в их стране больше не проживает. Вот и все, мальчики и девочки, отцы и матери, дедушки и бабушки...

А солнце было уже высоко. Лучи падали прямо, не давая тени. Но косвенно страх еще оставался, однако призраков в звоннице больше не наблюдалось. Возможно стало свободно смотреть за речку Седмицу в сторону сельской администрации с ее «триколором» и еще далее, на райцентровский военкомат за горизонтом, весь в пылу полевых испарений; и где-то ведь там Чечня, а тут прах Ермолова у Троицкой церкви – в срединной России...

РАССКАЗ НИНОЧКИ

Все ожидали, что белым днем «соломенные» машины на кладбище снова появятся, в воздухе повиснут гробы, на цепях закачаются, а там внизу под ними, со стен храма, сойдут тонкие призраки, грубо, однако, лижущие огневые свои сковородки. Но машины не загудели, призраки прилипли к своим сковородкам, и только грачи на липах продолжали висеть черными виноградными гроздьями, вещая и предвещая. А отдаленно, по речке, продолжали перетекать голоса: «Володя-я-я-а»... – «Нина-а-а»... Да скрежет бреднем по донным камням, да атмосфера удушья... А солнце кривоило к закату...

Нина расстегнула халатик – все пуговочки до самых колен. Алексей тут же смахнул этот халатик с Нины и накиннул себе на

плечи. В Нинином халатике он был похож на девицу – блондинистый, почти белесый, с мягкими, почти женственными чертами. Не стесняясь, Ниночка прижалась к его груди:

– Наверно, я забеременела, девочки. Два месяца – и нет ничего...

– Все ясно, – ухмыльнулся Иван, взглянув на Володьку.

– Нет, не ясно, – отодвинулся Владимир от Ниночки. – Это же египтянка, «санта»... Нефертити...

– И от кого же?

– Вот, – положила Нина руку на плечо Алексею.

– Ну вы даете! – вспыхнула Фрося, втайне, видно, явно рассчитывала на Алексея. – И когда хоть успели?

– А в апреле еще. Как повестки принесли, – сказала Ниночка. – Я тогда его пожалела.

– Ничего себе, черный монах! – не съезжала усмешка с Ивана. – А еще в митрополиты собрался. В апостолы церкви идут лишь из черных монахов, которые без жен, без детей.

– Может, мне тоже, того... аборт сделать? – засмушалась откровенная Ниночка.

– Видала, что бывает? – сказала Мария.

– Что?

– Ну, на обложке журнала.

– Во дела, – пожалели ребята Алешу. – Что ж тебе теперь делать-то?

– Как же это у вас произошло? – строго глядела на Ниночку Фрося.

– Что же теперь ей – отказывать? – вступилась за подружку Катерина. – Ежели хочца, да, Ниночка?

– Всем хочца, – засмеялся Володька.

– Где же это вы пристроились – в соломе, что ль? – не сбавляла строгости Фрося.

– В соломе, – вздохнула покорно Ниночка.

– Эх ты, телка-а-а, – протянула Фрося и намахнулась пучком соломы на Алексея. – И ты хорош, хамаидол! Детей плодить безнадзорных.

– Ребята, ребята! – вступилась Мария за «сладкую парочку». – Дети – цветы нашей жизни.

– Давайте их на Володьку писать, – сказала Фрося. – Все равно в Чечню ему, там убьют, похоронят. А тут Ниночке хоть какие-то деньги дадут.

– Сейчас вот! – вся поджалась, заледенела Мария. – На чужое губы не раскатывайте.

– Ну дак как же вы в соломе-то, где? – рассмеялся похотливо этот бычила Володька.

– Был денечек... в апреле, – сказала Нина мечтательно. – Первый такой – настоящий, весенний денек. Помните, пришли тогда повестки из военкомата?.. Вот мы вдвоем и оказались в поле. То все вместе ходим из школы на наш поселок, а то вдвоем – он и я... Идем Алисовым верхом, а солнышко – как и сейчас. И зеленая травка за спиной. И березы по краю поля. И грачи еще кричат, но уже утомоннее, тише, на яйца в гнездах садятся. Проходим мимо скирда с ячменной соломой, Алеша и говорит, а пошли посмотрим, как мыши за зиму скирд отделили. Подходим, глядим – логово в соломе...

– Это Володька с Марусей, – усмехнулась Фрося кривой усмешечкой. – Там еще до вас прилунились.

– В самом деле, да, Алеш? – продолжала Ниночка. – Солома расстелена, смята...

– Братцы! – потер энергично руками Володька. – Обожаю, сексуальный момент, ну давай!

– Что давай? – покраснела Ниночка и повернулась к Алеше. – Вот он весь задрожал, да, Алеш? И говорит: «А знаешь, что такое право первой ночи?» – «Но сейчас же день», – говорю ему. – «У барина, – говорит, – было право такое. Перед тем, как выдадут крепостную девицу, ведут к барину – тот должен быть первым. Еще и целковый за это давал...»

– Ну, и что тебе – дал? – подтолкнул Нину Володька.

– А ты, бугай, помолчи, не ревнуй, – остановили Володьку девчата. – Дай дослушать. Ну, и дальше что?

– Сграбастал он сразу и повалил, – вздохнула покорно Ниночка. – И лежали мы с ним лежали, ничего сначала не

слышали. А потом стали мышей в скирде различать. Попискивают где-то внутри, солому потискивают, шебур-шатся...

– Это у тебя уже в животе.

– Потом прямо по голой спине мышка одна пробежала? Да, Алеш? Я от страха чуть не умерла. А он мне ладошку на рот. Вовремя ладошку-то, да, Алеш? Говорок слышим...

– Кто же это? – обернулся к Ниночке Иван.

– Да не вы, а вот они, – показала глазами Нина на Владимира и Марию. – Вот они – эта «сладкая парочка». С другой стороны скирда лежат... мышиный диск прекратился, и как будто паровоз на станции пары стал пускать... Верховой ветер пошел по деревьям, макушки стал гнуть остервенело. Вот энергия где, атомный реактор по расщепленью ядра...

– Да уж, конечно, – опустила стыдливо глаза Мария. – Не мышиный же писк в вашей ячменной соломе.

– А результат – один, – по-прежнему был ироничен Иван. – Главное – что поезд прошел, протащил свои голубые вагончики. Голубые, да?

– Голубые.

Это все, чего добивался Иван от Ниночки, но Нина молчала. Глянув на себя как бы со стороны, она вдруг ушла в себя, остановилась.

– Зеленые, – сказала она монотонно. – Вагончики-то были зеленые.

– Почему? – спросила Фрося.

– Почему?! – повторила за ней построже Мария.

– Она-то ладно, – улыбнувшись, кивнула на Фросю Ниночка, – а вот ты-то, Мария, почему не знаешь, что вагончики бывают зеленые?

– Ну, почему, скажи все-таки, почему? – не отступалась Мария.

– Да потому что зеленый – цвет жизни, надежды. Вот почему я села тогда в поезд, в котором вагончики были (какие?) – зеленые!

– Зеленый, темно-зеленый – цвет Марракотовой бездны, – поддержал Ниночку Алексей.

– Это цвет солнца и неба, совестный цвет, я так понимаю, – сказала Катерина-Катюша.

– Цвет хлеба и родника, – подтвердил Иван.

– Блондинистый – от Пушкина и от Есенина, – односложно заметил Алеша.

– Русые головы, русые, как у наших детей! – счастливо засмеялась Мария.

РАССКАЗ МАРИИ

– Все дело в том, – всем торсом развернулась Мария к Алексею и Ниночке, – что нас в скирде тогда не было, да, Володь?

– А кто ж это был в таком случае? – побелела Ниночка. – В соломе-то.

– А кто на кладбище сейчас? – заметил Иван. – Где с машин ночных эти гробокопатели?

– Фантомы, призраки, – обеспокоились все, оглядываясь. – Растворились в воздухе, как и не бывало. Вишь, и шаги по лестнице оборвались... чертовщина какая-то...

– Звуки в стенки ушли, – выразила свое мнение Фрося. – Во фрески... в ад и рай... в эти роли апостолов...

– Господи, от вас тут такого наслушаешься, – вздохнула Мария. – И взаправду крыша поедет. А спущусь-ка я, погляжу во храме на сады Эдемовы, на райские яблочки, которых Ева вкусила... Сколько их там?

– Да не все их съела Ева, не все, – засмеялась Фрося. – Уж тебе-то оставила.

Деревянные порожки долго скрипели под грузноватым шагом Марии, наконец, они стихли. Зато слышно стало, как щелкали капли там внизу, с потолка, еще от вчерашнего дождя. Посреди пола лужица образовалась, это все пропускала через себя раскрытая крыша. И опять на лестнице возникли плотные, основательные шаги.

– Господи! – показалась снизу голова, едва выдохнула из себя слово это Мария, помертвевшая, ставшая белой, как полотно. – На фресках-то... где сады Эдемовы и Ева... ни единого яблочка!

– Да ну? – удивились все, кто был тут в звоннице.

– Ну да, – держась за сердце, опустилась на колodu Мария.

Володька тут же метнулся в лестничный проем. Шаги его зачас-тили, ходуном заходили сверху вниз все порожки.

Вскоре Володька вернулся ошарашенный, смиренный, с посылоч-ным ящиком под мышкой. В ящичке были яблоки – зеленые, ядреные, умытые.

– Вот! В ящик, что ли, сыграли яблоки эти со стенки? – пожал он плеча-ми. – В самом деле, на фресках ни одного. А под колон-ной намеи – ящик.

Страх, который витал в звоннице и который за день едва успело выкурить солнце, опять же прорезался в лицах. Стенка просо-хла, душа выпарилась. Что хоть в мире-то деется в конце второго тысячелетия? Еще чего, кроме души, в этой Кабардино-Балкарии?

– Ну-ка, ну-ка, – кинулся в лестничный проем теперь уж Иван. – Где душа, где просохло?

Все ждали его. Черные грачи на липах выростали прямо-таки на глазах, с мяч футбольный, и все дулись, дулись. Сколько же их там, этих черных футбольных мячей? Пора бы в Европе хоть что-нибудь да и выигрывать, а не только питать чужие клубы «легионе-рами» да комментаторам взалхлеб радоваться чужим чемпионатам. «Ну нет уж, – читалось в глазах друг у друга, – пока такое творит-ся на стенке, формы хорошей не жди!» И плечи Ивана показались из лестничного проема:

– Вот дурни-то! Крыша не поехала, а протекает всего-то, вот дождем стенку и обмыло, слизало яблоки, стали они незаметны.

– У страха глаза велики, – хохотнула нервно Мария.

А Володька и говорит:

– А эти яблоки, что в ящичке, откуда тогда?

И хрясь одно зубами своими лошажьими – самое крупное, огневое. Подает другую половинку Марии – сбай со мной «полонез». А что – вполне реальное освещение факта. Не глиня-ный, не раскрашенные виртуально, не со стенки крошечной плод, а сочный такой, реальный, хрустит. И опять стоят все, журятся все да передергиваются, черти путают голову. Не то, так это. А ведь все пионерами были, атеизм от и до проходили в школе, особенно по зоологии. Залипай – учитель ихний – так вообще

помешался на этом своем атеизме. «Видали, говорит, ремешок у меня на штанах? Наборный, серебром отливают. Так это – от Лысенко Трофима Денисовича, лично мне подарил. А вот эта чайная ложечка – от Тимирязева». И голос из класса: «Так он давно уже умер». – «А за что, спрашивается, он мне подарил? А за то, что я разделяю его божественную комедию». И опять вопрос из класса: «А чью именно – Лысенко или Тимирязева?» И другой вопрос: «А божественным атеизм разве бывает... помнишь, это ты говоришь, да, Иван?» – «Как же, как же». – «А с «Божественной комедией» как же, с авторством Данте?» – «То комедия, а то атеизм», – отмахивается, как от мух, Залипай (он из деревни, из своей Залипаевки, там все нехристи, церковь себе так за века и не построили, к нам сюда в Седмицу ходили)...

– Ну, тогда я пошла, – шмыгнула вниз по лестнице Фрося.

Вскрости и она вылезает из лестничного провала, размахивает бумаженцией:

– Вот придурки! Видали? А еще Залипая кроете... И ты хороша! – повернулась она к Марусе. – Яблоки – эти мыши, что ли, на стенке, потвоему, съели? Уж подсыхает стенка-то, яблоки опять обозначились.

– Как у шпионов, специально текст то исчезает, то появляется, – сказал Володька и хватъ бумажку из Фросиных рук. – Дай-ка сюда!

– Это бабка моя писала, – объясняла Фрося. – Яблоки-то принесла, поставила перед дверью. Догадалась, где я, вот старая мымра... И записку еще приложила Володька-то хватъ ящик и сюда его, а записка и выронись, вот: «Дорогая внученька Фроська! Марш сейчас же домой! Нечего с этими анчибалами по скирдам да по церквам скитаться, скоро в тюрьму посадюте за такие дела. А у матерей сердца уж пообрывались. Ты их всех в шею сюда гони и сама давай домой. Твоя бабка Галя».

– Ух, какая грамотная, «Интерпол», милицейский начальник! – рассмеялся Володька и порвал записку к чертовой бабушке на мелкие кусочки да шварк их в окно: летите, голуби, летите...

– Твой черед, Расскажи че-нить, – повернулись подружки к Марии.

– Вот про яблоки хоть.

– Что про яблоки? Что зеленые, цвет надежды? – пожала плечами Мария. – Ну, такая, значит, история... Яблоки, когда корове давали, всегда обычно на мелкие кусочки резали, а тут целиком. Вот Красавка одно яблоко хоп, а оно в горле-то и встань поперек – ни туда ни сюда. Упала на колени Красавка – амба, бабка опрометью в хату за иконой, а дед в клюню – за дрыном. Бабка икону держит перед коровой, а дед корове-то по мослам, по мослам! Красавка – их – яблоко и провалилось. Встала коровенка с коленок, стоит – трясется вся. А бабка с дедом как схватились ругаться, кто больше помог, кто спаситель... И после, бывало, как принесет бабка подол яблук из сада, так на стол возле меня обязательно ножик положит, вот какая!.. И вот он, ножичек, тут..

– Хороший рассказ, поучительный, – заметила Фрося. – Ну, и сколько ж ты их зараз съедаешь?

– Да штук девятнадцать.

– Ого! – изумился Володька.

– А можешь двадцать пять?

– Ничего себе аппетиты! – аж раскрыл рот Владимир. – Столько детей не бывает даже на Кавказе, у чеченцев.

– А ты думал как, – засмеялась Мария. – Бог дает – бери, а то обидится.

– Девять тоже много, – сказала Катерина. – Не у каждой лошади столько зубов бывает.

РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ

А солнце схлынуло за горизонт. И опять в звоннице, которая, розовея, еще держала на штукатурке последний вечерний свет, навалилась темень, уж ночь. Но вот приподнялась луна-лунища, покачалась и пошла в гору. Мрачная тарелка – ночная красавица. Все залила своей красноватой, неверной призрачностью. Однако на виднушке стало так светло, хоть газетки читай в темно-белорозовом изображении, записку от бабки Гали к ним сюда, к внучке, как к турецкому султану.

– Ух ты, какой реализм с романтической кровью! – выразился Алеша.

Никто не обратил внимания на его выражение, а зря. Зачарованные то ли кровной красотью самой ночи, то ли остаточным страхом, разросшимся в самой тревожности душ. Опять черт знает что перед ними: то ли Седмицкая сельская администрация с ее военным столом, то ли сам райвоенкомат. Ночь-то ночью, да под луной все ровно оцепенело, все видать до самой Седмицы, за речкой по заливному лугу, по широкой степи. Пепельные блики, остекленелая тишь. Даже петух не вскрикнет, не завизжит под ножом поросенок, какого как раз воруют где-нибудь во дворе. Азиатская хитрость: накинуть шапку на рыло и – сталь под горло.

– Знаете такого поэта – Гарсиа Лорку? – сказал Алеша. – Испанский поэт, из поэтов поэт! Как наш Сергей Есенин... пронзительный, сдваивал образ... Вот что написано им про такую же ночь. Музыка приходит сама, слова сами поются, вот так, – и Алеша запел, глядя на полный диск луны изначальной прямо перед собой.

Романс о Луне

«Луна в цыганскую кузню
 Вплыла жасмином воланов.
 И смотрит, смотрит ребенок
 И глаз не отводит; отпрянув,
 Луна закинула руки,
 И дразнит ветер полночный
 Своей оловянною грудью –
 Бесстыжей и непорочной.
 Луна, Луна моя, скройся!
 Если вернутся цыгане,
 Возьмут они твое сердце
 И серебра начеканят.
 Возьмут они твое сердце...
 Возьмут они твое сердце...
 Возьмут они...»

– Эх, твою мать, гитару бы! – вздохнул Володька.

– Ы– ы– ы...у– у– у – отозвалось эхо.

– Ну и что с тем поэтом... с Лоркой? – спросила Мария. – Что за судьба?

– А как и Володька в Чечне... погиб в своей Андалузии, – почти прошептал Алеша. – Его расстреляли солдаты. Как и всех поэтов, в гражданскую почему-то расстреливают...

– Он же хороший! Так это сказал: «...и серебра начеканят», – дрогнул голос Марии.

– Их же так мало, поэтов, – плакала Ниночка.

– Они лишают людей надежды, – всхлипнула и Катерина.

– Ну, и что с судьбой его, расстреляли?

А Фрося как уперлась лбом в камень стены, да так и нажимала лбом, нажимала до боли, но боли не получалось, просто нехорошо было Фросе, и все.

– А судьба Гарсиа Лорки – в этой вот песне, – живо среагировал Алеша. – И это, считай, мой рассказ. Итак, «Сомнамбулический романс».

И голос его снова возник в ночи, голос и ночь – в этой звоннице под пепельным, изумрудным каким-то, болотно-инобытийным светом луны:

«Любовь моя – цвет зеленый,
Зеленого ветра всплески.
Далекий парусник в море,
Поближе – конь в перелеске.
Ночами по грудь в тумане
Она у перил сидела.
Серебряный иней взгляда
И зелень волос и тела.
Любовь моя – цвет зеленый.
Лишь месяц цыганский выйдет,
Весь мир с нее глаз не сводит,
И только она не видит.
Земляк, я коня лихого
Сменял бы на эту кровлю,

На зеркало, нож, а сбрую —
На краешек изголовья.
Земляк, я из дальней Кабры
Иду, истекая кровью.
Хочу умереть, как люди,
Оплаканные любовью.
Не видишь ты эту рану —
От горла и до ключицы.
Все кровью пропахло, парень,
Все кровью твоей сочится.
И я-то уже не я-то,
Мой дом уж не дом, как было.
Так дайте хотя бы подняться
К высоким этим перилам.
О дайте, дайте подняться
К зеленым этим перилам!
К перилам лунного света
Над гулом моря унылым...
А ночь была задушевной,
Как тихий дом голубиный.
Когда патруль полупьяный
Вбежал, сорвав карабины...»

И голос в ночи оборвался. И поэта не стало, оборвалась и песня. В Испании, в Андалузии. А тут – как сели все на солому в звоннице своей седмицкой церкви, так и сидели. Слова захлестнули и канули в звезды, откуда было видеть далеко, глубоко. И кони гривастые, слетев со второй, российской телепрограммы, рванулись из сердца и унеслись в свободную тему...

– «...сорвав карабины», – сказал вслух Владимир.

И слово «карабины» прозвучало как-то особо – как будущее в его молодых, несолдатских руках. И где-то там, в Андалузии, и тут – на переходе отсюда в небытие...

А в спутанных-перепутанных мыслях, обвитых-перевитых дикими ветрами степей, сминая ковыли, из недр исторических уже

мчались к ним сюда в душу конные табуны, земля кипела да искры сыпались из ноздрей да из-под копыт. Тумен к тумену, хан к хану, орда к орде... Белые, желтые листья падают им на плечи. Валяются под ноги города, исчезают народы... Потомки Батыевы на бычьих пузырях переплывают Волгу, уж выпиты плавные воды Оки. И стрелами заслонено Солнце. И лица скуластые, чеканные обрезаны в медном покрове наплечников, булаты – наперевес...

О, Русская земля! Ты уже за холмом...

И тут совершенно реально взревела машина – опять эти гробокопатели! Роят могилы ромейские – воинов, оставшихся от войны, реет патетическая соната, чтобы опривать кости домой, куда западает солнце. И эти тут, заработав себе на хлеб, продляют подлую жизнь. И тут же совершенно реально черные грачи на кладбищенских липах взгряли, раскричались, обвевая звуками литые конные массы.

О, луна! Отчего же ты равнодушна?

– Тумены Батыевы – видишь ли их? – спросил Алеша Владимира.

– Нет, – пожал тот плечами.

– А ты? – повернулся Алеша к Марии.

– Н-нет, – сказала Мария растерянно. – Не вижу луны.

– А ты? – коснулся Алеша Ниночкиного плеча.

– Вижу, вижу! – вспыхнула Ниночка. – Булаты наперевес... О, Русская земля! Ты уже за холмом...

– Конский топ заслоняет даже страх смерти, – сказал Иван. – Русь, куда же ты несешься! О нео... Европа, с какого «порядка» снова ты начинаешься?..

– Я хочу дома быть похороненным, – четко выговорил Владимир. – Не в Австрии, не в Австралии... Не успели жить, а уже ловим тлены могил.

РАССКАЗ ИВАНА

– Я бы травки не прочь курнуть, – улынулся Володька.

– Зачем? – оторопел Алексей.

– Надо же, как перед смертью, попробовать, – вздохнул Володька. – А то помрешь не своей смертью, так и не узнав, что же все-таки далеко, глубоко, зыбко на переходе.

– Перебьешься, – сверкнула глазищами в темном углу Катерина. – Еще успеешь, геройн нашего времени.

А в глазах уж рябило. Это пепельный, сомнамбулический свет то скрывался, то раскрывался. По чистому диску луны побежали точкитире; рядом бродили эти черные, дождевые, косматые тучи; черные узники смерти, грачи, срывались с кладбищенских лип и перекрывали небо. Однако мистику в сторону, хотя она, растленная за день, ночью скорее концентрируется. Жуть берет, воздух стекленеет, затмевается крыльями, лицами, вагонами железных дорог, потому как железнодорожное движение для просторов России, говорят, – самое главное из дорожных сообщений.

– Ну, и где те машины? – сказала, уклоняясь, Мария.

– Что с «соломенными» моторами, с каменными топорами?

– Почему с каменными? – пожала плечами Фрося.

– Володька топором, рубил рыбу на камне.

– Когда это было! – вспыхнула Ниночка, вступаясь за Володьку и возбуждаясь сменой чувств. – Может, вовсе и не было этих гробокопателей?! Ни топора, ни лопат, ни скрежета зубовного от золотых коронок из черепа, ни самой Отечественной, – ничего?

– Может, и не было, – не удивилась и этому Фрося. – Если хочешь – хо-ти. А не хочешь – как знаешь.

– Вот еще! – топнула ножкой экстравагантная Ниночка – ночью ее все-гда куда-то несло, особенно при луне, а заканчивалось все постелью. – Да, но потомки Батыева были ль?

– Вон же они, слышите? – выбросила свой козырь неотразимый Мария. – Конский топ и конский пот, гул копытный в широкой степи.

– Двигутся, движутся, – сказала Ниночка. – Ковыли под копытами, ковыли съедают и дальше, ковыли съедают и... и...

– Что, заклинило? – обеспокоился Иван.

– А ты что видишь? – опросила Марию Фрося.

– Видим, видим! – продолжала кричать вполне сомнамбулически Ниночка. – Как не видеть? На семь частей рассекают, на семь огромных материковых кусков.

– Золотая орда рассыпалась на двенадцать, – заметил Иван монотонно. – Большой умер бы сразу, если бы не надеялся. Россия входит, слава Богу, в знак Водолея.

– Знаете хоть, что это такое? – оживился Алеша. И тут же вскочил, зажегся идеей, как спичка. – Это значит, что мы под благоприятным сочетанием звезд. Вот Гоголь лежит и лежит, лежит и лежит – летаргически. И сам ведь надеется, и вся Россия надеется, что он проснется, – таланты не усыпимы. Гении не имеют границ...

– А все равно нехорошее, странное, – пошевелилась Мария. – Ой, глядите! Орды уже переправились через Седмицу, перед Перуновым Холмом развернуты бунчуки. Видите, видите?

– Видим, видим! – закричали сидящие тут на соломе. – Бунчуки в развитии, развеивается знамя...

– А остальное, как я, – перебил Марию Иван. – Как раз мой черед рассказывать... Итак, слышите там внизу, в храме, заполюнные голоса? И это все они – наши седмицкие... сбежались сюда, под крыло Казанской Божьей Матери. И крики их слышите: «Защити! Помоги!...» Это голос Фросиной бабки, отца Володькиного, дядьев Алешиных... предков наших... Слышите, узнаете?

– Слышим, слышим! Слышим и узнаем!

А вот и удары судьбы – стенобитным орудием в дверь. И плач во храме, вой и стенанья. Сбиты петли, потомки Батыевы валят во храм на конях. Как выросли в коней-то, сидят – влитые, выбирают невест: «Вот эта... вот эту и ту». Огромный такой – верзила, безумный такой – кентавр подъехал к одной девице с тугой косой, витой-перевитой. Ибо сила тайная Солнца заключена именно в этом. И махнул он мечом, коса так и пала к ногам. И тут девица, как кошка, прыгнула на коня и, выхватив кинжал, вонзила ему в горло – тень так и осела... девица осталась в седле...

– В седле осталась? – ахнули все тут стоящие и сидящие.

– И ринулись к ней степняки. Но мановением руки хан остановил орду и отправил девицу в шатер. Он дал ей надежду. А кровь оставалась неубранной, и день, и другой...

– И день, и другой, – шевельнулись сидящие, солома под ними присвистнула.

– Плохо это или хорошо? – спросил Иван. И тишина. И в голове у каждого: «Что плохо, а что хорошо?»

– Ну что ж, кровь в христианском храме пролита христианкой.

Луна опустила, и черные птицы – грачи в гнездах стали не так уж страшны. Кто-то погиб, а кто-то, смертью смерть поправ, может воскреснуть. Вспыхнув ярче тысячи солнц, под пепельным светом луны, русая коса, усеченная даже, продолжала висеть под святыми, приковывая внимание прихожан. Уж и Батыев туман сошел, и кони его были съедены; да и были ль тумены те? А может, коней в храмине и не было? Однако коса как сияла, а солнце алтаря березового в окне, говорят, как стояло, так и стоит, лежит до самого октября...

– Сам придумал? – спросила Мария.

– Это один краевед, – ответил Иван. – Горстями сыплет китайское, как из рога изобилия, из книжек да в книжки, из чужого – в свое... из чу... чу... чу...

– Заело, робот? – дернула Фрося его за рукав.

– Остановите китайцев, остановите китайцев, остановите кита... ката... ка-ка... ха-ха... ха... «Так дайте хотя бы подняться К высоким этим перилам! К перилам лунного света Над гулом моря унылым... А ночь была задушевной, Как тихий дом голубиный. Когда патруль полупьяный Вбежал, сорвав карабины...»

И все же реально это: опять же внизу там, у кладбища, «соломенные» машины. В пролетах лунного света сидящие тут на соломе увидели силуэты с «соломенными» моторами. А в кузове рядами сидели солдаты (а может, бомжи сидели?) да с карабинами между коленей (или с бузиновыми палками, башибузуки?). И стоит лишь кашлянуть, как «бузука» эта, сорвавшись с плюща на стене, плюнет в лицо тебе, сухо-горячечно плюхнет, и алая роза расцветет посредине клумбы лица, чтобы засохнуть и умереть...

– Мария, Мария, – слегка пинал ногой Владимир подругу. – Ты видишь их, видишь?

Мария молчала от боли. Реальная ржавая дверь пенала храма скрипнула и испугалась себя же. Но камешек выпрыгнул из-под сапога и ударил в листовое железо.

– Мария, Мария, – толкал уже яростно Владимир подругу. – Ты слышишь, слышишь?

Мария молчала. Она умерла еще с вечера и жила не в этом мире, не там, а тут еще просто так, автоматически.

– Я слышу, я слышу, – придвинулась к горячему телу Володи Ниночка.

– Мы слышим, слышим, – откликнулись все где-то между этим днем и вчерашним.

– Это за мной пришли, – четко сказал Володя нутряным, каким-то отчужденным, но теплым голосом – голосом Гарсиа Лорки.

РАССКАЗ АЛЕШИ

Луна сходила на нет с высоты подвечного неба и уносила с собой инстинкты. Из них, еще таких молодых, но уже подозрительных, кое-что повидавших, когда инстинкты уносят самое главное – жизнь. Что значила эта Володькина фраза для него самого и для миллионов сограждан неузнаваемо прежней страны: «Это за мной! За мной пришли!» Однако час еще не пробил, все, как всегда, в организме растет, а интуиция ведет и показывает... Марина Цветаева – на земле просиявшая. Однако талант дионисийский... У Анны Ахматовой – аполлоновский... У Велимира Хлебникова – циклы из 365 лет, переселение душ. Твои двойники и сзади и впереди – это что, надежда на бессмертие, да?..»

– Видишь ли, – вслух уловил Алеша Володькину мысль, – я начал искать двойника в недрах, хотя бы на цикл назад.

– И что же? – прыгали жуткие губы Алеши. – Ни в Италии средневековой нет меня, ни во Франций, ни в Англии, ни в Германии – нигде! Ну, думаю, бездарь! Не зафиксирован ты, следа от

тебя никакого, как не было, так и не останется... А тут зацепил, как вы помните, Бельгию и – нате вам. Этот Ян Брейгель-старший, известный художник, большой оригинал, – это он, оказывается, мой двойник. И вот во что соединились разбежавшиеся слова:

«Поживем, хотя и годы коротки. Где ты, мой братишка младший? На сонет мой, чуть увядший, Ты положишь свои свежие венки».

А далее музыка зазвучала, и по звукам пошло как по маслу, раз он живописец и пишет, извините-подвиньтесь, словом, звуком и маслом.

«Наши годы коротки и велики. Я узнал, что существуют двойники. В той же Бельгии когда-то Жил художник. Вроде я там Делал маслом свои первые мазки. Надо мною проплывают облака. Воплощаются в меня мои века. Я пою, а Брейгель-старший Мне нашептывает марши, Все слова живописует свысока».

– Ишь, Алеша-то как распелся, – улыбулась миловидная Ниночка. – Прямо из хора Пятницкого. А ведь очередь твоя, Володичка, байки баять.

– А я и не увиливаю, наоборот, в бой так и рвусь, – засмеялся Володя, – чего бы только придумать? Чтобы по теме.

– И не глупо чтобы, – подала Фрося голос упаднически из своего уголочка.

– Ага, вот-вот, – в рост поднялся Владимир и стал ходить по диагонали – три маленьких шажочка вперед, два с половиной побольше назад. – Видите, где мы находимся?

– В кунсткамере.

– Вот видите, – потрогал ладонью кирпичную стенку Володька, – конусом вверх пирамида! Мы находимся в пи-ра-ми-де. А египетские пирамиды – одно из таинств, невероятностей цивилизации, всего человечества. И если арабы, например, вложили свой разум в вещи конкретные, материальные – арабские скакуны, клинки булатные, «аква-вита» – абстрактность, то египтяне вложили...

– Пирамиды – это царство мертвых, – нажимал Иван на красивый, серебристый свой баритон. – В них лежат мумии, мумифицированные идеи, фараонам, извините-подвиньтесь, многая тысяча лет...

– Магрибинец какой, – не выдержала Катерина. – Пушкин был от эфиопов, из Ганнибалов, а Джуна – ассирийка.

– Иисус был в корнях своих тоже из ассирийцев, – глуховато как-то сказал Алексей. – Предки пришли в Палестину из Двуречья, из недр среднеазиатских, из Древнего Вавилона.

– И откуда все это?

– Из журнала такого, «Наука и религия», сам читал статью доктора богословия, – ответил Алеша.

– Не перебивайте, а то нить потеряю, – сказал Володя. – Так вот, он, этот «магрибинец», вывел формулу – обратную закономерность. Пирамида у него является не консервантом смерти, не хранилищем мумий, а, наоборот, стимулятором жизни, создателем биоэнергии, биоэлектростанцией... Внутри пирамиды у «магрибинца», волхва этого, кусок земли, огород. Всего несколько акров, но это позволяет ему выращивать все: огурцы, помидоры, капусту... И все у него, внутри пирамиды, дает урожай едва ли не втрое больше, чем тут же, за стенкой, в природе. Дядька мой собрал урожай однажды и взвесил... для сравнения... Все делал так же, поливал, рыхлил, выполнял агротехнические приемы, а эффект разительный... Здесь и сейчас, Саша Любимов по телевизору, его больше волнует граница, через которую просачиваются с оружием... Так вот, и решил он...

– Кто – Саша?

– Нет, дядя Витя!.. Тьфу ты, Господи! Не дядя Витя, а тот «магрибинец»... он тогда не был еще «магрибинцем», а был, как он говорит, белый, как все мы. И решил он поставить кровать свою в пирамиде. Ну, пирамида из досок, бутылок, стекла. И ночью там спал, и большую часть дня проводил в этой своей искусственной пирамиде...

– И что?

– И вот, говорит, результат, – сказал Володя. – И вроде негр и не негр, европеец и не европеец, а кто же он тогда – человек этот, с двойным гражданством?

– Кто? Этот сосед наш новый, приехавший с Украины?

– Тебе-то что? Ну, эфиоп. Вернее, предок Пушкина, здесь и сейчас... идет пушкинский год.

– Какой же он предок, если здесь и сейчас?

– Ну, потомок.

– А Пушкин, по Есенину, был «блондинистый, почти белесый».

– Ну, так чем же все кончилось? – спросил Алеша Володю про самую суть.

– Есть такой сорт помидоров – «Негр» называется, «Черный помидор», – сказал Володя. – Три лета подряд были холодные, почти без солнца, и «Негры» – «Черные помидоры» подослабли, сделались красные.

– Возвратились в исходное состояние?

– Да.

– От этой повестки, Володь, – прижалась Мария к его плечу, – ты тоже весь почернел.

– Стресс, наверное, – вздохнул Иван. – Вроде спокойно снаружи, а внутри черти бродят, вулканы...

– Один вулкан – Кракатау – в Индонезии, – заметил Алеша, – взорвался в начале двадцатого века, так пыль принесло аж в Латинскую Америку. Заслонила Солнце по всей планете, и – отсюда недород, голод, мор, войны. Весь двадцатый век коту под хвост... Всю Землю надо для гарантии под одну гигантскую пирамиду... Кстати, Ниночка, как мы себя чувствуем тут, в звоннице, в этой нашей «пирамиде Хеопса»?

– Я? – удивилась Ниночка. – Почему именно я? Я как все.

– А все чувствуют себя, как овощи у того «магрибинца».

– Не знаю, – заплакала Ниночка, видя, как Володька обнимает Марию.

– «Санта»... из Древнего Египта, – вздохнули все, как один, лежащие на соломе. – Не позавидуешь.

И тут же они разобрались по парочкам, а Фросе опять никого не досталось, так и осталась одна, а Володьке достался двойной комплект – двойной «урожай» женского платья вместо подушки.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. БЕЛАЯ МАНТИЯ

Дни проснулись, когда солнце было уже высоко. И все семеро крайне удивились этому. Какая-то музыка была растворена в воздухе, в ликовании утра. И в этом было что-то родное и близкое. Вскоре музыка оформилась в песню, выделились голоса:

– Среди долины ровныя...

Они выглянули в пустые проемы звонницы и с высоты Перуновой увидели на лугу, перед речкой, людей в белых рубахах и белых паневах – в праздничных этих белых одеждах. «Ах да, Троица нынче!» – вспомнилось молодым. Косцы – в белом, согласно обычаю предков. И так захотелось вдруг рядом встать, косу острую в руках подержать, пройти стежок с косой прямо перед собой. «Эх, да размахнись рука! У меня ль плечо шире дедова!» Еще вчера тут по берегам искали их бреднем, а сегодня уже отпевают седмицкими хороводными песнями. Белые мифы, солнечные столбы, призраки с черными глазницами на полуистлевших холстах.

РАССКАЗ ВЛАДИМИРА

– Какая же сила нужна для того, – подал реальный звук, наконец, Владимир, – чтобы не мир тобой владел, а ты – миром.

– Да уж так, – перекинулся Алеша. – По Вернадскому... был такой академик... Землю окружает пленка живая, жизнедеятельная – биосфера, Белая Мантия – сгусток энергии, сцена жизни, площадь раскрепощенности, эспланада твоя духотворная... Вечно кладет в «мантию» человечество веру, надежду, любовь. И, образуя сферу, не дает слабнуть белой энергии. Но параллельно этому существуют черные силы, зияют «черные дыры». Они отсасывают силы от Белой Мантии, и люди «черной дыры» уже не кладут, а, наоборот, забирают из биосферы, от «белых одежд»...

– Мальчики, – залопотала, захопотала Ниночка. – Как интересно! Это что – рассказ твой, Володя?

– Курица! – усмехнулся Владимир. – Это идея, но голая.

– Рассказ, блин, – вступился Алеша, – это когда в конкретной художественной форме.

– Ах так, конкретику вам подавай? – наступал Володя. – А все дело в чем? Да не в том, что ударили кнутом, а как прицелились.

– А вот Вильгельм Телль, – заметил Иван как бы между прочим, – стрелой из лука сшибал яблоко на голове сына.

– На той неделе по телику фильм показывали – «Особенности национальной охоты», – поддержала Фрося Ивана. – Так там один егерь концом ременного кнута ссекает яблоко в руке дворянского недоросля...

– Ну, блин! – вспыхнул опять же Володька. – Посыпали, как из худого мешка.

– Из рога изобилия, – засмеялся Иван.

– Так о чем я? – замялся Владимир. – Ах да! Самое важное в жизни, оказывается, – че?

– Вопрос о взаимоотношениях полов – мужского и женского, биоэнергий – белой и черной, – подсказывал Алексей. – Об этих взаимопереходах, о подпитке вампиров...

– Мой дядя родной – отцов брат, дядя Кеша, – решительно начал рассказ свой Володя, – судьей работает в Подмосковье. Были как-то мы с отцом в гостях у него... Подпили они с отцом в честь встречи и заговорили о вырождении нации, о сокращении жизни. Вот дядя Кеша – судья разоткровенничался и говорит: «Знаешь ли, сколько я за свой век людям дополнительных лет дал?» – «Тюрьмы, что ль? Ну и сколько?» – «Да лет, наверное, на сто, а то, может, и на всю тыщу более, чем сюда до нас от Рождества Христова». – «Да это ты не дал, – возразил отец, – а взял, отобрал у людей... Ну, и сколько же ты и кому самое большее «дал», какой срок отмотал, так сказать, самый большой?» – «Н-да... – замялся тут дядя Кеша – районный народный судья. – В Америке самый большой срок 99 лет вlepили одному негру... А вот в Таиланде недавно одному предпринимателю вот врубили – 585 лет! Тот даже в обморок рухнул после оглашения приговора». – «Дикари, – среагировал тут же отец. – У нас быть такого не может. Негде сидеть, телевизоров нету...» – «Да что же это,

девяносто девять лет просидишь, что ли? – говорит судья. – Это же символически». – «А символически, – рассмеялся отец мой – батя, – и двадцатки хватит...» И брат его поддержал. С тех пор выше этого срока уже не дает. Это как наша медичка в Седмицах: и от гриппа таблетки, и от рака тоже таблетки, те же самые. А какая вам разница, когда помирать? Вот и дядя Кеша всем «сурьезным» дает теперь лет по двадцать: и за грабеж, и за «чисто русское убийство» с отягчающими обстоятельствами. А на всякий случай. Чтобы не прицепились, мы уже вступили в ОБСЕ, а в Европе смертная казнь отменена...

– Ну и что? – подозрительно продолжал смотреть Иван на Володьку. – В чем, собственно, «цимус» твоего рассказа?

– Ах, «цимус»? – засмеялся Володька. – Ну да, соль, значит... Весной отец съездил к брату опять и вот, возвратясь, что рассказал... Очень уж у нас, бывших «совков», развит стадный инстинкт. Вот и дядя Кеша после того разговора крепко, видать, задумался. Все по двадцать да по двадцать. Направо и налево. Неинтересно. А потом решил-таки, взял да и перестроился. «Сколько тебе?» – спросил он одного своего клиента. «Пятьдесят», – ответил тот. Вот и дал судья ему все пятьдесят, сколько, мол, сам просил. Объяснил мужику: «Пятьдесят да еще пятьдесят – вот и все сто. Будешь жить в двадцать первом веке, представляешь, сколько еще?..» Вызвали судью наверх: «Ты чего это творишь? Против всяческих норм Конституции. Ить мы в Совете Европы, там Страсбургский суд, мы теперь в их компетенции... Жалоба за жалобой пошли туда, ну заколебали». А дядя Кеша им и говорит: «Ну вот, делаешь людям добро, а тебе же боком». – «И какое же добро?» – «Я же к нему особо подходил – с белой энергией». – «А на хрена ему длинная жизнь твоя такая в застенке?» – «Черную энергию отсекал, – оправдывался судья. – Впервые ведь дал, сколько просили». – «Ну, блин, ты даешь!» – сказали ему даже в областной инстанции, а не то что в Страсбурге. И затолкали на всякий случай в психоневрологический. Отец мой ездил к нему, проводывал. Так тот и там находится в совершенно ясном сознании. Однако только в одном пунктике прошибает: говорит,

раз вступили в Совет Европы, надо идти впереди планеты всей. Иными словами, надо быть гуманными до конца – давать столько, сколько просят. «Вот ты, – говорит отец, – совсем ведь ничего не просил, а сидишь». – «А я, – говорит тот, – больше хожу тут. И тишина у меня, но не матросская». Имеет в виду, что в «Матросской тишине» не посидишь, а стоя надо стоять, как в бочке селедка. Вот такие-то сухари...

– Что ж ты думаешь, – сказала Фрося Володьке, – он вернется с белой энергией оттуда-то, твой дядя Кеша – народный судья?

– Плевако – был такой адвокат еще до революции, – заметил, между прочим, Иван. – Так вот, Плевако, когда судили одного старичка – служителя культа, сказал, и все слышат слова его до сих пор: «Граждане судьи! Он же, этот служитель, отпускал вам ваши грехи всю свою жизнь. Так неужели мы не отпустим ему хоть раз за его какие-то не такие уж крупные прегрешения?» И присяжные старика оправдали. Вот вам и белая энергия слова!

– А судьи кто?

И в самом деле, время уже обеденное. И дело не в Солнце, конечно, оно спряталось в тучку, а в том, что из-за тучи лился сверху на окружающую равнину белый рассеянный свет. А может, и из-под низу он лился – от белой одежды из-за кустов, где, лежа на подсыхающем сене, отдыхали косцы? Не наступи на грабли, дружок! Белые кони мчатся в восхитительных снах. О Русь святая – Великая и Малая, Белая Русь – сгусток белой энергии, куда же ты мчишься? А в знаки своя – Водолея.

РАССКАЗ МАРИИ

И Солнце вошло в самый пик. И черные птицы – грачи отлетались, присев на кладбищенских липах, заглохли и растворились в порыве всяких миазмов, испаряющихся из недр здешнего чернозема. Зато перед проемами звонницы стали мотаться белые тени, как души призраков предков в облике голубей. Белые голуби – белые призраки – белое солнце в пустыне. Косцы на лугу, упарясь, уже пили квас.

– Так в чем сила вопроса? – подытожил Иван рассказ Владимира. – А чтобы копить белую энергию.

– Чтобы ее отдавать, – вздохнула Мария. – И отдавая – любить!..

Ух ты! То ли белое солнце сыграло роль, то ли косцы на лугу очумели от кваса, но тут что-то вздрогнуло, загремело из глубин и понесло, понесло...

– Вот, – сказала Мария, как будто высекая искру кресалом. – Я прочитала такие стихи. Одна поэтесса из Перу, тоже Мария, так оплакала смерть подруги. Я помню слова этой Марии Флориан, как сейчас.

И русская Мария запела вполголоса об индейской подруге:

«Плачь, источник, поивший ее водой,

Любовавшийся красотой ее перьев!

Умерла Урпильяй,

Умерла голубка!

Плачь, каменистый скат, накаленный солнцем,

Обжигавший ее карминные лапки!

Умерла Урпильяй,

Умерла голубка!

Плачь, бессмертник, подсматривающий из рощи,

Как горячо и нежно она любила!

Умерла Урпильяй,

Умерла голубка!»

И смолкла Мария, и голос ее дрожал еще, подкрепляемый реальным воркованием реальных белых голубей по карнизу тут, чуть ниже проема звонницы. И Володя как ахнул, схватясь за голову, и неловко как-то осел, повалился на белый камень в углу. И все кинулись к нему. Начали брызгать лицо водичкой. Владимир лежал неподъемно.

– Солнечный удар! – констатировал Иван, который готовил себя в доктора. – Ишь, посинели губы. Белая энергия тоже бывает лишней, а доза смертельной...

– И-ах! – заломила руки Мария и пала на белый камень рядом с Володиной.

Она лежала без движения и уже сотрясалась всем телом, а голос ее, едва слышимый, подвывал сам, без всякой воли ее, – блекловатый, стонящий:

«Умерла Урпильяй,
Умерла голубка!»

Володька повернул голову и подмигнул Ивану, а затем Ниночке.

– Да хватит тебе, артистка! – обхватил он за плечи Ниночку. – Прекратите обе свой фарс!

Володька поднял Марию с белого камня, и все заплодировали, засмеялись. А Мария покраснела, заплакала уже серьезно, навзрыд.

– Ну что ты, что ты, дурочка? – стоял перед ней, потупясь, Володька. – Я же нарочно – ну пошутил... ну прости...

– Да, ты умирать... а я... я, – продолжала рыдать Мария.

– Глупенькая, – гладил Володя ее округлые, дрожащие плечи и вдруг приник к ней и поцеловал прямо в губы ее аппетитные. И белые голуби как вспорхнули под потолком, да вон со звонницы – в проем отсюда. Мария выпила воды, и ей стало лучше. И тут же в ней возникла необходимость откровения, наступил ее час, ее продолжало нести неизвестно куда. Она знала за собой эту особенность и все же сказала: «Умрет Володька – умру и я». И была тишина. На лугу отбивали косу. Подъехала бортовая машина, из кузова стали вытаскивать столы, скамейки, посуду. Готовился «сабантуй», видать, большой, государственный. А Мария, и сама осознавшая за собой это качество невероятности, видела, как несет ее откровение невесть куда. Ведь никакой же пользы для тебя – никакой, а ведь выворачиваешься перед всеми, все потроха из себя, недра души своей вон из себя, все тайны свои и чужие, самые невероятные – семейные, родовые, божественные. А кому это надо? Ух ты, плоть-плотина! Как же ты обрываешься и прорываешься, белой энергией обрушиваясь на всех.

– Ах, Господи! – выдохнула она из себя. – Помните Хлестакова в «Ревизоре» у Гоголя? Вот ведь «бурный поток»: и суп везут ему кораблями из Англии, и с министрами-то он на брудершафт... и ведь никакой пользы для себя...

– Ну, не сказал бы, – сухо зашлепал губами Иван. – А денежки с купчишек? А сахарные головки, а «веревочка» и та сгодится в дороге?

– А я вот знаю одну такую... Любочку, так ее несет просто так, – продолжала свое Мария. – Как телега попадет в колею – и пошла, и пошла. Однажды мать купила ей дорогую шерстяную вещь, о которой она мечтала, – кардиган называется. Белый, пушистый, последний крик. Вечером стали примерять. Первой надела не Любочка, а сестра ее младшая – Вера. Примеряя, Вера так раскраснелась, так ей нравилось. И Любочка стала хвалить на Вере эту самую вещь – кардиган. Да так в раж вошла: как он хорошо сидит на Веруньке, прямо по ней, как он делает ее элегантно, красивой. Ну, все слова, что себе припасла, так и скатились сами собой на Веруньку. «Ну что ж, – вздохнула мама, – давайте кардиган этот Веруньке отдадим, раз он личит ей. А тебе, Люба, потом что-нибудь подыщем». После Любочка пошла к себе и всю ночь проплакала в подушку... Вот и все. Вот вам белая мантия, испытание на человечность...

– Это ты про себя, – улыбнулась Катерина. – Наша Зина с вашей Верунькой в одном классе учатся, та ей все и рассказала.

– Слабые люди, – заметил Иван. – Это они так от слабости. А в здоровом теле – здоровый дух. А в слабом теле от бездарности что – зависть да злость... Вон в эпоху Просвещения был такой философ Мальбрани – сердцеед, а горбун. А известный ученый Паскаль страдал припадками... Так до чего докатились оба – до мизантропии, всемирного зла. Так, да? А вот француза Абеяра, наоборот, за его откровение – откровенную любовь – оскопили. Ну, как бы взяли вдруг да и оскопили Ромео; что бы осталось Джульетте?

– Где это ты всего нахватался? – сказала Ниночка.

– В Древнем Египте, – усмехнулся Иван.

– Он ухо приложил к земле, – засмеялся Алеша. Он криком... гамму не нарушит. Вот мы о Белой Мантии говорим, о белой энергии – и почему они слабые, если их куда-то несет?

– Ну, ты, блин, и даешь! – резко к нему повернулся Иван. – Ну, и как насчет главного инстинкта человеческого, каков он? Естест-

венно, инстинкт самосохранения. Так вот, у нее – у Марии-то или нет его вовсе, или он значительно приглушен. Все летит у нее по волнам белой энергии. Заметим, просто так несет ее, без всякой для себя практической пользы. И что же? Придет время – доверят люди ей какое-либо серьезное дело?

– Я доверю, – прижалась всем телом к Марии Ниночка. – Доверю себя, свою душу.

Все засмеялись, одеревенелые, даже не с того, что жара дневная была, а что скорее пошла на убыль. На лугу пискнула гармошка, а по басам, как гром небесный за лесом, как вальком по белью где-то на камне, прокатился баян. Всерьез ведь на лугу затевалось. Троица, Троица, Троица, – столы, извольте строиться. В одну линию или буквой «п».

А что же страх? Страх съедает белую энергию, энергию Солнца. Со страхом живут люди, лунного света не замечая. А что же стресс? Белая энергия съедает все стрессы.

РАССКАЗ ИВАНА

А праздник на лугу только лишь начинался. Люди нахлынули и машинами, и пешком. Живо рассаживались за столом буквой «п». Пи эр квадрат – квадратура круга, где «Пи» входит необходимой составной в полузабытое тайное египетских пирамид, ориентированных на Ра – само Солнце. Квасы на столе, зеленые перья лука и зеленые огурцы, а также мясopодукты от импортных «ножек Буша» до отечественных холодцов, – все это пробуждало там у них волчий аппетит. А что говорить об этих, что тут, на Перуновом Холме? Представляете, каково лицеизреть «среднерусским» изобилие на столах «новых русских»? Вот что заставляет крепко задуматься о сиюминутном и вечном.

– Как только белая энергия разряжается, сходит на нет, – сказал Иван, чувствуя, что наступает его черед поведать очередную историю, – так тут же ее замещает черная. А «черная дыра» втягивает, как в трубу...

– А куда денешься, – вздохнул Алексей. – Ночь и день, лед и пламень – это неизбежность.

– Не ерничай, – поморщился, как от зубной боли, Иван. – Знаешь хоть, откуда следует брать человеку силы, чтобы выжить и жить? Стоит биоэнергетике приослабнуть, как тут же неудачи, болезни, наконец, смерть.

– Ну, и откуда брать?

– Откровенно, да?

– Ну, а как же! Неделя откровенности, день открытых дверей.

– Помните, я заболел прошлой осенью скарлатиной? – продолжал Иван. – Для детей скарлатина еще терпима, а для юношей воспаление зева может быть и роковым. Ну, и стал я через три дня помирать. Дед мой уж ночами меня караулил, бросил кожушок на полу возле моей постели и коротал. А я в бессознательном состоянии все порывался куда-то...

И смутил меня такой сон. С белокипенных Магеллановых облаков спустился сюда ко мне главный языческий бог Перун, наклонился, шепчет на ухо:

– Ну что, браток, летишь уже, летальный конец?

– Лечу, – говорю откровенно. – Вон уж и двери впереди отворились.

– А хочешь рецепт? – шевелит губами Перун. – Откровенно за откровенность. Знаешь, брат, откуда белая энергия берется, из чего пополняется?

А во мне смутно все брезжит, на переходе из подсознания.

– Сверху и снизу, да? – говорю.

– Соображаешь, – гладит он взглядом меня – весь какой-то мучнистый, белолучистый, Перун. – Итак подходим к истине. Во-первых, энергия идет с неба и подключается к земле! Это как три составные части марксизма. Во-первых, в начале было слово. А потом уже искусство, хорошие произведения. «Робинзон, – шепчу я про себя, – имел всего только Библию и читал ее все свои 29 лет на острове». – «Во-вторых, это лоно природы, – кладет руку мне на лоб не Перун уже, а вроде как Лев Толстой. – Красота ландшафта, естество земли тоже лечат».

– Ключ Андреевский, колодец Девятой пятницы – святая вода, – вожу я пустыми губами и порываюсь вскочить и уйти отсюда туда, на лоно, чтобы пасть на колени и пить с колен перед иконой, как перед Русью самой.

– И третье, – говорит и Перун, и вроде уже не Толстой, а дед мой Герасим Макарыч, в его постоянном обличье, – это хорошие люди, и в истории нашей, и в жизни встреченные...

И вот я вырвался оттуда, из той комнаты, и оказался в урочище Мурашихе, у Андреевского ключа – неопалимая купина. Молочные реки, кисельные берега. И маячат в смуте родные, приватные образы, целый рой лиц – жужжащий, иконостасный, в духе Ильи Глазунова, лучшие люди Руси... Боян и Ходына, протопоп Аввакум и Серафим Саровский, Пушкин и Есенин, Менделеев и мой отец с матерью... И как только мне губами коснуться водицы святой, так тут же морок как бы очищается, воды зеркалом брызжут и отражают того человека. И Мураш этот, ровно как у Коненкова, это мужичок-грибничок-полевичок, хранитель этого «голубца»...

– И в руках его книга, – продолжил слово Ивана Алеша – И что же произнес тот старец, в каких-таких выражениях?

«В лесу, в горе родник, живой и звонкий,

Над родником старинный голубец

С лубочной почерневшею иконкой...»

– Да, такие слова произнес? – удивился Иван. – А откуда ты знаешь?

– Бунин, – пожал плечами Алеша. – Кто это не знает?

– Вот видите, – оживился Иван и как-то засуетился, – И поднялся тогда я, сошла хвороба с меня, и вот живу, тут я с вами... И это три, так сказать, проходящих момента, – сказал Иван. – А то есть еще один, но постоянный.

– И какой же? – встряла опять-таки не без ехидности эта реальная Фрося, она любила романтиков, но не сам романтизм. – Опять этот твой пунктик второго плана – про равнинный характер?

– Ну да, – повернулся Иван к ней боком. – Про наш, про равнинный. Но взгляд, представьте себе, поменялся у меня категорически – с плюса на минус. То как было? Равнина складывала наш

национальный характер общительным, мирным, в общем, коммуникабельным, так? Это в сравнении с горцами, так? Заметим, исток рассуждения от Тургенева, от его «Хоря» и «Калиныча». Все лес и степь у нас... Кстати, про степь – про равнину, и что нам мешает копнуть историю?

– А ничего.

– И копнем, – подошел Иван к проему в звоннице и стал глядеться в эту самую степь прямо перед собой. – Во-он где на юге Грузии, за Кавказским хребтом – христианство сформировалось там раньше, чем на Руси, веков этак на пять. А в Армении и того ранее... И армяне, и грузины живы, чего им, живут. А вот в той же в степи, на равнине – по Великому ходу из Азии на Европу по Северному Причерноморью – где теперь те же соперники Киевской Руси? А еще ранее скифы, сарматы? Целые народы спеклись на равнине...

– Тебе не в медицину надоть, Ванек, – ущипнула за бок его Катерина, – а на исторический. Вон как прет из тебя.

– Это хобби, а то профессия, – поклонился ей галантно Иван. – Однако одно другому не помешает... увязать – и получится, так сказать, историческая психология... Вот мы Бунина помянули. А давайте раскроем с конца и дойдем до истоков? Говорим о срединной России, о той же Орловщине, мол, вспоила-вскормила, как говорит один директор литмузея, классиков у нас, как собак нерезаных... А на какой базе? Просто так ничего не бывает... А на живом русском наречии выросли, встали мастера уже ограниченного русского слова... Самый яркий критерий духа, силы народа – язык, национальное достояние. Так откуда же черпаются силы тут совершенно невероятные? Вот уж века, прямо-таки на наших глазах, в среде нашей изобильно рождаются незаметные гении-словотворцы. Послушайте только, как говорят у нас, как блистают перлами, входят и выходят словесно из ситуации. Да какой там иной писатель – целые государства все отдали бы, лишь бы Господь послал им частицу такого таланта...

А ведь это «Бермудский треугольник» наш – Курская магнитная аномалия (КМА), невероятная магнетическая сила Земли

плюс небесное, возвышенное. Да, и вот вам «голубец», живое и ограниченное слово... А мы все о скарлатине... И людей теперь я воспринимаю не просто по физиономии, по выражению лица, а скорее по биоэнергетике.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

– Ваня! – засмеялась Ниночка, которая вышла, видите ли, некогда из Древнего Египта. – Вот фантазия-то, не ожидала! Да что ж у других народов, что ли, нет гейзеров, ключей?

– Конечно, есть, – пожал плечами Иван. – Но меня понять может только Мария, да, Маша?

– Иван да Марья, – съязвила эта вечно ехидная Фрося. – Двое в одном, цветок однодомный, желтое с синим где-нибудь под кустом... Однако «она другому отдана и будет век ему верна...»

А праздник гудел на лугу. Русь гуляла – великая в горе своем и в гульбе. В самом деле, какие столы, какие люди в Голливуде! Смотри на весь этот сброд с высоты Перунова Холма и только облизывайся. Ибо ни денег, ни иной такой возможности сойти и присоединиться. И что остается, – песня! Вот они и запели в своей звоннице, понимая, что тут-то у них преимущество, они ближе к звездам. И запели они сначала в треть, потом громче и громче, под самые светила дневные, которые, пока не смеркнется, пока что не видны, но все знают, что звезды эти существуют, живут, может, даже и слышат их в данный момент.

Так уж получалось, больше пелись ямщицкие песни, как замерзал молодой ямщик в белых зимних равнинах. И белые кони слетали с колокольни, эти белые призраки-кони, и пропадали в степи. И плакала душа, коченело в снегах молодое ямщицкое тело, и сердце разрывалось, разбивалось в куски... «Родные, стой! Неугомонны...»

И все повернулись к Катерине – то была ее тема, ее разговор.

– Россия, кони! – вздохнула Катерина. – Белые, вороные, игреневые, буланые – пока они бегут по телевизору, обгоняя российское

время, я успеваю подумать о нас... По телику фильм показывали: где-то в казахских местах табун сорвался и полетел, обезумев. А впереди обрыв, гибель. Табунщики обомлели: сейчас это произойдет. Табун грянет в бездонность и пропадет! И тогда одна девушка вскочила на жеребца, – на самого рыжего, лидера. И это я оказалась, это я была вместо той девушки! Я понеслась навстречу смерти своей, я вогнала рыжего в голову табуна, вела его по спирали. Скорость рождала крылья, они резались, в спину били горячим – в ноздри, когда перед самым откосом, отвернув, я повернула табун и закрутила вокруг по спирали... И тишина...

– Савелий Крамаров, «Неуловимые мстители», – засмеялся Володька, – это тоже ты, Катя?

Однако никто не засмеялся, глядя на бледную Катерину. Она слышала все, и глаза ее полны были слез.

– Глупо, – гладил Иван ее по щеке, – так переживать, перепутывать время, – когда кони уже спасены.

– Еще неизвестно, – сказала Катя, – какая пуля последняя.

И каждый подумал о двуглавом орле или Эльбрусе, о конях лермонтовских из телевизора. В прошлом веке воевали на Кавказе, кажется, лет шестьдесят, так куда же мчатся сейчас они – не дают ответа...

– Если кони мчатся, значит, это кому-то надо? – сказал Владимир.

– Сицилийская мафия, – прокатилось белое эхо в звоннице вдоль да по Казанке, и встрепыхнулись в звоннице белые-белые, голубые и белые голуби.

– И газ ведь проводят не по Сицилии, а по области, – добавил Иван. – Будем жить, наконец, как в Европе. Имя Рэма Вяхирева в одном райцентре выбьют на медной доске.

– Эх вы, кони мои озорные! Голубые вы кони мои! – тряхнула Ниночка белокурой головой да ножкой, ножкой о камень, о пол каменный.

– Я завидую тебе, Кэт! – вскрикнула Ниночка.

– Отчего?

– Не убили на фронте! Песня о тебе такая гремит до сих пор, – засмеялась эта нервная Ниночка. – «Выходила на берег Катюша!» – И заплакала.

– Чего ты? Вот дурочка, – обхватив за плечи подружку, прижалась к ней Катерина. – Ну, чего ты, чего? В именах мы не вольны... Хочешь, ради тебя, – вскочила она на камень в проеме, – с колокольни вниз брошусь?

– Ну, ну! – поймал ее за пояс Иван. – Сумасшедшая... – И оттащил в угол. – Буква «Ка», «Катюша» – Катерина, не знаете почему? Ну, почему «Катюшей» прозвали «катюшу» на фронте?

– Ну, почему? – придвинулась к нему Катерина.

– Вон кто скажет, – кивнул Иван на Алексея.

– Мой отец в Воронеже завод этот строил, – строго сказал Алексей. – Завод имени Коминтерна. И когда Отечественная началась, первые машины с грозным оружием вышли отсюда с буквой «Ка» в кружке на борту – марка завода имени Коминтерна. И отсюда «катюша».

– Ну, и что?

– Да отец не увидел своего детища.

– Почему?.. За что?..

– Ну, не за «ванюшу» же. Это у немцев был такой миномет шестиствольный.

– Сладкая парочка.

– А ты, Володичка, помолчи, – обрезала его эта ехидная, но всегда реальная Фрося. – Вишь, грачи завозились на кладбищенских липах, черные перья роняют. А небо на закате зарозовело, запунцовело – похоже, к ветру, к срыву погоды.

– Спроси его, брюки не защемило?

– Во дурак! – хлопнула Ефросинья по спине Володьку. – Так дурак дураком и останешься.

– Да тихо вы, тихо! – вступилась за Володьку Мария. – Раскричалась, раскаркалась тут, как на своего.

– А я, девочки, – совсем успокоясь, сказала тихо, как-то мечтательно Катя, – знаю теперь, что такое радость и даже счастье, это белая энергия. Сама испытала. Да!.. Приехали в область на

ипподром, на скачки. С утра еще, – никого на трибунах, мы одни с отцом. Смотрим, мимо качалка прошла – лошадь опытная, да и жокей под годами. Пустил мужик лошадь по кругу – идет она ходко, старается, а звезд не хватает. Еще одна лошадка мимо – серый конь в яблоках. Идет по кругу – ничего себе, прижимает, аж ветер в ушах посвистывает, хм, не у меня – у жокея. Фаворит!.. И тут третью лошадку вывели. Гляжу – молоденькая совсем, гнедая или буланая, у отца спросить надо. И девчонка на ней – студентка какая-то, вижу. Ух, пегасная, классная! Ух, этот, как его, – интерьер чи экстерьер... Задрожала я вся, подбежала к студентке, кричу: «Партия, дай порулить!» А она возьми и кинь мне вожжи, а я возьми и сядь в качалку-то...

– Сумасшедшая! – аж задохнулась Фрося. – Ух ты!

– Лечу – ветер за спиной, крылья режутся, ха-ха-ха, и сама, как сорока в лесу, – захохотала, захлопала белыми крыльями Катерина восторженно. – О тебе, Алеша, вспомнила. Вот откуда у Пегаса крыла – от полета, от радости, веры в себя. Лечу и кричу: «Я – Россия молодая! Я – молодая Россия! Я – Россия, Россия, Росси...» После подъехала к той студентке – жокейке-то, а она и спрашивает: «Чего это ты кричала? Страшно было?» – «Пегас победы», – глянула я на нее да и пошла себе на трибуну. И тут же сказала отцу: «Все! Буду-таки по ипподромам раскатывать!» А отец мне: «Замуж тебя пора выдавать, дуру такую». Я до сих пор с ним за это не разговариваю. И мать на моей стороне...

– Все, история окончена. Зачет, – констатировал Алексей.

РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ

А гуляние на лугу было в самом разгаре. Баян да частушки, да водочка под баранинку, да грибки под чесночок, да огурчики под лучок, эх, да россыпь гармоники под каблук – сделали и без того широкий процесс общения еще более выразительным. Просматривался этакий хаос; оказывается, мы как народ не только родового, кланового склада, но еще и от язычества. В застолье у нас много чего от тризны, когда все нараспашку, все

наружу. И все-таки поднаторели мы уже и в европейской оглядчивости...

А как там, на лугу, врезали «Русского», так и тут, в звоннице, все ходуном заходило; заныло, зашлось, заломило тело каждой клеточкой. Топ да топ, да прихлоп, да притоп! Черти, всю храмину развалите!

– Зато доберемся до славянских корней! Куда это некоторые главы денежки пихают, как в прорву...

И Катя-Катерина готова сорваться, взмахнуть крылами, кобылица такая! Топ ногой да притоп-то перед Володькой, то перед Ваней...

Но тут же, обрезая ее, Маша и говорит:

– Черед Алешиной сказке, Алеша, давай!

А сама тоже дергается, как и две другие подружки, в тесном этом, закованном в камень квадрате. А звезды уже проклевываться начали в чистой умытости, светлой малиновости неба так, что, едва нарождаясь, перемешались между собой в юридически сложных переплетениях, тут же на глазах создавая свои вариации, разгадывая чужие тайны и загадывая свои. Белые голуби впорхнули в проем – космически черный для них и затрепыхались под куполом, откуда тут же просыпались перья, – там у них, видимо, гнезда. А перед глазами у всех замельтешили гробы в снеговых, ослепительно белых, свободных пространствах и повисли, закачались на натертых до блеска стальных раскачивающихся цепях. На одном, плавающая где-то в мозгах, зияло крупными буквами «Нострадамус», на другом – «Славен», на третьем – «Конфуций».

– Кстаги, о Конфуции, – сказал Алексей. – Да?

– О Конфуции, о Конфуции! – захлопали все в ладоши, как было и будет в парламенте, хотя слюни у них там больше текут при мысли о баранинке под чесночок.

– Вот загадка, как бы вы поступили? – усмехнулся Алеша. Он знал, чем все бредят наяву, видят твердые сны, но в других сочетаниях. – Как известно, Конф жил в Китае... лет этак тыщ пять назад...

Верно, говорю? Верно... И вот стал этот философ министром у императора. Однажды приводят к Конфу юношу... Трижды брали

его на войну, и трижды тот оставлял поле брани. Все вокруг, конечно, в неистовстве: голову такому на плаху! А Конфуций ему спокойно: почему убегал? – Отец стар, а он – сын единственный. – И Конфу отпустил юношу. После, однако, мудрец какой-то заклеил Конфуция...

– И кто был прав, как вы думаете? – ребром поставил вопрос Алексей.

И тишина. Пауза. Надо уметь держать паузу. В хоккее, в балете, в политике. И в философии тоже.

– Да, не густо, – сказал Алексей, думая о своих мыслях. – Выходит, мудрец, по-вашему, прав?

– Да, – за всех ответила Фрося.

– И кто знает имя того мудреца? – засмеялся Алеша. – А вот Конфуция знает все человечество. И уже свыше пяти тысяч лет. Почему?.. Разберемся. Когда Конфуций судил сына старого китайца, чего больше в нем самом было – философа или министра? Ясно, что не министра. Военный министр в нем самом, скорее всего, рассудил бы так: юноша покинул поле битвы и тем обрек страну на опасность вторжения. И если бы солдат погиб за родину и оттого погиб бы старик отец, – ну что ж, народ Китая велик, переживет потерю павшего славной смертью. Но в Конфуции сказался философ: юноша должен поддержать жизнь старика-отца, всего своего рода. Философ усмотрел в нем, прежде всего, человека, а не его отдельную функцию... И это прорезало века, эпохи и по сей день современно, мудро по-азийски и по-европейски...

– Ну, и что же мудрец тот, его осудивший? – сказал Иван, ковыряя ногтем шукатурку.

– Тот мудрец! Хм, – усмехнулся Алеша. – Мудрец – прагматик, пусть даже и великий прагматик, но ведь не философ. Тем более масштаба Конфуция. Вот почему велик Китай, старик Китай, народ Китая, имея таких сыновей... Как сын великого Китая Конфуций защитил свой народ от нашествия бесчеловечности...

– Все, Володичка, сиди дома спокойно, – сказала Мария. – Патриарх тебя в обиду не даст.

– А «Славен» – почему начертано «Славен»? – осторожноенько этак подошел со своим грузом мыслей Иван.

– И ты видел это! – сказал Алексей. – И так как ты видел, скажу, как я думаю... Знаешь, чего подпишет правительство чуть позже в Истамбуле, неподалеку от святой Софии, превращенной в мечеть? Видал, как колечко золотое сжимается?... Так вот, этот «Славен» о чем? Об эпохе славянской. Все мы от Киева отсчет ведем, а хотя бы и с Киева. Однако какая самая первая наша столица? Новгород Великий. Отсюда со Славена все и пошло, по славянским краям и весям. А брат его Скиф ушел на юг, в степные пространства, и растворился в истории...

И вот этот свой гроб на цепях оттуда сюда посылает нам Славен. Как напоминание о самом первом нашем кольце обручальном – славянском. А мы и свое позднейшее – киевское кольцо на три куса расколоть готовы перед лицом океана...

– Вот Алексей – божий человек, а порохом пахнет, – усмехнулась привычно кривой своей улыбочкой Фрося.

– Не порохом, а сурьей, – вглядывался в нее Алексей. – Сурья – медовуха, с сурьи-то и начали пити прашуры наши.

– А что будут пить в Истамбуле? – помрачнел Володька. – Не сурью же, скорее всего, а водку.

– Однозначно, – заметил Иван. – «Аква-вита» – арабская водка... И давно ее пьем?

– На Майорку когда-то она попала из Аравии. – Демонстрировал Алеша свою эрудицию. – А уже оттуда, по торговым путям, один генуэзец завез ее в Крым...

И наши истоки «аквы» – в Судакe, в генуэзской крепости, куда бежал от Дмитрия Донского Мамай...

– И пошло, покатило, – усмехнулась опять-таки эта ехидная Фрося. – Концентрация качества и количества. Что хорошо, где жарко, на Юге, – то плохо, где холод, на Севере...

– А Жириновский все «бросок на юг», «бросок на юг»! – пожал плечами Володька. – Как Нострадамус, все у него в предначертаньях.

– Голову надо иметь на плечах, – осудила бывшую думу в себе Мария. – А то зальют, паразиты, глазищи и по сорок с полови-

ной себе, а остальным?.. Кстати, о Нострадамусе. Тоже гроб белоснежный на цепях видела. Что бы это значило, Володь?

– Комбинированный психоз, – уклонился от ответа Владимир. – Вон Алеша все скажет.

– А третий гроб, на котором начертано «Нострадамус», – приступил Алексей, – еще не все осознали, вот коллективчик! Так вот, этот монах был во Франции – Мишель Хамдесю. Обычный такой человек, однако деньги любил зажимать. «Однако, здравствуйте!» Так вот, посидел он года три или четыре в монастыре, покорпел над хартиями – жутко поднаторел, ясновидцем стал. И написал Нострадамус книгу пророчеств застекленным, затисненным таким языком, и когда кое-что кое-где стало сбываться, король Людовик приблизил его, а придворные за год-полтора съели своими интригами... и телевидение Мишелю не помогло...

– В том же Новгороде, кажется, – вспомнилось Ивану, – много книг языческих уничтожили при крещении.

– Однозначно, – заметил Алеша. – Когда возвышается, всякая религия терпит. А когда возвысится... Сурья надо хлебать поменьше...

– Вон на лугу снопами валяются, – подала, наконец, голос Ниночка. Вот еще Волхова нашлась, недаром как выходец из мистерий она орошала некогда тело свое тверезой нильской волной.

Надо же это кому-то сказать, все сидели, видели эти сны, но только ей одной сказать надо. Это как Элла, депутатка такая была, тоже сделала заявление, чтобы вновь привлечь к себе интерес. Ох, уж эти депутаты, артисты и даже иеромонахи! Всю жизнь где-нибудь прокантуются, а как на пенсию, так надо им за мемуары хвататься, даже за стихи, стихию литературы...

– Сурья-медовуха в «Велесовой книге», – выступил и Иван уж не хуже других с нарастающей эрудицией. – А Алеше за расшифровку всех трех гробов предлагаю зачет. В качестве рассказа о белой энергии.

РАССКАЗ НИНОЧКИ

Костры на лугу вспыхнули и осветили копешки. С одной стороны – уже звезды, а с другой – костры. Станный, двусторонний, розовато-синий эффект. Время от времени люди вырывались из шабаша, подбегали к большому костру. Они бросали в него мясные кости, селедочные головы, куски газет, охапки еще не просохшей травы. И каждый раз пламя вздрагивало и в отдаленных участках сознания выхватывало те самые гробы, которые, раскачиваясь на цепях, превращались в лодки-долбенки еще из Древней Руси. Первый гроб – с Нострадамусом, крупная такая ладья-пирога; двадцать пьяных, кривляющихся древлянского рода-племени – это гости киевские, сваты князя Мала, послы к великой княгине Ольге. Это они разодрали между деревьями ладу ее – князя Игоря. И Ярославна велит бросить их в яму за гридницей вместе с ладьей, еще и будут приплясывать на могиле, живьем их закопав... А тут шабаш у костра все продолжался, как тризна... А вы говорите, великий Олег прибил щит на воротах Цареграда и славно повеселился на берегу Золотого Рога...

– А кто во второй ладье, видите? – глядя прямо перед собой немигающе в пустое пространство, спросила вдруг Ниночка. – Ну там, где был Славен.

– Не вижу, – туда-сюда вертела головой Фрося. – Не знаю. Тебе хорошо, у тебя по истории только «пятерки».

– Зачем ты так? – ответил Алеша. – Вишь – это великий князь Святослав.

– Почему?

– А кто же еще-то в белых одеждах? И в ухе золотая серьга с двумя жемчужинками и рубином.

– А в третьем?!

– Что в третьем?

– Ну в третьем гробу, в третьей ладье?

– Где был «Конфуций»?

– Ну да.

– Это вопрос будущего и недалекого прошлого, – сказал Алеша. – И если речь идет о белой энергии...

– ...и о белых одеждах, – подхватила Ниночка, – значит, надо мне рассказать что-нибудь о Святославе, так?

– Естественно, – съязвила. Фрося. – Ты же у нас история ходячая, египтянка.

– Ах, где только я ни была, – грустно вздохнула Ниночка. – Может, мне Русь и обязана, что осталась на Днестре, а не ушла назад на Дунай...

– Как это, как это?

– А так это, так это.

Ниночка встала, вытянула руки вперед и, держа их прямо перед собой, словно в сомнамбулическом сне, заговорила медлительно, тяжело, беря слова неизвестно откуда:

– Это призраки... это предки наши перед нами встают... видите?.. Они сошли со стен нашего храма там внизу... и поднялись сюда к нам... так?

– А ну, Катюш, – подтолкнул Катерину Володька, – сбегай вниз, удостоверься.

Вскоре Катюша исчезла внизу по лестнице, а Ниночка, стоя с закрытыми глазами, все хватала густой воздух губами и не могла отдышаться.

– Рубин в сережке Святослава – это я ему подарила, – сказала Ниночка не обычным своим, – странным голосом.

– А жемчужины?

– Две царицы – жены двух цареградских царей... Константина Багрянородного и Семена Лакапина...

– Нет на стенах никого, – встревоженно показала в проеме лестницы Катерина.

– Дождями смыло, временем и... войной...

– Вот они перед кем, – показал Иван на Ниночку, – тут у нее и витают... Как же Русь осталась в Киеве, а не вернулась назад?

– По «Велесовой книге» с Дуная до Киева мы шли 1200 лет, – кратенько как-то хлебнула воздуха Ниночка. – И путь этот мы помним... И Святослав помнил... «Иду на вы!» – сказал он однаж-

ды и пошел назад на Дунай. И, когда черные силы наседали на Святослава, князь надевал на себя белые кольчуги, садился на добра коня и воздевал руки к Солнцу, призывал к себе белые, белые силы... И вот уже князь основал на Дунае столицу. И так ему там хорошо показалось – и виноград растет, и границы вот они – с Византией – Восточной Римской империей. И стал он границы те шевелить – предавать полегоньку мечу, чтобы дружину кормить. И взмолились цари византийские, а коварные жены их стали склонять Святослава на службу, да через тайных послов передали ему для золотой серьги еще и рубинчик... Красное к белому, белая мантия белых-белых надежд... И уже каждый день стал ходить Святослав в своих холщовых одеждах, мыть-купать в Дунае белого жеребца...

– Прямо Скобелев тебе – генерал царской армии, – заметил Алеша. – В последней-то русско-турецкой войне.

– И совсем бы забыл Святослав Киев свой да Русскую землю, – говорила сомнамбулически Ниночка. – Но... но... но...

– Это ты подарила ему рубин?

– Ну да, подарила, – также сомнамбулически ответила Ниночка. – Я тогда вошла в душу матери его – Ольги, великой княгини. Сижу на Киеве, правлю Русью, а степь наедает... то половцы, то хазары... а тут Русь на клоки, на семь клоков, князя друг на друга, как шакалы... А половцы прут, и нет уже сил держать город. И послала я Святославу серьгу, а в серьге – красную каплю, рубин. Как глаз вороний – вырванный и брошенный, это как весточка с оставленной князем родины. Помимо крови, пролитой Рюриковичами – дедом твоим князем Олегом, отцом твоим князем Игорем.

За стежку стоптанную узкую,

За землю русскую.

О, Русская земля! Ты уже за холмом...

Приди и защити ее, княже...

И он вернулся, и долго стоял на той стороне. А тут половцы, осада и сил уже никаких. И послала я гонца за Днепр:

– Решайся, княже... Когда я умру, тризну по мне не справляй!..

Хотя со степью и был договор, князь нарушил его ради матери. И степь на порогах убила его потому. А тут, едва я умерла, на высоком днепровском холме, по языческому обычаю, мой сын все равно устроил по мне, православной, тризну...

И тут, потрянув головой, Нина поднялась во весь рост и очнулась.

– Что давали ему эти белые капли жемчужин? – спросил ее тут же Владимир.

– Белая Мантия, белое солнце, – раскрыла Нина глаза пошире. – Белая, белая Русь.

– А что дала алая капля – рубин?

– А алая капля, – прищурилась Ниночка, – это кровь, это сердце его, это борьба за жизнь...

– Сбегай-ка, – попросил Катерину Владимир. – Посмотри, не вернулись ли призраки наши во храм, на стенки эти, во фрески?

– Да вон же они! – махнула прямо перед собой энергичная Катерина. – Вон они, эти призраки, справляют по ком-то тризну. Дьяволиада какая-то, водят вокруг кострища свои хороводы.

РАССКАЗ ФРОСИ

А Солнце садилось красной тарелкой – к ветру, конечно, к слову погоды, может быть, даже к буре, вещая Вальпургиеву ночь. Голуби, ходившие дотопе по кладбищу, по мертвым могилам, брызнули ввысь – это грачи с лип кладбищенских спикировали, как стервятники, а потом тучей ринулись на вечернюю кормежку – в поля. А тут остались черные, неживые могилы. Под липами заверещал автомобильный мотор – ага, ночные «соломенные» охотники за солдатскими бирками и золотыми зубами. А белые голуби сновали тут по карнизу, перечеркивая зигзагами уходящее Солнце. Или все это гробы на цепях, все это предки в них, словно в ладьях? Вот они, древляне князя-то Мала, в одной большой долбленной ладье на руках киевлян, влекомы по Боричеву верху, к яме. И участь их предрешена еще в райвоенкомате, откуда им принесут повестки на сражение с Дикой степью... Все повторимо, все ходит кругами...

– Они там гуляют, – сказала Фрося, поведа печально глазами по шашбу косцов на лугу, – а тут одиноко. На праздника, при большом стечении, мне всегда одиноко...

– Парня тебе бы надо, а нет, отчего? – взяла под руку подругу Мария. – Любовника в треугольник.

– Ты прямо из Маркеса шпаришь, – отвернулась от нее Ниночка. – Одиночество – это примета рода.

– Мужик прет из нее, сатанизм, – жестковат был, даже беспощаден Володька. – Парни чувствуют это, мало женственности, кто же к ней подойдет-то?

– Д-да-а, – задергались губы у Фроси, – как что-нибудь, так ко мне, к Фроське, а как...

И она упала лицом в ладони к себе, задергала сухо плечами.

– Извинись, дурачок, – подтолкнула Володьку Мария. – Совсем мужики оборзели.

– Да что я? – оглядывался Володька теперь уже как-то растерянно. – Ну, извини, что ли, Фрося. Сексуальной надо быть. А то как шапку какую-то байбачью напялит, так и носит. Шапка отцова, что ли?

– А я, может, это... люблю... – всхлипывая, насторожилась, однако, Фрося.

– Кого?

– Отца своего.

– Ну и люби. А блузку сиреневую, как у Ниночки, красивую, вышитую гладью, носи. Вот такую!

– Ишь ты, пригляделся, – ударила по протянутой руке Володьку Мария. – Ладно, не кисни, – повернулась она к Фросе. – Рассказывай, твой черед.

– Пусть высветится, – сказал Иван, – черноту покажет свою, как это вот белое солнце в пустыне.

– Это ты про затмение, что ли? – насторожилась Фрося. – Так у меня все в порядке. Это ты светлоту свою покажи, как на нее темнота покушается.

– Это ты про нас, что ль? – поджала губы Катерина. – Ну, давай, лепи.

– Отца жаль, – вздохнула Фрося. – Такой молчун, постоять за себя не может.. Вообще-то, все знают, отец мой – человек творческий. И учитель хороший, этого не отнять. Учебник школьный даже создал – по математике. Затем повести о нашей жизни начал писать, сколько их понаписал. В общем, опыт большой, но, к сожалению, как он сам говорит, «негативный»... Хемингуэй, го-ворит, свое поколение после первой мировой войны называл «потерянным поколением». А мы – дети войны – хуже того, «поколение обездоленных»...

– Это кто же его обездолил-то? – насторожились все тут. – Отца-то твоего – Федора Исаича?

– Значит, есть кому, коли так говорит, – отвернулась Фрося от всех к стене. – Вот послушайте... Как учитель отец мой за фермой был закреплен агитатором. Вот пришел он с газетами к дойке, накануне праздника освобождения. Подождал, когда подоили, а одна доярка и говорит: «Опять, небось, будешь за ветеранов войны агитировать?» – «Ну и что?» – «Слушать, – говорит, – не хочу. Холодильники – им, ковры – им, квартирами не только детей, но и внуков уже обеспечили. А я дочь погибшего, моего отца косточки уж сгнили давно, – и мне ничегошеньки не положено. Всю жизнь буду, как рыба об лед, безотцовщина...»

– Это на какой же ферме? – спросил Иван.

– Да на Акинтьевской, – ответила Фрося.

– Ну и что, не давать ничего ветеранам?

– Давать. Но не внукам же! – резко ответила Фрося. – Или вот. Опять же отец рассказывал... Едет он как-то в автобусе из Мценска в Орел. Ей-богу, так было, исторический факт. Пригородный маршрут, народу битьяма, как селедки в бочке, специально так набивают, чтобы рейс обходился дешевле. Зато проигрывают на износе, на капремонте. А люди – черт с ними, скоты. Система такая, что при том режиме, что при этом. А вопрос еще и в том, что народ наш позволяет так с собой поступать. В Прибалтике, например, вот так людей не повезешь. А у нас, значит, можно. И снизу терпят, и сверху позволяют... разводят экономию эту на людях... Ну, это я к слову...

И вот заходит в автобус военный пенсионер, по пиджаку – ордена и значки. И бух впереди на только что освободившееся место. «Сидим, едем, – говорит отец. – А женщина такого же возраста, даже старше, как стояла рядом, так и продолжает стоять. Ветеран ее толкнул, что ли, может быть, даже нечаянно, вот она ему и говорит: «Сидишь и сиди». А он ей: «Да пошла ты!» А она тогда ему и выложи: «Вот ты вошел и сразу же сел. А я ведь стою всю дорогу – женщина, вишь, пожилая уже да с большими ногами». А он ей: «А я ветеран, мне положено. А ты постоишь». Тогда она «Вишь ты какой. Все захватил. Небось, и внуков своих всем обеспечил. А мне, дочери погибшего, ничего не положено. И на фронт горбачила, и росла без отца...»

Автобус набит, а тишина. Уши все топориком, наострились, такая дискуссия. Тут уж отец мой не выдержал и вступился за старую женщину. Кого-то попросил уступить местечко, посадил ее с большими ногами-то. А домой пришел разволнованный и давай высказываться... Учесть надо, что дело было еще при том режиме. Да и при этом все то же, без разницы...

– Вот я с книжками своими, бывало, суюсь в Москву, – говорит отец, – а там по издательствам да по журналам, бывало, одни фронтовики. Окопались, не подпускают, отстреливаются от нас таких, от детей войны. Тогда зачем, спрашивается, они освободили нас, кровь свою проливали? Чтобы держать нас, детей и внуков своих, в черном теле? Что – своя рубашка ближе к телу?.. А теперь сидят по тем же журналам взяточники...

Помнится, отец так раскипятился. Уж я стала его успокаивать: «Чего это ты бочки-то катишь на фронтовиков, они же наши освободители». А он мне в ответ, как сейчас помню: «Во-первых, настоящие фронтовики-окопники вообще не вернулись или вскорости скончались от ран, от потери здоровья. А эти льготники – произведите учет и увидите, что в войну они были в основном тыловики. А во-вторых, вот и вы, – говорит, – ваше поколение уже, молодежь, на нас наседаете. Да что там, – насели! Как сговорились те и другие – ветераны и молодые. А мы посередке, как в банке консервной, а вернее, «слоеный пирог». Вот мы, – говорит, – и есть «обездоленное поколение». А кто же еще мы, разве не так?

– Шея у отца твоего кривая, дюже горбат был – отец-то твой, – тягостно как-то, с присвистом вздохнул Алексей.

– У самого шея, гляди, какая, – сурово сказал Иван. – Тоже мне, как у Натальи из «Тихого Дона»...

– Не пеняй на зеркало, коли рожа крива, – вступилась за Алешу Мария. – Да, Фрося?

– Может, с того мое одиночество, – сказала Фрося, приободрясь, – что энергия внутри меня добрая, белая мантия. Это силы извне временно солнце в нас холодят... Конечно, все это кратко, быстро проходит... Черное солнце постыло...

– Поостыло! Опять ты про затмение? – сказал четко, словно проснулся, Алеша.

Но все промолчали, не думая ни о чем. А пространство уже охватила ночь. Время незаметно сходило – кромешное, усиленное всякими рваными тучами, присмирившими грачами на липах, вот насели, затаились – паскудные, на Перуновом Холме, вещая и предвещающая.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. ЧЕРНАЯ МАНТИЯ

«Что там у Нострадамуса сказано про этот год, этот день, эту ночь?» – «Что ты много болтаешь», – говорит мне жена. «Я иду по ковру... пока вру. Мы идем – пока врем... По-французски «же ве» – я иду, я живу. Я иду по ко... вру...» С той поры, как один поэт другого поэта бутылкой по голове, у того прорезались признаки гениальности; по Гофману – это «боговдохновенность», оригинальность и грандиозность, а бледность в лице была у меня всегда. Когда роман пишу – как дом на себя напяливаю, аж ноги, как у стула, подламываются. А стихи когда – нервы бритвой режу. Так вот перед романом – стихи прежде сыплются, а теперь перед стихами еще и песни, а потом уж стихи, а потом уж и проза... Да, вот что сказал Ламброзо: «Все, кому выпало на долю редкое счастье жить в обществе гениальных людей, поражаются их способностью перетолковывать в дурную сторону каждый поступок окружающих...» «Главнейшее недовольство жизнью избранных натур составляет закон динамизма и равновесия, управляющий также и нервной

системой, по которому вслед за чрезмерной тратой или развитием силы следует ее чрезмерный упадок...» Вдохновение и впечатлительность – единственные орудия гения, а не демона, сатаны – Вельзевула, не к ночи будь сказано...

– Ну, хватит цитат, хватит, – говорят мне они там, в звоннице, мои ге-рои. Тоже рвутся в бой, чтобы все их увидели.

– Да не хватит. Дайте хоть доскажу... Так вот, есть у нас тут одна поэтесса с интересом к итальянскому языку, так я для нее это вот специально: «Одна итальянская поэтесса Милли во время создания почти невольного своих чудных (или чудных, без ударения – заметим) стихотворений, волнуется, кричит, поет, бежит взад и вперед, как будто находится в припадке эпилепсии. Так вот, наша Милли не так давно и коршуном стала витать. По заданию чьему-то или сама? Кто ж ее знает, что она в этот миг стихи сочиняет, представляете? А если сразу все начнут витать, то есть сочинять, – вот это и есть писательское собрание. Кстати, праправнук великого поэта сказал: «На Пушкине природа разрядилась, а на нас («ананас»), потомках его, отдыхает. До седьмого колена, хоть убейся, поэта не будет, лучше стихи не пиши...» Вот и вспомнишь эту Милли и ту – чудную или чудную особу, впрочем, как и жену мою, которая не понимает, что я, например, не хочу писать что-то, а оно само пишется, как гнездо птицей вьется...

– Ну, хватит, хватит тебе! Давай за рассказы, – это герои мне так твердят из моего сомнамбулического повествования, которое я пишу то днем во сне, то наяву ночью. – Заканчиваю, пардон! У Тургенева, заметим, как и у Гейне, была болезнь спинного мозга. Связанная с повышенной чувствительностью и определенным образом жизни. В одном из своих писем в 1877 году Гейне писал: «Очень даже может быть, что это моя болезнь придала моим последним произведениям какой-то ненормальный оттенок». Ну, вроде как и у «таинственных повестей» Тургенева. Чтобы хотя немного утишить свои страдания, Гейне сочиняет стихи. В такие ужасные ночи, обезумев от боли, его головушка горькая мечется из стороны в сторону, «заставляя звенеть жестокой веселостью бубенчики довольно-таки изношенного дурацкого колпака...»

– Следующий круг, и кто первый? Ты, Мария?

Все сгрудилось на соломе, сидели кучечкой, вместе. А черные тучи давили. Луна зловеще вытаскивала из рваных этих своих, несносных провалов беспокойство, интуицию и направляла их в бездны, в то смутно неизвестное всех идей и ощущений, что создавало Марракотовы тьмы и обвалы. Будет ночь глубока и страшна. Луна в черной вуали, стараясь развеять предчувствия, предотвратить это нечто, видно было, как испытывала лучами своими то нежное материнство к воробушкам этим на отсырелой соломе, о котором Мария и начала свой рассказ:

– Сияло солнце, а небо было все в пятнах. Вертолет поднял нас почти до Бога, и в то же время не оторвал от Земли. Под нами было зеленое море тайги. Я сидела на месте первого пилота, а сам пилот, любезно уступивший мне место, ходил по салону, беседовал с пассажирами. Борт шел из Горноалтайска на Телецкое озеро.

Вот он завис над водой – белая роза побежала от центра, трава на берегу вытянулась, не знала, куда ей деваться. Когда мы ступили на твердую почву, нас встретила девушка лет восемнадцати:

– Боже мой! Стою здесь и не могу оторваться. Смотрите, какая же красота!

Мы огляделись и поразились: золото гор, синее лезвие вод, уходящее в медвежье ухо поселка, и кристальная тишина.

– Путешественник Гумбольдт записал: кто не видел голубого Горного Алтая, Телецкого озера, тот не видел ничего.

Это сказала все та же девушка.

– Господи! – всплеснула она руками. – Ну, почему красоты такой не видит моя мама?!

Этот всплеск души человеческой помнить буду всю жизнь. И, когда мне тревожно, черные тучи сгущаются, я вспоминаю и эту девушку, и Телецкое озеро, и вертолет за спиной, и белые домики поселка Артыбаш, – и легкие мои переполняет тот острый, хрустально-пихтовый воздух. Господи, ну почему хоть тут же стоявшие мужики совали мне в руки деньги, чтобы я купил им в ихнем же магазине бутылку спиртного...

- Ночь черная, а рассказ белый, однако, – заметил Иван.
- Луна белая, это вуаль на ней черная, – сказала Катерина.
- Она мистическая, для влюбленных, – вздохнула Ниночка. –

Как у Гарсиа Лорки – зелень болотная, сомнамбулическая.

– А я все про девушку – с золотистой косой! – упрямо боднул головой Алеша. – Вот как будто про нее у Николая Рубцова, стихи такие «В глуши»:

«Когда душе моей
Сойдет успокоенье
С высоких, после гроз,
Немеркнущих небес,
Когда душе моей
Внушая поклоненье,
Идут стада дремать
Под ивовый навес,
Когда душе моей
Зеленым веет святость,
И полная река
Несет небесный свет,
– Мне грустно оттого,
Что знаю эту радость
Лишь только я один:
Друзей со мною нет...»

– О чем ты, Алеша? – вспыхнув, оборвалась тут же Ниночка. – Мы все, друзья твои, рядом ведь, вместе.

– Не я это, это Рубцов, – улыбнулся Алеша.

– Нет, это ты, твоя аура, у Рубцова только внешние впечатления, – стояла на своем Ниночка. – А у тебя чувствуется родственность, связи какие-то невообразимые... поэтический пепел... Глядите, глядите, какие глаза у Алеши...

Действительно, окна глаз его, сначала со странной, мутновато-зеленой поверхностью, в ожидании луны, мерцали в наплыве черноты самой ночи. И тут они стали вдруг гаснуть, а блеск опадать. Это жути ночные, прохлада, подсвеченная луной, вызывали дрожь всего его тела. И колотится все оно в диком ознобе, даже зубы слегка

почернели, едва слышимо, тонко звенят, усиливаясь многократностью эха от этой трубы в звоннице, в колоколенке этой, устремленной в самую звездность. Да не только зубы его – весь рот уж зиял чернотой, зато слова его были светлы, излучали белую, почти материально осязаемую дневную энергию... Алеша, закрыв глаза, помертвел...

– Что ты, Алеша! – испугались все. – Не рассказывай же, Мария, такие рассказы, когда они не по теме.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

– А что же по теме? – спросила Катя.

– Раз ночь, – пожала плечами Фрося, – значит, надо о черной мантии.

– Кабы не унесло, – испугался притворно Иван.

– Тебя не унесет, – успокоил его Володька.

– Может, это по теме – кони белые, кони черные, посередке апофеоз войны? – подстраивалась Катерина, и глаза ее присверкивали, переходили блеском в гибкие волосы, отражали луну бутылочно-мутного, зеленовато-кофейного цвета, всю в обрывах и перерывах.

Забусил дождь и стал сечь щеку, колокольню снаружи. Каменная кладка запахла сыростью, потянуло гнильем от реки, от кладбищенских сплинов.

– Уводи скорее отсюда, – поморщилась Ниночка. – От кладбищенской меланхолии. Туда, где звезды и апофеоз.

– Хорошо, – вздохнула Катерина. – Петербург вы знаете, Эрмитаж тоже, а Русский музей? Так вот, в Русском музее или, может быть, в Третьяковке...

– Да не все ли равно, – подал кто-то голос из тьмы.

– ...есть такая картина «Апофеоз войны» художника Верещагина. Это про тех, от кого отвернулась госпожа Удача.

«Ваше благородие – госпожа Удача...

Для кого ты добрая, а кому иначе...»

Это черепа, горы белых черепов на фоне пустыни. Господи! Как они накладываются во мне на живых. Но вот один сон, который

я вижу каждый раз и в который никак не могу войти... Что это?.. Он, бывало, являлся мне ночью, когда я сплю и вижу дневные сны. А теперь и днем наяву... Вот и сейчас это не тучи несутся мимо – эти черные птицы-кони, это они заслоняют луну, которая в ключья рвется к нам сюда и не может прорваться...

– Луна для молодых, – забеспокоился кто-то там в углу, на соломе.

– Третьего декабря американцы передадут репортаж с красной планеты...

– С Марса?

– Репортаж тут ни при чем, Марс в красных тонах, а Луна зеленая.

– Мистическая, не болотная же... Далее, Катерина, что далее?

– И вот такая картина передо мной, – заговорила Катерина странным каким-то, разбавленным голосом. – Еще не нарисована, но уже есть, существует. Как бы поле Куликово. И, вообще, как бы Дикое поле. В неизвестно каком времени – при степняках ли еще, – необозримы пространства войны: и конь на переднем плане – белый. И конь на переднем плане – черный. Натянуты поводья; под белым, под черным – поверженный всадник, изрубленный. И никнет конь – седло сбито, обвяло тело. И так кони, кони, кони уже при последнем дыхании – во всю, во всю, во всю широкую степь...

Все кони, кони, седланные кони –

Стоят одни, по самый горизонт.

Ни ветерка. Ни звука. Ни агоний.

Цветы и гривы. Ковыли и фронт.

Строчки эти торчком стоят – кто-то вслух прочитал или, может, сами высветились вместе с конями?

– Что-то жутко мне, – сказала реально Ниночка. – Какой-то обрыв внутри. Будет гроза.

– Не цепляйся за белое, – ответил Иван, и он показался Ниночке черным, на черном коне, как Челубей. Но кто же тогда, каков Пересвет?..

– Алеша! – дергала она за рукав Алексея – божьего человека. А тот все проваливался в тартарары вслед за ее словами.

«Так что же это – белые кони, черные кони? Какой в этом смысл?»

– ...и вот я иду по степи, – продолжила Катерина, – а ветер уже начался где-то за Седмицей и несся сюда неистово, проходил сквозь звонницу. – Стою перед белым конем, а он уж не видит меня, глаза его долу опущены и полузакрыты... и крылья белые режутся... ни на шаг он от всадника... Что это?..

– Верность, – вздохнула реальная Ниночка.

– Поэзия, – сказал Алексей. – Поэт сражен, а это его Пегас.

– Это все ангелы, – сказала вдруг такая всегда ироничная, материальная Фрося.

– Да что вы все путаете! – схватился за голову Владимир. – С ума тут с вами сойдешь!

– А ты плыви по течению, – смиренно сказал Алексей. – Не бунтуй, не народовольствуй.

– Какие мы умные, – совсем снизился голос Ивана.

– Я к черному подхожу, к черному коню, – изменила на трагический шепот голос свой Катерина.

– И что же? – замерли все на полудвижении к правде.

– А то, что все это... бесы! – скривилась в плаче Катюша. – Мне страшно, Мария, меня куда-то несет... Змеюшник кругом ведь... Конь черный и змеюшник вокруг всего распутный. Представляете, они извиваются – змеи, как волосы...

– Медузы-Горгоны.

– Это нервы в тебе расшалились, – четко поставил диагноз Иван. – Долго была под напряжением. Очевидно, влюбилась – но безответно.

– А все-таки, что это? – возвысила голос свой Катерина, приведенная словами Ивана из высоких сфер в натуральную жизнь. – Все эти белые кони, черные кони и поле апофеоза войны? Так что же это, что?!

Сидели и вслушивались, как за стенами все разыгралось, стена-ло, мочило головы им беспросветным дождем. А тут, за каменной кладкой, было, как у Христа за пазухой.

– Это все жизнь, ее диалектика, – усмехнулся Иван всем своим внутренним смыслам. – Вон Хрушев... Видали надгробие на

Новодевичьем кладбище? Какая-то мистика скульптора Неизвестного. Белый мрамор, черный мрамор и – ничего посередке.

– Представьте себе, – в обычном своем елейно-мечтательном тоне пришел Алексей, однако, в себя, несмотря на усиление ветра, мозги всем переболтавшего. – Представьте, с того же Марса воздействие иных, неизвестных нам сил? От этого надгробия Неизвестного останутся только известные камни.

– А черные?

– Сгинут.

– Так белые же на черных. И что же их будет удерживать?

– Хе-хе-хе, – рассмеялся Володька мелким своим, бесоватым смешочком, – а что бы вы хотели?

– Нам этого не понять, – сказала Фрося, прислушиваясь, как сучья трещат под ногой, очевидно, где-то на кладбище.

– А без войны можно? Без валютного кризиса?

– Вы мне мозги тут не пудрите! – вспыхнула Катерина. – Не для того сокровенное, чтобы свести все к нулю.

– Доллары – это в Москве, – оживились ребята. – Бочка пороховая. А тут у нас все пучком. «А на кладбище все спокойненько». Пятьсот тысяч ушли в 98-м и не вернулись...

– И куда?

– А в первое тысячелетие или в прошлое, к предкам. Чем глубже, тем выше, – усмехалась мрачно Мария.

РАССКАЗ НИНОЧКИ

– Понято, понято, – подтвердила Ниночка, – зовут на парад – через рай-военкомат.

А ветер стал уже таким сильным, что, казалось, Земля вытянулась в струну, не говоря уже о деревьях – кладбищенских липах, которые, осатанев от воя, сделали кладбище немым, плоским, невыразительным. Зато воздух звенел, кажется, одной какой-то немислимо пронзительной нотой. Она сверлила не только уши где-то во глубине, но и все тело, всю душу изымала из тебя одной этой дьявольской, одноколерно нацеленной нотой. Когда

под вековой липой появилась машина с «соломенным» мотором, никто не услышал ее, просто работы мотора не было слышно. Не слышать было и людей, уже отворяющих врата храма.

Луна совсем обессилела и лишь слабо угадывалась. Мга подло сдавила ее, принижала своим безобразием. А черные кони метались, неслись и неслись...

– И как там дома сейчас? – робковато подала голос Ниночка. – Печку, небось, затопили.

– Ну да, и хлеб пекут, – отозвалась мечтательно Фрося. – Слышать запахи свежего хлеба из села.

– Это из города, с хлебозавода, – задергал носом Владимир. – Это запах хлебозаводской.

– За «Орловский хлеб» дали госпремию, – сказал Иван. – Тоже изобретение.

– Неужели?

– Красота Форнарино, возлюбленной Рафаэля, вдохновляла художника. Особенно, когда он расписывал святого Петра.

– Неужели?

– Папа римский сделал художнику замечание, так после папа догонял его на карете – догнал уже на границе Папской области и пал перед ним на колени, умоляя вернуться.

– Как это несовременно.

– Красота – это белая мантия?

– Папа пал на колени перед красотой...

– А я котят люблю, – рассмеялась Ниночка. – Беру в руки, а они такие мяконькие, электрические.

– Кошки – это черная магия, – мрачно сказала Катерина. – Ведьмы в них прячутся.

– Ну да, – рассмеялась Ниночка, просветлев как-то. – А почему же в новый дом в первую ночь пускают именно кошек? Вот мы года три назад дом построили... Хотите рассказ?

– Дом – это очаг, – сказала вразумительно Ниночка. – Мы свой дом строили, как храм божий, несколько лет. Все продали, спустили с себя, а дом поставили с оцинкованной крышей...

– Гордыня заела, можно было бы и попроще.

– И вот завтра, допустим, переселяться в дом, – стала решительно рассказывать Ниночка. – Говорят, кошку надо пустить, пусть переночует. А у нас кошки нет, какие кошки в доме без коровы? Мать моя собралась на улицу и говорит: какая встретится, такую и поймаю. А попался на дороге вот такусенький черненький котенок. Мать принесла комочек, а бабушка ей: «Ну вот, чертенка притащила. Гляди теперь, кто следом явится». И тут соседка пришла что-то попросить. Бабка ей ничего не дала, а когда та ушла, даже след за ней перекрестила... Ну, и хотели мы котенка посадить опять на дорогу. Такого тепленького, такого пушистенького. А я взяла его и сама занесла в новый дом. Утром бабка гремит ведрами: «Ведьму в доме поселила. Жди теперь пропасти...»

На месте, где кошка ночь проведет, и ставят обычно кровать. Я свою и поставила. Так бабка все, бывало, ворчит. «Несчастье, – говорит, – дура, себе накликала. Так и будет, Нинка, у тебя в жизни черное с белым путаться». Хоть чушь это все, суеверие деревенское, а все-таки для чего кошку пускают на ночь в новую хату? Как вы думаете, для чего? Какой в этом смысл?

И пауза. Момент истины. Только черные кони с неба летят, жженым пахнет. Да внизу, в храме, стали слышны голоса.

– Смысл-то есть, да глубоко зашифрован, – зашелестел Иван соломой сухой, усаживаясь как покрепче. – Ну, скажем, так... Вся земля, любой ее континент, – это как шкура тигра. Вся в полосах, вернее, в клетках. Полосы энергетические с юга на север, с запада на восток. Через два-три метра. А где перекресток – узел, энергетический блок. Кошка здорово его чувствует. Сидит, мурлычет на этом самом «кресте»... Поняла теперь, где ты спишь? На электростанции. Сколько энергии из недр тебе подается. Значит, сильная должна быть, счастливая...

– А черная кошка, – все еще сомневалась Ниночка, – как же?

– «Черная ночь. Только пули свистят по степи», – запел Володька – дурная головушка. Ему вон куда собираться, а он песни распевает да Марусю за бок хватает, а заодно и вот ее – Ниночку.

– Отстань! – шлепает Ниночка его принародно по жадной, мужичьей руке, а сама втайне ждет, не протянется ль снова?

Кони черные, кони белые. И куда ж они только стремятся, и за что они только хватаются, эти белые, жадные кони? Когда по низу, когда по небу, по всей широкой степи, по всей-по всей Руси-матушке, – летят по ухабам, по оврагам глубоким сейчас эти белые, черные кони? Кто-то им дал под задницу где-то, вот они и летят, оглашенные, вакханалия этакая. И когда же все это кончится, эти рваные тучи? Кто клепает их там и пускает сюда к нам из-за горизонта – из Америки, Нового Света? Ох, уж эти белые тройки – табуны, стада солнечные, долгогривые... И опять закачались гробы на стертых цепях. Не гробы это – ладьи долбленные, «чайки»-птицы на Руси языческой, еще той, изначальной, когда Олеговичи ходили за буйное море щит прибывать ко вратам Цареграда. Это оттуда сюда и летит, вся светясь, святая София, а вокруг эти рваные тучи, эти черные, черные кони...

– Что вы видите? – спросила вдруг Ниночка, не потеряв интереса к Володькиной руке чуть пониже своего живота. – Море видите, чаек видите?

И опять пауза. Незаменяемая. И внизу жуткий какой-то, душераздирающий крик. И опять запахло горелым. Пожар московский? Неужто костер развели прямо в храме? Одни въезжали сюда на конях, другие – варят похлебку.

– Я вижу, – скорбно ответил Алеша, – но что – не хочу говорить.

– Прорицатели вымерли, – усмехнулся Иван, – еще в Ассирии.

– А Джуна, а Ванга?

– Церкви должны пахнуть ладаном. Меж черным должно летать белое.

– Ничего, побелеют.

– А меж белыми – черные.

– Ничего, почернеют.

«Ого-го-го!» – раздалось и пошло гулять снизу где-то по храму.

И звон стекла оземь, и пьяный голос:

– Пью за здоровье Мэри, милой Мэри моей!

– Это про тебя, Мария?

Это люди из города, это бичи – бывшие интеллигентные человеки.

РАССКАЗ ФРОСИ

– Сотоны, дьяволиада какая-то, – буркнул под нос себе Алексей.

– Сколько же зла разлито по земле.

– Сколько и всегда, – заметил Иван.

А Ниночка рассмеялась прямо в лицо Алеше:

– Все тебе дьяволы, черные силы мерещатся, ха-ха... не пеняй на зеркало, ха-ха-ха...

Алексей прислушивался к своему непониманию, к смеху ее, раскатившемуся зелеными горошинами вниз по лестнице и, кажется, ввысь. И вдруг дошло до него, лицо его как-то странно скорчилось, его согнуло в дугу. Не раздумывая, он бросился головой вперед и врезался бы в стенку, не заслони Володька собой этой стенки каменной. И, когда Алеша, отклонясь, едва не ринулся в пустой проем, он успел поймать его за воротник.

– Сдурел, что ли? – так и ахнули все.

А Ниночка уже подлетела к Алеше и притязала, липла к нему, к его слабо вздрагивающим плечам, всему его телу, а тот стоял перед всеми покорно, не глядя ни на кого, и воркотня какая-то голубиная брала его всего изнутри. И что же это такое, – ни люди тебя не простят, ни высшие силы, что уж так вдруг стало нехорошо, что ли, чтобы на такое решиться? Это грех, а все живое должно умирать естественным образом, тем более человек, как существо, кровно связанное с наивысшими силами. И тут Ниночка стала вдруг целовать неистово его в лоб, глаза, щеки, губы, спускаясь все ниже, ниже...

– Ну, хватит вам! – остановил Володька этот экстаз. – Хватит лизаться-то.

И всем отчего-то стало противно, что этим двоим сделалось хорошо, лучше даже, чем им самим, хотя всего-то миг назад

стояло на грани. О тэмпора, о морэ! И что за година такая, когда все меняется с такой, извините, поспешностью, когда все это накладывается на то, что расхлебывать будешь всю жизнь...

– А я все про дом думаю, – возникла из небытия Катерина.

– Про какой? Русский Дом «Селенга»?

– Наш Дом – Россия.

– Не надо так, – поморщилась Катерина. – Не убивайте иронией. По всем домам, которые разбивают сердца. И правительство правит, а президенты сидят. И президенты – резиденты. И так ведь нехорошо, когда такая вот ночь...

И все повернулись лицом к проему, за которым витийствовал ветер. Это он так свирепствовал, разрывая воздух и создавая то пробки в ушах, то область высокого давления, а то пустотой своей вызывая головокружение от успеха, ощущение конца. И тут по колокольне стало бить чем-то твердым: листвой, мелкими сучьями; раздался сильнейший удар – это огромным, в полстволоа суком, грохнуло о колокольню...

– Леса летят, дома летят, села, – причитала Мария. – И все на нас, на нас.

– Гробы, призраки, ладьи, – прорезался иронично реальный голос то ли Ивана, то ли Фроси. – Языческая Русь... Киевская Русь... Господин Великий Новгород – первая наша республика...

– Черное путается с белым, язычество с православием, живые и мертвые, день и ночь, лед и пламень... – Однако Содомом и Гоморрой, – осмысленно-твердо потрянула головой Евфросинья, – нас не собьешь! Про дом потом доскажу. Мой дом снижает не только противостояние, но и сам его уровень... – Представьте, весной, накануне ледохода, я оказалась в Орле у сестры. Допоздна засиделась, сию и пишу, пишу...

— Влюбилась, что ли? Писала стихи? – отозвался Алеша. – Или научный трактат?

– Письмо.

– Домой?

– В третье тысячелетие.

– Ого!

И тут грохот какой-то раздался. Но я не обращаю внимания. Думаю, это лед на Оке у плотины взрывают, лед пропускают, чтобы не было наводнения.

А после грохота шипенье какое-то низом пошло. И вроде как пылью да газом в горле запершило, слащавость во рту. «Иприт... льюизит...» – мелькнуло в полусознании из рассказней старого нашего учителя Залипая еще из времен первой мировой войны...

Утром глянули – дома соседнего как не бывало. Руины. Собак вызывали, людей искали. А ведь дом был, люди ведь жили. Эх, кабы здание-то строители строили, а то ведь «сапожники» – на последний этаж взгромоздили актовый зал, вот вам и весь террористический акт... И тогда, помню, случился во мне коренной перелом. «Что ж это мы, – думала я, – не ценим-то настоящую жизнь, клянем ее, все воспеваем прошлую, предвосхищаем будущую. Не живем в настоящем-то, а мучаемся, потом воздастся, дескать, когда предстанем перед Господом Богом... А нужно сегодня, сейчас, сию минуту, – разве не так?»

Вот о чем подумала я тогда, глядя то на разрушенный дом этот в городе, а то и на свой деревенский домишко, когда вернулась в свою Седмицу. Да и вообще на весь наш Дом всероссийский, на всю нашу Родину-мать, на весь Дом всей нашей голубой планеты Земля.

– Ну, ты даешь, Евфросинья! – изумился Иван. – А все сидишь втихаря, молчишь.

– Наша Земля – один белый большой такой самолет, он как дом, – сверкнула глазами фосфорически Фрося. – И мы все летим в нем в общем подзвездном пространстве. Когда великая Тэтчер была премьером, все страны договорились, что в конце столетия, даже тысячелетия, все, каюк войне будет, крышка. Экология – главное. «Озоновые дыры», – это они доконают нас, все человечество, если ими не заняться срочно, сейчас же. И что же? Опять посредине Европы горят нефтяные терминалы...

«Мою юность швырнуло в окопы,

Как букет в середину Европы.

Умираю в поре осенней
От предчувствий и опасений».

– Аполлинер... Аполли... Апо... а-а-а... – летело с Перунова Холма, с высокой звонницы по широкой степи, наполненной ветром, движением, трепетом идей и предметов в черных мантиях, белых одеждах.

«Расходящееся сходится,
И возникает прекраснейшая из гармоний,
И все создается
Через борьбу».

– Аристотель... Аристо... Ари... а-а-а...

РАССКАЗ АЛЕШИ

Может ли быть красота в черной мантии или она всегда белая? А завтра какой будет она – эта черная, аспидно-черная ночь?

– Живописец Франчия умер от восхищения, увидев одну из картин Рафаэля, – выпалил вдруг Алеша давно носимое во глубине. – И это случилось днем, когда и так видно, а солнечный луч пал на деяние кисти Великого Мастера и вызвал гибель Великого Зрителя.

«Дай Бог Дню быть длиннее, а Ночи короче.

Дай Бог Дню быть белее, а Ночи...»

– Мне кажется, дело идет к рассвету, – высказалась Катерина, глядя на реальный Восток, за Седмицкий лес, откуда обычно поднимается солнце.

– И тьма уже мягче, – поддержал ее Алексей. – И дух меняется на плюс двойной с одинокого минуса. И высоко-высоко, как в чистилище, пребывает, с жидкого на густое перебивается, экология сердца. И как только возникнет хотя бы краешек солнца, боюсь умереть от восхищения.

– Что ты, Алеша! – схватила его за рукав Ниночка, а Мария и Фрося встали прямо перед ним, глаза в глаза. – Не улетай, не улетай, как же будем мы без тебя?

«Ты не пой, соловей,

Под моим окном.

Улетай во леса
Моей Родины».

Может ли слово, озвончаясь, растворяться до бесконечности в музыке? В полифонии, когда все звучит, а каждая клеточка тела стенает, и слово жаждет внутренних звуков, возрождаясь и погибая опять. Едва Алеша стал напевать «Соловушку» на слова Алексея Кольцова, как тут же ветер сорвал ее с губ и унес неизвестно куда. И тут взбесились те, что внизу у костра, и на полу храма. Растеклась отборная брань, проклятья и оскорбления, да не сюда ли, в их адрес? И сколько все это можно терпеть! Говорят, самый сильный протест вырывается из груди слабых, скорее, таких вот женственных, поэтичных натур. Противостояние Запада и Востока заменяется— противостоянием «Север – Юг». Что, Разве нельзя без этого?.. И, уже не сдерживая себя, Алеша заговорил как-то странно, как в трансе, в сомнамбулическом сне, создающем потоки вибраций.

– Вижу я, как потоки воды с расписанных стен, с живописных фресок храма хлещут, чтобы затопить ужас костра...

– Это секты какие-то Запада и Востока, начало и конец диалога.

– Это вода хрустальная, чистая, божественная. Она смеется над всем этим хламом и мусором, над обгорелыми головешками на полу храма.

– А все испытание православия, ниспосланное свыше. Катастрофа экологии над катастрофой войны...

– А поток уже выбрался за ворота храма и потек по равнине...

И Алеша заговорил с полужакрытыми глазами, а когда снова открыл их, внутренний монолог перевел его из движения времени в неподвижность пространства. И тут он сказал совершенно реально, отчетливо, не улетев еще, в этом мире, где были и все:

– Слышите, эффект падающей воды? Это же наш Гремячий, что падает с Синей Скалы. Он изменил атмосферу, течение времени и течет сейчас к нам сюда, навстречу потоку из храма. И оба они сольются в единый рукав. Помните, как в народе зовется вода из Гремячего, когда она, пав, попадает в Зеленое блюдце?

- Святая вода.
- Девятая Пятница.
- И что там поныне?
- Икона, скамейки, корец для воды – и все это «Голубец».
- А что там было недавно?
- То камнем заваливали, то срывали бульдозером. А вода все текла, все пробивалась из недр земных, из скалы. Ее заточали в трубу и бросали за речку – на молочнотоварную ферму, а она все текла, все текла, и люди сделали «Голубец».
- Однако, здравствуйте, вода в нем не голубая.
- Какая же?
- Желтая. а ,,,
- Желтая?
- Уже и не желтая.
- Красная?
- Бурая, как руда.
- Может, это железные руды, они обагрили воды?
- А почему же тогда, – сказал Алеша, – как где-то прольется кровь, так вода в «Голубце» краснеет? А как кровь большая прольется, так вовсе делается багровой? Все смывает поток со скалы и течет, как всегда. Смотрите, сюда на-правляется снова багряный поток...
- Где, где?
- Чуть выше кладбища, уже подбирается к липам.
- Ведь ночь же, хоть глаза коли.
- А те, что внизу, что жгут костер на полу храма, его видят, однако, – сказал Алеша. – Смотрите, как взволновались, какая пошла вакханалия вокруг костра, дикие пляски...
- Да они перепились!
- Какие бесы мечутся по стенкам святого храма.
- Да это костер, реальные тени.
- Смотрите, поток багровый уже у ворот.
- Да это опрокинули флягу с краской.
- По сорок с половиной тысяч себе планируют, а что народу?..
- Успокойся, Алеша! Милый, золотой!

Глаза у Алеши сверкали, а тело дрожало мелкой такой, неукротимой дрожью. А к храму подступила река уже даже красная, разве не видно?

– Видим, видим! – закричала Мария. – А если мы видим, увидят и все.

И тут пена пошла изо рта у Алеши, он скорчился, осел на колени и стал биться лбом о каменный выступ, чтобы сделать себе больнее, страшнее, хотя страшнее того, что увидел он сейчас в этом потоке, возможно, и не бывает. И воздел он руки к Небу тогда и так закричал, что перекрылись все ветры свистящие, все граи на липах галдящие, тузы все по банкам стеклянно-бетонным сидящие, валеты во креслах смердящие: – «Боже! До чего допускаешь в своих владениях?!» И эхо пошло, покатилося за речку Седмицу по широкой степи, по городам и весям, по всей, всей Руси Великой. И кто-то открыл навстречу малую форточку и тут же захлопнул, а кто-то распахнул и окно. И, когда окно в Седмицах, услышав голос сына, открыла Алешина мать, она-то и закричала ответно от боли и сострадания, тут-то красно-кровавый поток перед самым храмом и остановился. Сжался весь, осветлился и вернулся, уже хрустальным, назад. К «Голубцу», к Зеленому блюдцу, к колодцу Девятой Пятницы, чтобы оттуда, как и всегда, снова направить людям воды свои первозданной искренности и чистоты...

Алеша лежал без движения. Святая вода, святая, куда мы без нее! А Володька вскочил и, как ошалелый, метнулся вниз по лестнице в эту черную еще, но уже не кремешную ночь.

РАССКАЗ ИВАНА

– Ушел, однако, – вздохнул Иван. -- А бутылки с собой не захватил.

– Принесет в корце, – сказала Мария, обеспокоенная уходом Володьки: «Как же это удастся ему пройти мимо тех, что бесились там, у костра?»

– Ничего, прошмыгнет, – вслух успокоила ее Катерина. «Что же тогда ему делать в горах?»

– Главное – линию не перейти, – сказала Ниночка.

– Демаркационную?

– Уже перешли, – буркнула под нос себе Фрося. – И средний возраст мужчины за пятьдесят.

– Только поэт Люций не вставал, когда входил Юлий Цезарь, – сказал Иван. – Ибо считал себя выше Цезаря в искусстве стихосложения.

– И что же Цезарь?

Ему одному разрешал.

– А что сказал бы де Голлю в таком случае Наполеон? – спросила Фрося.

– «Мой генерал, хоть вы и выше меня на целую голову, я могу лишить вас этого преимущества», – хотелось съязвить Алеше, но Иван опередил его, объявив громогласно:

– Тут у нас по соседству... глава в Брянской области, сам будучи членом Союза, так ответил поэту: взял и срезал ему если не голову, так субсидии. Не издал книжку. И кто Цезарь, и кто поэт?

– Настоящий Цезарь, – сказала Мария, – издал бы.

– Господи! – всплеснул руками Иван. – Да где же они настоящие-то! Страна попугаев. В Петербурге, говорят, есть даже целая Академия.

– Это правда? – удивилась Фрося. – Кто сказал – белые попугаи?

– Нет, черные.

– А что – разве черные попугаи бывают?

– А академии? Где ты видела, Фросенька, чтобы академики были белыми попугаями?

– Так специальная академия-то, общественная.

– У нас специальная только Дума, а уж министрам надо крутиться.

– Господи! – во всю грудь вздохнула Мария. – Вот говорим, говорим тут, болтаем, а сами-то думаем все о ком – о Володьке. Прощмыгнул ли?

– Да уж так, – ответил Иван и резко поднялся с соломы. – Может, сбегать за ним?

Тут же все девчата повисли на нем: еще чего, последний парень уйдет, мужского духа не станет. А вдруг эти черти, что там внизу, сунутся сюда, на колокольню? Ведь Алеша не в счет. И Иван остался, не пошел за Володькой. Чем утешить их? Ничего, однако, на ум не приходило, все из рук валялось. Это ветер мозги сверлит, волю парализует, «я ничего не могу, вот надо встать с соломы-то да и пойти следом, а не иду. Спуститься бы вниз, разогнать бы всю эту шоблу, а не спускаюсь, как истукан стою, без движения...»

– Слушай сюда, – сказал вслух Иван, – я говорил что-либо или мне показалось?

– Говорил, – тряхнула кудельками романтически Ниночка.

– Не говорил, – сказала реальная Фрося.

– А ты что скажешь? – повернулся Иван к Марии.

– Продолжай, – сказала Мария.

– Про что?

– Про барометр, – сказала Ниночка.

– А откуда ты знаешь? – удивился Иван. – Действительно, опять во лбу у меня появился барометр, это от хорошей погоды. А если погода изменится... Один врач-психиатр рассказал мне такую историю... Известный скрипач обратился к нему за помощью. Во время длительных изнурительно-тяжелых гастролей у скрипача слегка поехала крыша. И это выразилось в том, что во лбу у него вот так же обнаружился барометр, после одного из концертов. Барометр, как известно, определяет атмосферное давление. Хорошая, ясная, солнечная погода – и скрипачу хорошо. Концерт не страшит, музыка вдохновляет. Но ведь на афишах-то что пишут: «Концерт состоится при любой погоде». Это, когда концерт, как футбольный матч, под открытым небом, где-нибудь в парке. А если погода ни к черту? Барометр во лбу начинает стучать, как часы, как куранты, как башенные часы. Хоть криком кричи, вот тогда все и валится с рук.

Пришел скрипач к психиатру и все рассказал откровенно. И про барометр, и про все его козни, про заговор с кем-то из черного круга, лицо которого неуловимо. Вернее, смутно, как вообще-то абстрактное лицо зрителя в восьмом ряду. Скрипач в панике:

«Бог мой, концерты под угрозой». Психиатр пораскинул мозгами, посоветовался с коллегой и говорит:

– Пожалте на операцию. Хирург барометр вам вырежет.

Хирург сделал вид, что вытащил из лба музыканта барометр, и скрипач успокоился. Концерты в том южном портовом городе шли своим чередом. И вот психиатр был приглашен скрипачом на один из заключительных концертов. И так скрипач играл перед ним прекрасно, воодушевленно, что врач, забыв правила игры, сказал музыканту в порыве дружеском после концерта:

– А ведь с барометром-то мы пошутили. Не было у вас, батеньки-матеньки, во лбу никакого барометра. Нет их во лбу, не бывает в природе, мой дорогой...

На другой день сильный ветер трепал по городу гастрольную афишу, поперек которой начертано было черным по белому: «Гастроли закончены в связи с болезнью артиста».

– Сильный ветер – это что? Бора? – нарушила, молчание меланхолически Ниночка. – Дело было в Новороссийске?

– Какая разница! – вспыхнул Иван. – Главное – что ветер был. Такой же вот, как и сейчас. У чувствительных людей существует, извините, зависимость от внешних условий, они с ней не в силах бороться. Тот же Наполеон тоже не выносил самого легкого ветра. И очень любил тепло, приказывая топить камин даже в июле-месяце. Лев Толстой, Вольтер – то же самое. А Руссо, собираясь садиться за письменный стол, в жаркий полдень подставлял непокрытую голову под солнечные лучи...

– А Володьки что-то все нет, – беспокойна была Мария.

И тут же, сквозь сильный порыв ветра все услышали грубый топот шагов, скрип по лестнице – в проеме показался Володька.

– Уфффф! – оскалится он в широченной улыбке и сходу плюхнулся на солому.

РАССКАЗ ВОЛОДЬКИ

Алеша очнулся, наконец, привстал и, странно озираясь вокруг себя, заметил рядом Володьку.

– Пришел? – сказал он монотонно. – А я за тобой наблюдал и все видел... Сначала не видел ты в этом беды, потом задурил не на шутку...

– В самом деле? – вздохнул с облегчением Владимир. – Когда я шел туда, еще издали узрел под Синей Скалой ночничок. То тлела лампадка. С мышиный хвостик всего, но манит, властвует над тобой...

– И ты зачерпнул водицы, – сказал Алексей, – и испил из корца. И тотчас лампадка вспыхнула...

– Да, и высветила лицо, – покосился на Алексея Володька, – передо мной был старец. Старичок-боровичок, с деревянным посохом и весь в ореоле. Я плеснул на огонек из корца – и сиянье исчезло. Боровичок только вздохнул осуждающе... Что бы это значило?

– И посох исчез, – качал-раскачивал головой Алеша. – А в посохе заключена была тайна. В посохе перевитом, из трех лоз, были заключены три сестры. Это Надежда, Вера, Любовь. Ты потерял сестер своих, это нехорошо.

– Вот так и старик сказал мне: «Это нехорошо», – приподнялся на локте Володька. – И тогда я взял корец и зачерпнул снова. Но перед самым кладбищем, под Перуновым Холмом, кто-то черный пересек мне путь и толкнул под руку...

– Наверно, из тех, что жгли костер в церкви?

– Корец в руке удержался, – отвернулся Володька. – Однако святая вода плеснулась, по земле побежал...

– Багровый такой.

– Потек кровавый поток, – перебил Володьку Алеша.

– Все знаешь?

– Старичок-боровичок нашептал, – сказал, балансируя между тем и этим миром, Алеша. – Явился в сон мой и рассказал... Так, девочки?

– Вы нас в свои аферы не втягивайте, – отрезала, как всегда, прагматично-ироничная Фрося. – Съякшались тут с комбайнерами, летом зерно вместе с ними загоните и пьете всю зиму.

– Обижашь, начальник, – усмехнулся Володька и показал Ивану из кармана бутылку.

– Где взял? – спросил Иван его автоматически.

– Клад отыскал.

– У старикашки отнял, – поморщился Алексей. – Кровь, небось, пролил, убивец? С чего бы этот алый поток?

– Мистик, черный князь, не опускайся так! – сказал Владимир, как отрубил.

– Пойду проверю, – порывался привстать Алеша, но Володька хлопнул его по затылку ладонью:

– Да сиди, где сидится. Вишь, те, что костер жгли, машину пошли заправлять, – убьют.

– И кто же все-таки старичок? Ну, что у «Голубца»-то?

– Сторож. Свыше приставлен.

– Откровенно если, я с ним прежде где-то встречался, – рассмеялся Володька. – Теперь уж и я почти что мужик, а тот мужичок был всегда старикашка. Это бывший лесник Кружилин, вот интересный дед. Помню с ним такой эпизод. Выхожу я из лесу, а он на опушке, в траве лежит. А я иду, значит, из Мурашихи с полным мешком грибов – опята попались. Смялось все на плече у меня, аж по спине потекло. «Во, – думаю, – как я друга обжал». Пошли с ним в урочище вместе, но разминулись. Женщина только что мне навстречу шла и говорит: «Прошел твой дружок, с пяток грибков всего в сумаре». «А у меня, – думаю, – целый мешок». И тут этот Кружилин лежит в траве на опушке. Караулит лесные богатства от растащиловки.

– А ну-ка поди сюда, – говорит.

Подхожу.

– Ты Нижевяса внук, что ли?

– Ну, внук.

– С дедовым сыном – твоим родным дядькой Гаврюшей, дружили мы. Знаю, погиб на войне, хороший был человек. Надо же, второй

раз воевали с немцами за один век... Перед первой мировой мобилизовали меня – в Виннице я оказался. В особом полку. Великий князь (не помню, Петром, что ли, звали) нами командовал. А хулиган был, а матершинник – спасу нет! Уж и сам царь, говорят, его увещевал, и царица. Ну все, в общем, высшее общество, а он все за свое.

Суббота, помню, или воскресенье в Виннице-то. Дворянство, приличные люди, разряженные барышни кисеями своими метут главный «прешпект», по сторонам постреливают глазенками. Ну, и пьют, конечно, кто – квас, кто – сельтерскую, а кто, понимаешь, и шампанское.

А тут мы мимо как раз должны проходить. Вот наш командир – великий князь-то, хорохор, подкручивает усы да и запекает лихо этак:

– Мою, – говорит, – давай!

– Какую?

– Ту самую. Про Марусю.

Вот мы и гаркнули глоток в двести:

– Эх, Маруся, эх, Маруся!

Все бы прыгала, плясала —

Наплясалася!

Да на коня на вороного,

Да на меня да на хмельного,

Эх, да на пушку мою, колотушку мою

Эх, да нарвалася!

А сам сбоку – великий-то князь – идет по тротуарчику да чеканит нам:

– Эть-два, эть-два!

Трри – четырри-и!

Подтянули яйца-гири, :

Солдатики вы мои, богатыри-и-и...

По чарке каждому, а то и по две!.. ух ты!..

Господи, и любили же мы его! И где он пропал в интересных недрах нашей империи? Башлык у него был черный, а черкеска – белая.

– Вот что старичок-полевичок этот рассказал мне когда-то, – сделал заключение Володька. – А я ему что про Винницу? Да там ставка была у Гитлера во вторую мировую. И вот теперь только

думаю, соображаю, что у старого николаевского солдата было тогда на уме в вопросе про белое и черное? Чего больше было в великом князе, как и во всей царской семье, в царе самом, во всей-всей прежней Расеюшке?..

К рассвету в звоннице заглодало. И не заметили, как рассвело. И ветер куда-то делся. И стали видны липы кладбищенские, где сломаны, а где обтрепаны. И куда только деваются все эти ночные черные силы, когда появляются белые?

– Пойду гляну, кто лежит, кого ты ухлопал, – обернулся Иван к Володке.

– Да вон машина «соломенная»! – вскрикнула Катерина. – Все трое живы – разбойники.

А солнце вставало большое и красное. И сразу же выпило тот ручей. А может быть, и все три-четыре, братцы, дернули за гири? Да не может этого быть! Все может быть, все. А может быть, и не все.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ. СУДНЫЙ ДЕНЬ

И они спали весь этот день и всю эту ночь. И настал день будущий, когда они проснулись и встали. А день был серый, хмарный, Солнце и не предвещалось. И все-таки свет дневной цедился откуда-то, и это не воспламеняло, но и не остужало души. Как же мы прошли через мантию ночи и остались живы? От сгустившегося тумана только висели, пересверкивали капли-хрусталики на сырых липовых ветках, кап да кап, кап да кап – хоть в капель-канитель под собой, хоть в расколотую головушку горькую – в трещинку, в самое темечко вроде как Степану Разину, о эти козни и казни средневековья! А через крышу церкви вислобокые капли кап да кап в черный круг костра на полу посредине Божьего храма... У Спасителя чуть ниже глаза держится малая капелька... Судный день, – каково оно будет в предпоследний, завтрашний день?..

Если истечь думой обо всем человечестве, дойдешь, в конце концов, и до себя. А если сразу пронзиться собой, не истечь никогда, человечество и без тебя обойдется. Нострадамус напус-

тил туману на полог земной, а Зима, две Зимы, соединясь, вошли в тайну семи знаковых чисел и вышли оттуда в текущий 99-й, 2002 и 2035. И вот они новые испытания – затмение, звездопад, а мы еще живы, все живы, и как это понимать?.. Золотой Розенкрейц отделяет духовную оболочку от материальной, а мы не хотим отделяться... Душа моя – вертикаль, устремлена в голубое, а тело – горизонталь, зеленое по горизонту. И вместе тот самый крест – зеленое и голубое, что проходит через меня, сквозь меня в этот крест, в «Голубец», и создает родники земнородные.

И права была Великая Княгиня Ольга, проводшая нас через все прошлое тысячелетье, спасая нас, не давая рассыпаться по самобранной скатерти мира. И вот мы у истока нового тысячелетья – здесь и сейчас; каково оно будет – здесь и потом? Просторы манят, глазищи окологлазят, и в нас самих – наш Крест Господний. Кто с кем, за кого и против кого? Судить будут грешников, дерзнувших огонь развести во святые или забить святую воду камнями. Да очистятся люди от скверны, проникнутся сокровенным, воссоединятся друг с другом по духу?..

– Не судите, – изрекла по-библейски Мария, – Да не судимы будете.

РАССКАЗ МАРИИ

Голова Марии все еще возложена на груди у Володьки, а сердце за ночь оттрепетало. Проснувшись, большущими глазами посмотрела дева на свет дневной и испытала томление. Где-то внутри ее тлела неясность, была несвобода. Она знала, что принадлежит Володьке, но сейчас никому не хотела принадлежать, ей просто хотелось быть самой по себе. «Он – мужчина, и без того он владеет всем, – думала она о Владимире, – хватит, чтобы владеть еще и тобой – женщиной». – «Но это же так естественно, ты из его ребра, – искушая, шептал ее внутренний голос, но она отреклась от него, отмахнулась, как от пчелы сладкозвучной, от бесовски боевого полета шмеля. – Нет, я свободна, и это естественно. Чего выбирать Белоруссии и Украине – Россию, когда мы просто нерасторжимы, одно?..»

– Видали?! – гаркнул в проем звонницы Иван. – Слыхали ль вы-ы-и-и?..

Черные птицы грачи шарахнулись с кладбищенских лип, но какая же птица не долетит до середины реки, они и пали где-то по горизонтали.

«Пал, а норв худ и дух ворона лап... Кирилл – лирик, лирик – Кирилл...»

– Чего мы должны слышать? – приподнявшись, локтем оперлись о солому ребята.

– Говори! Говори же, Мария, – усмехнулся Иван. – Рассказывайте, митрополиты, свою часть истории...

– Мы – русские... мы – русичи, россияне, – во всю глубину своих легких вздохнула Мария. – Перед Розой Мира мы связаны одной нитью, и во все века на одной ниточке все мы, но каждый, однако, норовит ее оборвать... Так было и есть... здесь и сейчас...

– Откуда это все у тебя? – удивился Алеша.

– От Ивана, – спокойно сказала Мария.

– От Ивана? – удивился Алеша. – Какого?

– Да не того, а другого, – качнула она головой. – И от тебя, ты – мой Крест!.. Еще когда княгиня Ольга поняла, что наша зеленая горизонталь не может быть без вертикали – голубой, поднебесной... Так, да, Иван?

– Так, так...

– И Ольга призвала сюда крест, – сказала Мария, – и он осенил нас... как раз перед нашествием внутренних степняков – хулителей и совершителей для себя лично...

– Вся беда в том, – перебила ее Евфросинья, – что мы мечемся – то с Востока на Запад, то с Запада на Восток, и все вокруг себя и себя.

– Мы сами – камень, – изрек мрачновато Владимир. – Мы просто лежим посередке. И к камню сюда то с Востока, то с Запада тянет всех, как магнитом.

– Ты слишком воинственен, – сказал ему Алексей. – Нельзя же так, у нас же единый крест.

– Две церкви – сестры, – улыбнулась, как всегда ироничная, Фрося. – Но, кажется, сестры двоюродные?

– «Ярославна громко плачет в Путивле, на городской стене, причитая», – напомнила Мария известные строки из эпоса. – И отсылает княгиня плач свой почему-то не в Киев, а на Дунай... на нашу прародину...

– ...откуда мы 1200 лет шли до Днепра, до Киева, – уточнил Алеша. – И вот мы здесь и сейчас.

– Значит, сербы – это мы? – удивилась Катерина.

– Там и сейчас, – утвердил Алексей.

– Дайте хоть доскажу! – встала во весь рост Мария, и волосы – косы русые пали по сильным загорелым плечам. – Про что же я начала?.. Заметили, как ранними веснами откос под нашим селом, перед Козюлькиным лугом вспыхивает неукротимо...

– Изумрудно-зеленым?

– Это мать-мачеха. Снаружи она глянцево-холодная – мачеха, а внутри беловато-ворсистая, мягковато-теплая – мать.

– А на сыром, глинистом месте, – продолжала Мария, – чуть позже откос там же, перед Седмицким лугом, загорается сине-желтым... Это иван-да-марья!

– Да, – провела Мария пальцем по впалой груди Ивана.

– Да, это небесное и земное, – согласился не тот Иван, а другой, этот ни в чем никогда не соглашается, всегда думает лишь о себе. – Это вертикаль наша и горизонталь.

– Это крест, – утвердил кивком головы Алексей.

И Мария придвинулась не к тому – другому Ивану, стояла вплотную к нему – откровенная, выражая всем своим состоянием интерес к нему, внутреннее побуждение.

– Глядя на эти цветы, – сказала Мария, – я подумала, может ли быть без синего желтое? Вместе они так естественны, не отделить друг от друга.

– Как вертикаль от горизонтали?

– Мужчину от женщины?

– И креста в ином случае может не быть?

– Так, – счастливо засмеялась Мария. – И цветет каждую весну этот откос над речкой вот уже тысячи, тысячи лет.

– Ну ты даешь! – сказал Володька, отодвигая от Ивана Марию.

Мария молчала, она слушала, как, потрескивая, сохла где-то на седмицком откосе скошенная трава. И чувствовала прилив невыразимого где-то во глубине и в то же время укор за еще не свершившееся, и ревность к Ниночке одолевала ее.

А серый денек так и не разыгрался. Стоял себе ровно и плоско, не пере-ходя черты, не проявляя энергетичности. Владимир хорошо понимал их обеих, однако денек ему даже нравился.

– И вот такая легенда, я слышал ее от прабабки, – сказал он, прислушиваясь к биению нового сердца в Марии. – В продолжение той истории об иван-да-марье... Заметили? Первыми в наших местах выбираются из-под снега... подснежники, эти фиалки, синеглазые девы. Затем по буграм вспыхивают горлицы, а уж потом идут и примулы эти, баранчики. Это они высыпают по желтым полянам. Заметили, какой у баранчиков сладковато-терпкий, лекарственный запах? С детства помним вкус их мягких, гибко-зеленоватых стволочков... Пацанами лазали мы по окопам, траншеям послевоенным. Искали поесть, но больше все батальонные мины нам попадались, артиллерийские снаряды – ржавые страшно. А страшное манит... И вот по краю траншей, помню, встретилось мне столько баранчиков. И мы их едим, едим, бывало, набиваем животы, а дальше, знаем, пойдут по конвейеру анисы, сергибузы. К Троице ножка у баранчика одеревенеет, а пока желтые бутончики мы обрываем, швыряем наземь, а зелень ствола едим. И солнце жарит, по желтому перебежать начинает белое, желтое с белым, белое с желтым. А вскоре станут цветы вовсе белыми, превратятся в корзиночки, тут и косить... Вот бабка мне и говорит:

– Глянь-ка, внучек, где желтое становится белым, а где дольше держится?

– И где же?

– А ближе к синему – цвету такому в лесу, к «хохлатке».

– В тени, значит.

– Не сказала бы, – заблестела бабулька своими такими веселыми глазками.

– А что же?

– А то, что и «хохлатка» дольше держится где? А возле желтого. Гляди, как тянется своим синим к баранчику...

– Так что это, бабушка? – говорю я. – Что все это значит?

– А если это любовь? – от лет своих вздыхает бабулька. – Она скорее всего и есть. Друг дружку держат, друг дружке лица не дают потерять. Баранчик белеет, «хохлатка» краснеет, буреет, однако вместе дотягивают до срока, и косят их уже вместе. Судьба...

– И что же дальше? – насторожились ребята, сплотились, лежат на соломе.

– Когда они порознь, – крутил Володька соломинкой, переламывая ее, а она все не поддавалась, – их судит Небо, меняет им даже цвета. Но вместе – и сила, и сама жизнь... Но годы идут, проходят века, и Небо все судит, а люди слабы и фальшивы, все хвалят себя...

– «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» – запела Ниночка, ей подтянули:

– «Но нельзя рябине к дубу перебраться. Знать, ей, сиротине, век одной качаться...»

– Раз нельзя, – рассказывала мне прабабушка, – перебраться друг к дружке, они взяли и перебрались на этот откос...

– Синее с желтым?

– Иван-да-марья?

– Синее – голубое, желтое – золотое, золотое с синим – зеленое... «Голубое, – рассмеялся Алеша, – до Неба – моя вертикаль, а зеленое – по горизонту. Сквозь меня этот Крест, через сердце – эмаль, Фаберже, что ли, по Геллеспонту?»

– А как звали ее?

– Мария.

– А прадеда?

– Иван, но не тот, а другой. От корней, не безродный.

– Иван да Марья, Богдан да Дарья, – воодушевился Володька. – И прожили они век своей жизни. И умерли в один месяц. Нажив пятнадцать детей.

– Ого! Да зачем же столько-то?

– Просторы-то, квадратные километры! И надо их обрабатывать. Одно слово – Россия! Один Красноярский край – зеленое море тайги – чего стоит. С юга до Северного полюса по территории несколько Франций. У нас просто не может быть «лишних» людей. Так, да?

– Так, так.

– Да, так, – сказал Алексей. – Однако только у нас, заметим, термин такой существует даже в литературе – «лишний человек». Почему? Разве могут быть люди «лишними», тем более лучшие? Евгений Онегин, Печорин... Григорий Мелехов... Дети войны – поколение обездоленных, «обездоленное поколение», не успели очажнуть – уж сбрасывают...

– И сбрасывают, и сбрасывают – людей, народы, целые поколения...

– А ведь не сохой пашем, способны производить сколько угодно, чего угодно. Куда же ты смотришь, иван-да-марья, – нерасторжимый цветок?..

Такие-то мысли витали в воздухе, как паутина, и сплетали в одно всех тут сидящих в церковной звоннице, и в то же времечко расплетали. Вот как Иван да Марья – и вместе, и врозь. А то все спорят, гутарят, все уши пробили: «Что такое демократия?» Народовластие мы уже знаем. А вот когда слышат каждую Марью, каждого Ивана видят в глаза. Синее и золотое, земное и поднебесное; голубое до неба – вот она, моя вертикаль!

«А зеленое – по горизонту. Сквозь меня этот крест...»

Вот что такое Иван да Марья! Да, Маша? Да, да, мать моя – Марья Герасимовна. И отец мой большой – «гранпэр», мой дед по отцу – Иосиф. Мария – Иосиф. Как мать с отцом у самого Иисуса Христа. И я под их высокой долонью...

– Слушайте сюда, – засмеялась вдруг Ниночка. – И первое же, что я сделаю, когда спущусь отсюда, с этой звонницы, так это побегу на откос. К иванам да марьям, от них идет счастье...

– Счастья нет, не бывает, – поджала тонкие губы свои Евфросинья. – Как это – тебе часть да побольше, а другому что?

– Совість, – пролепетала несчастная Ниночка.

– Способна, однако, краснеть, – заметила Катерина. – Совести не потеряла.

– А кто потерял?

И тишина. И пауза. Главное – надо уметь держать паузу, наполняя ее содержанием. А паутина летела. А щмель входил в боевой разворот. А пчелочка золотая купалась вовсю в сине-желтом на Седмицком нашем счастливом откосе. Иван да Марья, – сквозь меня этот крест... не клановые, народные титулы – от народа, а не от фонаря.

РАССКАЗ НИНОЧКИ

– Это он рассказал мой рассказ, – выступила неожиданно Ниночка. – Это я когда-то ему рассказала.

– Подумаешь! – вспыхнул Володька. – Ну, тогда ты расскажи какой-нибудь мой. Хотя бы тот, помнишь, как за орехами ходили...

– О, они еще и за орехами вместе ходили, – хмыкнула Фрося.

– Не твое дело! – отрезал Володька. – Давай, – обратился он к Ниночке. – Наперекор шипу змеиному...

– И укусу пчелиному, – тут же подсказала Мария.

Ниночка сделала голосок свой ниже, грубее и начала.

Хоть и Володькин рассказ, но от себя, от женского рода:

– За орехами мы пошли с ним...

– Уже слышали.

– Вот он мне и говорит: «Всем владеет город Владимир, Золотые Ворота в нем, как Триумфальная арка. Город был когда-то столицей Древней Руси. Но ушла столица обратно в Москву; декабристы ее обратно хотели вернуть...» А я на это вот что Володьке сказала...

– Перевоплощайся, Нина, ты же артистка! – одернула ее Мария. – В египетскую гейшу перевоплощалась, а тут...

– Небось, Володька трахнул ее в орешнике-то, – буркнула Фрося.

– Ну и что! – одернул Фросю Володька. – Тебе-то что!

– А то, – осадил его Катерина. – Неплохо устроился: от Марии детей собрался иметь, а трахать – Ниночку.

– Тоже мне, судьбы нашлись, – держался особо Володька. – Каждый делает, что умеет. Вот Фрося у нас ничего не умеет, и ее никто... не желает.

И тут произошло неожиданное. Фрося, бросилась вперед и вцепилась бы Ниночке в лицо, но Мария, перехватив ее, остановила. Фрося разрыдалась у нее на руках, а Мария утешала ее, говорила ей, чтобы что-нибудь говорить:

– Ну дай и ты ему, этому негодяю, если тебе так хочется. Это ж бугай неостановимый.

Как ни странно, слова Марии успокоили Фросю. Она отошла тихонько в свой уголок и присела тихонько. А Ниночка, как ни в чем не бывало, продолжила свой рассказ:

– Вот он и говорит, Володька-то. Да, Володь?.. Что же это отцы нации напутали со столицами? Вот сколько было их на Руси: первая, как ни странно, не Киев, а Господин Великий Новгород. А потом уже Киев. А после Москва. Затем, как короткий промельк, – Владимир. И опять Москва. Петербург. И снова Москва. Так, Володь?

– Так, так.

– Что ж они бродят, эти столицы?

– Да Москва у нас все, Москва! – разозлился Володька. – Незыблемо.

– А сам говорил, что там все прогнило. Круги все, как ложные опята, – то царские, то сталинские, то хрущевские, брежневские. Вот, например, мэр Москвы, а живет не в Москве, не прописан даже, – съехидничала Ниночка.

– В мире нигде нет прописки, – заметил Володька. – Это остаток крепостничества, рудимент.

– Вот Обалденко в программе «Время» с вертолета еще разочек покажет, покажет, где и как мэр живет, – гнало Ниночку по колчам. – И тогда Лазаренко с его дачей под Киевом просто семечки. Вот этот мэр в Успенском...

– Соборе?

– Да ты что! В Успенском соборе Кремля царей венчали на царствие.

– А где же?

– В Подмосковье, где зеленое море тайги, – только вертолетом можно облететь.

– Ты ж это все напрямую про мэрию-то, – урезонивала ее Катерина. – Он же все-таки обустроил, почистил столицу, а то к Курскому вокзалу, бывало, не подойдешь, весь обоссан.

– А теперь, пожалста, в туалетик за пятнадцать рублей.

– А ежели грошей нема?

– В карман соседу. Или в лифт соседнего дома.

– Вот, спасибо мэру – Джавахарлалу Неру.

– Да у него же в Успенском-то ре-зи-денция!

– Какая резиденция? – это Ниночка завелась, как говорить начала – не от Володьки уже, а от себя, куда ее понесло. – Что он – фараон, что ли, египетский? Я мэра этого уважала, но это меня доконало. Фараоны в пирамидах живут, Миттеран – президент Франции – в городской пятикомнатной жил, бывало, в Париже. А мэру этому надо, как самому первому... а самый первый – президент, он единственный, он предвидит акции, ему надо несколько резиденций, как Хусейну...

– Ну, хватит, хватит тебе! – останавливал ее Володька.

– А что? – распалилась Ниночка, вот разошлась, как торговка на базаре, черта с два остановишь. – Это из Питера, говорят, Магадан видать.

– Магадан видать отовсюду, здесь и сегодня.

– Вот пусть они и видят – те, кто жеребцов в Германии покупает.

– А кто ж это?

– Да у кого целый ипподром в Успенском.

– Все тебе ипподромы да ипподромы! – вступилась за руководство Катерина. – Других тебе нет параллелей?

– Есть, – поджала Ниночка губы. – Да Москва далеко, а эти тут близко. «Вунтеры» – генералы песчаных карьеров, а генералы эти, небось, пострашнее всяких главнокомандующих.

– Ух, какая ты умная.

– А ты, Катерина, молчи, – оттолкнула ее Ниночка. – Сама лошадица, по жеребцам помираешь, а мэра, жеребца этого, на молодой женат, – защищаешь. А ведь он тебе не какой-нибудь однофамилец... или по ипподрому у него в столице кататься не собираешься?

– Дура, дура! Наговорила Бог знает чего. Магадан не знаю, но «Беломорканал» тебе обеспечен...

– Зато я не курю... фимиам этот, – засмеялась нервически Ниночка. – Мы из Древнего Египта, за пять тысяч лет мы там всего навидались. Мы даже фараонов, как «общественное питание – под огонь рабочей самокритики» ставили, это у нас дома тарелка такая, от отца еще моего – с тридцать седьмого года. С таким вот апофеозом! Я из нее и ем. И критикую иной раз нашу мамашу...

– Ну, и где он теперь?

– Кто?

– Отец твой?

– А-а-а!.. Вот в лапы кому попадешь, – перевела разговор Мария и обернулась к Володьке. – Эта кнопка на всей твоей биографии польку-птичку сыграет. Слава Богу, вовремя разглядели.

– Думали, патриархат, – констатировал Володька, – а тут что у нас?

– Патриархат наверху, по начальству, – заюлила Ниночка. – А тут матриархат, да, Володь? Как ты думаешь?

– Он как орехов в рот набрал, – заметила Фрося.

– Он думает, – сказала Ниночка. – А когда думает, то молчит.

– Му-му! А ты всегда молчишь, когда думаешь?

– Не твое дело, коза. Летай себе самолетами Аэрофлота, зачем тебе еще и летчицей быть?

– Какой Аэрофлот, какие самолеты! Разлетелся твой Аэрофлот по кукурузе. Хрущев все предвидел, когда сеял кукурузу. Что самолеты на пузе разлягутся по кукурузе...

– Если б я была царица, –

Говорит одна сестрица, –

Я бы тот Аэрофлот

Весь вместила в самолет.

– А еще что?

– И всех остальных туда же. Чтоб улетели отсюда к чертовой матери! – напрямую рубила Ниночка. – Надоели все то со своей Чечней, то с обвалом 17 августа... и вообще, я только Спасскую башню одну и уважаю, да еще Кремль весь как исторический памятник архитектуры. Как иду по Каменному мосту, так с моста на него гляжу, не могу оторваться. А так, вообще-то, еще Золотые Ворота во Владимире люблю, да, Володь?

– Да, да! – наконец резко ответил Владимир Ниночке. – Дура!! Но – русская дура, натуральная! Ляпи, ляпуха!..

– Ну вот, – обрадовалась Ниночка, и грачи прилетели, а то черные птицы перестали что-то летать над кладбищем... Матриархат! Вот к чему подошли мы с вами, здесь и сегодня, сейчас, да Володь?

– Да!

РАССКАЗ ИВАНА

– Непристойно ведешь себя, – сказал Иван, – с Кремлем – хорошо, а вот про все остальное – неважно. Накаркаешься, ворона.

– А что я сказала-то, что я сказала? – заныла, запричитала Ниночка. – В газетах пишут и не такое.

– А ты хоть читаешь газеты?

– Не-а, а кто их читает-то? Все теперь по телевизору. А газеты – для типографий, партий и разногласий. А я законопослушная. Мне что скажут, тому я и верю, да, Володь?

– Ух, какая ты, хе-хе-хе, египетская пирамида, – засмеялись все, грохнули, аж колокольню затрясло, а где-то поблизости (там, на дереве) вскрикнула и заикаться стала ворона, ворон с вороном – сладкая парочка. – Может, ты еще и государственница?

– А что это?

– Ну, когда все для государства, а для человека – шиш с маслом.

– Нет, шиш, хоть и «с маслом», не надо нам, да, Володь?

– Да, – сказал грубовато Володька. – Да замолчи ты, несчастная, окоротись! Дай хоть Ивану рассказать свою историю.

– Это про что?

– Да все про то же – про Ивана да Марью.

– Ах, про цветы эти – желтые, синие? Дети – цветы нашей жизни.

– День-то какой-то серый, – поморщился Иван. – А про цветы вам уже рассказывали.

– А ты рассказ разукрась, расцвети красками.

– Ну, что тебе рассказать, Маруся? – А Мария уже подошла к нему и присела рядышком, даже чуть прослезилась, так что Володька засопел, даже зубами скрипнул. Но Ниночка тут же ширнула ему под бок кулачком в качестве действия в сторону патриархата из области матриархата. – Итак, про цветы... Я тоже легенду могу сочинить, здесь и сейчас, у нас на глазах прямо, можно?

– Валяй, – согласились ребята.

– Года два тому был я на школьной практике – на нашей Седмицкой ферме, матери помогал коров доить, – медленно, как-то врасяг начал Иван.

– А зачем тебе, если на врача собираешься?

– Для ума, – пояснил за него Володька. – Умный – хорошо выпутывается из ситуации, а мудрый – в нее не попадает... Помните, председателем был у нас Иван Васильевич?

– Анохин, что ль?

– Ну да, ен самый. Так вот, прихожу я однажды к нему в кабинет – деньги за мать получить, а у него на столе хвоя – лапа еловая. Стол верхом. А сам Иван Василич сидит на локотках пригрюнся. «В чем, князь, горесть и болесть?» – спрашивается. И тот отвечает: «Что, не знаешь? Опять коров кормить нечем. Неурожай на травы был да еще и солому пожгли с осени, дураки. А Запорожье, с кем дружим, за солому ломают... Вот сижу и думаю, если хвоей коров кормить, как «крокодилов», то желудок от смолы у них слипнется ай не слипнется? Если слипнется – Магадан уже виден, от такой химической реакции. А если не слипнется...» – «А не слипнется, – говорю, – и опять же Магадан тогда, но уже с Вадимом Козиним, за творческую находку». Вот покосился на меня он, как сейчас помню, да и говорит: «А почему?» – «А по кочану. Потому как творчество

не там, где вытворяют, а там – где творят». Слюни у него так и потекли, как у быка испанского, на еловые лапы...

– Опять мы судим... уже председателя. Вот Коминтерн! – сказала Катерина. – А при Императрице Второй, моей тезке, на Руси судили не личности, а категории.

– День такой – Судный, – заметил Алеша. – Шестой день нашего календаря.

– Робинзон Крузо. Что – зарубки делаешь на колокольне?

– На лапах еловых, на лапах, – перенес Иван на себя внимание. – Да, вот зима кое-как и прошла. Додержали на веревках коров до апреля. А дальше творчески надо творить, а не опять вытворять с перспективой на Магадан, это нам ни к чему. И тут забегал, засуетился этот Анохин, творческую активность начал будить в себе не зимой, а с весны уже, до косовицы трав. Созвал очередное совещание дедов. Один такой конгрессмен с хутора Синяя Рожа и посоветовал агронома ввести по травам, химикалии по лугам рассеять. Синяя Рожа (дедок этот, кличка такая по хутору) предложил простой и дешевенький, замечательный способ. Коварный, но адекватный. Мария совсем уж обосновалась возле Ивана, оттеснив Ниночку, и все сочли это так же естественно, по-мичурински, как и доллар с рублем, которые, воссоединясь, создают исключительно дополнительный стимул.

– Когда же это наше «сидение» закончится? – всхлипнула Ниночка.

И так ей захотелось домой, восвосяи, в родную свою Седмицу, а лучше, откровенно сказать, опять бы еще на тот самый берег крутой, недокошенный, где бы их с Иваном ожидало то самое, что и когда-то с Володькой.

– Да когда? Да хоть завтра. Завтра что у нас – воскресенье? А сегодня суббота?

– «У нас нонче субботея, у нас нонче субботея...» Радуница радуется – В горле боль и ком. В памяти родителей – добрый военком.

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

День оставался серым, но после полудня тучи вовсе остановились и резче духоту обозначили. Разморенные, лежали они на соломе, как рыба на берегу, хватая воздух, иплыли в поту.

– И сколько тут можно терпеть? – сказал все тот же женственный, немного капризный голос. Это была Мария. Она строила уже новые планы и не на колокольне, а где-то еще.

– А не терпи, – уклончиво ответил Володька, он донимал ее лучше других.

А со спины к Володьке уже прижималась Ниночка, от нее веяло флорой и фауной, Древним Египтом, крутой нильской волной. Сексуальные видения прямо-таки терзали ей душу, но Володька четко обозначил стеночку и не пропускал. С другой стороны, спиной к нему, лежала Катерина (пышное тело, кающаяся Магдалина, – бойтесь данаев, слегка обнаженных). Цель и задача Володькины состояли в том, чтобы повернуть следы обратно – в свои дополнительные внутренние ресурсы, чтобы справиться с этой степью широкой, дабы она, разморенная, тут же откликнулась на его повышенный сексуальный запрос.

– Прекрати, – попыталась укрыть Катерина спину свою одеялом, которого не было.

– Чего?

– На два фронта работать, – произнесла Катерина все так же невозмутимо.

– Все так работают – на два фронта, – ухмыльнулся Володька. — У Германии были Англия и Россия, у России – НАТО и...

– НАТО Бампо, – перебила его Катерина, и спина ее обмякла, стала менее напряженной.

И посыпались вопросы к Володьке со всех сторон из соломы, уводящие его в сторону от намеченного наступления.

– А как звали коня НАТО Бампо?

– А у Казбича, этого «немирного» кавказца? – Володька прижимал Ниночку, а по спине Катерину гладил, и та уже отвечала на вопросы к нему:

– А у Нато Бампо коня не было, – угибаясь, проваливалась спиной своей Катерина под рукой Володькиной.

– В университет бы ты не прошла, – многозначно заметил Алеша. – Был такой вопрос, говорят, на приемных экзаменах.

– Фру-Фру, – фыркнула в своем уголочке Фрося.

– Спишу еще он сломал ей на скачках.

– Кто – Нато Бампо?

– Двухполюсный мир!

– У тебя, Фрося, все дураки и дуры, – сказала лениво Ниночка.

– Даже Мария. Со своим библейским именем и глубоко внутренним материнским содержанием.

– Я Марию обожаю, – буркнула Фрося. – Только Катьку не понимаю... Ну мужики – еще ладно, а вот вы куда смотрите, бабы?

– Так у нас же пока еще не биархат.

– Но уже и не матриархат?

– Да патриархат еще, патриархат! Но какой-то урезанный.

– Какой же он у него урезанный?

– У кого?

– У Володьки, у жеребца у этого со станичной конюшни.

– Только школу заканчивает, еще и в армии не служил, а уже свыше двадцати одного см... надо урезать!..

– Кать!

Пауза. Главное – держать паузу.

– Катя!!

Главное – держать опять-таки паузу.

– Катя, Катюша!

– Ну что тебе, божий ты человек!

– А вот стенки храма Божьего не только голос записывают, но еще и видимость. Торс свой хотя бы соломой укрыла и не придвигалась к Володьке-то. Грех на себя не бери, как Ниночка, эта египетская «санта» – святая...

– Я тоже женщина, – выступила Катерина. – И тоже ведь не святая, ну и что?

– Но ведь и ты из ребра Адама, как и Мария.

– Не из ребра! – отчеканила Катерина и выложила на всех: – Но жеребцов, представьте себе, люблю!

И все захлюпали, хлопнули, хлопотали.

– Секс, однако, – внес Володька тоже свой вклад в общую копилку.

– Из ипподромных анекдотов, – представила Катерина свой сюжет шепелявым голосом Горина, что из «Белого попугая».

– Никулина давай самого! – потребовала общественность.

– Так Никулина нет уже.

– Но дело его живет.

– Чтобы Никулина изобразить, – сказала Катерина, – ого-го мозги какие нужны, преогромный талант.. Вопрос ко всем: что такое матриархат? – И опять эта пауза пресловутая. Продолжение паузы. – Ладно, – сказала Катерина. – Тогда так, жеребец содержался на ипподромной конюшне. Секс для него был главное, а не бег по кривой, на рекорды. И назвали его тоже Сексом. Бывало, поставят перед ним на бегах кобыленку, так он за ней ни за что не отстанет, резвость любую покажет. Вот кобыленку подходящую подыскали ему – ну, как Лидия Скобликова – рекордсменка, что была у нас по конькам. По итогам столетия в мире первая, правда, американцы отодвинули ее и, как всегда, вперед выставили своего человека. Но не было ведь среди женщин резвее Лидии Скобликовой... Ну, и этой трехлетке не было равных на ипподроме. Бежит она, а Секс – этот Секстинский Мадонн – за ней шаг в шаг, ухо поймает и держит зубами. Тянется из последних сил, из гордыни мужской, хоть сдохнет, а не отстанет. И, если поставят на него в тотализаторе, то как сделают: перед самым финишем придержат ее, а его вперед пропустят. И Мадонн – победитель!..

Конкуренты пронюхали про все это и что, подлецы, удумали? Когда выезжала куда-то конюшня, ну, скажем, на летний отдых, в пионерские лагеря, они, изловчась, возьми и слегчи его на одно яйцо. И стал Секс уже не жеребец, а нутрец. Однозначно. Черное убрали, белое оставили. И что же? Осенью снова ипподром, снова бега. Пустили перед Сексом-Мадонном ту самую кобыленку...

– Фру-Фру?

– Ну да. Значит, бежит перед ним эта Фру-Фру, и давай репой перед носом вилять, а он и на репу уже не реагирует. Так и пришел четвертым, вне призеров.

– Четвертым – ах! – вздох разочарования прошелестел по соломе. – Слышь, Володь? Без медали остался.

– Ну, и что Белый Попугай на это? Как реагировал? – прицепился к Катерине Володька. – И куда же теперь такого?

– Умные люди везде нужны, – сказала Катерина. – И на ипподромах тоже...

Помороковав, они создали такое средство усиления. Кобыленку ту запускают, а сзади, на круп ей, сажают Белого Попугая. Белый Попугай видит перед собой бывшего жеребца и кричит ему (научили так):

– Нутрец! А Нутрец! Тебе, понимаешь, конец!

Бывший жеребец раздражается, тянется зубами подлеца за ухо ухватить! Рвет из последнего – ух-хх!! А перед финишем попугай в одну сторону, кобыленка – в другую, и Секс опять первым ленту пересекает. Вот что такое матриархат и патриархат, мужское достоинство в действии.

– Какой тщеславный!

– Вот что такое Русь, понимаете, тройка! Вот мэр и привез себе нового жеребца, как не стало Никулина. Чтобы показывать резвость и без Белого Попугая. Однако без Юрия Никулина птица вечная, как мне кажется, долго не проживет.

РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ

– Это можно на стенке запечатлеть, – отреагировал Алексей. – Комикс, комедия, искусство, так сказать, второго плана. И где тут красота? – как сказал бы Шарль Бодлер. – «Слеза и смех – я выше их всегда!»

– Слеза – это трагедия, а смех – это комедия, – высказалась Ниночка.

– Вот умница, эхо веков и всех мужиков.

– А знаешь что, Алеша? – сказал напрямую Володька. – Нечего юлить, говори все как есть, без обиняков. Хочу все знать, проникнуть в сокровенные тайны. Конец же столетия, даже тысячелетия, а мы все блудим... в потемках... в предназначениях... То социологию нам подавай, то в социуме у нас все борьба, а где сам человек в разных сферах, интуициях и интонациях?

– Так его, Володь, так! – привскочила с соломы Ниночка в халатике своем нараспашку. – Не показывай себя, блин...

– Да что ей показывать-то? Что предсказывал Нострадамус по Кавказу? – не выходил из роли своей Владимир. – Мы владем ситуацией, но в одностороннем порядке, в ограниченностях мира однополярного. Давай распахивайся, Нинок. А то пожары, пожары, а как и чем их гасить?

– Сами дотлеют.

– Не сказал бы, – твердо стоял Алексей. – Мы, молодые, не агрессивны, а если и агрессивны, то больше по гороскопу, по уровню жизни.

– Легенду гони, свою версию.

– Про аленький цветок, что ли? – замялся Алеша, но взял себя в руки, и голос его стал наливаясь силой таинственности и метаморфоз. – Заметили, как ребенок только что от груди, а уж тянется ручонкой своей к огоньку – к этому аленькому цветочку? Что влечет его – яркость, тепло, хранящееся в ощущениях недавно покинутых недр материнских? Но только дотронется, обожжет пальчик и никогда уже больше не потянется к этому красивому, но опасному огоньку. Так ведь, да?.. На заре человечества сидел у пещеры Мальчик и любовался закатом. Солнце висело красное, крупное – над вершиной Черной горы. От Черного Камня на Земле, от Красного Камня в Небе тянуло теплом. И Мальчик полюбил Красный Камень за его Красоту, за переливы всяческих изменений, а с ним заодно и Небо. И ему захотелось туда высоко-высоко, куда залетают птицы. Пришла Мать, принесла красный цветок. И положила его перед Мальчиком, и Мальчику стало вдруг так тепло, весело, хорошо, как недавно в утробе Матери. Пришел Отец с охоты на мамонта и прямо в аленький цветок положил огромную

кость с мясом, и слюни у Мальчика потекли сами собой. И Мальчик взял эту огромную кость и протянул ко рту. Та часть кости с мясом, которая полежала в красном цветке, была вкуснее. И Мальчик стал есть эту часть, а не ту, которая не лежала в цветке.

Отец и Мать смотрели на своего Мальчика и любовались им. Каждый раз, насытятся, Мальчик швырял кость куда подальше, не обращая внимания на собак пещерных и кошек лесных, собравшихся у его ног. А они сверкали глазами то на Мальчика, то на алый цветок. «Красиво-то как, особенно ночью, – думал Мальчик. – Они тоже любят ются им, этим цветком».

И так лето сменяло зиму, а зима – лето. Однажды Мальчик заглянул в глаза Собаки и заметил в них какой-то особенный блеск. Объем, как всегда, свою кость особенно со стороны, побывавшей в красном цветке, Мальчик подумал отчего-то о Черной горе, откуда веяло холодом, и протянул кость другой, холодной стороной Собаке.

– Мой сын будет охотником, – сказал Отец. – И Собака ему будет Другом.

И вот опять рдеет у пещеры Аленький Цветок. И опять огромная кость в руке у Мальчика. Мальчик объел ее и оставил немного мяса, и уже не с той стороны, что еще не лежала в алом цветке, и даже не с того боку, что лежал в цветке, но был черен и горьковат, сам похож цветом на Черную гору. Мальчик оставил розовый кусочек, так похожий на Алый Цветок, такой кусочек хотелось съесть и самому. Однако он пересилил себя и отдал кость с этим кусочком мяса своей Собаке.

– Вот Сын мой и Человек, – сказала Мать.

И Солнце с одного боку вспыхнуло и потемнело. А Черная гора, с другого боку, улыбнулась и покраснела, осветясь Солнцем. С этого и началось человечество.

– С солнечного затмения, – уточнила Фрося.

– С восхода Солнца, – поправил ее Алексей.

– Ну, и что ты этим хочешь сказать? – скрутив солому в жгут, держал Владимир его наотлете.

– Крыши теперь не соломенные, – покачал головой Алексей.

– Однако «соломенные» моторы... Алый Цветок у пещеры, откуда

Мальчик смотрел на закат, разросся и рассыпался по земле... страшно красиво... Страшное – может ли быть оно в Красоте? Это знают лишь избранные, подключенные к третьему глазу... Нострадамус назвал года испытаний. Кажется, в сентябре текущем мы пройдем через Бунт Поднебесья и, если останемся, будем жить долго. И все тогда будет зависеть только от нас. И звездопады, сама жизнь будут у нас другие, – так сказал Заратустра...

Володька спал, и Катерина спала. А Солнце уже шло за Синие Скалы. От речки Седмицы потек прохладительный воздух, и все засвиристело в лесу, заговорило, заскрипело ведьминскими голосами, – это качались сухие осины. Просто жудостью вяло от говорящих осин, духи горизонтальные, перевитые вертикалью могил. Давно здесь живем...

– Эй, проспишь все царство небесное! – расталкивала Мария Володьку. – На закате спать нельзя, головушка будет бо-бо.

– А я что, я ничего! – вскочил Володька, вода одурело глазами по тлеющим лицам, на которых лежал налет уходящего Солнца. Как огромный Алый Цветок, оно уходило за Синие Скалы, откуда к нам сюда приходили... Наполеон – 1812-й, Вильгельм – 1914-й, Гитлер —1941-й...

– Алеша! – толкала в плечо его Катерина. – «Эх, прррокачу-у-у! Проле-чу, прозвеню бубенцами!» – Но это, кажется, уже не снилось ему, а грезилось наяву.

РАССКАЗ ФРОСИ

– Опять я последняя? – всхлинула Фрося. – Все последняя и последняя, всегда и во всем. Вы меня не любите, а я вас люблю.

– Что ты, Фросенька-а-а, – лицемерно протянула тоненьким своим голосочком Ниночка. – Мы тебя о-бо-жаем.

– Я все одна и одна, – заплакала Фрося теперь уже откровенно, обхватив лицо ладонями и уткнувшись в свой уголок. – Все одна и одна.

– Ну, вот и поделись своим одиночеством, – подошел к ней Володька и положил ей на плечи руки.

– Не надо, – остановил его Алексей. – Это глубоко интимное. Мирской трагический героизм. Белое с черным, черное с белым – как клавиши на рояле, по которым идем. Да вон же поле, по которому ходят... что ходит?..

Все глянули в крайний проем и увидели, как по зеленым снова ли белые и черные птицы: это грачи с кладбищенских лип и голуби – божьи птахи слетелись сюда на кормежку вечернюю...

– Расскажи что-нибудь про них, Ниночка, – всматривался Алеша в сумеречное состояние души русского поля.

– Про птичек? – перебила Ниночку Фрося. – Ну, что ж, про птичек так про птичек... Это случилось в большом, равнодушном городе, где живет, между прочим, и работает в университете тетка моя Алевтина. В прошлом месяце я приехала в город и заночевала у тетки. Вечером Алевтина приходит с работы невеселая, можно сказать, даже грустная.

– Чего это ты? – спрашиваю я.

– А сорок дней полета отмечали.

– Какого полета?

А у самой меня перед глазами, конечно, космонавтика, Юрий Гагарин. В крайнем случае, недавний перелет воздушного шара вокруг Земли по экватору. А Алевтина и говорит:

– Да сорок дней отметили.

– Кому?

– Коллеге. В общем, педагогу и человеку. Сорок дней тому, как выбросился из окна девятого этажа.

– Да ты что?!

– Истинный крест.

– Да ты что?! – так и привстали в звоннице все сидящие на соломе. – С девятого? Из окна? Неужто жизнь так уж плоха, чтобы так вот... с девятого... СПИД, что ль, рак или наркомания?

– Вот и я такой же вопрос задала Алевтине.

– Да нет, – говорит Алевтина. – Все вроде в порядке было у него и на работе, и дома. В университете ему не так давно отметили юбилей. Действительно, все его уважали, даже любили. Ну, можно сбросить процентов тридцать на лицемер-

рие... а все равно... Вот это самое и есть, так сказать, мирской траги-ческий героизм...

Французский язык человек преподавал. По молодости в Африке был; доллары привез, «Волгу» купил. С материальной стороны – все вроде в порядке. Жена в школе учительница, два сына – один еще школьник, другой уже определился, имеет работу...

– Так в чем же дело, Фрося? – удивились сидящие на соломе.

– А все вместе давайте думать: почему хоть? Ни Алевтина, ни я, да никто из коллег, представьте себе, не додумался: что толкнуло? Чем жизнь уж так стала ему не мила? – дрогнул голос у Фроси. – Ведь и так нас мало на этой пока еще просторной Земле.

– Действительно, почему хоть? Чего ему не хватало? – слезы выступили на глазах у Ниночки. – Вот не знала его, а жалею.

– Вот-вот, и студенты его жалеют, говорит Алевтина, – тяжело вздохнула Фрося. – А сама Алевтина даже плакала... Вот мы все говорим: спешите делать людям добро! Он и делал его. Стихи, песни писал для «капустников». Всю душу, можно сказать, отдавал всем, кто вокруг него, особенно молодежи. Да и тем, кто постарше. И подвезет, бывало, на машине своей и отвезет. Сына Алевтининова – выпускника института – с вещичками на «Волге» своей отправлял на работу в деревню. Человек был чувствительный, тонкий...

– Может, в этом и кроется все? – высказался Алеша. – Как вы думаете?

– Старый декан, – продолжала Фрося, – по словам Алевтины, его за сына считал.

– Так в чем же все-таки дело?

– Квартиру получил не так давно, жил до того в пятиэтажке. Одному профессору дали новую, а ему передали профессорскую... Жил бы в старой – в пятиэтажке-то, жив бы остался, неоткуда было бы бросаться.

– Постойте, постойте, – сказал Иван. – Как передали профессорскую! Что же он век прожил, до юбилея дожил – и все в «хрущевке»? И передали ему квартиру «БУ» – «бывшую в употреблении». Так, выходит?

– Выходит, так, – пожала плечами Мария.

– Так, – подтвердила Катерина.

– Вот мы и подбираемся к истине, – продолжил свои рассуждения Иван. – А что же декан?

– Да декан, говорит Алевтина, особенно сожалеет, – продолжала Фрося. – Как по сыну горюет. Он же, говорит, имел «золотые руки», все умел, на все руки мастер. Когда декан обустроивал свою квартиру, так он же ему всю кухонную мебель сделал. Декан говорит, да что же он? Да мы бы ему помогли с кандидатской...

– А что – он и кандидатом не был?

– Алевтина говорит, не был. Без ученой степени, просто старший преподаватель.

– А вот поветрие такое пошло, – заметил Иван. – Без степени, а доценты, с кандидатской, без докторской – но профессора... Помните, Жириновский Владимир Вольфович: утром – стулья, вечером – доктор экономических, что ли, или философских наук? А то человек всю жизнь горбачит на диссертацию и только к закату доктор, когда уже помирать...

– Вот и у них на факультете, – продолжала Фрося, – одному без степени дали доцента. Тот был активным общественником...

– А что – разве этот, о ком идет речь, – шпиганул, как клинком, своим вопросом Иван, – что, разве этот... что погиб, не был активным?

– Вот! – сказал вдруг Алеша Ивану. – Вот куда тебе надо идти – ты же природный следователь. Папа, случайно, у тебя не юрист?

– Да, Фросенька, мой диагноз: лицемерие общества! – смотрел Иван со своей колокольни прямо перед собой во широкую степь. – Элементарно: гипертрофированное внимание к себе и невнимание к тонким, изящным натурам.

– Вот вам и одиночество, – с грустью сказал Алеша. – Спасибо, Фрося, Фросенька дорогая, ты нам открыла глаза...

И стало тихо. Так тихо, что слышалось, как где-то во глубине стучит чье-то любвиобильное сердце. И паутинка, зацепившись за край каната обрезанного некогда колокола, так трепетала, так отдавалась звукам, что атмосфера, кажется, грохотала, била во

все колокола, просто набат гремел по погибшему человеку! Даже белые голуби – эти твари божьи, даже черные вороны, и те встрянулись на липах и, прислушиваясь, огляделись по сторонам. Даже солнце, выглянув из-за краешка леса на миг, не захотело закатываться. Спаси, Боже, нас от одиночества. Не судите, люди, да не судимы будете... «обездоленное поколение...»

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ. ВОСКРЕСЕНИЕ

Наутро они выглянули из своей колоколенки и ничего не увидели. Туман, утро туманное. Белое, белое молоко.

– Значит, день разыграется, – прочистил глотку свою Иван. – Будет Солнце.

– И какой ныне день недели? – сладко потянулась Мария. – Воскресенье?

– Да, воскресение.

– Что-то мы тут засиделись, – зашевелились и все остальные. – Слышите? Это с веток капель от тумана. От звонка до звонка, от колокола до колокола, от набата к набату.

– От воскресения к воскресению?

– К возрождению.

РАССКАЗ АЛЕКСЕЯ (большого человека)

И чего нам не хватает в жизни, так это духовности, духа святого, национальной идеи. Ведь материальное все уже, кажется, есть. Одни недра у нас чего стоят! Однако же, как во глубине недра эти, так они наши, а как выгашут – уже чьи-то, кому-то принадлежат. А ведь за них ухандокивались поколения. А конкретнее, что лучше – мало или много, часть или целое, личность или коллектив, чего больше в нас – Азии или Европы? Есть реклама такая, идет на первом канале: по лестнице ввысь куда-то по ступенькам, под самые облака, уходит вполне современный человек, наш человек; Русь, и куда же ты... несешься?

В Православие, Самодержавие, Народность.

За Веру, Царя и Отечество.

К Семье, Частной собственности и Государству.

Патриотизм, Государственность, Социальное согласие.

А что делать? И кто виноват?

А что, интересно, делать тем, кто виноват?

А тем – кто не виноват?

– Представьте себе, – сказал Алексей, – что храм наш – это антенна, уходящая в Магелланово облако. Мы в церковной звоннице – как в высшей части антенны. Слышите, как текут через нас токи земные, биотоки всего человечества – ввысь к богам мирозданческим, и уже через наш дух и тело все эти биотоки небесные притекают обратно сюда к Земле, к земным владениям, к людям. Сколько их за эпохи – целые армады сарматские и половецкие растворились в Таврическом – в бессмертном евроазиатском лике степи? И прах людской пополнил недра, а дух плывет в небеси, как «летучий голландец»...

– Алексей! Не говори так красиво, – поморщился Иван. – Конкретно – что, где, когда, почему и во имя чего?

– Вот тебе конкретно! – показал фигу Алеша. – Подле нашего райцентра – ну, возле Адамова – городка нашего – деревенька такая есть – Вавилоновка. Стоит себе века страна моя большая и малая, как у Фолкнера, и никуда не девается. А ведь Вавилон – то извечный, всеобщий, строивший башню из глины до самого верха, давно уж рассыпался. Кстати, слово «Адам» (человек) в переводе с шумерского – «глина»... в глину мы и уходим...

– Ну, и что? – сдвинул брови Иван.

– А то, – не отступал от своего Алексей, – что пора собирать камни. А то на Дунае уж начали бить в ту самую башню, и не только камнями.

– В какую башню?

– И в ту, и в эту.

– Но башня-то Вавилонская одна, а не две.

– Ну да, одна. Индо-европейская. Часть ее продвинулась в Европу и растворилась по границам кельтов и галлов. А эта

звонница торчит костью в горле. И токи идут к ней с Востока, от Солнца (с прародины) и упадают на Запад...

– Крайняя точка запада – это Америка?

– Это на земле если. А если в душе?

– Нет, я больше так не могу, – поморщилась Фрося. – Это слишком абстрактно. А жизнь ведь конкретная, в художественных образах, так, Алеша? Вот ты и скажи, вернее, растолкуй нам историю Вавилона...

– Вы роль Испании знаете, – усмехнулся Алеша, – для Нового Света?

– Ну да, золотые галеоны, корсары южных морей.

– И вот не так давно, в 1898 году, Испания потерпела жестокое поражение. Буквально была расстреляна в южных морях дальнобойной корабельной артиллерией янки. И Куба потеряна, и отошла половина территории Мексики к Штатам – Техас. Нация в кризисе, пали духом испанцы в метрополии, на материке. Всегда были в иллюзиях, что они великие, а тут – нате вам. И только поэты, настоящие из поэтов – они всегда и во всем идут наперекор. С них и началось «Движение 98-го». Порыв, оскорбленная честь и любовь. И Гарсиа Лорка был среди первых. Поэты и подняли камни Испании после дальнобойных орудий и положили в основание новых иллюзий.

«И страсть, и ненависть к Отчизне».

«То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть».

«Испания, глубже, чем море, любая тропинка твоя!»

«Севилья ранит,

Кордова хоронит».

Вот «Дерево песен» великого Гарсиа Лорки, родившегося в 98-м, – в тот трагический год и расстрелянного, когда лично я, а не Алеша, родился. Один убит – у другого режется голос, это так у поэтов.

«Все дрожит

одинокая ветка,

от минувшего горя

и вчерашнего ветра.

Ночью девушка в поле
 тосковала и пела –
 и ловила ту ветку,
 но поймать не успела.
 Ах, луна на ущербе!
 А поймать не успела.
 Сотни серых соцветий
 Оплели ее тело.
 И сама она стала,
 как певучая ветка,
 дрожью давнего горя
 и вчерашнего ветра».

– Я вижу это кольцо, золотое кольцо поэзии! – засмеялся Алеша в узкий проем звонницы так, что, встрепыхнувшись на липах, черные птицы – грачи стали охлопывать себя крыльями, чтобы взлететь, да ведь не поэты, так и останутся тут, где были, жалко следя за полетом других. А в небесах красивы Магеллановы облака, белокипенные эскапады и сарматские кентавриады. – И в это кольцо золотое, сквозь кольцо, спустясь с Гималаев, пройдут они через Север Причерноморья и захлестнут Европу, а другая часть, пройдя по Северной Африке, вторгнется в Кордову... И вот они встретятся в Андалузии – Есенин и Лорка, и замкнут это золотое колечко... И кто же это сказал?

«Если умру я –
 не закрывайте балкона.
 Дети едят апельсины
 (я это вижу с балкона).
 Жницы сжинают пшеницу
 (я это слышу с балкона).

Если умру я –
 не закрывайте балкона».

А это кто?

«До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди...»

«В этой жизни умирать не ново,

Да и жить, конечно, не новей».

И вот они вместе в этом своем золотом кольце, в общем сплаве:

«Никогда я не был на Босфоре...»

«Однако колоколам Кордовы
зорька рада.

В колокола Кордовы
бей, Гранада!»

«...Гранадская волость в Испании есть». «Он пел, озирая родные края: «Гранада, Гранада, Гранада моя!» Бейте же, колокола Кордовы, в год 98-й! Бейте же, колокола, и в наш 99-й! Вы видите, звонница наша шпилем уходит в опять уже синее Небо? Вы слышите, как наши колокола упали и раскололи Землю? «По ком звонит колокол?» Он звонит и по тебе. «Лучше жить стоя, чем умереть на коленях». «На том стояла и стоять будет Русская земля!»

РАССКАЗ ИВАНА (русского человека)

– Спасибо, Алеша, – сказала Мария.

– Спасибо, Мария, – сказал Иван.

– Спасибо, Алеша, Мария, Иван, – сказала Катерина. – Спасибо вам, люди. Спасибо, миры и народы... Спасибо, эпохи и континенты, серебряное эхо тишины.

И все они взяли друг друга за руки. И образовали огромное рондо вокруг всей Земли, которая стала до того маленькой, хрупкой и нежной в этом своем кольце человеческих рук. И зачем тогда НАТО Бампо – с Запада на Восток? И зачем эти белые, черные пятна в глазах Марии и всего оранжевого Солнца, и даже зеленые тучи, грядущие с Востока? А что делать тем, кто виноват, оттого что «озоновые дыры» растут, а запахи олеандров и левкоев пропадают, исчезают надежды? Однако даже «железная леди» обожала левкой...

– Для Рондо нужен характер, невероятные силы, – сказал Алексей. – С чего болеют люди – разрядятся на «озоновых дырах», клянутся, а не восполняют. И вот тебе – чума двадцатого века.

– Под Богом ходим, – сказала покорно Мария. – Так начертано, никуда не уйти.

И все клонилась она на плечи Ивану своей пышной, царственной грудью, хвостом виляла, подыгрывала во всем, даже противно было на это смотреть.

– Вот что, милая, – захотелось сказать Алеше что-нибудь наперекор.

Раздражение, как и у всех тут сидящих в этой кунсткамере, возможно, приобрело бы чудовищные размеры, истощая биоэнергетический ресурс и обращая его в сатанизм, да только Солнце, да День седьмой, да разыгравшаяся натура не позволили им свалиться в «озоновые дыры», в эту черную яму, и улететь. Хорошенького хотелось, светленького, жизнеустойчивого, – «вот что, канальство, заманчиво!» И ждали Алексея – божьего человека. И он, как всякий лидер дневного света, хорошо чувствовал массу.

– Вот что, милая, моя дорогая, – повторил он Марии, жалея заодно и себя, и Володьку. – Кто самый крупный писатель страны в наше время?

– Ну, этот... как его... что вернулся из Америки.

– А почему?

– Да до хрена чего натворил.

– Вот именно, – рассмеялся Алеша. – Вот именно, уникальность, исключительность воли, подключенность. Все знают, что писатель заболел раком. Попал в подмосковном Степановском в 62-й раковый корпус. Все знают, он вышел оттуда живым. Однако не всем известно, не все же читали «Чистые пруды» другого писателя о том же Степановском, о враче-анестезиологе, лечившем писателя; тот жив до сих пор, а врача уже нет... Представьте, изгнать даже рак из себя! Запретить ему в себе развиваться! Так чем же можно было в себе ему противостоять в генноструктурном смысле?.. Что это – общение с духами, что же это?..

«Душа воскресла, – считаю я, – после того, через что перешел он в «Последнем дне Ивана Денисовича».

Душа не позволила телу расслабиться и исчезнуть, не исполнив заветы... Ну, что скажет об этом Иван не Денисович? Кажется, пришла его очередь?»

– Фактический факт, – подмигнул Марии Иван и подал руку для рукопожатия не Алеше, а почему-то Володке. – История такова. Сюжет все знают, у всех на слуху... Итак, ресурсы таинственности, мистические возможности человечества... Наш областной город ныне университетский. А когда-то в нем был пединститут и ректором некто А. – крупный такой, серьезный дядька, с шапкой рыжих, странно пуховых волос. Сам ушел на пенсию, в небытие. Зато дочка у него стала доктором наук, ученым. Причем – настоящим, с интуицией. И послали ее на гранты в Испанию, по специальности. А тут отец заболел, да той болезнью, которая вслух не произносится... Она там – а он тут, она там – а он тут. И вот уж совсем приходят концы ему, однако он все ждет ее, а она все там – а он все тут... Представляете?

– Ну-ну, – заинтересованно зашевелились все сидящие на соломе.

И Солнце вроде глянуло ярче, и денек разыгрался. Магелланово облако уплывало куда-то в Испанию, а уже из Испании, скорее всего, в Америку, по всем срезам времени и пространства.

– Нет, вы себе этого представить не можете, – глядел Иван на одинокое белое облако, исчезающее за горизонтом. – У нас бабушка была прикована ровно на два года и три месяца. Так вот ее, утлую, надо было переворачивать, «утку» подставлять, содержать. А тут этот дядька – гигант тела при скудости мысли. Один пунктик засел в нем и пронзил: дожждаться дочери!.. Прилетела птичка сегодня, а завтра, придя в себя, он увидел ее и, отмучившись, отлетел... Она же знала все про отца и, однако, пробыла в Испании ровно столько, сколько ей было нужно... Смерть или воскресение души?

Мария молчала. Катерина молчала. И Фрося молчала, пропуская кого-то вперед, уже не лицемеря. Первым завидуют, первых сшибают и изничтожают даже физически, и особенно среди граций, новаций и деградаций. Она это знала, они все уже это знали, хотя еще не получили, как говорится, даже «аттестата зрелости».

– А я думаю о Есенине и о Лорке, – сказал Алеша.

– Я думаю об Иосифе, – сказала Мария. – И о Сиде.

– А я о Сексе, – откровенно сказала Катерина. – О быстрых секундах.

– А я все-таки о Кавказе, – сказал Володька, спазм сдавил ему горло.

– А ты, Фрося?

– А я – о себе, – покраснела Евфросинья и отвернулась.

«Если хоть одному сердцу не позволю разбиться,

Я не напрасно жила...

Если хоть одной замерзшей птице

верну частицу тепла,

Я не напрасно жила».

Она сказала это когда-то. И поэтические грезы Эмили Дикинсон не расстались с Америкой, они спасли не ее, а штаты, сойдя к нам сюда с Магеллановых облаков. И через антенну восприняты нами все врозь и все вместе. И мы не напрасно живем. А ведь могли бы друг друга и перестрелять хотя бы глазами, передуть друг друга хотя бы в объятьях и выбросить из сердца вон, и с колокольни долой... Если бы не Эмили Дикинсон...

– Секст Эмпирик, – засмеялся Иван, перехватывая инициативу.

«Секс», – подумав, молчали все остальные.

– Ну что, когда-нибудь мы уйдем домой отсюда?! – ребром поставила вопрос эта реальная, прагматичная Фрося. – Бабке моей надоело уж сумки сюда таскать.

Все только и думали об этом, а она одна выразила. И все покосились на Володьку: он-то чего помалкивает? Ему на Кавказ собираться, а он себе на уме. Алексей под Богом ходит, в монастырь метит, в высшие сферы, у Ивана – какие-то льготы, дядька где-то в генштабе. И, кабы несколько ранее, уехал бы он за туманом на великие стройки. И только Володьке за всех отдувайся – ни льгот у него и ни «лапы», – тяни за всех, деревенька!..

И Иван помалкивает: что это такое «блат»? По-старому так и называется «блат». А ныне, черт знает что, «блат» не говорят, а

только подразумевают, новые слова еще не устоялись, официального статуса не имеют... одни только деньги...

– Пойду сбегая к Синей Скале, – сказала эта всегда активная Фрося. – Водички святой принесу.

– И я с тобой, – увязалась Ниночка.

– И я, – как пробка, из соломы выскочила Катюша.

– Еще чего! – сказала, как отрезала, Фрося. – Жеребцы тут, а вы там? Без меня покатайтесь тут по ипподромчику.

– Лично я коллективным сексом не занимаюсь, – подобрала губы свои Катерина.

РАССКАЗ МАРИИ (этой Розы Мира)

– Нет, мы без рассказа вас не отпустим, – сказали ребята, сидящие на соломе. – Утром – стулья, вечером...

– ...звания, – засмеялась Фрося.

– Какие звания?

– Ну, заслуженного агронома.

– Ага, сеем разумное, доброе, вечное.

– А черные вороны на суку к нам прислушиваются.

– Прислушивают... перлюстрируют... тащат...

– Кто?

– Да воронье же.

Черный ворон, черный ворон, Да ты не вейся над моею головой.

Да на добычу не надейся,

Эх да, черный ворон,

Я не твой!

– Любимая песня батьки Махно.

– А Колчака?

– О! Это интеллигент, большой ученый, мореплаватель, морской офицер – адмирал... Когда расстреливали его под Красноярском, попросил, говорят, гитару и лично спел «Глядя на луч пурпурного заката»...

– Красиво же умирать могут русские!

– А жить?

И пауза. Долгая пауза. Очень долгая пауза. Все дело, оказывается, в этой самой паузе – в молчании и умолчании. Ну, что же ты, Мария, молчишь? Рассказывай, дорогая, божественная, из чьего ребра и для чего, с какой целью ты создана?

– Из Володькиного, – вслух сказала Мария.

– Наблатыкалась-то как, посидела тут среди умных.

– Губа не дура, служанка теперь двух господ.

– Он был малый не дурак, но и дурак не малый.

– Да хватит вам, хватит!

– Это мелкая провокация, а так мы любим друг друга. Да, Володь? Вернее, да, Вань?

– Да вынь? Вынь да положь.

– Хоть вынь да положь, а гони, отец, денег на шубу. Дочь уж невеста.

– Тры-ты-ты, ты-ты, ты-ты!.. Все, реагируй, Мария, рассказывай. А то у нас не дожدهшься, когда сифон перекроется...

И Мария задумалась, представляя, что предстояло ей рассказать. А Магелланово облако высверкнуло в сознании и уплыло, но искра Божья осталась, – неизвестно чья: ее ли собственная, от отца-матери, или от кого еще, может, от Ивана или от Володьки, а все равно нельзя было ее осязать. Хотя бы подержаться за нее, ухватить за хвост, как комету, но не ту, что в августе должна пройти где-то близко в пределах Земли и рассыпаться в беспределах, а совсем махонькая – в груди ее, мягкой и теплой, где-то внутри, где рождаются бессловесные чувства и ощущения... Мистика, Нострадамус беззнаковый... А еще говорят, «наблатыкалась, посидела тут среди умных», – а ну, полежи строкой среди книг. А всего прочитала одну «Золотую философию» Павла Таранова...

– Ладно, – вслух сказала Мария, – вот вам на сегодня история... Так вот, чему я научилась тут, что приобрела, так это прозрение. Время научило разъединять и соединять, как мне вздумается. Чтобы видеть и предвидеть...

– Все такие умные стали тут за неделю, просто ужас, – задержались, зашевелили соломой ребята. – Ну, прямо хоть убивай.

– Чувствую себя глубоко пожившей, – кинула Мария свое сокровенное прямо перед собой в пустое пространство. – Не знаю, с кем дожила до преклонных лет – с Володькой или Ванюшей?

– С Иваном, Иваном! – подсказали ей всем коллективом. – Сама же сказала, Володька из Чечни не вернется.

– Ну, значит, такой разговор у нас ночью в постели. Представьте себе, это происходит не через десятилетия, а уже нынешней осенью...

– Президент, говорят, уйдет, – подсказал Алеша.

– И тут же 2000-й год от Рождества Христова настанет, – высказалась Фрося.

– Ну да, и Первый Президент отправится отмывать себя в Вифлеем, – соединила Мария известное с неизвестным и выдала третье – возможное, ею предположенное.. – И вишни любимые привезут ему туда из Парижа, и слева сядет грузин, а справа – белорус. И это будут ему последние почести. Как и орден Рыцаря Гроба Господня, которому уже более пятисот лет... И станет он у нас своим «крестоносцем» за храм Спасителя в Москве, за спасение нас от неверия...

– И тевтонцы шли сюда... и танки двигались со крестами...

И пауза. А ответа нет. Отвечать будем после. За все сразу. При любой эстетике и погоде. Для чего это Первый Президент совершил свой «хадж»?

– А чтобы причислили к лику святых.

– ??

– А что же Иосиф?

– Какой? Библейский или... Сначала положили вместе, а потом вынесли. И черные, черные камни на белом.

– А у Хрущева?

– А черное и белое, белое и черное – равно.

– А этот? Ну, первый...

– Два белых на черном. Пятьсот тысяч в год... Скажите, ИЧК разве это Восток?

– Восток.

– А куда Восток совершает свой «хадж»?

– Да в Мекку, к каабе.

– Когда-то камень был белоснежным, но почернел от горя людского и пережитищ...

– Да что вы мне все про первых-вторых! – вспыхнула и отвернулась к Ивану Мария. – Я просто устала от нашей бедности, землетрясений. Дайте покой...

– Ты быстро состарилась, мать, потеряла самое главное – инстинкт самосохранения, – сказал Иван. – Ева без Адама ничто, в одиночку не спастись... Когда шестимильярдный житель планеты окажется в таком же возрасте, как и мы сейчас, три черных камня лягут на один белый...

– Так, так, – задержались на соломе, запрыгали они попарно и поодиночке. «Так кто же все-таки прав – Мария или Иван? Если Мария – матриархат, то это уже пройдено, было. А если Иван – то это, как яблоко в райском саду: кому хочется откусить, а кому и не хочется...»

– Козлы! – разозлился Володька в конце концов. – Не в символах дело, это форма, а в содержании стареет тело, а если душа, то входит в нее сатанизм, ведь мы не так уж далеки от каннибализма... Как перепуган был Робинзон, когда увидел след человеческой ноги на песке... Спасибо, Мария, за твой монолог. Но я, пожалуй, за диалог. Я, Маша, за воскресение...

РАССКАЗ НИНОЧКИ

(и снова люди, люди)

И воскресный день продолжался. И казался длинным, таким длинным, ну просто нескончаемым, такой вот попался денек. Все успели: и проснуться с Солнцем, и кое-чего перехватить из остатков еды, принесенной из дому бабкой Фросиной и самой Фросей. Успели и в степь широкую с высоты наглядеться, и в колокола грянуть мысленно, когда увидели мысленно же полчища летящих сюда на них степняков. И рассказы свои рассказать про то да про се. И все смешалось, забылось даже, с чего начиналось, да и не знали, чем все это кончится, а кабы знали, разве бы начинали?..

Вот Ниночка все возле Володьки крутится – гетера египетская, а Володя опять возле Марии из сексуальных соображений, а не возле этой мумии – «сайты» этой из Древнего Египта. Хотя Ниночка – ладненькая такая, невысокенькая – ну, метр пятьдесят, ну от силы метр пятьдесят пять с гаком. Это как Врата Смирения в Вифлеемской пещере, где родился Христос, они там высотой всего каких-то метр двадцать. По одной версии – для того, чтобы иноверцы не могли въезжать в христианскую святыню на коне. А по другой – чтобы всяк входящий склонял голову перед Богом – Иисусом Христом... Под такую вот нишу должны ниц склонить себя все из тех, кто прибыл коснуться губами Звезды Вифлеемской – серебряной четырнадцатиконечной, по числу лет от Диоклетиана до Рождения Спасителя; латынью тут и означено: «Здесь от девы Марии родился Иисус Христос...»

– Ну, так что, Ниночка, ляжешь на солому или еще постоишь, стоя рассказ свой расскажешь?

– А о чем?

– Да о матриархате же, о женской эпохе.

– Не знаю, – откровенно уже оперлась о Володьку Ниночка. – В Древнем Египте, однако, фараонами были только мужчины.

– А Нефертити? Мужчина – глава, а женщина – шея...

– Я поняла вас, – прошла и присела в углу своем Ниночка. – И вот мой рассказ. Да, из тысячи дней и всего одной ночи... Это было давно, не после того, а за две тысячи лет. И, конечно же, в Древнем Египте. Володька еще не родился тут (да, Володь?), а я там уж была... Как известно, я жила в одном из самых роскошных дворцов, на берегу Нила. Каждое утро я подставляла грудь ветру пустыни, и он, пескоструйный, биясь в мое смуглое тело, совершал его омовение. А ветер с моря осушал на щеках моих тихие слезы. И вот однажды я увидела, как безлюдной улицей гонят бичами рабов. «Наверно, на юг, – подумала я. – В город мертвых, где строят усыпальницы для фараонов – эти египетские пирамиды». Один из рабов – самый худой, самый жалкий – упал предо мной, и бич рассек ему кожу плеча.

– Не смей! – кинулась я к биченосцу. И я выбрала это жалкое, совершенно ничтожное существо, споря с самим Небом, с самими

Богами. Я и тогда была молодой и страстной. И сила моя была в том, что мне и тогда никто ни в чем не перечил – ни биченосцы, ни даже над стражником стражники, ни в доме отца. Я выбрала, – вот и все! Самого падшего, ничтожного, жалкого, я – самая красивая, элегантная женщина Александрии... Однако что же произошло? Раб не хотел покоряться!.. Ну да, Володь, помнишь, ты не хотел покориться. Не захотел войти в мой дом, все стремился обратно туда, под бичи... Да, Володь, ты боялся тогда, но чего?..

– Красоты?

– Да нет, скорее, обновления жизни, – пожалала плечами Ниночка. – Однажды, войдя ко мне, он сразу же стал стремиться куда-то на Север, откуда однажды принесло чудо – белую хрупкость снега, тающего налету. И я предсказала, что он там... ну ты, Володь, еще раз там родишься... через три с половиной тысячи лет. И я еще раз захочу там родиться, чтобы быть всегда вместе с тобой...

– Врешь ты все это, – сказал Ниночке лениво Володька. – Не был я ни в каком Египте твоём, – ни тогда, ни сейчас.

– А розы?

– Что розы?

– А розы в саду моем – чайные, они же, царапнув, оставили тебе шрам на щеке. Вот, смотрите, неизгладимый след.

– Это след от собаки. Она полоснула клыком, – когда я крал ее у соседа, чтобы сшить себе шапку.

– А эти глаза?

– Что глаза?

– А эти глаза твои голубые? Они же стали такими от Голубого Нила, по которому мы с тобой стали плавать при закате в папирусной лодке?

– Они всегда такие, от матери, – усмехнулся Володька, ковыряя в зубах соломинкой. – Вон у Марии – если серые, так серые, а не голубые.

– При чем тут Мария? А эта кожа твоя на роже... ну, на лице?

– Что кожа?

– Да эта белая кожа лица твоего, – опустила голову Ниночка и покраснела. – Да я же две зимы и три лета возила тебя по Голубому

Нилу – на юг в горы, к снегам Килиманджаро... И эта кожа побелела от снега.

– Ну, ты даешь, ха-ха, – рассмеялся Володька. – Просто-напросто черной она никогда не была. Что я тебе – озокерит? Все же я с утра умываюсь, – и он ущипнул Ниночку за бок.

– Дурак, – отбив руку, четко выговорила Ниночка. – Каждый день умываться надо, а не раз в месяц.

– Не обязательно. Это для образованных, а мы пока без дипломов...

Вот так и заканчивался этот Ниночкин разговор на египетско-русскую тему, сюжетец из ее тысячи дней и одной ночи. – Но при чем тут «ночи», скажете вы, где тут «ночь»? По-вашему, все это было давно и неправда, и «днем», конечно, когда же еще? – «А по моему, все наоборот, – сказала бы Ниночка, спроси ее тоньше как, поинтимнее, с долей трезвости и секса. – Так вот, по-египетски там, где ночь, – это день. А по-нашенски, по-русски, там, где день, – это ночь. Значит, тысяча дней и одна ночь – это все наоборот». – «Ну да, как и то, как и начать с того, чтобы вскочить на броню танка, а закончить «Песенкой про биржу»: «Стою на полустаночке, держу лимоны в баночке, а мимо пролетают поезда». – А что, разве не так?

– Ну, так что же дальше-то, а, Володь? – жалась к нему плечиком Ниночка из высших египетских соображений. – Вот уже неделя на исходе, как все мы тут. Воскресенье уже, сколько можно? Да ведь супчику уже захотелось...

– А пойдём-ка, милочка, сходим домой.

– Слышь? Опять где-то мотор. Опять эти самые... гробокопатели?!

– Все золото ищут, коронки рвут вместе с зубами.

– И, слава Богу, век двадцатый уходит. Зело был жесток и кровав.

– А век двадцать первый?

– Итак, корона на Солнце, протуберанцы. – «Товарищ полковник! Разрешите стать в строй? – Слушай мою команду: взя-я-ять ногу?! – Как ногу? – Ну, взять... эти, как их, протуберанцы в ранцы! – Есть, товарищ полковник. Но чем? Железными ложками

Сабуровское поле или деревянными? – Нужно есть, дорогие мои, чтобы жить. Но не жить, чтобы есть» – кошмарная ситуация.

РАССКАЗ ВОЛОДЬКИ

– Товарищ полковник – это кто, это я в будущем? – уставился в Ниночку жестким взглядом Володька.

– Нет, это полковник из анекдота, товарищ генерал, – рассмеялся Иван.

– Как, я уже генерал? – удивился Володька. – Еще и в военкомат не являлся, а уже генерал?

– А как дворянский недоросль Петруша Гринев. Не служил еще, а уже офицер. Солдат спит, а служба идет...

Вот так незаметно и начался последний Володькин рассказ о воскресении души.

– Понял тему, Володь? Давай.

– Хоть ни черта и не понял, что будет с нами даже через неделю, а не то, что через три месяца, – ухмыльнулся Володька. – Но давать надо! Берите демократии, сколько влезет, по самое горло. Это – эпиграф...

Итак, продолжение следует. Да, братцы! И как я оказался там, в Древнем Египте, под бичами в колонне рабов? Это военнопленных с Северного Кавказа гнали, как вы понимаете, на строительство египетских пирамид. Однако, здрас-ссте!.. Помню хорошо, как сейчас помню, и улочку ту (что-то вроде улицы Расстрелли в Питере, такая гармоничная линия, одномерные здания, только понизу, помню, по асфальту мелкий яркий песок из раскаленной Сахары). Помню и дверцу из дома с беломраморной доской, а по ней надпись о том, что тут, мол, расположено знаменитое хореографическое училище имени Вагановой. И вот из дверцы той, из училища, вываливается в мир этот из мира того хотя бы... ты, Ниночка...

– Но она же на повара собирается, как она очутилась в хореографическом? – зашевелилась солома и где-то там на моторе машины, и тут, под Фросей, в уголке лежащей, то же самое

звуки. И копыта уже не цокали внизу по каменным плитам храма, как капли дождя, это солома смягчала голоса и шаги. Кстати, солома на Руси была всегда, а на крышах совсем еще ведь недавно – в каких-нибудь шестидесятих годах, не так ли? – не-спа? Вот от чего мы пляшем – от соломы и печки...

– Да, ну и как же ты, Ниночка, оказалась в хореографическом?

– А как ты, Володя, полковником?

– Представьте себе, я собирался в хореографическое, – усмехнулся Володька. – К Махмуту Эсамбаеву или Галине Улановой – не помню к кому...

– Ну да?

– Да, но что из этого вышло? Как рассказывал мне один приятель, – продолжал Володька, воодушевляясь, с большой долей иронии приняв Ниночкин вызов, – все дело-то в случае. Шерше ля фам – ищите женщину, то есть все дело в матриархате, да, Ниночка?

– Да, – насторожась, разулыбалась искусственно Ниночка.

– Да-да, – сделала Фрося большие глаза.

– А ты, карась красноглазый, помолчи, – одернул ее Володька. – Мы с Ниночкой играем в Древний Египет, у нас с ней, как говорится, история с бородой, свои отношения. А ты погоди, не лезь поперек батьки в пекло. Да, Ниночка? У нас с тобой «постскрипtum» – продолжение следует.

– Да-да, – тоже с некоторым удивлением смотрела на Владимира Ниночка. – И какая же у нас такая история, кроме, конечно, египетской, интересно?

– А такая, – тряхнул Володька оптимистически своей рыжей башкой. – Помнится, там, в твоём Древнем Египте, когда мы с тобой на папирусной лодке катались вокруг Килиманджаро, мне уже тогда надо было собираться на Север к себе, в это самое хореографическое имени Вагановой. Ищу ботинки, а одного нет. А босиком нельзя же по пустыне – раскаленный песок.

– Рабу можно, – не выдержав, вставила Ниночка.

– Так я уже был не раб, – я уже расковался, свободный человек. Мысли летят, как кони, да по башке, как оглоблей, аж искры из глаз.

А ботинка-то нет. Я – туда, я – сюда, где ботинок, твою дивизию?! А ты, как сейчас помню, стоишь, молчишь – нагишом, в пескоструйном своем костюме. Ничья интеллектуальная собственность. А у меня поездка на Север срывается, заграничная командировка, экзамен в это самое хореографическое ...

– Эх ты, деревня! – не вынесла теперь уже Катерина. – Да где же ты видел, чтобы хоть один-единственный человек из деревни в такие училища попадал? Как и, скажем, в ИМО – Институт международных отношений? Это как у Яшки-артиллериста; раз-два – и мимо!! Так вот, это же для элиты, для городских, для начальников, это ихним чадам элитным с трех-четырёх лет мозги там компостировать начинают да руки-ноги выкручивать. А наш удел – военные училища, сельхозтехника, электрооильные аппараты...

– Вот я так это и понял, – захохотал Володька. – Плюнул я на этот ботинок, швырнул в угол да так босиком и явился в другое училище – военное, имени князя Игоря. Туда всех босых как раз принимали – в армии, мол, обуют, оденут да еще и на табак дадут. Вот так и стал я полковником у Святослава Рихтера.

– При чем тут... Рихтер? – обиделась Ниночка, за кого ее принимают.

– Ну, тогда не этого, а того Святослава... как фамилия?... Ну, сына князя Игоря, который в плен попался к половцам, когда ходил с малой дружиной на Дикую степь.

– А не ходил князь Игорь на половцев и в плен, тем более, не попадал, – заметил Алеша. – Это так написали в эпосе песнетворцы Игоревы – Боян и Ходына. Но, как сказано у академиков, князь Игорь совершил не совсем удачный поход на Царьград. И я там был (в качестве полковника варяжского), мед-пиво пил, по усам текло, а в рот все как-то не попадало...

– Может, еврейская у тебя кровь-то? Так в каганат тебя надо было, хазары бы денег дали.

– Нет, варяжская кровь – викингская, – отмахнулся Володька от него, как от слепня. – Я был полковником все же у викингов...

А пчела над ухом, а пчела над ухом – вот изгаляется, пчелочка эта златая.

– И опять Нинка меня подвела, – подмигнул Володька Марии как бывшей своей любовнице.

– И чем же я тебя подвела, интересно?

– А сапог хромовый – полковничий мой на мед случайно поставила, а он так и прилип, как припаяло. Там же юг, Византия, солнца навалом, как прижарило – намертво, все, сапог от почвы не оторвать. Князь Игорь уж в свиту меня зачисляет, я же полковник, чтобы ехать в Стамбул. К этим сразу двум царям византийским на одном-единственном ихнем престоле, а я – без сапог. Так и пришлось идти босиком к ним туда на прием. И все мои тоже разулись из солидарности.

– А Ниночка?

– А Ниночка осталась на берегу. Берег на Золотом Роге называется Ма-ма, А в Забайкалье – река такая, тоже Мама, но Правая Мама, где залегают золото и брильянты... Так Нина там осталась котлеты жарить...

—Где?

– На Маме, что у Золотого Рога.

– Господи! – задергались все на соломе. – Как растрепался, как перед смертью, перед концом света. Вот брехло, ну и что дальше-то, дальше в твоей «двойной» бухгалтерии – реалиях и фантастике?

– А ничего, – надул и без того свои припухлые, нацелованные Марусей, губы Володька. – А то, что вернулись мы от греческих царей, а они мне тут же сапоги следом шлют. Один сапог новый, неразношенный – Константин Багрянородный, а другой сапог – этот, как его... ну тоже император, но победнее... Семен Лакапин... но он не хромовый сапог подарил, а кирзовый, и размером поменьше. Я его тут же Ниночке сбаврил, да, Нин?.. Ух, и погуляли! Ух, и по-гул-ляли! На Маме-то... Как грянули казаки «Марусю»:

– Распрягайте, хлопцы, коней!..

Маруся, раз-два-три!..

Мару...

– Почему хоть про Марусю-то? – обиделась Ниночка. – А не про меня?

– А про тебя песни такой еще не написано, – загоготал Володька. – Про тебя грузины поют... про царицу чи Нину (Брегвадзе), чи Тамару (Церетели)... И, вообще, про кого хочу, про того и пою. Скользящий график – патриархат. Ночь и голос, душа и сердце, кого хочу – того дарю. Да, Мария?.. А все равно дядьку моего родного – материна брата – в Брест-Литовске в сорок первом убили. Полковником на заставу пограничную срочно послали при полном боевом, в сапогах, пока другие второй сапог под лавкой искали... вот сорок первый – самый опасный – и пролетел ...

И тут гром неожиданно-негаданно над колокольной как шандарахнет, словно набат, эхо донеслось аж с Северного Кавказа, даже в горле запершило, затрепыхалось что-то под ложечкой. И забусил дождь. И пчелочка золотая как влетела в звонницу да как присела на плечо Фросе, так и давай кувыркаться, куражиться то над слухом – то над зрением, то к уху – то к глазу прицеливаться.

«Пчелочка золотая
Над челочкой кружит.
Около летает,
Весело жужжит.
У моей у Фроси
Русая коса.
Лента голубая
Ниже пояса».

– Ну, и Володька! Вот расковался, удержу никакого! – выдала Фрося при всех внутренним своим порывом, а сама все побаивалась стервы этой, пчелы. Хоть в бронежилет лезь от нее, хоть в рыцарские доспехи. – Вот, девки, кто может его укротить, так это он вот, Володька!

РАССКАЗ КАТЕРИНЫ

- Типун тебе, пущай живет, – возразила Катерина.
- Но ведь кто-то уже нацелился.
- Не в того целит.

– Теперь дома, небось, уж едят гуся с горчицей, – вздохнула Фрося. – К воскресенью приготовили. Отцу – голову, маме – гузку, брату – бражки в кружку...

– А тебе, Фрося, крылышки, кры...

И тут как шандарахнет еще раз над головой, словно жар-птица метнется в проеме. Да еще раз, еще! Да еще разочек как прибабахнет!! Ажник в глазах всполохи, да серой как будто им банулов нос – паленым запахло.

Аж в груди-то пошло эхо витками гулять от самого Северного Кавказа, от чисто внешнего по чисто внутреннему периметру всей нашей жизни, сверху вниз до самых глубин биоэнергетических. Эхо это вернется на исходные только к новогодней ночи, когда начнут во дворах, на нашу голову, хлопать китайскими фейерверками... украшениями – «хлопалками»...

– Свят, свят, – бормочет кто-то в углу, кажется, Алеша.

– Граждане, граждане! – шепчет Иван неистово.

А девки сбились в кучку и молчат, безгреховные. И скачут половцы, докатываются сюда со стороны Византии черноморские волны. И с ними дядька Черномор с хоругвями белыми, а по белому – лики, все лики, а меж ними Катя... рина – рина... Эх Марина...

«Кто создан из камня, кто создан из глины,

А я серебрясь и сверкаю!

Мне дело – измена, мне имя – Марина.

Я – бренная пена морская.

Эх, Алеша, Алеша – поэт аполлоновский! Укрой же меня от волны, от войны, от новой страны – чужой стороны, от меня самого – дионисийского, бренного, неубиенного!..

О Марина, о Катерина!..

«Дробясь о гранитные ваши колена,

Я с каждой волной воскресая!

Да здравствует пена – веселая пена,

Высокая пена морская!»

Морская – мирская, инородная – иногородняя. Я – Володька, Владимир, владею миром, но не владею, кажется, даже собой.

Все эти волны, удары молнии сокрушают меня, и я, как лошадь, загнанная в мыле, прищипоренная смелым ездоком. Чужое ломит, а свое убивает... Сергей, помоги устоять, отстояться... Время твое пришло, биархат!..

Катерина! Гони свой рассказ... Пчелочка золотая, пчелочка золотая, весело летая...

Пучком соломы Володька вытер вспотевший лоб. На соломе отпечатались пальцы...

Гроздь грома и розги молний! Удары судьбы! Искры из глаз просыпались, качнулся Холм Перунов, зашаталась звонница, там по стене ближе к трещинам брызнули «минусы», «Европа-плюс», а тут «минусы-минусы»...

В мгновение ока Володька обмахнул взглядом картину: Истамбул – Константинополь, берег Мама, река Правая Мама: «Маруся, раз-два-три»... Пчела жужжащая укусила Фросю, Фрося упала на солому, прикрылась рукой, – самые страшные, самые беспощадные пчелы – кавказские или из Африки, Южной Америки... Все просто офонарели. Молнии стояли в сверкании молний, молнии отложились на них. Три черных камня на белом...

– Катя, Катерина, ну давай же! – крикнул Володька.

Катерина побледнела и начала.

– Я за нее перескажу, – показала она на Фросю, ничком лежащую от укуса пчелы. – Вернее, от ее имени, пока она спит... Правда, она не боится ос, даже волка пчелиного – шершня, зато страшно боится пчел. Помните «Железную волю» Лескова? Немец такой, с трезвым немецким характером – Гуго Карлович Пекторалис, тоже ведь совсем не боялся ос. Согласно известной немецкой бережливости, он на дороге поднял нечто живое, серое, шевелящееся и сунул за пазуху. Оказалось – осы, они пригрелись, ожили и стали себя проявлять. А Гуго как раз состязался с русским купцом по части поедания блинов, кто кого переест. Немец ел и терпел этих ос, ел и терпел, как они ширяли, жилили, пока не свалился замертво...

– А вот дед ее, – показала Катя снова на Фросю, – пришел с войны, из германского плена, шкелет шкелетом, едва живой.

Пчелок развел, сажал их себе на руки, на поясицу – тем и спасся. А вот уже отец ее же, – в третий раз показала она на Фросю, – в материнскую породу пошел, так ему одного укуса пчелы было достаточно. Однажды едва откачали. Так он председателем кооператива был, но на огород к себе ни ногой, жена на огороде работала. Ну, конечно, говорят про него, мол, начальство ты, председатель. А дело-то в чем – в полете пчелы. Рой однажды вот так повисел над ним, покрутился черным винтом – так тот Богу душу едва не отдал. Думал – каюк, да, Фрось?..

Фрося и не шевельнулась. Лежала белая как полотно.

– Да, Фрось? – стали толкать ее, тормошить. – Что ты, как колода, обездвиженная и обезжизненная?

Про других-то рассказывали, а про себя и не думали. А тут подумали, да еще как! Испугались до смерти. За знамение какое-то приняли, за результаты ударов с неба по колокольне без громоотвода... Бедный, бедный Крузо! Куда тебя занесло? Даже Крузо на необитаемом острове вроде как поставил над хижинкой шест...

– Слушай сюда, девки, надо за водой! – спохватился Володька – не президент, но все же первый тут, самый заводной, это он их сюда, на Перунов-то Холм, «смассовал».

– А может, наоборот, ее на себе туда? К ключу, к Синим Скалам, к святой-то воде?

– Ну давай.

– Однако там внизу, возле церкви, работает мотор «соломенный», эти варвары бродят!

– А куда деваться.

Спустились по узенькой лестнице. Рыкнули ржавой петлей, отворяя врата. Едва за вратами почуяли землю ногами, как тут же положили Фросю пониже на травку. Тут же кто-то побежал за водой, а Катерина все же досказала свою историю:

– Вот Фрося от отца-то и стала такой. На пчел страшным образом реагирующей. Девка прямо-таки замирает, как услышит пчелу. Вот хотя бы по телевизору «Полет шмеля» Римского-Корсакова – инструментальную картинку. Или эту сказку Пушкина про царя Салтана, как пчела в нос ужалила Бабариху. Или любой тонкий звук

по телевизору, как начинают что-либо химичить просто технически, или ложь какую-либо особо тонкую построить, интригу направленную – в 25-й кадр, так я и замираю, ужас охватывает... Нервная больно, не выдерживаю потрясения, как и Фрося...

– Вот почему она ироничная, как бы агрессивная.

– Да уж так, защита это, первая нападает.

Принесли воды от Синей Скалы. Покропили святой водой Фросю – по рукам, по ногам, по платьишку. На лице после сосредоточились. Однако мутное море молчало. Мичман Малинкин миновал мыс Марии. – Мама, морковку мою? – Моют, милая, моют. – Мылом? – М-м-м-... Вместо «Мелодии» у нас тут в Орле опять Эм-Эм-Эм: «Мир мягкой мебели».

Это к тому ирония по отношению к Фросе, что не верится в худшее, ее же оружием пользуемся, клин вышибают клином.

РАССКАЗ ФРОСИ

Стоит перед Фросей Володька: неужто от малой пчелы помирают? Душой и мыслью переходит грань вместе с Фросей, молча лежащей. «Пчелочка золотая, что значит твое слово «минус»? Европа-плюс, а тут «минус». Какой в этом смысл?» – тут Володька склонился над ней.

– Какой резус? – шевельнулась Фрося, не открывая глаз. – Не как у всех у меня – отрицательный резус. Это для переливания крови.

И пауза. И тишина. И вместе с воздухом истекают флора и фауна из нее едва слышимо. Володя над ней склоняется ниже, все ниже.

– Замуж нельзя... и детей нельзя... буду всю жизнь одинока... одиночество съест...

И опять пауза все длиннее, все безвоздушнее. А Володя все ниже, все ближе к ее губам.

– Люблю тебя, – потянулась Фрося к нему губами. – Всегда любила... Только боялась... этот минус... пчелочка золотая – жизнь она прекратит...

– Не смей, – коснулся Володя холодеющих губ. И это придало ей сил, она заговорила горячо, прерывисто, словно в бреду:

– Я лечу на огромном солнцелете вокруг Земли. Потoki Солнца разгоняют летательный аппарат, и мчусь я со скоростью света...

Она захрипела, и голос ее стал глуше, прерывистее. Володя повторял за ней, чтобы слышали все:

– Я лечу птицей сама по себе, как на крыльях... сама по себе.

– Я вижу горы, реки, долины, села и города... села и города.

– И сквозь мантию предвижу истощенные недра... пустые и истощенные.

– И серый ком шевелится на поверхности Земли – это уже пятнадцать миллиардов. Пятнадцать миллиардов.

– Я пчелочка золотая лечу к палящему Солнцу, перелетаю на другие планеты... Пчелочка золотая, на другие планеты.

– И со мной вы все, люди, люди... Спасите меня, я не хочу улетать!..

И пауза. И опять тишина. И где-то клетот мотора, в храме капает капля.

– Не улетай, Фрося! – закричала Мария и все они. – Пчелочка наша, не улетай!

– Не улетай, не улетай! – вторя, отвечали им гулкие стены, весь Перунов Холм, ветер с кладбищенских лип. Эти странные, черные птицы – грачи, с граем взмывшие перед натиском конницы из Дикого поля. Как они обволакивали всех нас ужасом своих вечно черных крыльев, вечно черными своими, страннопримными, половецкими граями...

Из-за кладбища сюда к ним вылетела та самая машина с «соломенным» мотором. Из машины высыпали ночные гости – гробокопатели с «соломенными» автоматами. Одновременно сюда же, на Перунов Холм, из степи вылетели конные лавы, всадники с «соломенными» же клинками. И прямо на глазах сабли эти скрестились с автоматами, а гробокопатели стали превращаться в кентавров... Какая разница, что на соломе, а что на сене – с Востока на Запад?..

Так, с конями слившись, они и въехали в Храм Божьей Матери, толкая впереди себя его – Володьку, и вроде всех их, даже Фросю. Это они взяли всех в заложники, приставили к алтарю...

– Спаси, Боже! Защити, Богородица!..

И тут в окна глянуло солнце, и грянули гимны – красивая такая, в сладком томлении музыка. Она заменила сразу все страхи и ужасы невыразимой грустью своей без слов, за которой угадывалось что-то свое, человеческое, христианское, может, даже что-то персидское, древнеегипетское, однако тоже на-правленное, как и «пи» в пирамиде Хеопса, в сторону Солнца...

Володька очнулся – глубокий, полуобморочный сон. Что это? Он – Владимир, а не может войти даже в храм Казанской Божьей Матери, Богородицы нашей – защитницы людской на Перуновом Холме. Все реально: ржавый замок на воротах, где-то за кладбищем урчанье мотора, а в кармане у него (да вот же она) повестка в райвоенкомат, к осени возможно свидание с Лермонтовским провалом...

– Слушай сюда, – сказал Владимир за спину себе сразу всем тут, реально присутствующим. – Ребята, а какой день недели сегодня?

– Воскресенье.

– Просто воскресенье? – удивился Владимир.

– Как всегда. Так и живем от воскресения к воскресению.

– Значит, воскресенье нынешнее, а не завтрашнее? – добивался

Володька. – Россия 99-го, как Испания 98-го...

– И сколько мы же тут?

– Два по полчаса, – сказала Катерина. – Стоять перед дверью-то. Вон Иван побежал на ферму за ломом, откроем сейчас и войдем...

«Значит, не было никакой седмицы – этой недели тут, в этой звоннице? Этой повестки, бессонных ночей, мук танталовых! – облегченно вздохнул Володя. – Я все это придумал?» И спросил с облегчением:

– А что же Фрося?

– Что Фрося?

– Ну, что она – пчелочка наша золотая?

– Да вон же воду несет из-под Синей Скалы, – сказала Мария. – Сейчас расстелем скатерть-самобранку прямо тут на траве и отметим.

– Что отметим? – спросил Володька все еще подозрительно. – Укус пчелы, благополучное возвращение?

– Троицу! – засмеялись все дружно. – Троицу, Троицу!!

А рыженькая Фрося уже сплела себе венок из одуванчиков – таких веселеньких, солнечных, изобильно представленных тут как в зеленой траве, так и во всей окружающей флоре. А девчата уже вели вокруг Рондо свое, хоровод всеобщий, всечеловеческий...

Володя стоял перед ними, его все еще качало, как ветром, туда-сюда, с земли на небо, с неба – на землю, из реальности – в область небытия. И грани эти стирались, были почти незаметны, неосязаемы. Однако костерок реально чадил, достархан по траве реально расстилали, и время брало свое. Истинно ведь, нет ничего временного, чтобы не стало потом постоянным. Замок на воротах сам собою открылся, да так и остался в ладони, едва Володька дернул его на себя.

«Князь Владимир крестил Русь в 988 году», – сообщала фреска на щербатой стене. А соломы в звоннице, может, и не было. Зато – это точно – перед глазами висел обрезанный конец от каната, значит, колокол все-таки был, вопиял. Так по ком звонит колокол? А по ком и звонил и звонить будет всегда, пока в мире жив будет хоть один человек.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

– Как видите, выбраны два варианта из двух, один к одному, – сжался весь в комок Алексей. – И оба осуществимы: и к стенке поставили, и укусила пчела.

– Но это же перебор, в жизни так не бывает! – не согласилась Катерина.

– А жизнь вообще сплошная гипербола.

Все стояли и недоумевали: умный какой, о чем это он? Хотя все знали про все не хуже его.

– Я знаю, почему погибла Надежда К! – наконец, подал голос Володька. – Во всяком случае не от пчелы, укус ее был только поводом, а все дело в стрессе, в тонкости организма, в только что пережитом.

– Дураки! Фрося будет вечно жива! – осадил его тут же Иван.

Это было его первым, величайшим открытием, спроецированным на всю судьбу 99-го, окрашенного в грустные, неромантические тона.

– Вон оно, видите? Магелланово облако. Оно уплывает, плывет.

– Это душа ее.

– Пуховая, белая, нежная.

– Это душа.

И тут черные птицы на кладбищенских липах всполошились, взгряли на могилах, скорбью повеяло от многоликости предков, но белые голуби перекрыли воркованием серебро тишины. Много еще надо чего, чтобы золото инков вскрылось и поплыло за Магеллановым облаком, перебралось из поверхности внешней во внутренние покои. Они, эти движения, уже есть, существуют и уже движутся во благо наше, в эры невообразимые, в таинство поэтического космоса – нашего Водолея, куда входит и где будет неотвратимо царить уже в ближайшем подвижничестве равноапостольская и первопрестольная России звезда незакатная, а значит, люди, и наша с вами Звезда!..

– Откуда все живое берется – из Океана? – спросила вдруг Катерина. – Откуда клетка живая, мы все?

– Тебе бы все клетки, – подал голос Володька, зорко следя за беломраморным выражением ее лица. – А тут просторы...

– Просторы – это Небо, – засмеялась Ниночка. – Это божественно, а Океан – атеизм, это межвидовая борьба, такие глубины, из которых не выбраться.

– Как мы поумнели, – указал кто-то на Фросю, – а то на грани все рассуждали.

– Да разве же я с-с-смеюсь, – перекинулась, едва не заплакала Ниночка. – Это я так... я сама боюсь бездны...

И все боялись. Все глядели нервически, сдернутся эти черные ворота с замчища, и пойдут ли они на них, словно грачи с кладбищенских лип, или так и останутся, замерев на воскресном телеканале, в этой вечерней уже полушафрановой мгле?

Если жить – Магелланово облако уйдет в голубое и растворится в неведомом. А если умереть? Глубины станут еще глубиннее,

тоска – тоскливее, еще крикливее эти аспидные грачи... Открой же глаза-угли, разверни немыслимые уста! На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит. А до утра еще далеко. Кабы крыша не прохудилась от страха... Боже, если ты есть, услышь меня, до чего допускаешь в своих владениях!..

– Я не батюшка, – сделал выдох Алеша из нутра своего спиритическим чем-то, аллегорическим, – а вот тянет, чертяка, меня на амвон.

– Это Чехов в тебе или артист Чеханков, говорят, тоже натура критическая, – осадил Алексея Иван. – А вот Иисус как родился в пещере, положили в ясли его молчащим, так и закончил свой путь на кресте молча.

– Мы – живы, – оправдывался Алеша. – Но – вначале Гомер, Шекспир, Лев Толстой, а уже после слово.

– Ну, и что потом?

– А ше-по-том.

– И всегда так, когда одни уходят, а другие являются на апостольские места, да еще молодые, эта власть будет уже непомерна.

– Да ты что? Вначале было слово.

Они ждали, все ждали ее – первой звезды. Как бы на ночь перед Рождеством Христовым. Чтобы можно было хлебнуть скороменького. И, когда взойдет она, звезда пленительного счастья, то хотя бы коснуться ее губами – одного из четырнадцати ее серебряных вифлеемских лучей. А она все не просыпалась, не подавала признаков жизни – эта вылитая пчелочка золотая, эта ихняя чуть рыжеватая Фросенька. Сходила к Синей Скале и опять улеглась, отключилась... Господи! Уж и покропили ее водой из-под Синей Скалы, уж и дышать дышали ей в легкие, и иголкой в палец кололи, а она все лежала в своем безмерном, со-мнамбулическом трансе. И щеки ее не резонировали от романса, а на губах лежал сырой полусожженный листок...

– Да что же это мы тут, – спохватилась Мария. – Да надо же ее к медичке, в медпункт! Загубим же девку!

– Га-а-аххх! – так и ахнули стены каменные, словно эхо веков, и колокол тысячеудовый с цепи сорвался, грянулся там же, где-то внизу, о землю.

Вот тут-то эти смоляные птицы грачи и отряхнули черный прах со своих плеч да и деру с кладбищенских лип за горизонт, а серые, блестящие от дождя, голые ветки так и остались висеть, раскачиваться, розовея от предзакатных воспоминаний.

– Фрося-я-я-а-а-а... живи-и-и...

– Ша! – сказал Володька решительно. – Иду в военкомат – сдаваться на милость победителя...

– Ах, США-шша-ша-а? – качались ветки, а пчелочка золотая не отвечала, и колоколенку не качало, она молчала. И только колокола звонили внутренне, каждый – в самом себе.

Пока колокола во глубине,

Земля всегда на нашей стороне.

Так по ком же звонит колокол? Сколько можно тризны справлять во язычестве своем на Перуновом Холме? Она замерла перед Володькой. Веки ее затрепетали, болезнь улетела вместе с грачами и отразилась в резком крыле радуги. И ветер донес из широкой степи слова любимой песни моей:

Среди долины ровныя,

На гладкой высоте.

Они пришли сюда к храму своему и, не найдя себя по диагонали, уселись силами друг от друга. Семь в квадрате, семью семь, чернобыльский вариант...

Да воспрянем Русью в себе и нами она воспрянется! Вспомним добрые старые времена, чтобы в новых не потеряться.

Черный ворон, ты не вейся

Над моею головой.

Эх, да на добычу не надейся,

Черный ворон – да я не твой.

Эко куда вознесло – на колокольню какую! Отзвонили свое – и с колокольни долой, отыскав друг друга, может быть, навсегда. Люди сходятся и расходятся, имена стираются, а холмы остаются. Они растут на наших костях.

*Декабрь 1999 – февраль 2000,
г. Орел.*

36 ПИСЕМ ЖЕНЩИНЫ

(повесть)

(Из семейной хроники)

Знамение – орудие, а не цель.

Л.Н.Толстой

Представьте, в стареньком, изъеденном шашелем, колченогом шкафу вы напались на желтоватый бумажный тючок. Оборвали шпагат: письма. Уткнулись в них – и поплыли перед молодыми глазами картины далекого-недалекого прошлого: кем были бабушки-дедушки, как любили друг друга, чем время отразилось в них и они отразились во времени? Все расскажут вам сбереженные письма.

1985 год

«Записка от 27 августа, оставленная на трельяже в доме 408, квартире 45 по улице Горького, у Тропининых».

Кирилл! Меня срочно посылают на курсы по повышению, в Питер. Планировали Грядуну, ты ее знаешь, та, что на хореографической факультете, но у нее поджелудочная железа, и тогда подвернулась я. Наконец-то смогу из дому куда-либо деться! Как мне здесь все осточертело, особенно эти желтые обои на стенах – под солнце. Уехала бы и не возвращалась... Но... Федечку жаль... Всю ночь проплакала, утром побежала в институт за направлением, потом в кассы. Федечку отвезла к маме. Знаю, приедешь со своих сельхозработ – протопаешь в сапожищах на кухню, потом сюда, к трельяжу, здесь и найдешь записку.

Смотрю на Федулькино фото над кроватью, он и в три года был такой же серьезный, лапуня. Прости меня и прощай.

Таня.

Письмо первое, от 3 сентября.

Кирилл! Вот я и в Питере. Какой невообразимо прекрасный город. Вырвалась из семейных теснин, даже голова идет кругом.

В этот день там, на Востоке, погиб мой папа. Ужасно, именно в День Победы. Здесь на зданьях по Невскому кое-где оставлено: «Эта сторона улицы при артобстреле наиболее опасна». Время съедает любую краску. Невский уже для движения узок.

Вряд ли бы написала тебе так быстро, если бы не сын. Прошу тебя, поезжай на Веселую. Мама есть мама, она уже старенькая. Сон сегодня приснился: Федька бегаёт по льду босиком. Полдня сама не своя, он, вероятно, болеет. Помнишь, во втором классе за «Снежную королеву» ему поставили «двойку»? «Почему? Это же твоя любимая сказка?» – «Ей надо было коротко, ответить всего на вопрос». Бедный, бедный наш Кай, он не мог кратко, а та оказалась с ледяным, замороженным сердцем. Отцы и дети. Дети и внуки, кажется, я многословна?

Нас на курсах человек пятьдесят – со всех концов, тоже из институтов. Сегодня была первая лекция по эстетике. Читал некто Малинин, Юрий Васильевич. В твоём возрасте, но каков эрудит. Неисчерпаем, артезианская скважина. Между прочим, наша комната от него без ума.

Отвези Федульке свитер с оленями. По радио обещали заморозки на почве, потому, возможно, он и приснился мне босиком. Отвези, пожалуйста, свитер, прошу.

Таня.

Письмо второе от 12 сентября.

Кирилл Александрович! Да что вы там все повымерли, что ли? Ни слуху, ни духу. Как Федуля? Ведь он же в четвертом, ответственном классе! Если сегодня – завтра не получу вестей, буду давать телеграмму, заказывать разговор. У нас с вами, уважаемый Кирилл Александрович, могут быть какие угодно отношения, мы можем даже ненавидеть друг друга, но сын есть сын, неужели неясно? Давно хотела вам высказать все, да ваши глаза мешали. Колючи, жгут – прожигает насквозь, а мне от них холодно. У нас исчезли красивые отношения, вы этого не замечали? Говорят, вы и мухи-то не обидите. Да ведь муху-то иной раз надо обидеть, надо. Согнать ее с хлеба – в дверь, в форточку, посадить на липучку,

чтобы не протирать после люстру, не присматриваться к яблоку в вазе.

Не заметил, как стал заурядным, сереньким человечком? А ведь стал. Ушел из проектного бюро – работы, которая стимулировала, одухотворяла. Даже оправдание изобрел: перешел на отстающий участок. Только о том и мечтала, чтобы мой муж, ради лишнего куска, переделывал рублевые керосиновые лампы в трехрублевые электрические. Всю квартиру оплел проводами, загромоздил верстаками, паяльниками, протушил карбидом, столярным клеем и ацетоном. Знаю-знаю, чем возразишь: деньги нужны, мол, на тебя же, на шубу тебе, на семью.

Помнишь Алпаговых, тех, когда мы жили еще в райцентре, в Тростянце? Наталья, бывало, твердила: «мы с семьей», «мы в семье». И где теперь их семья?.. Денег всегда не хватает, это закон. Но потяни руку к лампе, попадешь в керосин. Семья делает нас рабами, она как болото, бездонная бочка. Деньги, деньги. На все ради них – на барахолку, на телеграфный столб. А я так не хочу...

По педагогике читали о личности, ее порабощении и высвобождении. Юрий Васильевич – тот, что по эстетике, – был снова в ударе. Следующее занятие проведем в Эрмитаже. Город этот словно сошел с полотен художников.

Сегодня же поезжай на Веселую, выясни, что там с Федудей, и напиши. Если вечером не будет письма, не знаю, что сделаю с телеграфом, телефоном... и вообще...

Письмо третье от 12 сентября, вечер.

Письма нет. Ни от мамы, ни от тебя. Пишу и тебе, и маме. Больше ждать не могу. Завтра с утра бегу в кассы, беру билет на кисловодский. Самый удобный: вечером садишься, ночь едешь, утром на месте.

Таня.

Письмо четвертое от 13 сентября.

Слава богу, пришло, наконец, от мамы. Ей, оказывается, расклевал ногу соседский петух, и она была почти без движения.

Даже Федуля сделал приписку: «Мама, я люблю тебя очен». Так и написал «люблю» и «очен». Совсем запустит учебу, ты бы за ним присмотрел. Все же мальчик в незнакомой обстановке – новый класс, новая школа. Ну, и что же что ездит на другой конец города. Сын он тебе или кто?

Мама пишет, детей кормят в школе, на сегодня в меню были рисовая кашка, картофельное пюре с рыбой, кисель с булочкой. Смеется, сама бы в школу еще раз записалась. Получается, Федька дважды обедает – в школе и дома. Это хорошо, он растет, ему надо. Обратите внимание на витамины – яблоки, арбузы. Мама пишет, он за эти две недели подрос, а мне кажется, он такой у нас маленький.

Начала хлопотать ему насчет школьной формы. У нас там до нее далеко, да и здесь не всем дают, пока по талонам. Но сестра Наташи Алпатовой – Вера (разыскала ее, оказывается, она тут завучем в школе), обещает помочь. Конечно, ты знаешь, каково мое отношение ко всем этим рецидивам, так сказать, «осредниловки», стремления засунуть человека в общий футляр. Но что делать? Я смотрела, вид у курточки с брючками более-менее, и стоит не так уж дорого. Была в Гостином, в ДЛТ прошла, по районным универсам – приличнее пока ничего не нахожу.

Как он там у бабушки приживается? Ты бы съездил к ним на воскресенье, понаблюдал. Может, что-нибудь подсказал бы маме. А то она или слишком закрутит, или слишком распустит его, свяжется Федька во дворе бог знает с кем.

Помнишь, в прошлую осень соседский Димка пришел домой без портфеля, с расквашенным носом? Батя в крик, до чего докричался: надо, говорит, для детей приличных родителей отдельные школы, а для хулиганов – другие. Вот тебе и доцент, да еще на кафедре педагогики. А перед моим отъездом сюда уже Димка расквасил кому-то нос, интересно, что кричит сейчас его батя?

В окно сыплет и сыплет, мелко-мелко – питерская погодка. Только что было солнце, и вот дождь, ветер с залива, знобко. Мы

живем на Васильевском острове, в еще припетровском здании. Коридоры метров по двести, своды высокие, гулкие. Мне почему-то кажется, что в любой момент может произойти наводнение – невкие воды врываются в комнату, я вскакиваю на постель, смотрю в ужасе, как подступает вода. В общем, что-то вроде известной картины с княжной Таракановой...

Малинин – тот, что по эстетике, – все фонтанирует. Маша Котова (у нас в комнате, из Челябинска) совсем потерялась: как школьница, опускает голову перед ним, краснеет. Даже староста группы заметила. Юрий Васильевич предлагает провести семинарское занятие... в кафе. Стараюсь не обнаруживать се-рость, ничему в Питере не удивляюсь. Напиши, что думаешь насчет Федулькиной формы.

Таня.

Письмо пятое от 17 сентября.

...он тянет у нас сразу три школы – простую, музыкальную и спортивную, В музыкальной уже третий год, жалко бросать, а от спортивной, Кирилл, может быть, следует отказаться? И так программы в общеобразовательной школе перегружены, особенно по математике. А может быть, следует отказаться от музыкальной? Неизвестно, какие у мальчишки способности. И вообще, талантлив он или нет? Я, например, до сих пор не поняла. Серьезные, не по годам интересные связки слов, событий, явлений, и вдруг совершенная стенка перед элементарным. Пожалуй, что-то мы как родители проглядываем, не поспеваем.

Нам тут давали интересную схему, исследуется пригодность человека к педагогической деятельности. Оказывается, от современного учителя требуется до двух тысяч качеств. Если учитель имеет только любовь к делу, – говорил Лев Толстой, – он будет хороший учитель; если учитель имеет только любовь к ученику, он будет лучше того учителя, который перечитал все книги; если учитель соединит в себе любовь к делу и ученикам, он совершенный учитель. Попробуем отнести эти слова мыслителя к самим себе, вообразив себя на месте учителя, а сына представим

в роли ученика. И что же? Федечку мы с тобой любим, вроде бы знаем, следовательно, у нас не хватает любви к делу, чтобы определить задатки сына как музыканта. Если бы педагоги вместе с родителями могли определять степень талантливости ребенка уже на первом, а не на третьем-четвертом году обучения, в школе на доске объявлений вряд ли бы появлялись записки со стыдливými каракулями: «Продается инструмент». Хотя... Ну ладно, не станет сын музыкантом, но что плохого, если вместо гоньбы по лужам, оврагам, он просиживает за баяном? Ты заметил, как держатся уличные ребяташки – с ухмылочкой, часто нахально, не уступят дороги и как ходят дети из музыкальной, художественной школ? Я, например, всегда их отличаю.

Девчата из кафе еще не вернулись, пошли поужинать. А в стекла бьются, клеются мокрые листья, изредка впархивают в открытую форточку – это все осень, по-прежнему чувствую близость залива, княжны Таракановой...

Да, так вот, я их отличаю. Часто родители ведут себя хуже детей, детям за них даже стыдно. «Ах, мой сын (моя дочь) безмерно талантлив(а), гений? Это же будущий Рихтер, Есенин, Коненков». И вдруг признать, что ребенок у них как ребенок? Какая же это трагедия, если Федечка у нас станет, как я, педагогом, или, как ты, инженером? Да что же баян ему в тягость?

И вообще, по-моему, нет людей ни к чему не способных. Но хотя к одному и тому же разные люди способны по-разному. Одни достигают чего-то легко, другим то же самое дается трудом. Пора снять лозунг «Нет плохих учеников, есть плохие учителя». Они есть, эти ученики средних и нижесредних возможностей. Может быть, в музыке это относится и к нашему Федечке. И тут ничего не попишешь.

Заметил? Родители спрашивают только с себя, а расплачиваются дети. Мы спросились у Федульки? Попробовали выявить его задатки? Как же, мама пела когда-то в хоре, почему бы не быть задаткам у сына. Попробуй задать ему для примера хотя бы такой вопрос: «Всегда ли ты делаешь быстро и безропотно то, что тебе приказывают?» Если ответит: «Всегда», значит, он маленький лжец, привык покоряться чужой воле...

А ветер стучит дверью где-то в конце коридора. Не коридор, а цементированная беговая дорожка. И ветер с залива по Неве «против шерсти», навстречу течению, В такие дни непременно что-то случается, может быть наводнение?

Письмо шестое от 19 сентября.

Кирилл! От тебя, как обычно, ни слова. Я уж привыкла к этому, но, согласишься, трудно писать в одну сторону, мои монологи уходят как бы в пустоту. Меня по-прежнему интересуют взаимоотношения сына с бабулей. Давно заметила, у них с мамой получается прекрасно. Федя с ней не капризен, даже почти-телен, мама в меру ласкова, но не распускает его. В этом какая-то тайна...

Все размышляю о нашей с тобою семье. Семья... Это, по моему, союз двоих для постижения каких-то духовных начал. Мы же в последнее время живем каждый сам по себе. Как льды в реке, разводит течение...

Маша Котова принесла иллюстрированный журнал для женщин «Эль» – «Она». Вертела его и думала: все эти журналы внушают одну, мне кажется, вредную мысль: женщина должна быть красивой не сама по себе, а для кого-то, пусть даже и для любимого. Служить кому-то, чему-то, играть подсобную роль – обидно, против встает все твое существо. И все же быть красивой хочется. Хочется, чтобы тебя обожали, совершали героические поступки, даже глупости, только бы замечали, не смотрели, как в пустоту. Красивая женщина вздорна, испорчена, некрасивая же красива душой. Разве дело в лице, в модной прическе, одежде? Это само собой. Дело в другом: ты красива для одного, из тысячи тысяч – лишь для него, и он лишь для тебя, всего остального не существует, ты видишь только его, его одного, и никого больше.

Кто у Федульки лучший друг: по-прежнему тот, Сережка? Бедной Лизе приходится нелегко. С каждым годом без мужской руки с ним все хуже, все труднее. И шагу не дает ступнуть, не терпит чужих мужчин. Пришел как-то в гости один разведенец из ее цеха, ей было с ним хорошо, а этот эгоистик Сережка целых

Сабуrowsкое поле
две недели вытворял после, что вздумается. Дети – очень чуткий, нервный народ.

Мне жаль Машу, но он ее явно не замечает.

Таня.

P.S. Отвези Феде его любимых солдатиков.

Запись в дневнике в тот же вечер.

«Муж» звучит на расстоянии даже странно. Серьезный, крупный телом, кажется, должен быть кем-то, а идет по улице, все чего-то оглядывается, взглянет на кого-нибудь – как прощения просит, руку сунет рыхлой лепешкой. Да, но я люблю его, люблю его, люблю ли? Кирилл скромный, честный, человечный. Правда, без полета, хоть кого приморит словами об общественной пользе, в «ширпотреб» работать перешел – подтягивать отстающий участок. Рябь в стакане воды...

На Машином месте я бы сражалась за свое счастье. Красивый молодой мужчина с питерской пропиской.

Письмо седьмое от 25 сентября.

Ну вот и получила от тебя письмецо. Думаешь, без тебя тут погибну? Не волнуйся, Питер не провалился, Неву Медный всадник не перепрыгнул, А вот ты мог бы дела делать и поумнее. Оставаться на второй срок председателем! Да что там без тебя свеклу, что ли, не доберут? Мог бы и объяснить, что жена, мол, на курсах, сына не с кем оставить. Хорошо, что жива мама. Эта идея фикс об отстающих участках. Слабость лишь окажи, таких на тебя участков навешают...

Что значит прическа. Маша-то моль-молью, все, бывало, под ноги смотрит, а вчера заявила – колокол на голове, волосы ярко-каштановые, губы во французской помаде, костюмчик темно-зеленый. Королева из Марокко. У Юрия Васильевича даже уши порозовели.

После лекций все полетели в парикмахерскую. Сделали «вальс». Я посидела, присмотрелась, вижу, девушка скромная, но со вкусом, старается, видно, недавно работает. Сделала мне самую мне модную прическу, только что входит – «сессон».

Думаешь, мне так интересно, каковы там у тебя виды на урожай? Хлеб в магазине всегда будет, привезут из другой климатической зоны. В крайнем случае – купят. Ты можешь оставаться в своем хозяйстве, если тебе это нравится. Или говорю глупости? Прости меня.

Таня.

Запись в дневнике на другой день.

Письмо вчера не успела отправить, прочла еще раз. Действительно, глупо, даже жестоко по отношению к Кириллу. Юрий Васильевич смотрел на меня, кажется, с интересом. Есть у нас девушки, незамужние, а он смотрел на меня. Глаза – пропасть, артезианская скважина.

Жаль почему-то Федульку. Как он там? Без меня уж четыре недели, мой маленький человечек. А Кирюшка... Пусть елозит по своим грядкам, выбирает картошку и свеклу. Далась ему эта свекла, белый свет заслонила.

Письмо восьмое от 30 сентября.

Наконец-то вял. Все-таки ты съездил к сыну. Но ничего не понять из письма: не похудел ли Федечка, не нахватал ли двоек, что у него в музыкальной? Половина письма о каком-то резце, которым цех будет выполнять норму на сто тридцать процентов. Это еще как сказать. Нужны люди, чтобы захотели их выполнять, эти нормы. И вообще, причем тут ты и какой-то резец? У тебя же, сам говоришь, голова. Ну и крути головой соответственно.

Может быть, я к тебе не совсем справедлива? Еще Маркс говорил, человек не свободен, если труд не возвышает его, а только поддерживает существование. В этом случае человек отделен от всего, чем, собственно говоря, мы обретаем бессмертие. Может, ты ближе нас к идеалу? Для тебя решение жить и работать в деревне абсолютно свободно, поскольку это осознано. Я, к примеру, не могу осознать...

Раиса (тоже из нашей комнаты) принесла всем по «лапше» – это такие кофты с серебряной нитью, продавали в Гостином. Я отказа-

лась, Машенька взяла и мою. Приготовили чай, устроили вечер воспоминаний, прямо-таки представление в лицах. Раиса, еще девушкой, ездила на юг подцепить жениха. «Девушка, что это у вас там, в несессере, по-русски сказать, в кошельке?» – «Фотографии». – «Чего, кредитных билетов?» – «Директоров государственных банков, не таких же пустокарманных, как ты».

Открывает сезон театр Товстоногова. Говорят, надо посмотреть спектакль «История лошади», это по «Ходстомеру» Толстого. Бедная, бедная лошадь...

Запись в дневнике в тот же вечер.

Все внутри свернулось, словно еж, колет сердце каждой иголкой. Пропал сон, лежу и смотря в потолок, по которому мелькают тени от проходящих машин. По влажному одеялу чувствуешь, город ставили на болотах. Вчера ни с того, ни с сего приснился склеп, черная мраморная плита с белой розой, от розы тянется в сторону змейка. Живая, какая-то металлическая, хочет укусить Юрия Васильевича. С некоторых пор перестала смотреть в глаза ему, не смотрю... Девчата набрали билетов в театры, филармонию, на хоровую капеллу. Я уже пронеслась по музеям, по дворцам и туристским маршрутам; теперь надо составить график, взяться за культуру всерьез. Как важен для развития духа город, в котором живешь, особенно если он Питер, город такой на Неве.

P.S. Если бы Кирилл догадался присылать на пансион капельку больше.

Письмо девятое от 4 октября.

...и все же на Машеньке, что ни надень, все как на колу.

Мне же, девчата говорят, можно быть манекенщицей. Целый вечер болтали за чаем о модах. Идешь по улице и кого в первую очередь видишь? Того, у кого хоть косынка повязана по-особому. Во mnogой не согласна с девчатами. Моды модами, они меняются, как в калейдоскопе. Кто-то их гонит, подстегивает, а кое-что можно бы и задержать. Но это – индивидуально. Узкие брючки, например, лишь подчеркивает стройность, зачем же мне клеши?

Я консервативна, ты не находишь? Зато по форме мне подошли бы шляпки с полями. Под цвет глаз, голубовато-зеленые. Все девчата купили, форсят.

Я все думаю о нас с тобой, нашей семье. Для чего мы вместе? Как сказала однажды Раиса, для «углубления и развития истинной любви»? Для познания и поддержки друг друга? Действительность таит в себе возможные стрессы, с любимым, близким тебе человеком легче идти навстречу судьбе. Дело в том, что ты слишком часто видишь во мне источник сексуального наслаждения. Из одного женского журнала, кажется, польской «Ванды», выудила вполне интересную мысль о том, как наслаивалось в европейской цивилизации отрицание секса, начиная с греческих философов и кончая Кантом. И лишь Фрейд признает сексуальное наслаждение, и то слишком практически – как движитель всяческой деятельности. Поляк, автор статьи, считает, что одними секс осуждается из страха перед личной свободой, другие крайне противоречивы: чем больше, мол, гонимся за наслаждением, тем дальше, не удовлетворяясь, его прогоняем. Вместо того, чтобы со школьной скамейки воспитывать, объяснять, мы стыдливо замалчиваем, избегаем. И вот ошибки, семейные драмы, разводы.

Сколько прошло, как мы женились? Семь лет? К твоему сведению, каждые семь лет человек обновляется. Изменяется его интеллект, объем памяти, запас нервной энергии, расширяется опыт, усложняется ориентация в жизни. А ты считаешь, что я все такая же.

Питер не так уж приветлив, как показалось: не помню, когда было солнце, все туманы, дожди.

Таня.

Запись в дневнике на другое утро.

Неужели не понимает, что уже не внушает мне трепета. Говорят, чтобы проверить себя, нужно посмотреть на все с расстоянья. Если бы не Федулька, я бы, возможно, была более решительной. Странно, социологи с начала века трубят о распаде семьи, а она

Сабуrowsкое поле существует. Но воспитывать детей женщине все труднее. Мама, например, всю жизнь проторчала возле плиты.

Разве Кирилл что-либо понимает? Эти семь лет, кажется, его не приподняли. Как воеет ветер в форточку, воеет и воеет.

Письмо десятое от 13 октября.

Кирилл! Ты меня удивляешь. Ребенок скоро вовсе забудет родителей. Ну я – здесь, я – не могу, но ты-то, ты! Пишешь, что на вас там обрушился страшный циклон: сковало землю, деревья ломаются от гололеда. Рановато. Жаль, конечно, свеклу, картошку, такой урожай. Яблоки в садах будут висеть теперь, как на елке. Говоришь, так, пожалуй, было во время войны: весь народ поднялся, люди в села едут и едут. Дай же народу себя проявить. В своем хозяйстве ты с августа на ногах, передохни, побудь с Федечкой, ты же свалишься.

Мы тут живем хорошо. Вчера ходили всей группой в Товстоноговский театр на спектакль «История лошади» по «Холстомеру» Льва Николаевича Толстого. Артист Лебедев в роли лошади – полнейшая иллюзия перевоплощения. Как он трясся всем телом, всеми фибрами. Рядом сидел Малинин, впервые я видела его реакцию. Чуткое, почти женское ощущение сцены. Его профиль на фоне бельэтажа, нервные руки на кресле, едва видимое движение губ – он весь там, с Холстомером. Кажется, где-то в нем существует незаурядный актер.

Театр в наши дни просто необходим. Был век древнекаменный, век железа, электричества, сейчас, мне кажется, идет век театра, век всеобщей игры. Все словно на сцене. Ведут роли – или написанные кем-то, или импровизируя, от себя. Думают одно, говорят другое, делают третье. В школах вводятся факультативом основы театрального искусства. Синтетический вид: в нем и драма, и танец, и песня. Простор душе, ответ мыслям, больше, чем где-то, возможностей.

«Холстомер» произвел на меня неотразимое впечатление... Оказывается, Малинину надо было до нашей остановки метро... Столько чувств, столько мыслей после спектакля. Попробова-

ла заговорить со своими из комнаты – детский лепет, абсолюте в отсутствии собственного мнения. И это преподаватели библиотечного. Даже термин такой появился «нечитающий библиотечкарь». Не учим мыслить с детства, со школы, с детства сажаем всех на готовенькое...

Да, Толстой матер. Каково постижение человека. Белый Бим у Троепольского, у которого черное ухо, это просто собака, он просто служил человеку, а Холстомер всю жизнь работал. Уж онто, коняга, познал цену черного хлеба.

Когда коняга, заброшенный, старый, прежде чем испустить дух, вздохнул по-человечьи, у Малинина потекли слезы... Одним движением глаз, одним вздохом в театре можно сказать обо всем.

Творец – актер обращен к творцу в зале, к умному сердцу зрителя... Не спала все ночь. Поняла, сердце мое еще живо, открыто для счастья, для лучших дел, для добра. Если есть такие коняги на свете, с бельмом в глазу, мыкаются, ищут лучшую долю, значит, кто-то им должен помочь?

На лекции рассказали притчу. Жил-был в одной восточной стране мудрец. На смертном одре он просил богов о сущей малости: дать ему еще одну жизнь. «Сколько бы ошибок я избежал! Как был бы счастлив!» Боги вняли. И вот, спустя 80 лет, когда старец умирал снова, боги спросили его о прожитой жизни: «Ну как?» – «Да, я не повторил старых ошибок, – ответил мудрец, – но я совершил тысячу новых».

Эта притча преследует меня. Я не тот самый мудрец, дважды проживший по восемьдесят, я всего-навсего женщина, мне немного за тридцать, хотя это вполне зрелый – бальзаковский возраст. Прощай. Твоя Таня.

Запись в дневнике в ту же ночь.

Да, со мной что-то случилось. Перед глазами все время Его глаза. Слезы брызнули Ему на руки, когда Холстомера отправили на бойню... Его лекции по эстетике – одно наслаждение. Какая страсть, логика, аргументы. Его слова об-волакивают, влекут куда-то, на них летишь, как на крыльях, в них залог очищенья...

Как он знает вопрос. Как неуловим в переходах от проблемы к проблеме. Спонтанная, незаурядная личность. Сегодня на занятие Он пришел в свежем сером костюме и голубенькой сорочке. Она ему кстати.

Письмо одиннадцатое от 14 октября.

Кирюша, вчера вечером съела несвежей рыбы, и с утра тяжесть в желудке, нехорошо... А это пишу после обеда... Оказывается, в Польше у женщин более высокий, чем у мужчин, образовательный ценз и меньше, чем у мужчин, круг профессий. А все из-за мужского сопротивления. Как видишь, обвинение «Ванды» всему вашему сильному полу. Позволив обогнать себя в образовании, вы не даете нам пользоваться его плодами. Давай рассуждать: если возможности продвижения женщины ограничены, следовательно, средняя зарплата у нее ниже, чем у мужчины. Верно, с женщины никто не снимал домашних обязанностей. Вывод? Круг семейных дел следовало бы разделить между мужем и женой. А как бы ты, Кирюша, хотел? И стиральную машину, и пылесос, и соковыжималку купил действительно ты, но для кого? Опять-таки для меня. А воспитание Федечки? Это ты в расчет принимаешь? Забыл, когда был у Федечки в школе.

То белые мухи за окном, то снова дождь. Ветер по Неве, как в трубу. Тоже, наверно, циклон. Даже в морозы висит промозглая, синяя дымка. Я начинаю здесь мерзнуть, в комнате не всегда бывает тепло. Таня.

Письмо двенадцатое от 16 октября.

Что ты надумал? До весны остаться в деревне и взять с собою сынульку? С ума сошел. Ну хорошо, тебя, пожалуй, не переупрямишь. Еще бы, ты все же закончил факультет механизации сельскохозяйственного. Но что будет делать в твоей деревне Федудя? Какая идиллия: вам дают пустой домик, вы с Федечкой топите печку, сами стираете, сами моете полы, ты в бригадах монтируешь технику, которую изрядно потрепали за осень. С твоей стороны все в высшей степени благо-

родно, технику к весне ты поставишь на ноги, а ребенок? Ходить в школу за пять километров, музыкальную вовсе бросить? Ничего себе перспективка. Это крестьянские дети могут ходить за пять километров, они привычны к ходьбе. Заниматься три года по классу баяна, и все вверх тормашками? Я знала, ты, Кирилл, всегда был безрассуден, никогда ни с кем и ни с чем не считался, всегда исполняя свои, тебе одному известные прихоти, плевать тебе на меня, мое мнение, на будущность сына. Нет, ты не посмеешь. Сам можешь уезжать хоть куда. Это твое личное дело, а сына с собой не возьмешь. В самом деле, у тебя диплом сельского инженера, а сына брать у мамы я не разрешаю.

Вспомни, что было с Леночкой – дочкой сестры моей, что живет в Перми. Четыре года ходила в балетный класс, такая способная, такая музыкальная. Они переехали в другой город, и что? С балетом пришлось распрощаться. В Тольятти ведь переехали – город приличный. А ты тянешь Федечку в какую-то Дымовку.

Вчера была в Кировском, бывшем Александрийском театре. Давали «Лебединое озеро». Вот где раскованность, возможность абсолютного художественного владения телом. Помнишь, мы смотрели «Лебединое» в Москве, в Большом театре? В Питере балет особый, неповторимый. Не можешь спокойно идти по улице Росси – училище имени бессмертной Вагановой. Я и ходить-то по Питеру никак не привыкну, верчу головой: там шедевр архитектуры, тут мемориальная доска – жил и работал Гоголь, умер Чайковский, встречался с членами кружка «Зеленая лампа» Пушкин. С опущенной головой здесь ходить невозможно.

Танец маленьких лебедей исполняли девочки, такие малявочки, среди них могла быть и наша Леночка. А все тоже отец. Взъезжил, сорвал семью. В общем сам как хочешь, а Федечку брать не разрешаю. Таня.

Запись в дневнике в тот же день.

Что он надумал? К его выкрутасам не привыкать, но к чему втягивать Федечку? Совсем ведь недавно он не связывал свои планы с Дымовкой. Дымовка... даже не районный центр, с чего мы начинали.

В радостной дрожи стоял молодой Холстомер перед хозяином. Знал ли он, что под старость, когда разбухнут бабки и бельма прикроют свет глазам, хозяин просто-напросто предаст его?.. А у Него падали на руки слезы...

Письмо тринадцатое от 22 октября.

По радио каждое утро читают приветствия. Слышишь это здесь не без волнения, именно здесь началось... Ты, Кирилл, в чем-то меня убедил. Конечно, я обрисовала в письме деревню, какой ее помню. Если человек обновляется за семилетие, то что же тогда происходит с жизнью? В городе сейчас больше ходят пешком, борясь с сердечно-сосудистыми, пусть в деревне первачки ездят в школу на мопедах, старшеклассники – на мотоциклах. Пусть в Дымовке свой, оказывается, филиал детской музыкальной школы, пусть. Ты забрал у меня все аргументы, я не могу ничего тебе противопоставить. И все же, я прошу тебя, не таскай за собой мальчишку, не подвергай... Упрекаешь, мол, это я Снежная королева с ледяным сердцем, а кто же ты тогда? Бедный, бедный Кай...

Юрий Васильевич читал в лекции по этике об искусстве любви. Один из супругов попадает в новую обстановку, что, оказывается, чрезвычайно усиливает возбуждение. В этом случае может возникнуть новая связь и как следствие неверие в любовь, отрицание верности, прочности брака. Дьявол-искуситель толкает начать все с начала. Это проблема так называемых срединных лет супружества. Раиса в перерыве жаловалась Малинину на скуку, монотонность жизни со своим мужем. Юрий Васильевич объяснил это кризисом: наиболее устойчивы контакты с человеком широких горизонтов, больших возможностей, подвижных интересов. А вот к гармонии в семье, к развитию личности ведет как раз то, о чем пока и не подозреваете вы, наши медведи – мужья.

Девчата попали в Гостином на интересную ткань – что-то между креплином и шерстью. Обсуждали, плохо это или хорошо: в Питере большая влажность, женщины не носят креплина. Ткань красивая, разорилась и я, теперь надо искать, где сшить жакет.

Представляешь, голубенький под ту мою синюю юбку. Недаром в моде готовое платье; по заказу, смотрю, шьют полукустарно, отделка грубая, фасоны без импровизации. Тысячу раз добром вспоминаю подружку мою Лизу, вот умница. Как сошьет, так словно вольет. Хотя фигура, говорят, у меня и без отклонений, а все же шить, как она, уметь надо. Передай ей привет, поцелуй за меня, да не очень, смотри.

Будь благоразумен, Федечку все же оставь у мамы. Таня.

Запись в дневнике в тот же вечер.

А что, она ничего, эта Лиза. Симпатична, одинока, правда, с ребенком. Да она и сама переборчива. Когда папа привел офицера из своей части знакомиться, тот украдкой сунул палец на экскурсии в нос. Это стоило ему ее расположения, а ей разговора с отцом. «Ну кого тебе еще надо, царица?» – «Сопатых ко мне не води». – «Женила б его на себе, тогда б и учила». – «Пусть еще созреет, стручок».

Когда Он появляется в аудитории, я вздрагиваю. Когда проходит мимо, дрожу. Когда говорит с трибуны, не слышу. От Машеньки исходит либо глупость, либо банальщина. Что будет дальше, не знаю. Меня к нему тянет. Неотвратимо.

Письмо четырнадцатое от 23 октября.

С Машенькой подружились, ходим с ней по театрам. Посмотрели еще несколько спектаклей: в Товстоноговском – «Три мешка сорной пшеницы» по Тендрякову, в Пушкинском – «Последнюю жертву», «Элегию», в Большом зале филармонии слушали скрипачей Большого театра. В общем, вкушаем культуру и бутерброды с икрой. В каждом буфете эти бутерброды с икрой, решили все перепробовать – и с черной, и с красной, ищем теперь с искусственной. А ведь давно ли даже в Верхнетуровке икру в железнодорожном буфете нагребали ложками. Зато труднее было с хлебом.

Машенька рассказала несмешной анекдот. У скворцов самка сидит на гнезде, а самец туда-сюда носит корм. «А у нас бабушка самец, – замечает пятилетний мальчишка. – Потому что она ходит

у нас в магазин. А у вас?» – «А у нас мама – рыбка, – отвечает ему дружок. – Как придет папа после полочки с оторванным хлястиком, так сразу к маме: «Опять ты икру мечешь?!» Машенька – из большой семьи, отец приходил с оторванным хлястиком, ей все это совсем не смешно.

Девчата открыли для себя ателье тут же на Васильевском острове. Берут там недорого, обещают особенно не тянуть. Все решили сшить себе платья-костюмы, представляю, заявятся, как с инкубатора. У меня ткани всего метр, на жакетик. Машенька советует открыть шею, она, мол, у тебя, как у Джинны Лоллобриджи. Фасонов много, а возможность одна. В ателье обещают побить рекорд: сшить к Октябрьской. Представляешь, заявлюсь в гости к сестре Алпатовой? Голубенький жакетик, белоснежная сорочка. Получила на днях комплимент: сорочка удачно сочетается с темно-русскими волосами.

Запись в дневнике в ту же ночь.

Боже, я Его вижу во сне...

Письмо пятнадцатое от 25 октября.

Сегодня число примечательное, именно в этот день – по старому стилю – все здесь и началось. Город украшают портретами, флагами. Вчера проезжала автобусом мимо «Авроры» – серо-голубой Невы, Нахимовского училища, борт корабля, флаги расцвечивания...

Праздники только усиливают одиночество. Все чего-то ждешь, ждешь, какого-то чуда, свершения, а они проходят перед тобой, эти праздники, смотришь – ничего не свершилось. А тебе уж за тридцать. Ушла молодость, с ней ушло, кажется, все. У какой-нибудь восемнадцатилетней девчушки, которая еще ничего не знает, ничего не умеет, столько перед тобой преимуществ. Ей открыты все двери: иди, свершай ошибки, но свои ошибки, повторяя ошибки других.

Вчера в подъезде видела группу курсантов военно-морского училища, а с ними двух девушек. Хохотали, курили, наверное, были счастливы. А у таких, как я, отблестели волосы, суше стала

фигура, поблекли глаза. Но, нет, шалишь, пришло к женщине то, что называется порой изящества. Сделать губы полнее – пожалуйста; подчеркнуть косыночкой цвет глаз – пожалуйста, скрыть улыбкою чувства, а словом – характер...

Весь вечер с девчатами ухлопали на болтовню. Где и как купить красивую вещь? Говорили так, как будто вновь переживали сцены покупки, послушать – содом и гоморра. Одна твердит: в конце месяца можно купить, что угодно. Другая уверяет, почти такие же, как у нее босоножки за восемнадцать, в Гостином дворе продают по тридцать пять. По-моему, дело близко к тому, что скоро всего будет вдоволь: видит око...

В комнате нас семеро, представляешь? Сколько мыслей, характеров, слов. Сколько зубных щеток, шагов. Все уже далеко не студентки, чтобы так легко перестраиваться. С Машенькой вроде бы дружим, она или очень наивна, или что-то ей от меня надо. Купила билеты мне и себе на «Князя Игоря», но я уже не могу: ресурсы подысчерпались; того, что присылается из дому, едва хватает на жизнь. Будем образовываться как-нибудь подешевле.

Запись в дневнике того же числа.

Пишу в одну сторону. Не то, не о том, не о главном. А что оно, главное? Писать, что скучаю по Федечке? Что скучаю по дому? Писать протокольно, с чем встала утром и с чем легла вечером? Кирилл словно чувствует, о главном писать не могу. Говорить не могу даже Машеньке, даже себе,

Письмо шестнадцатое от 28 октября.

Кирилл! Ты все сделал по-своему: окончательно открепился с завода, забрал в свою Дымовку Федечку. Уже то хорошо, что сынуля там, как рыба в воде. Представляю, он в заячьей ушанке, подпоясан солдатским ремнем, в кирзовых сапогах – натурально крестьянин. Говоришь, сам ездит на лошади? Еще и шею сломает. Ты-то ладно, у тебя, как ты выражаешься, «дед землю пахал». Возишься со своими железками и возись. А вот сына я тебе не отдам...

Были с Машенькой на «Князе Игоре». Представляешь, Кировский – бывший Александрийский, императорский? Шедевр архитектуры барокко – золото, зеркала, бархат, офицеры сверху высматривают в монокль своих дам. Билеты попались в самое демократическое место – на галерку. Одна коренная, питерская подсказала, как это делается: выследить сверху место в партере и после первого действия вниз. «А, ласточки», – улыбнулись соседи. И так это мило – «ласточки», и сесть на чужое место было вовсе не стыдно.

Во втором действии – как раз «Половецкие пляски». Балет здесь чудо, а «пляски» – шедевр, вокалу соперничать трудно. Голоса вообще проблема, особенно тенора. Они в Большом театре да еще в Киеве. Тенора на Украине не переводятся: то ли климат подходящий, то ли что-то еще, но в Киеве, во Львове, в Одессе, ты помнишь, мы слышали неплохих теноров. Зато, боже мой, как бухали в «Жизели» о пол одесситки... Князь Владимир не разочаровал. Было, правда, чуть-чуть страшновато за кантилену в каватине «Медленно день угасал». Не Собинов, конечно, но что-то есть...

Слушаешь голос, полный беззаветной любви, и чувствуешь, как возникает голос где-то в тебе, и уже не слышишь ни того голоса, ни театра, никого вокруг, только ты ведешь с собой разговор – со своей совестью, со своим пребыванием на земле. Все переберешь в памяти, свершенное и несвершенное, так трагически, жутко тянет к прекрасному...

С Машенькой в оперу ходить невозможно. Без конца толкается, шепчет по пустякам. В самый неподходящий момент зашелестела кулечком, стала совать конфету. О, санта симплицита!..

Говорят, город по-особому смотрится в белые ночи. Серебристость Невы, матовые блики даже на шпиле собора в Петропавловской крепости. На набережной встретишь, кого угодно, но непременно поэтов.

После оперы мне хотелось плакать... Жаль, не вижу здесь белых ночей.

Запись в дневнике в ту же ночь.

... то же прекрасное, то же таинственное, нерукотворное, что и белые ночи. Все вокруг: решетки Летнего сада, Эрмитаж, набережная Мойки, весь этот город, – все одухотворено творческим гением. Но даже в таком городе, тем более в таком, чувствуешь себя очень маленьким, незаметным, а ведь ты человек, и главное, что тебе нужно, внимание, и не столь величавых невозмутимостей, сколько такого, как и ты, человека, с живым, бьющимся сердцем, с дыханием в щеку, ты скажешь ему все это и, знаешь, слово не потеряется, будет кем-то услышано, кто-то захочет тебя понять.

Письмо семнадцатое от 29 октября.

Кирилл? Заметь, я пишу тебе почти каждый день. Порой обуревает желание писать дважды – утром и вечером, единственное, что сдерживает, твоя олимпийская выдержка.

Кажется, ушла с головой в мир иного – в искусство. Вообще-то такая форма побега от действительности известна с древнейших времен. Флоберу принадлежит изобретение «башни из слоновой кости» – самим собой придуманный мир, куда укрывается художник от беспокойного мира, чтобы творить. Настоящий читатель тот же художник, он обязан войти в эту «башню», чтобы понять творца, стать соавтором его чувств и мыслей. И все же

«Заглушить рокотание моря

Соловьиная песнь не вольна».

Помнишь, ту блоковскую книжечку, что читали мы вместе? Цела ли? Кажется, она у тебя еще со школьного возраста? Конечно, в тебе всегда что-то было. К сожалению, многого не хватало, чтобы понимать настоящую книгу, а значит, и жизнь. В частности, я догадалась: у тебя не все в порядке там, на заводе, и ты придумал себе свою Дымовку. Смалодушничал, ушел от борьбы? Собирай, собирай библиотеку, заметь, в современном романе герой часто довольно молод, ибо молодость больше способна на что-то, молодые подвижны, еще не выросли, так сказать, в систему. Иногда герой вынужден отойти от среды, не подчиниться законам,

которым подчиняется масса, это вовсе не значит, что правы они. Такой герой должен готов платить за свою правоту одиночеством, а будет ли после поддержка – уверена, будет. В античной литературе нечто подобное именовалось роком, судьбой, позднее – случаем, счастливым, чаще все-го несчастливым... Григорий Мелехов в «Тихом Доне» для белых – плохой белый... Так вот у тебя на заводе конфликт, внутренние противоречия. Подумай, кто и в чем тебе противостоит? Не задумывался, с кем и за что ты должен бороться, если ты прав, если за тобой содержание – свежее чувство и мысль?

Подозреваю, у тебя есть противник: или такой же, как ты по положению, но в которого больше верят: или начальник цеха, главный инженер, наконец, директор завода, так? В конечном счете он хочет того же, чего хочешь и ты: общественного блага, Но каковы пути? Твои аргументы, сам понимаешь, не должны быть эгоистичны. За своего человека, за любовь, за свою модель жизни и, может быть, мира надо бороться. Это под силу лишь личности.

Я увлеклась романом одного французского автора – Пруста, из серии «По направлению к Свану». Это направление, может быть, пагубно, может быть, благодатно, влечет меня в неизвестное. Девчата притащили из «Электросбыта» две электроплитки, будем готовить сами, чтобы иметь возможность сэкономить и что-то купить. Сами по себе вещи имеют лишь потребительскую ценность, но для общества в целом, для кое-кого в обществе, они носят престижный характер как символ твоего успеха, внешний признак твоей цены в этом мире. Да, так, без материальных гарантий, счастье может быть только призрачным, но, увы, как часто за эту Великую Китайскую стену укрывается обыватель.

Второй день в городе не прекращается снег, налету переходит в дождь, окна текут и текут. Ветер. Такое ощущение, что вот-вот Нева двинется вспять. Таня.

Запись в дневнике в тот же час.

Кирилл или чурбан, или отказывается что-либо понимать. Мне здесь одиноко, нехорошо. То ли оттого, что не привыкла настолько

уезжать из дому, то ли Питер давит климатом, массой. У человека должен быть кто-то поблизости...

Нева свинцова, полноводна, не хватает мышей, наводнения. А Маша все мечется, мечется...

Письмо девятнадцатое от 1 ноября.

С Машей, Кирилл, мы больше не разговариваем. Сегодня она сказала при всех, что голубое мне не идет, ну а я, естественно, ответила тем же насчет ее платья-костюма. Впервые за многие годы демонстрация будет со снегом. Мороз в Питере, даже легкий морозец при здешней сырости – представляешь, что это? Обувь горит огнем, сапоги за какой-нибудь месяц потрескались. Воротник по той же причине заметно теряет блеск, пальто с сапфировой норочкой приберегаю. В остальном пока все нормально.

Запись в дневнике в ту же ночь.

Это стало болезнью – не спать, когда все спят, писать и писать по ночам. Правда, страх, беспокойство исчезли. Еще Сократ обращался к человеку: «Познай самого себя». Счастье – о, это древняя, как мир, проблема проблем. Что это – удовлетворенность ходом собственной жизни, собой? Довольна ли я тем, что вокруг меня и во мне? Что мне надо от всего мира? Вот Он рядом со мной, протяни только руку. И приятно, и – страшно... Из чего же складывается счастье? Из обладания?

Вещи... Они все красивее, все притягательнее. Один покупает их, чтобы жить как можно естественнее, другой – для престижа, в таком случае общество производит не вещь для человека, а человека для вещи. В романе «В августе сорок четвертого» есть описание, как во время войны армию переодевали, возвращая традиции, вводили погоны. У Шолохова старый солдат, глядя на командира в форме тридцатых годов, восклицает: «Разве же это командир, вот раньше были – что усищи, что выправка!» Человеческая натура, оказывается, консервативнее, чем нам это думается.

Бездуховность – вот что нас убивает. стакан водки и хвост селедки да еще «Жигули», гарнитур – вот и весь утлый набор для счастья.

А ведь в мире сейчас такие возможности; счастье духовно богатых труднее, зато и ценней, безграничней. Когда утром, еще из коридора, слышу голос этого человека – чуть с хрипотцой, как бы от росы, я вздрагиваю. Когда приближается конец занятий, ожидаю чего-то. Всю жизнь люди к чему-то стремятся, в случаях недостижимых на выручку приходит фантазия. Так был создан Бог. Человек человеку тоже может быть Богом. Мне хорошо, но мне хорошо лишь одной. У меня одностороннее потребление счастья.

Девчата спят, Машенька бредит во сне. Где-то каплет из крана, у входа ветер полощет флагом. Нигде ничего не происходит, все происходит в нас.

Письмо двадцатое от 2 ноября.

Кирюша, письмами буквально тебя закидала. Это хорошо, что вы с Федечкой прижились в своей Дымовке. Как у вас с «артезианской скважиной»? За меня не волнуйтесь, волноваться не надо. Создается впечатление, что ты писал письмо пьяным: столько ошибок, даже пропуски слов. Пьешь со всеми подряд? С утра и до вечера? Для того и поехал в Дымовку? Между прочим, Тургенев посылал из Франции письма в Спасское, просил крестьян, чтобы не глушили разум сивухой. Исправившимся обещал дать по корове. Так-то, Кирюша. Ночами у нас по полу бегает мышка, я дрожу, а девчата спят, как убитые. Зато Машенька бредит во сне. Где-то в конце коридора капает кран, а у входа в общежитие ветер колотит флагом. Нигде ничего не происходит. Скоро, совсем скоро праздник.

Таня.

Запись в дневнике в ту же ночь.

Где-то читала: успех улучшает характер. А неуспех раздражает, делает злым? Вот и я (достаточно было повести меня в Эрмитаж, прикоснуться к локтю) рассуждаю о счастье, добре. Я не могу преодолеть себя, я хочу счастья себе одной – это зло. Да возможно ли добро для всех? Добро – это гармония интересов моих, членов моей семьи, всего общества. Достижимо ли это, может ли быть по-настоящему хорошо сразу всем? В мире все перепуталось, все

запутано, сложно. Попробуем рассуждать. В древности счастливым считался сильный, храбрый, удачливый, в средневековье – богатый, обладатель добра. Что потом? Пушкинский Евгений, этот маленький человек, не способен пробиться к счастью. И тогда на свет является Германн – сверхчеловек, стремящийся стать по ту сторону зла и добра. Люди, – думает в минуты отчаяния князь Мышкин, – ничего не могут в борьбе с миром зла. Не люди, князь, а одиночки. Слабые, сильные, всякие, но одиночки... Пришло время систем. Что можно сейчас одному, даже если и сверхчеловеку? Уйти в себя, гордо страдать в одиночестве? Мудрят философы: у сильного существа под влиянием сильного чувства возникает как бы состояние выбора, в котором он может якобы все. Но ведь это внутри его, это иллюзия, болезнь, лезвие между жизнью и небытием, – куда он хочет – к себе, от себя? В те же райские кущи, в ту же «башню из слоновой кости»? К себе бежать – слабость, от себя – нужна сила... А как быть мне, простой, смертной женщине, которая хочет жить, любить и не где-то там за чертой, а здесь, в жизни? Даже сверхсильная личность способна ли что-либо изменить, если живет только миром собственных грез? Как это по Камю? Я – Сизиф, вот вкачу камень на гору и завершу титанический труд. А что дальше? И закончу я тем, что ночью сброшу камень обратно, чтобы утром начать все сначала.

Я утром начну все сначала. Зайду в аудиторию, увижу Его, опущу глаза, словно школьница. Но ведь на то же самое способна и Машенька, сию минуту, возможно, делает кто-то еще. Перейти по ту сторону зла и добра после своего морального опыта человечеству сейчас ничуть не труднее, чем удержаться по эту. Сколько растеряно ценностей, но жить надо, детей поднимать надо, они должны жить лучше нас. Ну хорошо, не решаюсь, и миг мой исчезнет, скользнет в глубину. Но разве кто-то никогда не захочет, как это делают в спортивных программах по телевизору, отщелкнуть назад свою пленку? Отщелкнуть, чтобы в один прекрасный момент умереть от любви.

Письмо двадцать первое от 3 ноября.

С Машенькой, Кирилл, мы по-прежнему не разговариваем. И чего она дуется? Вот уж с кем не следует близко сходитья, чтобы

не предъявлялось претензий. Купила кремплин, сшила себе платье-костюм, я на это ей ничего, А вот я сшила жакетик – тут же упрек: почему голубой? Интересно, какое же кому дело, какой? После занятий не хочется идти к себе в комнату, а куда деваться?

Следи, чтобы Федечка не промокал, не забывал про шарф: он имеет привычку болеть в это время ангиной. Мог бы заставить его написать мне письмо, кажется, уже должен уметь это делать. Мама тут, как героиня, одна, мама скучает, а лапуня и не вспомнит о маме. Я ему жевательную резинку приготовила – апельсиновую. Подарил всем в группе этот, «артезианская скважина», девочки собрали их мне. Федулька от радости подпрыгнет до потолка.

Запись в дневнике в ту же ночь.

Написала домой, а все не то, не то, Зачем связала с Ним само имя Федечки через какую-то жевательную резинку? Биологически в человеке еще что-то от далекого предка; когда приходит ночь и тени ползут из углов, у меня дух замирает, на спине шевелится кожа. К какому предку мы ближе – к хищникам или травоядным? Ночью чувства обнажены, потому, наверно, пишут ночами. Оказывается, я «сова», а не «перепел», не из тех, кто берется за дело с рассветом... Как таинственно где-то каплет и каплет... Кирилл называет меня Снежной королевой, у меня холодное, зальделое сердце? Бедный Кай, из него не выветрился запах пота и водки...

На занятиях мне стало дурно; оттого что не досыпаю? Девчата вывели на воздух, Он же не обратил никакого внимания. Надо не терять достоинства ни при каких обстоятельствах. Человек подобен дробинке, в числителе – что он сам о себе думает, в знаменателе – как его ценят другие. Кирилл еще сильный, еще деятельный, он многое еще сможет. Когда мы поженились, я в него верила больше, чем, пожалуй, он сейчас верит в себя. Не отсюда ли его неустойчивость, на заводе конфликты? А, может, он все-таки личность? А как же с керосиновыми лампами? Можно зарабатывать иным, более достойным способом. По соседству, говорят, объявились шабашники, в свободное от работы время обивают двери новых квартир. Назвались «академиками». Действитель-

но виртуозы: полная взаимозаменяемость, у них свой матерьял – дерматин. Если и не всамделишные академики, то из НИИ это точно. Ничего, труд никого не позорит. Именно от своего дела человек идет к осознанию себя, своей ценности; то будет уже не петушиная гордость в золоте и аксельбантах. Человек с содержанием скромнен и человечен, напыщены лишь ничтожества. Да ведь кто-то всегда найдется, перед кем ломает ничтожество шапку; сам подхалимствует, сам унижается, за что и мстит нижестоящему высокомерием. Поклоняться и поклонять – это границы ничтожества, достоинство – от внутренней полноты. Человек ценит себя, свою личность, и тогда нет в нем места идолу, низводящему его до положенья раба.

Сегодня Он был снова в ударе. Смотрел на меня (или, может, на Машеньку?), заканчивая лекцию словами Дидро: «Природа подобна женщине, которая любит наряжаться и которая, показывая из-под своих нарядов то одну часть тела, то другую, подает своим поклонникам некоторую надежду узнать ее когда-нибудь всю». О, где оно в нужный момент, это достоинство!

...И тот, кто был никем, достоин человеческой жизни. Вбегали в Зимний по лестнице и, растекаясь, поднимались все выше и выше, туда, где теперь импрессионисты – властители момента, кудесники света, движения времени, перемен. А капля и каплет, и каплет в конце коридора. У входа полощется флаг.

Письмо двадцать второе от 4 ноября.

Кирилл! На себя, право, тут не наготовишься. У меня в подъеме лопнули сапоги, и я отнесла их в починку. В туфлях по грязи не хочется, и я сижу дома. Вымыла и уложила голову, вроде той самой модной прически «сессон», которую Машенька делает в салоне почти каждый день. Вчера брат из Сибири опять ей прислал перевод, и она повела девчат в кафе, но девчата решили сброситься и сходить ради праздника в ресторан, пригласили кое-кого из преподавателей. Ты молчишь и молчишь, я пишу и пишу. Одна из нашей комнаты на праздники едет домой, остальные не знаю. Не знаю.

Запись в дневнике в ту же ночь.

К чему это Он привел цитату Дидро? Вроде не за что себя упрекать, а вот упрекаю. Во сне я была в неглиже, какой-то мужчина смотрел на меня – даже до сих пор стыдно. В девятом классе я стала приходить домой поздно, мама сказала: «У тебя нет совести, Таня». Она появилась или ее нет по-прежнему? Конечно, человека не сдержишь, замок не навесишь, у каждого свои внутренние «табу» и разрешения... На Нем опять свежая голубая сорочка, на Машеньке голубое платье-костюм... У меня уже выработалась своя система этих «табу» и разрешений. Я – личность, сильная личность. Что требует от меня больше сил – переступить или не переступить?

Письмо двадцать третье от 5 ноября.

Праздники так ожидаешь, праздники, смотришь, проходят, после них всегда остается какой-то осадок, неудовлетворенность, душевная пустота. Все позади, все далеко-далеко, а было ли что вообще? Одна из наших, Вера, уехала к себе в Новгород, ей тут недалеко, взяла с собой еще одну, Иру из Грозного, и в комнате стало просторнее, увиделось, что она у нас маленький аэродром. Сапоги я взяла из починки, сделали сносно, заклеили подошву каучуком. Это все-таки Питер. Временами я начинаю скучать по дому, по Федечке, чаще всего скучать некогда, это все-таки Питер. Меня начинает беспокоить проблема: в чем я завтра пойду в ресторан? Свеженького из платьев ничего нет, жаль, что оставила дома то, что привез ты тогда из Одессы, темно-сиреневое, со звездным сиянием, «теплая южная ночь», да, это все-таки Питер. Таня.

Запись в дневнике в ту же ночь.

Не знаю, не знаю, чего я хочу от себя. Порой становится страшно, сколько ни размышляю, кажется, ничего не понимаю, я всего-навсего женщина. А женщина должна просто любить, просто иметь семью, детей, собственную крышу над головой. Положение студентки мне явно не по годам, действует явно на нервы.

Я страшусь завтрашнего ресторана, завтрашней встречи. Главное – не показаться Ему дурочкой. Как это у Него: «Средние способности компенсируются четким осознанием цели. Одни хотят стать специалистами, другие – широко эрудированными людьми, у них разный подход к предмету. «Образование – это то, что остается, когда забудется все выученное».

Это все так, образование важно, просвещение важно. Человек родится всего-навсего индивидом двуногим, личностью стать ему еще предстоит, достоин или не достоин он будет своего высокого положения. Позвольте, дорогой профессор, коснуться несколько иного аспекта того же вопроса: да, наука меняет лицо планеты, просвещение меняет лицо человека. Это целая эпоха – Вольтер, Гете, Гейне... И что, уменьшилась на планете жестокость? Скорее, росла с просвещением... Да, профессор, Россия всегда была горька и величественна. Достоевский страдал от того, что силы Зла у него оказались слабей сил Добра, Лев Толстой придал гуманизму новые силы. И вот двадцатый век. Согласитесь, ведь это же ликвидация всякой нравственности, когда прививают одно, а делают нечто иное. Следовательно, не через просвещение к гуманизму, а через сам гуманизм к гуманизму, но через какой?! И в древнем Китае, в ученье Конфуция, встречаем все тот же принцип любви к людям. Но это уже исток человеколюбия, ручей, которому суждено выбраться к океану. Это уже нечто иное, чем господствовавший на древнем Востоке, в той же Индии, принцип сострадательности, призывавший, прежде чем сделать живому больно, поставить на его место себя. Именно у буддизма взяли философы свое золотое правило: не делай другому ничего такого, чего не хочешь, чтобы делали в отношении тебя... Действительно, к гуманизму через гуманизм. Через тот, который начертан на наших знаменах: способности в человеке неограничены, движение к совершенству не знает предела, и в этом движении каждый имеет право на счастье, свободу, любовь. Удовлетворить такие потребности – цель нашего общества.

Да, профессор, я держусь заповеди «не создавать себе кумира». Но что делать, если слаб человек. Стремлюсь быть объективной,

самой во всем разобраться. Чту истину, пытаюсь основывать убеждения на знаниях, обхожу фанатизм – о, я знаю, профессор, что это такое: когда фашизм в Германии жег книги на площадях и создавал лагеря для своего народа. Да, я гляжу в суть фактов, не ослепляясь их видимостью. Да-да, я понимаю: в движении к совершенству нужен рост знаний, накопление морального опыта. Стремлюсь понимать противоречия и движение жизни... Нет, сама я не отступлюсь...

Слышу Его голос снова и снова. Эта манера подталкивать пальцем дужку очков с носа вверх, с носа вверх на лоб приводит меня в восторг. Подтолкнет и бровь изломает в недоумении: «Почему человек, которому нечего сказать, не молчит?» Или: «Тысячекратно прав Ларошфуко, сказав: «Во мраке, нас окружающем, ученый стучается лбом об стену, тогда как невежда спокойно сидит посередине комнаты». Как вы считаете, это так? В самом деле, в чем идти завтра мне в ресторан? Какой помадой покрасить губы? Как уложить волосы, чтобы быть «ком иль фо»? Не от мыслей устаешь, устаешь от суеты. Дома же не устаешь, наоборот, от суеты – стирки, мытья полов, приготовления еды; устаешь от бездействия мысли. Кирилл меня не стимулирует, мне перестало быть с ним интересно... Машенька забыла закрыть форточку, и теперь ее хлопает ветром. А Машенька – лицом сюда – спит, улыбается: ей снится что-то приятное. Кажется, с нее стадо сходить. Странно звучит для меня это слово – «форточка». С детства думала: от какого слова – «форт», «крепость»? Серая Лошадь, Красная Горка и «форточка». Странно.

Письмо двадцать четвертое от 29 ноября.

Мне словно опять восемнадцать. Вновь и вновь переживаю тот вечер, который подарили мне Вы. Да именно так, и я этого не скрываю. Пусть все уже было: «Я вам пишу, чего же боле»... Но ведь каждое время и каждый во времени проживает свое по-своему, так? И то, что Вам пишут где-то за середину двадцатого века, согласитесь, не так уж оригинально. Слово хочется молвить.

Помню до подробностей всю обстановку в «Астории»: сверкание люстр, расположение столиков, выражение лиц у официантов. Именно «у», потому что лица их были как нечто внешнее, присово-

купленное, им почти не принадлежащее: черный фрак, белоснежная салфетка на левом локте... Извечно, это ирония, но не так уж часто приходилось мне бывать в ресторанах, чтобы не заметить. Помню, как отдавал матово-фиолетовым Ваш свежий галстук, когда, заказывая ужин, Вы развернулись к официанту, как над столиком на миг повисла неловкая тишина. Машенька была готова хихикнуть, но девчата так на нее посмотрели. Пела у микрофона певичка. Мне отчего-то жаль певичек из ресторанов, особенно если поют хорошо. Всегда веет разбитой надеждой, неполучившейся жизнью. Странно, в ресторанах обычно поют что-то легкое, она пела Чайковского на слова Гете, мой любимый романс:

«Нет, только тот, кто знал,
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал,
И как я стражду».

Помню, как подрагивали от каждого слова Ваши глаза. Заметила, они у Вас голубые, с белыми точечками. Волосы темные, а глаза голубые. Почему женщины любят светлые волосы и голубые глаза? Светлые волосы с голубыми глазами – слабый тип, его легче склонить, подчинить. О нет-нет, Вы опасны: в Вас мужская сила и хрупкая, как у женщины, голубизна...

Все еще кружится голова – от вина или вальса? Я не танцевала сто лет, с выпускного в школе, когда, помню, летала, как птица. На мне было коротенькое платьице, зато длинные волосы. Все летело мимо тогда: стены, улыбки, учителя, годы позади, годы впереди. Танцы – с мужем я забыла, что это такое. Ваша рука лежала на талии, и я думала, смогу ли... смогу ли опять улететь? Медь оркестра заглушала слова, но губы Ваши двигались, и я понимала Вас по губам. И помню, что сказано было, дословно.

«Вы: – Как-то два парижских физика Ягод и Андре Хельброннер забрели в ресторанчик, заказали бульон. Когда его принесли, незаметно капнули в чашки жидкого воздуха, только что полученного ими в лаборатории. Подозвали кельнера: «Вы принесли нам совершенно ледяной бульон!» – «Не может быть». – Кельнер был ошеломлен переходом жидкости в твердое тело.

Я: – Что Вы скажете насчет ученого, который, наоборот, лед обратил бы в горячую жидкость?

Вы: – Хотите, сразу в газообразное?

Я: – ?

Вы: – Его просто бы выдуло в форточку.

Я: – Тогда все было бы слишком просто, без всякой игры...

Вы: – Люблю играть в шахматы, хотя, признаюсь, ни черта в них не смыслю.

Я: – ??

Вы: – Дорого участие. Дело почти всегда завершается матом королю, и это радует мое республиканское сердце».

Я искренне рассмеялась. И тут танец кончился. Когда мы подошли к столику, Машенькин кавалер, этот восьмипудовый боров-красавец Толя, отпустил (помните?), очевидно, по нашему поводу шуточку: что-то вроде «танцы – трение двух полов о третий». Ничего себе шуточка. Смеялась лишь Машенька. Смеялась до неприличия, до истерики, она, наверно, выпила лишнее. И Вы пригласили ее на танго, я думаю, чтобы отвлечь. Я дождалась своей очереди. На этот раз в нашем диалоге было... с Вашей стороны, разумеется... не столь много грубого.

Только что я подумала, что именно здесь, в «Англеттере», обрел последний приют Сергей Есенин (я видела у одного человека фото сразу же после кончины поэта, с бревнышком под головой), как распорядитель вечера уложил в радиолу, – Вы помните? – пластинку с Высоцким. Конечно, это боль души, это крик, под Высоцкого нельзя танцевать, но всегда ведь найдется тот, кто имеет противоположное мнение. Мы стояли, облокотившись о стойку буфета, и я смотрела почти безразлично, как в фужеры нам наливали шампанского. Я думала в этот миг о Есенине, о Вас, о себе, вообще обо всем сразу и ни о чем.

Я коней напою,

Я куплет допою,

Хоть немного еще постою,

На краю, на краю.

Жаль было этого хриплого человека, который заставляет нас метаться вместе с собой. Кажется, в фужер упала слезинка, тогда Вы сказали:

– А ведь все мы сейчас... на краю, я не прав?

– Вы – ученый, – ответила я. – У Вас доброе республиканское сердце.

И в это время во мне не в ритм ударило сердце. Я, наверно, сгорела, до корней волос вспыхнула, потому что Вы наклонились и положили щипцами в фужер мне кубик льду:

– Не бойтесь, не из жидкого воздуха.

И тогда я стала говорить о том, как странно это – быть одинокой. И чем больше город, чем он великолепнее, тем страшнее. Одна девушка на турбазе в Алтайских горах просто плакала, что видит такие прелести, а нет рядом мамы, не с кем чудом таким поделиться.

– Вы слишком гордая, – смотрели в упор Вы, и белые точки на голубом пересверкивали электричеством. – И сейчас одиноки.

– Но у меня, – попыталась я прикрыться иронией, – увы, не республиканское сердце.

– Тогда вы сама королева, из-за которой сражаются шахматисты.

– К сожалению, Снежная. С ледяным, замороженным сердцем.

– И можно его растопить? – сделали Вы к руке моей полудвижение. И я испугалась. Положила в фужер еще один кубик льда. «Бедный Кай, – думала я в порыве. – Бедный, бедный мой Кай».

Ну, помедленнее, кони,

Ну, помедленнее, кони,

Умоляю вас вскачь не лететь.

– Закружите меня, – воскликнула я, увлекая Вас в круг.

Что такое любовь? Что значит любить? Вы когда-нибудь любили до грома и молний? В этом что-то от героизма. Но ведь героизм – это необязательно закрывать амбразуры. По-моему, большая любовь – умение прожить тихо, скромно, с любимым всю жизнь, до самых преклонных лет. Однажды мне пришлось наблюдать такую пару в музыкальном театре. Это был композитор с женой – чистенькие, аккуратненькие; она, чтобы прикрыть

его, взяла в сухую погоду зонтик. Они были совсем старички, а песни их, прежние и только что принесенные, юны... И все же. Я была готова переплыть Ла Манш. Вот она, Нева, вокруг нашего острова, в любую сторону серостальные воды. Если бы Вы только сказали... если бы приказали... Всерьез думаю об аспирантуре, чтобы плыть к своему берегу. Возле Вас пробуждаются силы, я готова делать бог знает что, даже глупости. У меня есть семья, мужчина – муж, как говорится, в законе. Вы когда-нибудь знали это? Вас что-то удаляет от некогда близкого человека в день по микрону, в год по сантиметру, как Европу от Америки, за пятьдесят миллионов лет на тысячу километров. Представляете, тысяча километров! Вы что-нибудь слышали об однополном размножении видов? На Кавказе скальные ящерицы предпочитают производить потомство сами, вообще без «мужчин»...

– О, что за кони мне попались, – перебили Вы меня, – пррриве-редливые!

Взяли в руку вот эти пальцы левой, посмотрели в глаза. И я ухнула в пропасть.

Потом мы снова сидели за столиком, и все по очереди произносили тосты. Вы, как всегда, говорили с цитатами, одна мысль выкатывалась из другой. Вы не забыли никого из сидящих, даже Толика, этого борова, Машенькиного кавалера. В конце концов, глядя на меня, привели выражение... не помню кого... о том, что одни видят науку наукой, другие – хлебом да еще с маслом. К чему это – я не поняла, вернее, не захотела понять. Я видела в Вас другое, слышала в Вас другое. Как Вы входите в аудиторию, поднимаете голову чуть вверх и немного к окну, толкнув очки с переносицы вверх ко лбу, говорите традиционно:

– Ну-с, уважаемые дамы, поговорим сегодня о личности...

Да, личность как таковая не всегда имеет хлеб с маслом, она должна быть готова в лучшем случае есть хлеб с хлебом. Кстати, в Америке один врач-умелец иглоукалыванием лечит пристрастие к алкоголю, курению, еде. Стоит скрепку в определенной точке на ухе лишь потереть, как искушение пропадает,

чувствуешь себя так, словно только что насытился хлебом да еще с маслом.

Помните, Вы поминали в лекции принцип «наоборот»? Не получается что-либо – бросьте, поступите наоборот. Это в науке, а в жизни? А с гражданскими принципами? Настоящий ученый – это тот же художник, оба мыслители, оба творцы. Догадка, умение предвосхищать – разве это не важно одному и другому? Флобер, например, сказал, что писатель и ученый расстались у подошвы горы, чтобы встретиться где-нибудь на вершине. Пути разные, вершина одна.

Другое дело – художник и нехудожник, так сказать, Моцарт и Сальери – «грамофон», как зовут у нас тут одну медногорлую бездарь студенты. Помните встречу ту в Эрмитаже, в зальчике импрессионистов? Я много думала после, особенно о талантах. Откуда они являются, о двигающих ими пружинах. За до-морощенность Вы меня, надеюсь, простите. Я так поняла, мне важно иметь свое мнение.

Согласитесь, самая губительная точка зрения – абсолютизация какой-нибудь истины, особенно в сфере искусства. Сплошь и рядом как высшую оценку художнику слышишь: «О, это искренне, ни грана фальши!» На одной только искренности далеко не уедешь. Вот Вы – талантливый лектор, Вас можно слушать часами, разве не так? Что скажете Вы о Гегеле, который подписал, на мой взгляд, смертный приговор искусству, превратив его в ступеньку познания действительности. Но ведь после того оно не умерло, наоборот, восходило на вершину в новых шедеврах.

Трудно быть в сравнении с прежним хотя бы просто своеобразным. И так каждый раз, всякий век каждой творческой жизнью – что требуется от художника? Поднимать потолок святого искусства. Общество для того и содержит художника, чтобы соотносить людей с кем-то, чувствовать свежесть движения, познавать. Оно видит себя в нем, как в зеркале: настоящий художник – нерв, чувствилище своего народа. К сожалению, замыслы часто богаче их осуществления, у художника вечна неудовлетворенность

содеянным, хотя всяко бывает: порой современники находят в произведении нечто, о чем творец его и не подозревал...

Не ругайте меня за слишком долгое послание, но это единственная форма поговорить с Вами откровенно, поделиться выношенным наедине, без свидетелей, без аудитории, когда все глазами тебя так и едят, от этого у тебя даже сохнет во рту.

...Мало появиться на свет «с божьей искрой», надо суметь превратить ее в пламя. Высотой эрудиции, глубиной познания жизни. И еще. На мой взгляд, уровень художественной мысли поддерживается уровнем ее восприятия... Согласитесь, с детьми мы говорим по-другому, нежели между собой... Каждый человек способен воспринимать, а восприятие – это сопереживание, сотворчество. Есть и в среде слушателей, читателей, зрителей свои «грамофоны». И все же, чем выше уровень всех, уровень восприятия аудитории, тем, мне кажется, выше и уровень творчества настоящих художников. Горький бился за то, чтобы выпускали книжку-копейку, пусть народ читает, крутит в руках книжку-копейку (не жалко) в копне где-нибудь под дождем, в перекур подле локомотива, парома. Уж что-что, а книжка должна быть деловой, она поднимает народ – народ поднимает творца, творец движет общество – общество движет страну. Это только в науке каждая новая ступень перечеркивает прежнюю, искусство, наслаивая себя, ведет по ступеням к вершине храма...

Видите, сколько я Вам понаговорила, нахваталась тут. Вам судить, смогла ли я что-то выразить, достойна ли я считать себя Вашей ученицей.

В ту ночь я отдала Вам все, что могла. После «Астории» я заболела. Ангина, скорее, на нервной почве. У меня так бывает. Совсем недавно считала, что праздники оставляют в нас пустоту. Эта встреча с Вами, разговор с Вами для меня праздник, который я стараюсь продлить.

Девчата на занятиях, а я лежу, все пишу. В форточку залетел корабельный гудок – протяжный и грустный. По радио передают сообщения: от нас, из гавани Васильевского острова, в далекую Антарктику отправляется исследовательское судно «Вернадс-

кий». Пятьсот ученых на борту уходят на многие месяцы, здесь остаются их дети, матери, жены. С ним бы – близким, единомышленником – туда, в Антарктику, к полюсу недоступности. Только любить, только бы знать, что этот случай – твой, единственный, неповторимый. Таня.

Пост-скрипtum. Во мне уже третий день, почти осязаема пушкинская строфа:

Я знаю: жребий мой измерен...

Это мое письмо первое Вам, возможно, последнее. Корабль, прощаясь, гудит: буксир выводит его в залив.

Письмо двадцать пятое от 15 ноября.

Кирилл! Боже, неужели то письмо попало к тебе? Ты упрекаешь, что я долго не отвечаю, поддеваешь: «шатаешься там по ресторанам». Получается, нечто вроде чеховской ситуации: письма, в котором ты просишь денег, я не получал. Но если ты в самом деле не знаешь причины моего молчания, изволь: болела ангиной. Она – извечная моя спутница, что же еще? Вчера только встала на ноги, пошла на занятия. В остальном все нормально.

Таня.

Запись в дневнике в тот же вечер.

Неужели мое письмо к Нему получил мой муж? Я дала его Раисе, Раиса должна была опустить в ящик, Раиса его опустила. Может, не по тому... адресу? То-то они с Машенькой шепчутся, шепчутся. Неужели? Даже ноги немеют, ломит затылок. Это, наверно, слабость после болезни... И Он вел сегодня себя как-то странно: при всех, через всю аудиторию, обращался к Машеньке, улыбался при этом. Да, за время моего отсутствия многое изменилось. После формальной справки о состоянии здоровья в мою сторону даже не повернулся... «О, что за кони мне попались пррри-ве-редливые!...»

С Машенькой у них что-то произошло. Чем хоть она хороша? Мешковата, груба, смех мужской. Помоложе? У меня осенний, бальзаковский возраст, или, как говорят француженки, «возраст элегантности».

Каково Кириллу было прочесть то письмо? Я давно уж одна. Могу остаться совершенно одна, один на один с жизнью, даже без Федечки. Говорят, ко всему привыкают, и одинокие, как Наталья Алпатова, например, вовсе от этого не страдают. Наоборот, находят немало прелестей: не кормить кого-то, не обстирывать, не тратить нервов, вообще не заботиться ни о ком, кроме себя. Когда становится грустно, можно позвать на момент человека, пригласить на вечер подругу... Но ведь это... это... Думаю-думаю, что же все-таки счастье? Мы пытаемся искать его сами в себе, для себя, а оно, скорее, где-то вовне. Фрейд считал, что оно передается генами счастья. Значит, если мать моя, бабушка, прабабушка были счастливы, я непременно должна быть счастлива, я должна передать свое «счастье» потомству? Что-то не то, что-то из цепи выпадает. Дело, по-моему, в том, что счастье мы ищем эгоистически, для собственных нужд. Жизнь мстит нам за это несчастьем...

Счастье, как наслаждение, наслаждение по-эпикурейски – пик счастья. Могу ли я предаваться ему, если знаю, как страдают от этого близкие? Я несую собою несчастье, но ведь я от природы источник счастья, я должна быть этим источником счастья. Значит, что-то зависит от нас, счастье каждого зависит от каждого, струны связывают нас, соединяют в систему, в звонкое общество счастья. Представим себе, лопнула где-то струна, пустота казнит эгоиста, любовь его не составит всем счастья. Я лишь человек, просто преподаватель, на мне эта миссия – просвещать. Но почему, почему в просвещенном мире пока еще столько жестокости? Порой из потаенных уголков самих себя мы извлекаем черты еще тех, припещерных жителей. Пора бить в набат не столько по поводу подъема просвещения, сколько по поводу падения собственной нравственности.

Смогу ли быть я счастливой, если пропадет мой Кирилл – сопьется, опустится, скатится в пропасть? Если Федечка не получит всего, что мы сможем дать ему с мужем вдвоем? Говорят, люди больше всего страдают от сравнения: кто-то отхватил себе шубу,

кто-то купил «Жигули». Я же всю жизнь буду страдать от того, что с чужим человеком мой сын не получит того, что получили, возможно, другие дети. Никогда себе этого не прошу. Никогда.

Письмо двадцать шестое от 17 ноября.

Кирилл? Ты что надумал, там, в Дымовке, и остаться? Сначала до весны, а потом, смотришь, и навсегда. Для меня как-то странно звучит твое желание поступить в аспирантуру, писать диссертацию что-то по тракторам и вообще стать ученым. Прежде никогда такого желания не высказывал. А вообще, да. Ты знаешь мое отношение к пребыванию человека на этой старенькой, грешной земле. Нужно учиться, что-то делать, куда-то двигаться – в этом избавление нас от серости буден. Представь себе, самый большой процент отдачи капитала от вложенного дает государству наука... Нет, это здорово? Ты это великолепно придумал насчет диссертации. Только почему же по тракторам? Что тебе на заводе производственных тем не хватает? Да, промышленности тоже нужен ученый глаз, в том числе и в вашей электротехнической отрасли. Представить себе не могу, ты – ученый! Всегда казался даже не инженером, скорее, исполнителем, техником. Все горит у тебя в руках, все получается, даже лампы, а тут – ученый, диссертация. Хотя, если вспомнить, еще древние греки ратовали за триединство – искусство, наука и техника, что исчезло с закатом Греции и вновь возродилось в Леонардо да Винчи, что всегда отличало всякую высокую цивилизацию. Так сказал один известный ученый Гулд, и я ему верю. Верь и ты ему, цепче держись за работу, увидишь, каким смыслом наполнится жизнь.

Таня.

Запись в дневнике в тот же вечер.

Кириллу явно не по себе. Что это значит, его Дымовка? Может, он все-таки прочитал то письмо? Прочитал и бежать? Каков рыцарь, настоящий мужчина. Человек познается, даже не когда съешь с ним пуд соли, а когда разделишь беду. Для Кирилла это беда...

Если письмо все же попало по назначению? Он ведет себя непонятно. Меня избегает. Зато в перерыве не преминет посмеяться с девушками, сделать Машеньке знак. Понимают – роман...

Главное – не потерять достоинства. Легко быть гордой, когда тебя обожают, перед тобой преклоняются, попробуй остаться гордой на виду у другой. Еще держит сознание личности, своей самооценности, но ведь никаких сил не хватает. Где же найти их? В достоинстве? Они тебе верили, верят Кирилл и сынуля, а чем платишь ты? Конечно, Он незауряден, нестандартен. Но ведь это же влияние города, в котором он живет... Бедный, бедный мой Кай. То письмо вывело его из оцепенения, вырвало прочь из системы себе подобных, куда, как в шалаш, он забился, чтобы жить и не думать. Каждый должен получить свою порцию ветра. Даже лев не способен царствовать, лежа всю жизнь на боку. И только Раиса, такой уж она человек, привыкла греться у чужого камелька. Хорошо было мне – она рядом со мной, теперь – с Машенькой.

Письмо двадцать седьмое от 21 ноября.

Кирюша, только что хотела тебе написать, что одного желания мало – все вдруг захотели в аспирантуру, как получила письмо, где ты сообщаешь о своей теме, что-то вроде организации профилактики эксплуатации тракторов в сельском районе. Ты родился под счастливой звездой, что встретился с командированным в хозяйства ученым, вел с ним предметный разговор, и он дал согласие в принципе на научное руководство. Остается – что же? – только начать. Благословляю. Сам понимаешь, надо двигать прогресс.

С Машенькой мы как расстроили отношения (из-за голубого жакета, который, кстати, мне явно к лицу), так никак не настроим, я лично к ней не имею претензий. Девчата у нас неплохие, просто не сразу находишь контакты, сразу я не умею. Не воспитывалась, как ты, в детдоме, не жила студенткой по общежитиям, а это, согласишься, что-то значило. Человек, что ни говори, существо кол-лективное... И все же как это прекрасно насчет диссертации? Я уж боялась, ты опять начал паять эти свои несчастные лампы, потом понесешь их на барахолку, деньги ударишься заколачи-

вать, вкрутишься в эту орбиту. «Жигули»! Хорошо, когда они не предел. А теперь, что ж, надо подумывать о кандидатском минимуме. Начни с экзамена по философии.

Таня.

Запись в дневнике в тот же вечер.

Это я Кириллу сказала верно: с Машенькой нас не разделяют антагонистические противоречия. Она не такая уж корова и по-своему симпатична. И все же... все же... Она тоже женщина, должна бы что-то чувствовать. Он подошел ко мне, как ни в чем не бывало, и, как ни в чем не бывало, сказал:

– Как вы, бедненькая, побледнели. Ангина?

Я даже чуть не заплакала.

– В лермонтовские времена дам вывозили на Кислые Воды... Хотите билет в филармонию? Оркестр Мравинского, «Патетическая симфония».

Билет лежит и жжет мне карман... Глаза голубые, в белую краплинку... Отдать билет назад или просто сдать в кассу? Я не люблю Мравинского, не люблю «Патетическую», никого не люблю. Неужели мир так устроен, что, когда кому-то делается добро, другому непременно должно быть плохо? Не потому ли, что, по словам моей бабушки, «пирога на весь мир не испечешь»? Значит, правы те, что твердят, добро для всех недостижимо? Ты хотела блага только себе; сыну – твой эгоизм мог обернуться горем, мужу – крушением устоев. То, что ты двинешь куда-то себя, станешь, возможно, профессором, возможно, даже министром, в конечном счете обернется ли благом? Если рухнет семья твоя – ячейка. Можно ли строить свое счастье на горе, тем более близких?

Вытаскивал из кармана мне билет в филармонию – Его руки пахли крепким одеколоном, кажется, «Шипром». Какой зловещий, даже мертвящий запах. От Машеньки вчера тоже пахло «Шипром». Он нянчится с нами, зачем? Мало того, что читает нам лекции в аудитории, еще и водит по музеям, концертным залам, театрам, он влюблен единственно в свой единственный город, и мало ли что придет в голову какой-нибудь провинциалке из-за

того, что ее пригласили, видите ли, в ресторан, взяли пальцы в руки, заглянули в глаза, наконец, дали билет в филармонию.

Письмо двадцать восьмое от 23 ноября.

Кирюша! Как ты угадываешь мои мысли. Письмо тебе только что бросила в ящик, как тут же получила другое, где ты сообщаешь, что начал именно с философии: набрал всяких книг, тряхнул институтские лекции. С Гегелем, Марксом ничего, конечно, не сделалось, а вот наше время советовала бы изучать по источникам. Жизнь движется с космической скоростью, для чего тогда выпускают брошюры общества «Знание», издательства «Мысль», «Искусство» и прочие? За примерами по политэкономии далеко не ходить, их у тебя под рукой, сколько хочешь. Читай больше по музыке, живописи, литературу художественную, развивает вкус и мышление. Еще Сервантес находил, что «поэзия черпает слово свое из науки, возвеличивая, в свою очередь, науку». Как только подначитаешься, изгонишь серость свою, которая вообще-то была присуща тебе... с тобой ходить к Алпатовым, бывало, стеснялась, непременно выпустишь «птичку»... так приезжай сюда, здесь отличные библиотеки. Я к тому времени подготовлюсь морально к ресторану «Астория». Можем мы почтить себя хотя бы раз в жизни? Здесь у нас со вчерашнего утра мороз, в приоткрытую форточку врываются клубы пара и голос Высоцкого, пластинку, что ли, крутят где-то напротив:

Ну, помедленнее, кони,

Умоляю вас вскачь не лететь...

Как с погодой у вас там? Совсем ничего не пишешь о Федечке. Я молчу – ты молчишь, я все жду – ты все ждешь, напиши.

Таня.

Запись в дневнике в тот же вечер.

Опять эти «кони пррри-ве-ред-ливые»!

Кажется, все решено. Раиса подошла и как бы невзначай бросила древнеримскую формулу: «целомудрена та, которой никто не пожелал...» Так ли уж не пожелал?.. Приятно ли было смотреть на

женщину там же в «Астории», когда она так напилась, что лезла к мужчине за своим столиком, потом под села к другому, потом ей стало дурно? Тоже в «возрасте эlegantности». Придет время – будет учить свою дочь или сына, упрекать их в бессердечности. Ох, уж мы, взрослые, большие дети, да еще и лицемеры.

Письмо двадцать девятое от 25 ноября.

Кирюша, наблюдала и сделала вывод: взрослые, оказывается, больше дети, чем дети, да еще и лицемеры. Это пришло на ум, когда однажды девчата наши, с курсов повышения, в глаза преподавателю сыпали комплименты, а за спиной обозвали его сутенером. Мне все это стало противно, надо себя уважать.

Прочитала у Гельвеция: «Науки и искусства – слава народа; они увеличивают его счастье... Только в апогее – творчество приносит плоды в области науки и искусства». Представляешь, к какому делу ты приступаешь? Ты пишешь, в хозяйстве у вас бардак, беспорядок, в районе ты вообще единственный сельхозинженер с высшим образованием, куда хоть они подевались – выпускники-то ваших всех факультетов механизации? В городах, на заводах? Так вот тебе и карты в руки, берись за свою профилактику, раздвинь тему, охвати взглядом всю область. Ведь это же интересно. Государство вкладывает в развитие Нечерноземья огромные средства, и это будет по-настоящему твой, по-настоящему важный вклад в общее дело. Не забывай, что каждый вложенный рубль в науку оборачивается наивысшей отдачей. И вот для тебя специально я откопала у американского промышленника Форда такую мыслишку: «Они (инженеры) так умны и опытны, что в точности знают, почему нельзя сделать того-то и того-то; они видят пределы и препятствия. Поэтому я никогда не беру на службу чистокровного специалиста. Если бы я хотел убить конкурентов нечестными средствами, я предоставил бы им полчища специалистов. Получив массу хороших советов, мои конкуренты не могли бы приступить к работе». Это все к вопросу о творчестве, об интуиции, что роднит настоящих ученых с художниками.

Кстати, как у тебя обстоит с философией? Что уже сделано? Заведи тетрадку, отдельно записывай мысли, возникающие от сопоставления теории с практикой. Мы же взрослые люди, кое-что соображаем, должно же что-то варить в котелке. Теорию, между прочим, движет не только теория, но, как сам видишь, и жизнь. Раиса после одного такого разговора за чаем обозвала меня «воблой» и «синим чулком». Она думает, что защищает Машеньку; не люблю людей, которые все знают, всех поучают, а сами греются у чужого огня...

Федечку подстегни, чтобы писал мне. Описал бы новую школу, новых товарищей. Как с ребяташками бегали на Чернецкое озеро, как катались с горки, ловили подо льдом рыбу. Поцелуй за меня и скажи, пусть собирается на каникулы ко мне сюда в гости. Я уж ездила к Агаповым, спрашивала, можно ли вас сюда на недельку. «Ой, да пожалуйста, пожалуйста! Примем» Правда, далековато от центра, но что делать?

Таня.

Запись в дневнике в тот же вечер.

С Машенькой надо поговорить. Конечно, у незамужних иные задачи, но нельзя же так расстилаться, надо иметь и достоинство...

Жена Цезаря выше подозрений. Кошка, раз усевшаяся на горячую плиту, больше не будет садиться на горячую плиту. И на холодную тоже. Где все-таки то письмо? Наверно, все же попало к Нему...

Письмо тридцатое от 1 декабря.

«Кошка, раз усевшаяся на горячую плиту, больше не будет садиться на горячую плиту. И на холодную тоже», – слова Марка Твена. Это я, Кирюша, к тому, какое имеет значение опыт. Порой, чтобы узнать себя, надо попасть в непривычные обстоятельства, надо человека послать, например, на курсы... Сегодня мне приснилось, что я – даже писать неловко – кинозвезда из Голливуда. Я блондинка, красавица, меня снимают на обложки журналов, в то же время мне грозит финансовый крах. Какие юные сны. А ведь я никогда, никогда не помышляла о подобного рода карьере. Верь после этого снам.

С некоторых пор, дружок, мы стали с тобой покрываться плесенью. Каждый жил сам, своим внутренним миром и все примерял на свой рост – добро и зло, счастье и несчастье, достоинство и унижение. Еще в средневековье вывели теорию разумного эгоизма: используя другого, давай использовать себя, но сколько по сей день пытаются использовать только тебя, особенно «l'art d'aimer» – в искусстве любви. И в этом двое взаимно обогащают и обогащаются, если, конечно, помнят, что человек человеку цель, а не средство в достижении цели. Как утверждают философы, в этом случае между склонностями и долгом возникают неразрешимые противоречия. Склонности зовут, долг не пускает. Отсюда якобы невозможно достичь идеала, мы превращаемся в рабов своих грез...

Видишь, Кирюша, я всерьез, как и ты, берусь за философию, подумываю об аспирантуре. Федя подрос, время высвободилось. Здесь, на курсах, одна женщина влюбилась в мужчину. Внешне он вполне симпатичен: бородака, как у индуса, зубы ослепительны, словно искусственные, голубые глаза; рассуждает с передовых позиций о личности, назначении женщины, а в «искусстве любви» занимает крайне правую сторону. Куда девается сразу вся его прогрессивность, это явно пещерный житель. В жизни, насколько я поняла, он, скорее, болтун, краснобай, до настоящего дела у него, как до звезд, но ведь и краснобай, ослепляя на миг, могут поворачивать судьбы не в то русло – русло несчастий. А в том, что женщина эта несчастна, никакого сомненья. Она одинока, немного устала, испытыв на себе свою ошибку, а с ней и крушение надежд. Сейчас она разрывается между совестью и чувством к нему, а он требует рабства, растер бы ее в порошок как человека, как личность. Не знаю, доставит ли ей удовольствие подчиняться ему. Я, например, вижу смысл в союзе женщины и мужчины в том, чтобы усилить друг друга в борьбе за себя, совместную самостоятельность перед постоянно меняющимся выраженьем лица жизни. И все же... в тебе остается стесненность, влечение к чему-то, что до конца не изжито, но новые чувства, возникая и возникая, накладываются на прежнее, и ты начинаешь вдруг понимать, что в прошлом не все было так уж

и плохо, и в прошлом с тобой были люди, и тот человек не подавил в тебе надежды на будущее...

В чем сила и слабость мужчины? Как ни парадоксально, в одном: в женщине. Наверно, нам надо иногда расставаться друг с другом, чтобы кое-что понимать. Вы без меня, небось, там пропадаете: заросли грязью, не стираны – не глажены, забыли, когда ели что-нибудь вкусненькое. Я собрала вам посылочку, – апельсины, лимоны, на днях высылаю. Всю неделю ходила по магазинам, выбирала Феде рубашечку, надеюсь, понравится – с погончиками, блестящими пуговочками, непременно понравится.

Так вот именно женщина не дает «льву» – мужчине, по словам Пушкина, «царствовать лежа на боку». Он получает от нее свою долю эмоций, не выходит из напряжения, кажется футбольным мячом, а не спущенной камерой. Это только нам представляется, что мы ломаем жизнь, жизнь ломает и нас. Конечно, двое живут, тянут семьей свой возок. Тянут и тянут, и всем вроде бы хорошо. Сестра Агаповой – Вера Павловна – милая, но весьма болезненная женщина. Весь век с мужем на частной квартире, из-за чего не имеют ребенка. Теперь она завучем, он по-прежнему просто учитель. Как лето, так она едет поправлять здоровье в Бердянск, он, используя свой двухмесячный отпуск, уже третий сезон отправляется куда-то на Север пилить лес, зарабатывает на кооперативную. Она его страшно жалеет и... любит. Через день ему пишет, через два дня звонит. Это – семья, это – люди, я им очень завидую.

Кирюша, милый, не надо нам никаких денег, не езжай ты ни в какую тайгу, живи в своей Дымовке, только будь человеком, только к чему-то стремись. Ты это здорово придумал – насчет тракторов. Какая польза людям, народу, стране. Конечно, уметь зарабатывать надо, но посмотришь, как люди рвут куски, становится страшно. Ну зачем это? Много ли нам надо? Что – натура, что ли, говорит в человеке нечеловечья? Все хватать, хапать, откладывать впрок. Я так думаю: дело надо делать серьезное, важное, деньги сами придут; что обществу жалко их, что ли, для тех, кто горит и сгорает на пользу людскую?

Теперь небольшие практические занятия по ведению домашнего хозяйства, так сказать, «домашняя академия». В последнем письме ты заикнулся о том, что из продуктов возишь в Дымовку почти все из города и что вам там двоим не хватает зарплаты. Денег всегда не хватает – это закон. Следовательно, надо уметь их тратить, вы, как я понимаю, жить одни, сами без меня, пока что не научились. Итак, примите мои наставления.

Вести хозяйство экономно, рационально, не крохоборствовать, но и не швырять денег попусту. Составь дневное меню, меню на неделю. Рассчитай, сколько чего нужно в день, переведи в деньги. Раз в две недели поезжай в город, привози оттуда то, чего нельзя купить в Дымовке. Не забывай платить за квартиру, за музыкальную школу, пусть Федечка клеит квитанции в конце дневника. Специфические советы:

- а. Консервы в банках не оставлять – отравитесь.
- б. В кофейник класть кофе по шесть ложечек.
- в. Суп подогревать до кипения, не то прокиснет.
- г. Зверобой-душицу кладут в холодную воду, потом кипятят три-четыре минуты.
- д. Варить на медленном огне, а то как включишь газ, так все у тебя горит. Запомни: на медленном. В крайнем случае, покупайте готовые борщи. В пакетах.
- е. Теперь о стирке. Стирать, предварительно намочив белье, с порошком, хотя бы раз в две недели. У белых рубашек воротнички оттирать мылом. Непременно мылом!

На сегодня занятий «домашней академии» хватит.

Да! Свою водолазку суши на кухне, на морозе потрескается. В остальном вам с Федечкой любовь да совет.

О философии. Ты, Кирюша, готовься. Где сдавать экзамен – найдем. В крайнем случае, в нашем институте. Кафедра философии у нас приличная, есть даже доктор наук, разрешено принимать экзамены и у соискателей. В крайнем случае, напишем, куда следует, съездим в министерство, добьемся. У нас в стране нет и быть не может преград тому, кто не мокрая курица, а к чему-то стремится.

Я Раису, кажется, начинаю понимать. Это темная лошадка, серая личность. Видел бы ее глаза, как они смотрят, когда у тебя появляется новая вещь. Как вытягивается у нее лицо, когда кто-нибудь, а не она, высказывает за вечерним чаем интересную мысль. Мы стоим за то, чтобы замечать таланты, выделять индивидуальности, но ведь тогда заметнее станут люди, подобные этой Раисе. Разве же они это кому-то простят? И вот какая получается петрушка: с одной стороны, в наше время, когда происходит нивелировка людей, их стандартизация – обществу, как кислород, нужны для движения личности, с другой стороны, на эти личности валится определенная масса, именно масса; каждый готов укрыться за каждого, каждый воспринимает неординарность как смертный приговор самому себе. Наши философы, на мой взгляд, продвинулись в изучении личности, но в таких направлениях, как личное и личность, личность и окружение, окружение и общество, откровенно сказать, не блещут... На одном из международных конкурсов пианисты наши играли прекрасно, но победителем оказался Ван Клиберн. Что значит одинаково высочайший артистический уровень и индивидуальность манеры. На следующем конкурсе победил уже наш пианист...

Сильно скучаю по Федечке, а он никак не напишет письма. Ты бы его приструнил, усади рядом с собой, пусть тоже пишет. Заодно разовьет письменную речь, будет меньше делать ошибок в диктантах. Кладу в письмо ему три жевательных резинки – голландские, специально Федечке подарили у Алпатовых, а Вере Павловне подарил кто-то еще. Пиши. Целую.

Таня.

Письмо тридцать первое от 5 декабря.

Кирилл! Итак продолжим занятия в нашей «домашней академии». Прежде всего, о квартире. Съезди в город и посмотри, не залили ль нас, а то как в прошлом году зацветут стены, подгниет на полу палас. Проветри помещение, протри, как следует, окна, поработай пылесосом по одежде и книгам, отлично знаешь, как это делается. Просмотри, не зашли ль от соседей к нам «брусаки» – тварь хоть и

не зловредная, но все-таки неприятная. Взгляни на мою песцовую шапку, не завелась ли моль. Не увлекайся винопитием – гробит безмерно время, отвлекает средства и силы. Всего этого будет сейчас нам так не хватать...

Готовлю еще вам посылочку, в основном, Феде. Купила ему спортивный костюмчик, полукеды, куртку и меховую шапочку; в Питере, ты знаешь, проводятся международные пушные аукционы, так что меха на прилавок выбрасывают. Федечке в шапке будет тепло, мягко, прикроет уши, не будет их простужать, пару зим никаких проблем. Присматриваюсь к демисезонному пальтишку, питерское почти всегда лучшего качества – само собой, лучшие ткани, фасоны, тут свой дом моделей. Скоро получите мою посылочку с традиционными апельсинами. Так что живите, не тужите. Как сказал Монтень, «каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает». Весь оптимизм внутри нас самих, не будем дурно думать о себе, своей жизни, об этом скажут ваши друзья.

Раиса по телеграмме улетела домой: к ее подруге ушел от нее – представляешь? – муж. Раиса даже потеряла дар речи. Еще бы. А я-то, дурочка, думаю, чего она жметя к чужому счастью? Вот она, судьба современной женщины. Так ли уж подлинна ее независимость? Многие социологи изучают положение женщины. На Западе тех из них, кто не служит, обозначили термином «фам дэнтерьер», то есть женщина, занимающаяся домом, воспитанием детей. Ее обязанность – выбрать со вкусом мебель, украсить свое жилище, содержать его в порядке, уметь готовить, хорошо принять друзей. Бальзак говорил: «Судьба женщины и ее основная слава – заставлять биться сердце мужчины». Думаю, такое положение уходит в прошлое. И у нас, и на Западе женщины не довольствуются ролью домохозяйки. Говорить в наш век о возвращении женщины в лоно семьи все равно, что агитировать молодежь не уезжать из села. Оба этих процесса необратимы. Надо ставить вопрос по-другому: как разгрузить женщину; ее рабочий день на службе и дома 13-15 и более часов в сутки, она вдвое меньше времени

проводит с детьми, меньше на час-полтора ежедневно отдыхает. Мне очень жаль работающую женщину.

Вот приблизительно ее день. Она просыпается рано утром после не очень длинной ночи, одевается, причесывается, красится в несколько минут, летит на метро, автобус, чтобы не опоздать на службу. Работает день. Возвращается, нагруженная сумками с продуктами. Едва успев поцеловать вернувшихся из школы детей, она начинает готовить ужин. Готовит, а сама думает о предстоящей стирке, отвечает на вопросы мужа, а сама думает о завтрашнем меню, о том, что старшему сыну надо купить ботинки, что квартира не подметена. Поэтому порой она не выбирает тона, говорит раздраженно. У нее постоянно желание запереться в комнате, отыскать убежище от всех, от шума, отдохнуть одной в тишине. Ложится она поздно, зная, что отдых будет недостаточным, что завтра и каждый день будет точно таким же.

А сколько ролей приходится исполнять женщине в выходной. С утра она домработница: с веником, в фартуке ведет войну с пылью. Затем как повар проводит часы на кухне, готовит воскресный обед, чтобы пище этой быть съеденной в считанные минуты. За стиральной машиной она похожа на техника. К вечеру становится министром финансов: считает и пересчитывает покупки, отыскивая малейшие возможности для экономии.

Есть такие мужчины, которые видят высвобождение женщины весьма своеобразно, я бы назвала их скрытыми ретроградами. Он за то, чтобы жена не работала, сам согласен трудиться по десять и более часов в сутки, лишь бы вечером его встречала веселая, приветливая жена, в квартире было уютно, светло. Работая один, мужчина чувствует себя хозяином положения, главой семьи, жена, по его мнению, меньше сует нос туда, куда ей не надо.

Мне нравится высказывание одного нашего ученого, которого я бы сочла прогрессивным. Его жена тоже работает, эта работа, возможно, и делает ее для него интересной, и плевать ему на мещанский уют, на все семь слонов на комод, он предпочитает иметь рядом с собой человека, с которым они близки по духу, друг друга обогащают, а это, пожалуй, самое главное...

Размышляла, читала и опять размышляла о специфике женщины, специфике мужчины, вовлеченных в общественный труд. Ставила себя на место работающего, думала о его психологии. И вот что у меня получилось.

«Социальный портрет женщины.

Привязывается к начальству, старается вызвать его симпатию.

Чувствительна к комплиментам, вниманию, любезностям.

Разговорчива, любит обмениваться впечатлениями.

Не может отрывать свою личную от своей работы, очень интересуется жизнью других.

Очень любит следить за работой, желая других сделать себе подобными.

Легко теряет контроль, не хочет признать себя виновной, если даже она неправа.

Постоянна ревность. Не любит, чтобы хвалили других.

Обидчива. Не терпит насмешек.

Любит нравиться, любит, чтобы обращали внимание на ее одежду».

«Социальный портрет мужчины.

Любит свою профессию, старается понять и понимает свою работу.

Придает значение продвижению по службе.

Может переносить одиночество.

Мало говорит о своих проблемах, мало интересуется чужими проблемами.

Понимает, что нужно следить за работой, но умеет сохранять за сотрудниками свободу.

Умеет контролировать себя, принимает справедливые замечания.

Ревнив в связи с продвижением других.

Тщеславен. Верит в свою значимость. Нуждается, чтобы его отмечали по работе, чтобы спрашивали его мнение».

Во Франции, например, около миллиона женщин работают по полдня, к этому выходу из положения прибегают все чаще. Женщина трудится несколько часов утром или вечером, когда ей

удобнее. Но никому и в голову не придет распределить домашнюю работу между мужем и женой. Там эта область остается за женщиной, потому что это в природе женщины, в ней это заложено. Прочитала в одном зарубежном журнале такой диалог. Две женщины разговаривают о мужчине со средствами, который должен жениться, у него есть знакомая, но дамы эти считают, что он на ней не женится, так как она не «фам дэнтерьер», тогда как ему нужна именно «фам дэнтерьер», то-есть дом, любовь и уют. В современном мире женщины на Западе претендуют на равное положение с мужчинами, они хотят работать во всех отраслях без ограничений. На это лицемеры-мужчины отвечают, что женщины менее сильны, менее разумны, мужчины способнее. Например, даже в такой чисто женской профессии, как кухня, все знаменитые повара – мужчины; все знаменитые портные тоже мужчины. Мужчины создают профессию, затем, если видят, что она не очень интересна или теряет престиж, отдают ее женщинам...

Как видишь, Кирюша, вплотную занялась (будем скромны), если уж не диссертацией, то, во всяком случае, рефератом об облике современной женщины, ее роли в семье и обществе. В смелости и серьезности наши социологи, на мой взгляд, далеко впереди литераторов. Так говорили древние римляне: «дух веет, где хочет»; только не загонять его, как джина, в бутылку, Я всегда думала, что обществу, с одной стороны, нужны талантливые, беспокойные, мятущиеся натуры, движители прогресса, чтобы не дать своему народу сбавить темпы, возможно, даже раствориться в истории, бывало с народами и такое. С другой стороны, для внутреннего употребления всегда больше требовались люди тихие, удобные, исполнители. Но и те, и другие – мужественные и деловые – очень нуждаются в поощрении женщины. «L'art d'aimer» – «искусство любить» не только в постели, не столько для себя одной, сколько для всех, для общества, для народа.

Мерзко видеть ворованную любовь. Вообразим такую картинку. Жена пришла домой поздно. Где была? На профсоюзном собрании. От самой же пахнет вином, платье пропитано «Шипром». Теперь эта жена является в срок. Она встречалась с кем надо днем.

На квартире, в гостинице. К вечеру улетучился грех и усталость. «L'art d'amour» – все то же «искусство любить»...

Представляешь, была вчера в Петропавловской крепости, в «Доме коменданта». В комнате, где вершили судилище над декабристами, включили магнитофонную запись. Именно отсюда настоящие мужчины загремели кандалами на всю Россию в Сибирь. Именно оттуда, из наших мест, из орловского села Тагино, отправилась следом настоящая женщина, жена Муравьева, в Сибирь с посланием Пушкина «Во глубине сибирских руд храните»... Я не могу ходить равнодушно по Питеру, хожу и вздрагиваю каждый раз, когда вижу исторический дом, мемориальную доску, просто Неву, просто Мойку, просто Черную речку. Как жаль, что нет вас с Федей рядом, чтобы высказаться, пролиться душой.

Представляешь, была вчера на экскурсии по питерским мостам. И – о чудо! – даже решетка – этот вечный символ рабства, если она произведение искусства, способна тебя восхитить. Оказывается, можно любоваться даже решеткой, если она поставлена для осветления духа. Мы проезжали экскурсионным автобусом, а мимо – северная Венеция и мосты, мосты. Кировский – изящная француженка. Лизин у Эрмитажа – смотрится в воду щеголем. Аничков – со вздыбленными конями. Банковский – с крылатыми львами. Прачешный – на Фонтанке у Летнего сада. И всюду решетки, решетки, решетки. Решетку у Летнего сада отливали тульские мастера. Один англичанин приехал в Петербург только ради нее. Любовался ею то со стороны Невы, то со стороны сада, то при утреннем, то при вечернем освещении. Уехал, не пожелав ничем другим разбивать впечатление, сказав, что самое главное видел. Оставим на совести англичанина возможный его крепостнический умысел, выделим красоту...

Почему само слово питерцы вызывает в нашем народе симпатии? Не только потому что выстояли, выдержали блокаду. Но еще и потому, что любят свой город и делятся этой любовью с народом. На них лежит отсвет музеев, театров, славных имен. Все будит

ум, все благодарит душу, когда даже решетка – знак насилия над человеком – выглядит знаком любви к человечеству.

Вчера от Федечки получила первое в его жизни письмо. С места в карьер сообщает о своих «успехах». Как тебе нравится такая фраза: «Мама, я по труду учус на двки и трки, а как ты учшся?» Нечего сказать, грамотей. Посмотри за ним, позанимайся, а то, пока я тут, он сдаст у тебя позиции. Это письмо ему специально. Пишу крупно, пусть сам читает.

«Дорогой Федечка!

Ты написал мне, что получил по труду «двойку», и я огорчена. Допустим, ты опоздал на урок, но почему не вошел в класс сразу, а только потом? Говоришь, пятеро проскользнули в класс, та не захотел быть шестым, «шестеркой»? Ну, что за предрассудки? И папа тоже хорош, нашел, что одобрить. Хорошо, предположим, вы оба правы. Тогда, если даже ты и опоздал, сумей, сынулечка, в класс проскочить в числе той пятерки. А «двойка» за труд позорна, недопустима. Приедешь ко мне и увидишь, какой прекрасный город создан именно трудом и талантом. Труд кормит нас, защищает страну, движет людей вперед. Пойми это и исправляйся немедленно, маленький гражданин нашей большущей страны. Целую. Твоя мама».

Письмо тридцать второе от 10 декабря.

Дорогие мои ребята! То, что Федечка исправил «двоечку» по труду, впечатляет, вселяет надежды и прочее. Однако, в связи с приближением у тебя, отец, экзамена по философии, возникает сомнение, не повлияют ли, согласно теории наследственности, недавние успехи сына на будущие успехи папы? Что-то папочка ни слова о том, как подвигается у него философия, что – зело крепок орешек? Скоро в нашей семье может случиться так, как вообще по стране: уровень образования слабого пола окажется выше уровня сильного. Кого, Кирилл, будем эмансипировать?

Вчера сдавали зачет по эстетике. Ну и тип. Пускал-пускал пыль в глаза, водил-водил по музеям, а вчера разрядился панегириком

о... магнитоле, которую, видите ли, приглядел он в комиссионном и которая так и просится к нему на вечную память о нас. Машенька решила купить ему эту магнитолау сама, он не против. А ведь тоже, оказывается, выходец из деревни...

Сегодня вновь прошла по залам французских импрессионистов. Насколько я поняла, картины их обладают способностью смотреться по-разному не только в разное время года, суток, но и когда тебе хорошо, когда плохо. В эту минуту мне показался тускловаты обыденным даже сам Ренуар. Но вот я присела на скамеечку, задумалась. И, представляешь, веки «Купальщицы» дрогнули, глаза заглянули в меня, в них мелькнули растерянность, Раечкино выраженье. И мне стало больно от жалости, затуманилось зрение, даже слезинка упала, Ренуар снова был Ренуаром, «Купальщица» наполнилась светом. Как будто в окно, с Дворцовой площади, снова ударило солнце.

Меня потянуло дальше, я пришла в зал Леонардо да Винчи. Просторный, окнами на Неву. Представь себе, именно здесь Николай I допрашивал декабристов. Две бесценные, вот такие вот крохотульки Леонардо. «Мадонна Бенуа» – богиня, сошедшая к людям. «Мадонна Лита» – земная женщина, вознесенная материнством в богини. Леонардо, Рафаэль, Тициан – в них идеалы лучших людей Возрождения. А ведь были и другие художники, может быть, подробнее, реальнее, ближе к натуре, услужливее перед канонами отображали эпоху. В веках же остались они, идеалы. Почему? Время от времени людям надоедает вера в придуманных идолов, и тогда «Мадонна Бенуа» сходит с пьедестала богини, становится просто женщиной, частью народа. Но ведь уходящую веру надо чем-то заменить – тоже духовной ценностью, ибо страшно, когда у живущего нет ничего святого, и тогда «Мадонна Лита» – земная женщина – поднимается в небеса. Смотрите, люди, что делает с простым человеком искусство.

Для меня это нескончаемый праздник – жить в Питере. Но я думаю и о вас, о тебе, Кирюша. Что и говорить, возможности там, в нашем городе, безусловно, не те. Но многое можно постичь и у нас. И у нас там вполне приличная областная библиотека, город-

ская картинная галерея. Из наших мест вышли замечательные живописцы, работы которых и здесь, в Русском музее, и в Третьяковке, и там у нас, дома. А что ты знаешь о них, когда видел в последний раз картины? Когда слушал в последний раз настоящую музыку или стихи? Хорошо, хоть стал покупать книги, а ведь надо бы еще и начать читать. Ты же как придешь с работы, как сядешь на диван с книжкой, так и валишься набок, мертвый сезон. Теперь тебя хоть подстегнет диссертация. Кстати, как у тебя с философией? Что-то снова ни звука. Не думаю, что желание твое улетучилось, как с белых яблонь дым. Мне написали из института, группа соискателей будет сдавать где-то в конце февраля, так что попробуй, милый мой, вклиниться в этот поток.

Рая приехала со своего Урала. Печально, но факт: муж объелся груш, в самом деле переселился к ее лучшей подруге. Унес из квартиры все, даже оленьи рога, которые подарил на свадьбу Раин отец. Соседи говорят, что, унося их из дому, муж еще и похвальнолся, считайте меня «рогоносцем». Раечка бесхарактерная, все плачет. Забрала бы эти несчастные рога, все, что ей причитается, и пусть он катится. Выудила, кажется, в «Болгарской женщине» одну интересную мысль: возраст где-то за тридцать считается в супружестве кризисным; выражаясь языком космонавтов, вовремя совершить «корректировку полета», устранить отклонения – значит, вывести ракету на орбиту, создать семье перспективы в следующем десятилетий. Они с Раей не совершили...

Смотришь на любимого сквозь розовые очки, видишь его более лучшим, чем того он достоин. С годами очки выцветают, иллюзии рушатся, что же удерживает семью? Много зависит от женщины, от ее стиля, атмосферы, которую она может создать. Сплошь и рядом слышишь: подумаешь, чем пригрозил – пусть уходит, сама ребенка, что ли, не воспитаю? Воспитаешь, в конце концов, государство не бросит, но надо же думать, какой шарм, уходит из семьи вместе с мужчиной...

А помнишь, как мы поссорились с тобой из-за пустяка, кажется, из-за мороженого? Ты купил земляничного, я швырнула его в урну, мол, не эскимо. И что же? Ты замкнулся, мы дулись с тобой целый

месяц. Я подумала, значит, я его уже не люблю. Потому что когда мы любим, мы прощаем друг другу даже самое худшее; когда же любовь уходит, нам мешает друг в друге все. Не помню, кто из нас первым сделал шаг к примирению. Надо уметь прощать...

После случая с Раей наши девы не на шутку забеспокоились о своих супругах. Прослышали, что в городе есть даже какая-то консультация по вопросам семьи и брака. Есть, оказывается, чего только нет. Принимает шупленький, сладенький такой старичок, психиатр. На цыганку-гадалку вроде бы не похож, впрочем, один взгляд чего стоит: зырь-зырь из-под бровей, так и сверлит. Усадил, для начала стал вводить в курс. Ясное дело, семья – общественный институт, ясное дело – культуру семейных отношений следует прививать со школьной скамейки, давать уже детям сведения по медицине, экономике, быту и поведению. Что должна уметь будущая хозяйка дома, что значит будущий домохозяин? Истины прописные, делать надо, а не болтать по поводу. И тут постучалась девочка. Пузырешка такая, вроде нашего Федечки. С заплаканными глазами:

– Дедушка, это правда, что все семьи несчастливы?

Мы так и обомлели. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Не знаем, что говорил ей старичок-доктор в сторонке, но мы-то, матери, жены, сидели потом, как убитые. Часть вины лежит и на наших плечах. Сколько всего можно бы избежать, если бы... если бы мы, взрослые, были мудрее, терпимее, тоньше.

Потом доктор подсел к нам. Он говорил как волшебник. О постоянстве. Об удивительном счастье прожить до последнего часа с одной, с одним.

В Японии жених обращается к невесте с вопросом: «Хочешь вместе со мною дождаться старости?» И вот когда престарелую женщину спросили, счастлива ли она, дожив до преклонного возраста? Она ответила, что была бы счастлива, если бы рядом был ее муж, ее человек. И доктор прочел нам одну надпись, оставленную на могильном камне женой: «Он был единственный герой в моей жизни». Потом старичок этот совершенно неожиданно обратился к нам с тихим вопросом: «А вы... вы... когда-нибудь говорили мужу такие слова?» Святое искусство любить...

Я, Кирюша, знала такую женщину, которая едва не забыла о долге. Тот, другой, оказался ей олицетворением города, где он жил, – таким же красивым, талантливым, сильным в стремлении к счастью. Но все это были слова. Слова, слова – их сейчас не жалеют. Они как заборы, как крепостные стены, как пушки. А есть слова, как запах подснежников.

Гляжу в окно, нет сил,

Тускнеет око.

Ах, кто меня любил,

Далеко.

Следующая страница сынуле. Составит когда-нибудь из маминих писем книгу для чтения, будет читать своему сыночку, и уже его дети узнают, как жили, любили, страдали их старье-старые, может, даже в чем-то наивные, но искренние, добрые, человеческие дедушки, бабушки.

«Федечка, милый!

Как я соскучилась по тебе. Жду не дождусь, когда ты с папой приедешь ко мне сюда в гости. В Питер сын, едут с подарком, и лучший подарок от тебя вот что. Возьми в библиотеке книгу об этом совершенно прекрасном, совершенно удивительном, героическом городе. Она расскажет тебе о его белых июньских ночах, о черных днях пережитой блокады. На Неве, у причальной стенки, стоит крейсер «Аврора». В квартире Пушкина на Мойке лежит простреленная одежда поэта – узнаешь, как убивали таланты. На набережной вздыбился «Медный всадник» – поймешь, что для России всегда значил выход к морю. Обо всем узнаешь, все потом сможешь. Папа даже пугается, что ты читаешь так много и, главное, быстро. Ничего страшного, при быстром чтении запоминается даже лучше. Оказывается, читать можно и по пятьсот страниц в час. Не проговаривать губами, а схватывать умственно, еще остается время для размышления. Чтение дает человеку знания, знания делают его сильным. Сильным, как дедушка твой Серафим, который погиб геройски в битве за Ленинград, где-то у Синяевских высот.

Целую тебя. Мама».

Письмо тридцать третье от 15 декабря.

Дорогие мои, вы не писали долго, и мне стало как-то не по себе. Как у папы подвигается философия? Из последнего письма делаю вывод: успешно. Письма твои, Кирюша, становятся все более осмысленными, но в последнем ты поставил меня в тупик: как это я гнусь в сторону «западноевропейщины»? Просвещенному человеку это просто смешно. Верно, первым делом полетела к импрессионистам, Эрмитаж – наша национальная гордость. Визит в Русский музей приберегаю на лучшее расположение духа, когда мои патриотические чувства войдут в гармонию с моими не менее патриотическими мыслями. Кстати, об этом музее (у меня есть) даже книжка – читать надо – написана.

...Ты прав, сюда идут, как на праздник, и я вот уже третий день хожу и смотрюсь в иконы. Верно, лучшие из матерей божьих, как и «Мадонна Бенуа» Леонардо, сведены к типам простых земных женщин, это жизнь, это уже реализм. Но ведь в том-то вся и беда, что простого смертного, пусть даже замечательного человека мы стремимся отправить от себя туда, на небеси, к ангелам. Нам нужно молиться, как же, без этого не обойтись. В 16-17 веках искусство, словно телега с разгона, уткнулось в стену: высокий уровень мастерства и ничтожность идеи...

Зря упрекаешь импрессионистов в декоративности. Ведь что такое у них пейзаж? Прежде всего, смена настроения за счет преходящего; утро – вечер, перед грозой – после грозы, излом света и тени. Разве же это плохо – подвижность идеи перед заостренностью форм? Ты говоришь, из Андрея Рублева так и рвется реальная жизнь, крестьяне как бы косятся на княжьих людях, слышишь скрежет металла и скрежет зубовой. Может быть, ты и перехватил, однако верно схватываешь. Андрей Рублев – выразитель русского Возрождения, для нас ни чуть не ниже, чем Леонардо и Рафаэль для Италии. А вот позолота Симона Ушакова вызывает уже подозрение: что хочет ею скрыть, что скрывает?.. что-то мистическое?..

На мой взгляд, ты выделяешь одну сторону, когда говоришь, что народ наш художественно одарен. Одарен. Но есть и другие, не менее важные области проявления народного духа, например,

одержимость в научных исследованиях, технический гений. Согласна с тобой, натуру нашу ковали века. Она поднимала себя с немецким расчетом, утверждалась с деловитостью англичанина, закалялась в испанских страстях, освежалась непринужденностью и шегольством, как у француза, страдала с итальянской безмерностью, выносила все с мудрым тер-пеньем японца. И трепетала, обжигалась и высилась в найденной форме и краске совсем уж по-русски. Шутка ли, быть на стыке Европы и Азии, когда через тебя все: огонь и клинок, слово с Запада, слово с Востока...

Войны оставляли нам пепелища. Да была бы лишь кость, каждый раз мы обрастали церквями, картинами, книгами, а без этого что за народ? Сколько писано о «золотом поясе», «серебряном поясе», подпоясавшем Россию севернее Москвы. А южнее, в наших краях, есть свое «злато-серебро». Вон хотя бы наш город Болхов – весь в лучах-куполах со времен Ивана Грозного. Часть богатств война порешила, часть годами изношена, небрежением нашим пушена по ветру. Вот и взяли храмины в леса, сядят средства в ремонт, да иной и сейчас непрочь гаркнуть: «Обходились без этого и обойдемся!» Поднимаются поколения, валом велят туристы, чем воспитывать их, что показывать? Современные здания? Так везде одинаковы, краеведческий музей? Уже с лестницы, извините, пахнет квашеной капустой... Я к тому, что очень уж давнее, очень сложное у нас это чувство – любовь к Родине, к чему именно в ней? Нет, не просто к иконам, не просто к соборам – к взмаху крыльев, в камне запечатленном, к духу мастера к нам сюда через века. Да не оборвем эту нить...

Верно, это ты верно, Кирюша. Теперь вижу, с тобой интересно. И с тракторами, уверена, у тебя дело пойдет! Не может быть инженер инженером, врач врачом, учитель учителем без понимания, откуда пришли мы и куда мы идем... Помнишь наши первые месяцы после свадьбы? Ты приезжал с полей загорелый, в пыли, все пытался рассказывать о видах на урожай, а я уходила на кухню, мне было не интересно. Нужны были годы, чтобы задуматься еще и об этом...

Через все можно пройти, все преодолеть, лишь бы нас не покинуло равновесие. Ощущение его дает семья. Чтобы понять что-то, надо покинуть дом хотя бы на месяц. Время не прошло бесследно для нас, мы, пожалуй, повысили свою человеческую квалификацию. Ты не задумывался, что когда-нибудь посекутся мои тяжелые, блестящие волосы, которые ты так любил держать на ладони, поблекнут глаза, грузнее станет походка? Вдруг я заболēju, буду лежать, плавая в поту, исхудавшая, непричесанная. Возможно, и у тебя с годами появится плешь на затылке, животик; надежды переключает из поэзии в область суровой прозы. И что тогда?

Много передумано, Кирюша, о нашей с тобой семье. Что дал нам «союз обоих» и что еще даст? Мы вошли в него, как мыши в мешок, не зная, что будет после. Другим хоть чуть-чуть помогали родители, мы же с тобой начинали с «нуля», с эмалированной кружки. Метанье по частным квартирам, поиски няни для Федечки, платежи за кооператив, за телевизор – в рассрочку, за холодильник – в рассрочку, за пианино тоже в рассрочку. Теперь понимаю, ты бросил конструкторское ради меня, ради нас с Федечкой перешел на отстающий участок. Но денег нам все равно мало. Жизнь вовлекает нас в гонку. Одна модель сменяет другую, открытие следует за открытием, овеществляясь в предметы продажи. И все это деньги, платежи, все требует пота, крови, здоровья.

Были у нас с тобой и великолепные дни. Федечка сделал свой первый шаг. Ты внедрил свое рацпредложение, а меня взяли преподавать в институт. Мы выстояли, мы прошли через трудности и остались людьми. И разве не из-за того, что всегда были вместе? Раиса в последнее время твердит, супружество нам ниспослано за грехи наши тяжкие. Жить вместе, мол, до гробовой доски на каких-нибудь нескольких метрах, смотреть друг на друга во всяком виде, утрами варить супы, ночами слышать провальный храп. И так каждый день, каждый месяц, всю жизнь. С ума сойдешь, сбежишь на край света. Непонятно, кого Раиса оправдывает – себя или мужа? Если мужа... Такие бегут с вещами к вещам, к мишуре, к обеспеченной жизни. Если себя... Но ведь от себя не сбежишь, надо искать в

себе силы за что-то бороться, чему-то противостоять. В наше время одному быть почти невозможно. «Союз обоих» хоть малая, но все же система, в ней уже есть на кого опереться. Читаешь: разводы, разводы, семья, мол, себя исчерпала. Для тех, кто живет для себя, в одиночку, может быть, да. Для тех, кто стремится постичь мир, обрести в себе личность и тем быть полезным другим, еще как сказать. Таким вне «союза обоих» плохо. Плохо, когда шатается этот «союз»... Есть у нас в институте один ассистент. Не бесталанлив, писал когда-то стихи, чем и покорило сердце супруги. Теперь у них двухкомнатная, совершенно прелестная щебетунья Маринка, жена держит супруга кенарем в клетке. Какие стихи – отгуляло, отпело! Сочиняет теперь ночами, читает тайком первым встречным, по кабакам...

Мне что-то не по себе, нездоровится: поташнивает, кружится голова, девчата говорят, это после ангины или от давления. А может, оттого, что я тут без воздуха? Замечательно, что у вас там снега, что вы с Федечкой катаетесь с горок. Представляю, как вваливаетесь вы домой мокрые по горлышко, голодные, как волки. Я бы вас накормила, я бы вас обсушила. Возьмите меня к себе в Дымовку, ну хоть на денек, на воскресенье. Мы все втроем встали бы на лыжи и айда вниз по речке Аленке к березовой роще. Представляю, в снегу под ракитой желтеют «налои» от теплых ключей, в лед вмерзли красивые листья. Ударить по льду острием – и брызги, веером ветви, белая роза во льду. «Эта роза тебе», – скажешь ты и улыбнешься. Нет, ты никогда ничего такого мне не говорил, никогда не умел. Я научу говорить это женщинам Федечку. Мой сын будет уметь говорить это женщинам. Дай скажу слово Федечке. Ваша

Таня.

«Милый наш Чебурашка!

Ты меня рассмешил, отнес в магазин бутылки из-под кефира, и одна оказалась с молоком? Когда тетя – продавщица спросила: «У тебя все дома?», – ты не нашелся, что ей ответить. Надо уметь отвечать остроумно. Один мудрец сказал: «Ничто не стоит

человеку так дешево, как шутка. И ничто не ценится людьми так дорого, как она». Слова песни из «Бременских музыкантов», которые ты переписал мне в письме, на мой взгляд, грубоваты. Хотя музыка и замечательна.

Пусть нету ни кола и ни двора,
Зато не платим королю налоги –
Работники ножа и топора,
Романтики с большой дороги.
Не желаем жить по-другому,
Ходим мы по краю...»

И такие слова тебе нравятся? Особенно эти – «ходим мы по краю» Так и воображаются маленькие ребятишки, которые ходят краем оврага, топчутся по пояс в снегу. Не хотел бы ты себе такого же братика или сестричку?

Насколько помнится, ты не желаешь, как папа, быть инженером. Мечтаешь стать ветеринаром? У тебя доброе сердце, мой мальчик. Только как же я, как же мой институт? Так связать это твое желание со словами «работники ножа и топора»? Прочитай что-нибудь о «Красной книге». Животных, как и людей, тоже надо беречь. Целую тебя.

Твоя мама, которая любит тебя.

Письмо тридцать четвертое от 20 декабря.

Дорогой Кирюша! У меня порой такое ощущение, будто на мне чей-то взгляд постоянно, будто верчусь в «глазе бури», в роковых широтах «Бермудского треугольника». Кажется, свистит от вибрации воздух, кровь кипит, вместе со стрелкой компаса мечется сердце, кажется, рушится мирозданье, волнуется где-то поблизости магма, ноги чувствуют тонкость земли... Октябрь обещали теплым, а грянул арктический холод. Декабрь обещали холоднее обычного, а вот уж как неделя дождик. Прогнозы, прогнозы, что было – что будет? На двадцать лет, на год. С вечера не знаешь, что с тобой будет ночью. И белые пятна, как «белые розы» на том самом льду... мне плохо сейчас и хорошо. Вправе ли мы оборвать эту нить?.. Когда читала твои слова об искусстве, как о взмахе

крыльев, подумалось: мы, люди, всегда ратовали за просвещение, как за па-нацею, а в тени просвещения вырезала жестокость. Только эта жестокость делалась тоньше, с улыбкой, мракобесие с пряником. Все дело, оказывается, не в количестве и качестве знаний, а в количестве и качестве духовности, нравст-венности. Люди века набирались духовности; нравственности посвящало испокон себя наше искусство. У нас земли просторные, языков изобилье – охватить всех, сбить все воедино могла только песня, высокая линия храма, раскованный взгляд с иконы и фрески. Вот он, град Петра, знак всеобщего обновленья. Вот он, храм Исаакия, – высочайшее здание града, кафедральный собор импе-рии; до чего дошли во имя приданья величия: вопреки православию оторвать лик от плоскости, сделать его католически вычурным, объемно-скульптурным. На что не решатся для поддержания власти над порой восковой, порой сильной, мятущейся душой человека!

Вот вы, Кирюша, живете с Федечкой в своей Дымовке. А подумали ль вы, что совсем ведь поблизости от вас Куликово поле... да, то самое, знаменитое... Говорят, подняв меч битого хана Мамай, нарекли русичи речку Красивая Меча. В самом деле, красив же меч, потерянный для войны, найденный потомками на вечный мир. Не так давно напались в земле ребятишки на шашку конного мамонтовца, а вовсе недавно распахали останки солдата, в побитой пулей противогазной сумке нашли тетрадку – слеплены ржою страницы, каждое слово к нам сюда, как молитва...

Смотри, Кирюша, за сыном. Легко отклониться, сорваться, так трудно идти по прямой. С детьми сейчас, возможно, даже труднее, чем было... Погибли в войну отцы, а матери распинались в горе, в работе...

Это раз. Матери и сейчас больше, чем надо, не дома, а на производстве, не видят целыми днями детей. Это два. И три, если хочешь, Россия веками была деревенской, а семьи в деревне, известно какие. Отцы-матери в поле, деды-бабки дома, тут тебе внукам песни и сказки, житейское и про геройство. Тут тебе нитка из прошлого в будущее... Помнишь, Федечке было три годика, когда мы гостили у твоих стариков? Он кричал и

кричал: разболелся животик. Потом, слышим, молчит. Что такое? А Федечка стоит в постельке и нитку какую-то тянет, тянет – тянется она, он увлекся. А дедушка ему что-то напевает, читает про Бородино. Так за ниткой Федечка наш и уснул. Дедушка объяснял все по-своему: «Я же рядом. Я и битый был, я и раненый, а ни-ни, мы не плакали. Так и внук. Дуб, гляди, свою кожу знает».

А сейчас эти семьи рассыпались, как дед говорит, на «малые дозы», на «секции». И должна детишек взять на себя вся наша общая семья – всенародная. Как держаться в ней этим «секциям», чтобы люди людьми вырастали? Не зверьками какими-нибудь – с открытой душой: за столом по лбу ложкой такого не протянешь, зато и крепки мы такими... А в народной семье за детей отвечать часто некому, нет персоналий, вот и растет без войны число беспризорников...

Жду вас с Федей. Вот ты ввалишься в Санкт-Петербург-шеголь, Питер авроровский, город на Неве наших дней – и пахнет от тебя оттуда земным духом, Среднерусской возвышенностью, а под сердцем у меня так и ворохнется воробушек. И застучит, застучит, ворохнется, толкнется под горло, словно кто-то живой, и пойдем мы все втроем – ты, я и Федечка – в оперу, на «Князя Игоря». Города – они тоже не такие простые, как кажутся, их тоже надо понять...

С тех пор, как ты взялся за философию, у тебя – не заметил? – появилось свое отношение к вещам. Стыдно было видеть, как ты «немовал» перед начальником лаборатории. Он же у вас полуграмотный, горлопан, а ты, бывало, голову книзу, руки плетями. Из-за квартиры, ты говорил, черту поклонисься, мы жили тогда в общежитии. Хорошо, что ты уехал к земле, она придаст тебе сил. Но широко можно шагать и по городу... Да, я вот о чем. Знания у тебя посвежее, кажется, кто-то из великих сказал, что в отчужденном мире человек потерял себя, свободу распоряжаться своими руками, своим образом мыслей, он поставлен в зависимость от собственной слабости: золота, спирта, вещей. Здесь, в Петрограде начертано на знамени: «Свободное развитие каждого – свободное развитие всех».

Ты, Кирюша, мало пишешь о Дымовке, о своей новой работе, как складываются итоги года в вашем хозяйстве, как насчет твоих тракторов? Все это мне, поверь, интересно. По крайней мере, отвлекает от ужасного состояния тревоги, зыбкости и еще бог знает чего, от моего «Бермудского треугольника», так все это портит характер, на все реагируешь резко и остро. Утром в автобусе увидела сценку: мальчишка рассказывал, очевидно, маме товарища, как сбежал ее сын с урока и как за это сына ее ругал завуч. И делал это, рассказывая, мальчишка с таким удовольствием. А я подумала: «Какой же он злой! Откуда он такой взялся?» И догадалась: «Да ведь сами вырастили». У нас сейчас в моде воспитание злом: совершил пакость – получай нагоняй. За любой промах – нагоняй, нагоняй. Для профилактики, по привычке. Или еще, растим подхалимов, интриганов, а где воспитание добром? Совершил добро – в пример. Пример на пример... А тот мальчишка рос среди зла. И я несколько не удивлюсь, если в другой раз он с таким же удовольствием кому-нибудь плюнет лицо, кого-то ударит...

Наблюдай за Федечкой, в какую сторону движется, в сторону добра или зла, помогай двигаться в люди. А это письмо, как обычно, ему, нашему Чебурашке.

«Милый мой мальчик!

Ты написал мне, что подрался и получил травму. Ты же стоял на посту да еще где: в Зале боевой славы? А Слава Бородин напал на тебя как на часового. Ничего, раны воина красят. Хорошо, что ребята все поняли. Шутники, назвали стычку Бородинским сражением. Считай, сын, что у тебя, часового, была позади Москва.

Видишь, я разговариваю с тобой, как со взрослым. Как с папой. Потому что дети такие же взрослые, только маленькие. А взрослые такие же дети, только большие. Подозреваю, папа в тебе одобряет ветеринара, потому что с этой профессией можно жить только в Дымовке. Наш папа, Федя, хороший. Это я не всегда перед вами хорошая. Вот уехала настолько от вас и живу, не возвращаюсь.

А здесь уже всюду пахнет Новым годом, в городе люди несут елки своим «чебурашкам». И вы с папой станете в это воскресенье на лыжи и айда по речке Аленке к обрыву, где мохнатые ели. Обтопчете самую стройную, поднимете голову, крикните: «Елка-а-а!» И я сойду к вам с нее – Снежная королева. И снежинки будут сыпаться, сыпаться. На тебя, на папу. На щеки, на губы. Колючие, сладкие, вкусные... Как тревожно мне тут, особо на праздники, плохо мне без вас. Приезжай, сын. Не забывай свою маму».

Письмо тридцать пятое от 25 декабря.

Кирилл! Я, похоже, действительно, Снежная королева, способна только оледенить сердце бедному Каю. Но ведь Снежная королева в сказках у скандинавов, а у нас в сказках – Снегурочка, она сама растаяла от весеннего солнца. Сегодня в аудиторию залетел Юрий Васильевич. С елкой. Он прямо с защиты, защитил докторскую. И всю нашу группу пригласил к себе на квартиру. Девчата побежали в магазин, Раиса мыла полы, Машенька вешала игрушки. Мне досталось жарить мясо на кухне. Юрий Васильевич был «под шафе», еще бы, можно себе и позволить. Шампанское вилось в фужере, брызгало точечками с поверхности.

« – Вы счастливы, доктор? – спросила я, глядя в фужер. Фужер показался мне темным.

– Я счастлив? Ах да, доктор. Что будем лечить?

– У вас какая-то тайна?

– У кого ее нет? И мне, как и вам, как и всем, нужен доктор.

– У вас что – давление? У всех молодых ученых давление,

– Свои прямые и обратные мысли, Татьяна... как вас по батюшке... я изложил в монографии, читайте, если угодно. И не считайте, пожалуйста, что у доктора... самого доктора... что-то должно быть со здоровьем. Я здоров, извините, как бык».

Ты, Кирилл, что-нибудь понял из этого диалога? Я, например, заключила, что Юрий Васильевич очень несчастен. Хотел просветить друзей, отдавал себя, как угодно, кому угодно, и они обескровили его, растащили всего. Пригрел товарища по работе, тот стал мужем его жены, живет в его прежней квартире, а Юрий

Васильевич снимает однокомнатную, или, как он выражается «кавалерку». Вот тебе и «L'art d'amour»... У него здесь мило, пейзажи французских импрессионистов создают настроение за счет преходящих моментов. Тут же икона с Георгием Победоносцем. Оказывается, Юрий по имени почти тезка Георгию... Когда в Петропавловке, в полдень, по заведенной традиции бухает пушка, я вздрагиваю, не знаю, о чем и подумать. Смотрю на Неву – серо-стальные волны уходят к заливу, в море, в океанский простор. Бывает, ветры ершат Неву и все равно текут неуклонно, текут. Приезжайте скорее с Федечкой, я вас жду не дожусь. Я боюсь чего-то, себя. Любящая навек ваша Таня.

* * *

35 писем, 36 пишется.

Дочитан последний листик. Прибавил ли что-то нам этот бумажный тючок? Шестидесятые годы двадцатого века... Затянем потуже шпагатом, положим в шкафчик до лучших времен; когда-нибудь, отряхнув пыль времен, мы зашелестим перегоревшими от кислорода и жара листьями. И перед молодыми глазами пройдем уже мы, тоже бабушки-дедушки: смотрите же, как мы жили, влюблялись, страдали. Лежи до поры бессловесно, мой тихий бумажный тючок.

ДАН ПРИКАЗ, ИЛИ САБУРОВСКОЕ ПОЛЕ

(военная повесть)

I.

Война в два дня сломала неспешный уклад Адамова, разворошила семью. На базарной площади городка скопилась уйма народу и лошадей. А лошадей из деревень все подводили, их тут же определяли в казенное состояние: обрезали хвосты, выжигали на крупах тавро – уже многозначные номера; от боли, от запаха паленого, от необычайной суетолюки кони косили налитыми кровью глазами, раздували ноздри и всхрапывали. Их храпы гасли в общем гаме, слезах, причитаньях, с какими уже в этом веке не раз провожали на войну своих мужей русские женщины.

Вчера Арсений сидел возле Адамовского военкомата под вековым вязом: из их семьи провожали сразу всех троих мужиков, даже дядю Гаврюшу, у которого после белофинской лишь недавно зажило плечо. По приказу деда отец Арсения влил в огромную деревянную чашу три бутылки очищенной и передал в руки старому. Дед Филипп, сойдя уже телом на убыль, пока что был темен волосом, кудлат и велеречив. В его необъятной груди еще с той германской войны блудили три осколка, грозя зацепиться за сердце. Но сейчас дед топорщился, как молодой.

– Сынки! – встал он и тряхнул пиджак со плеча. – Вот и пробил ваш час. Мы, Смирновы, в таком деле завсегда в первой линии. Я в гражданскую с трехлинейкой воевал и сейчас бы еще, но годы... Однако, если что, из ружья еще жахну. Жахну, бабк, ты не смейся! Дак за што, сынки, эта чаша? Чтобы каждый испил, что отпущено... Пейте, эй, мужики!

И пустил он по рукам расписную под золото, хохломскую старинную, еще родовую чашу-братину.

Арсений сидел чуть в сторонке, дядья и отец уходили, а он оставался. Уходили на фронт и друзья по школе, по десятому «А»:

Андрей Крайнев и Гудов Семен. Вместе с ними Арсений пришел вчера в военкомат. По коридору сновали военные, без конца хлопали дверьми. Он стоял у окна и зачем-то без конца застегивал и расстегивал пиджак, отчего пуговицы повисали на нитке и обрывались, и он клал их в карманы или на подоконник. Потом решительно шагнул за порог, молча достал заявление.

– Так, – поднял на него глаза военком Виктор Степанович, Фросин отец. – Та-ак, – посидел он в раздумье и протянул назад ему заявление. – Не могу! Ты, Арсений, на полгода моложе своих товарищей, твой год, выходит, не призывают. Да и со здоровьишком у тебя не все в порядке. Погоди маленько, ты и здесь будешь нужен: надо же кому-то помогать женщинам и старикам.

«Как же так?» – дрожал Арсений мелкой какой-то, принудительной дрожью.

Неделю назад, перед экзаменом по истории, друзья все втроем (с ним была еще Фрося, дочь его – военкома) заключили союз, дали священную клятву не дрогнуть, идти на фронт и вернуться живыми. Ранее Андрей собирался на кавалерийские курсы, Семен готовился стать ученым, а ему, Арсению, прочили дорогу в артисты: из всех троих он был самым говоруном и певцом; на всех уроках и школьных концертах только и слышали его мягкий, чуть дребезжащий тенорок. Они написали письмо вперед туда – к самим себе с этой клятвой; собирались вскрыть его через двадцать пять лет. Потом запечатали бутылку и зарыли ее у пруда на плотине, под стоком («как же так, почему его не берут?»).

Из военкомата Арсений пришел домой и рухнул лицом в подушку. И пролежал так до сумерек...

И вот провожают отца, его братьев. Арсений вздрогнул: на него надвинулась дедовская эта чаша-братина – щербатая, с тускловатозолотистым колером, как перо от жар-птицы. Обычно дед держал чашу в сундуке, а сундук – под постелью за печкой, а постель не сдвинешь и ломом... Мужики крякнули, закусили и вдруг все встали, положили руки друг другу на плечи, запели прежнюю,

всем известную песню. Одно только слово враз обновило ее: «Уходили комсомольцы на германскую войну...»

– Да какой же ты комсомолец! – улыбаясь деду, утирала глаза бабка Катерина. – Вон Сенька наш, да, молодец, это да!..

Назавтра Арсений провожал друзей – Андрея и Семена. Темно-синий бостоновый костюм, который достался Андрею после смерти отца, был ему уже в пору, но надевал его Андрей не на выпускной, как загадывал батя, а на войну. Белая, тоже отцова, рубашка делала его лицо еще золотистее, резче. Арсений сравнивал себя с ним: «Ну чем хоть он взял? Что у него такого? Телосложения обычного, нормального – не худюч, не долговяз, как, например, он, Арсений. Правда, такие нравятся девушкам. Сеня же так и остался воробышком. Клетчатая рубашка на нем подчеркивала лишь веснушки, не сходившие с носа ни зимою, ни летом». Рыжий чуб Арсений примял старой кепкой, которую Андрей и Семен видели на нем впервые. Семен шутил все и, как думалось ему, удачно острил.

Андрей гладил одной рукой мать, другой – шевелил пальцами свои волосы, а сам весь вытягивался, поднимался на цыпочки, заглядывая вперед поверх голов. Фрося появилась в воротах военкомата, едва переводя дыхание: в бело-розовом платье до пят, сшитом для выпускного бала. Она поцеловала Семена, Арсения, подала руку Андрею.

Виктор Степанович, Фросин отец, вышел на крыльцо, и все вздрогнули, задвигались, загамели. Арсений отошел от одноклассников, стоял в сторонке одиноко.

У ворот ударил оркестр, и первые подводы двинулись, заскрипели. Кони закусали железные мундштуки, закивали стриженными гривами, обоз потянулся на ближайшую станцию. Кони, на которых пахали недавно, вчера еще ездили бригадиры, а завтра многим из них уже суждено, может, лечь под снарядами, пулями, бомбами, стать для бойцов, потерявших обозы, возможно, той единственной пищей, которая даст силу держаться и воевать.

Под песню брала ногу колонна, духовой оркестр адамовской пожарной команды играл нынче в последний раз, завтра всем составом отправлялся тоже на фронт.

Колонна вытягивалась, набирала ходу. Отставали старушки, старики-инвалиды, отставали сердечники. Вот уж и мать Андрея Вера Ивановна, обхватив руками ракету, замлелась у кузни и все тянулась взглядом за сыном, не подозревая, что это ее последнее расставание с ним, что через неделю ее не станет.

Арсений вышагивал сбоку и все заглядывал, заглядывал ребятам в глаза. И они улыбались ему виновато, и он улыбался им, своей чистой, открытой улыбкой, и не было к ним у него уже ни раздражения, ни зависти, ни других дурных чувств, ничего, кроме бесконечной, бессловесной любви.

Фрося наступила на платье и чуть не упала. Андрей тут же подхватил ее и понес. Долго еще оба они виделись Арсению белым, светлым пятном...

Спать Арсений лег на копенке возле сарая. Он лежал лицом вверх к тихим звездам, и сильные запахи кипрея и медуницы обступали его, волновали, кружили голову: где-то шагают сейчас вместе по таким вот травам ребята – впервые не на рыбалку, не на сенокос, а неа войну. Под ногами у них все заткано как бы паутиной, розовится под солнцем, кровит. И он, Арсений, мысленно шагает в обнимку с ними – еще без винтовки в гражданском, а после где-то там лежит, раскинув руки, живой пока, не измочаленный пулями, и смотрит вот также на тихие звезды. У жизни есть своя логика, много такого, что заставляет кого-то идти сейчас на Запад с винтовкой, а кому-то остаться тут и лежать на копенке...

Окончательно засыпая, он вновь уловил сильные, сплоченные запахи кипрея и медуницы и ощутил в себе трепет сердечный, увидев Фросин силуэт на оконном стекле.

II.

И у войны есть своя логика. Всего два месяца, как провожал Арсений всех своих вот этой ветливой дорогой. И вот по ней через месяц идет уже сам, а над головой летят самолеты. А там, за спиной, в Адамове, окна заклеены бумажными лентами. И они с Фросей, как и все жители городка, роют за станцией противотанковые окопы. В моменты роздыха они выходят к платформе

и вглядываются в эшелоны, в мелькающие теплушки, ловят и провожают глазами каждую пилотку, каждую гимнастерку – усагие, бритые, молодые, старые лица – всех, кого сдвинула с места и бросила в огневое бучило война. Арсений знает: Фрося надеется встретить Андрея. Он смотрит на нее – худенькую, почернев-шую, с ладонями, перемотанными бинтами, в разбитых кирзовых сапогах, и вспоминает ту – в выпускном бело-розовом платье...

Их сняли с рытья окопов и приказали возвращаться домой. Арсений решил пристроиться к какому-нибудь воинскому эшелону, может, у них приживется.

Станция казалась безлюдной. Пустели раскатанные до синевы рельсы, ни единого эшелона, а ведь еще утром пути были забиты вагонами. Арсений поймал за пакгаузом старика в железнодорожной фуражке, спросил его, что это значит.

– Танки вражеские прорвались, силища! – округлил глаза старичок. – Едва наши отсюда вырвались. На Глудуновой сдерживают анчихриста!

Арсений вернулся в Адамов на рассвете. Сразу же побежал к Фросе. Двери были распахнуты, все внутри разбросано, перемешано. Забыто даже фото Фросиной мамы, тоже, как и дочь, в молодости была тугокосой. Арсений долго стоял, разглядывал фотокарточку, пока в сенцах что-то не грохнуло. Он выскочил – из сумеречного угла в него полоснула пара зеленых огней: кот Заремба – Фросин любимец. Арсений протянул руку, и Заремба стал тереться о нее круглой спиной. Над дверью Арсений заметил письмо. Оно было адресовано ему, он положил его осторожно в карман, запер дверь на щеколду, в щеколду воткнул хворостинку и, захватив Зарембу с собой, возвратился домой.

Городок словно и не просыпался. Безлюдно было на улицах, магазины закрыты, учреждения тоже. Бабка Арсения – Катерина побежала огородами к Гудовым, пришла оттуда с тяжелой вестью: немцы, в самом деле, уж близко, проскочили сторонкой на технике; адамовских, которые успели убраться вчера, скорее всего, накрыли на мосту через речку: на лошадках далеко не уедешь.

– Брешут, – сказал, слезая с припечка, расклеившийся чего-то дед Филипп. – Откуда Гудовым известна такая стратегия?

– И я так думаю, брешут, – поддакнула ему бабка.

Арсений сунулся было уходить на восток, но с полдороги всех адамовских вернули: впереди орудовали немецкие танки.

В Адамове появились чужие, нездешние люди. Они грабили дома и квартиры тех, кто успел эвакуироваться. Объявился Ермила Гудов, Сенькин отец, мобилизованный как плотник на укрепление границы за три месяца до начала войны. Гудовы были не из коренных, про них всякое говорили, в том числе, будто в двадцати километрах отсюда, в Алешне, Ермилу в свое время чуть ли не раскулачивали. Арсений никак не мог взять это в голову: все же Гудов Семен, отец друга.

И вот Ермил, говорят, объявился.

– Хватит! – орал он на центральной площади. – Попили кровушку, землю забрали, коней в колхозы свели. А теперича начальники эти выгребли из магазинов сахар, манку и маркизеты, посадили маркиз своих на телеги и деру.

На крик собирались любопытные. Подходили узнать, про что хоть извергается этот рыжий. Бочком-бочком прошла через площадь и бабка Арсения – старая Катерина. А через полчаса влетела в дом, простоволосая, потная, неся что-то в подоле.

– Что это? – удивлялся Арсений. – Вентилятор... Зачем тебе, баб, вентилятор? Электрический...

– Собирайся! – приказала деду старая. – Райисполком грабют, еще не все растащили.

– Ах ты, щербатая! – вскинулся дед и намахнулся на нее костылем.

– Ай, убили, убили за этот адивотский винти... винти... – заголосила, запричитала бабка Катерина. – Тьфу, право, язык не повернешь, да куда же ты, глухомятный?!

Арсений догнал деда уже возле калитки. В парке вместо дырна они выломали по штaketине в каждую руку, подошли к райисполкому. Из парадного навстречу выбежали две женщины и подросток, в руках чернильницы, телефон, дыроколы. За ними еще и еще кто-то.

– Назад, бандиты! – гаркнул дед Филипп и занес над головой штакетину.

Глаза у женщины округлились, губы дернулись, телефон вывалился прямо под ноги Арсению. Из-за спины ее показался Гудов Ермила – красный, как бурак, в прожилках весь, бешеный глаз.

– Как был бандитом в Алешне своей, так бандитом и остался, – заслонил ему путь дед Филипп. – Это ты поджег тогда амбар с семенами, свиньям в корм стекла намешал? Думали, ты стал человеком. Эх ты, грабитель, грабишь в такую минуту Родину. Сына бы постыдился, Семена, честного воина... Тумбочку взял, небось, из кабинета предрика...

* * *

Под вечер в Адамове взревели машины, затрещали мотоциклы. По дворам пошли чужеземцы в зеленых мундирах и касках, с автоматами на животе, заглядывали под кровати, в шкафы и за печки, тыча стволом в обомлевших стариков, детишек и женщин: «Партизанен? Золдатен?» В грудь Арсению вползли жуть и ненависть.

Октябрьские ветры стряхивали с лип завосковевшие листья, те падали на пестро-желтые, летние маскировочные сети, на танкетки под ними, на тупорылые грузовики, уже принакрытые соломенными стеганками. В доме напротив их окон, в бывшей начальной школе, разместилась комендатура, и над крыльцом заплескался чужой, какой-то паучий флаг.

Арсений жил теперь со своими в чулане: комнаты у них отобрали для проезжих офицеров, что дефилировали с фронта на отдых и обратно на фронт; по слухам, линия установилась где-то не так далеко, за Колпной, по речке Фошне. Арсений решил попытать счастья еще раз. Еще раз скользнул в ночь с мешочком еды, приготовленной бабкой Катериной. И, когда вернулся через двое суток, чуть не попав в урочище Беленьком под пулеметы, никого в чулане уже не застал: дед с бабкой ушли, а куда – неизвестно: то ли в соседнюю деревню Алешню, к бабкиным родичам, то ли еще куда. И Арсения приютила

старуха Кутепова, что жила возле кладбища. Она доводилась теткой Андрею Крайневу, была родной сестрой Андреевой матери.

Старуха была с сумасшедшинкой. Гонялась за блеющими, прыгающими по буграм козлятами и козами и не думала ни об Арсении, ни о себе. Арсений стал еще более худ, от внутреннего огня лицо его покрылось какой-то коростой, зарастало на месте бороды каким-то рыжими перьями. Некогда лучший пиджак его лопнул, расползся, теперь из рукавов торчали красные, словно под-мороженные руки, фурункулы на шее были заматаны латаным женским чулком, на затылке едва держалось что-то вроде ватного колпака – все это было из старухиных запасцев. И если бы не глаза Арсения – больные, вымученные, но осмысленные, его давно можно было бы принять тоже за сумасшедшего. Такие время от времени появлялись на улицах Адамова; в подозрительных случаях гестаповцы таких вывозили за кладбище.

Лежа ночью на грязных лохмотьях, Арсений вслушивался во всхлипыванья старухи, в какой раз представлял себя тут у себя, как в окопе на фронте, и липкий пот покрывал его с ног до затылка. Что стоит его пустячная жизнь? Убить хотя бы одного офицера, солдата, вцепиться бы зубами при всех, при народе, только тогда, наконец, закончится этот кошмар. Одного только врага – вражину. Отец, дядя, Андрей и Семен воюют, а он тут гниет заживо. Винтовку бы, только винтовку, на фронт!..

Стены были серы и сыры, влажны, лохмотья, сырость сосала здоровье. Арсений появлялся на улицах в колпаке, шел, подволакивая ногу, в опорках, заматанных проволокой, тощий и несуразный, и патрули провожали его пустыми глазами, тыкая иногда пальцем в спину: «Цыган, русиш цыган!» Один раз ему повезло: он нашел на недавно сгоревшей мельнице кучу спекшегося зерна, принес его, стал толочь, печь лепешки – горелые, горькие, но все же хлеб. Иногда он приносил дровишек – остатки спиленных яблонь, и тогда на печурке затевался огонь; он подсаживался к огню и читал, Арсений нашел книжку в брошенном доме.

– И тогда великий охотник Тартарен подкинул свою шляпу в воздух и выстрелил, – читал он вслух, а из угла угольями сверка-

ла глазами старуха, и на каждой странице появлялось лицо Фроси в белом платье до пят...

В дверь ударили чем-то тяжелым: перед ними стоял автоматчик.

– Шнель, – боднул он дулом перед собой. – Шнель, шнель!

Людей сгоняли на центральную площадь Адамова, вталкивали в общую кучу. На углу парка высилась свежееотесанная виселица, под ней была табуретка, ветер раскачивал три пеньковых петли. Толпа загудела, зароптала, подалась в сторону. Сверху, от крытой машины, вели под конвоем троих – девушку и двух парней. Девушка висела у парней на плечах, по земле волочились перебитые ноги. Она давно уже как бы умерла, еще там, на допросе; умер и тот паренек, что слева, с черным, в чугуна разбитым лицом, они лишь дышали. Жил только этот, русский парнишка, что справа. Сам надел петлю на шею товарищу, потом девушке, потом себе. Вскинул руку, хотел что-то крикнуть народу, но офицер со шрамом до самого уха, – этот глиста, ловко толкнул табурет из-под ног и засмеялся. Толпа дрогнула, заголосили бабы, закрестились старухи. Не помня себя, Арсений ринулся вперед, но кто-то вклеился в его локоть, и он замер, опал телом.

– Вас ист дас? – подбегал офицер со шрамом, глиста.

– Ничего, пан офицер, ничего, – поднимали, ставили Арсения на ноги люди.

Автоматчик указал офицеру пальцем на Арсения, потом крутнул пальцем возле виска. Офицер взглянул на Арсения, оттопырил губу, расхохотался. Арсения снова шатнуло, повело в сторону – кто-то снял с себя и надел на него свою шапку, кто-то набросил ему на шею шалинку. Адамовцы смотрели исподлобья, как от виселицы медленно отъезжала машина.

Весь день и ночь и еще день и ночь все в Адамове дрожало от канонады. На рассвете, выйдя за дверь, Арсений услышал в воздухе резкий, пронзительный свист – шагах в пяти от него что-то ухнуло, снаряд ушел под сарай, из отверстия еще вился дымок. Он тут же втянул голову в плечи, но взрыва не последовало ни через секунду, ни позже.

Он задышал полной грудью, как будто только сейчас наступила весна. Черный смрад, которым все это время доотказа были забиты легкие, сменялся живым, свежим воздухом с запахом трав, раки и тополей. Придут наши, и все встанет на место, да, на место! И тут в углу двора он впервые за столько времени заметил куст персидской сирени и подумал, что жизнь не дано убить никому, пока светит солнце.

III.

Наши вошли на рассвете. Адамов встретил их отгоревшими пепелищами, люди плакали, пели, рыдали. Арсению показалось, что в одной из машин мелькнуло смугловатое лицо Андрея, родные, привычные рыжинки Семена. «Но это уж слишком», – приглушал он свое сердце. Стороной прошла девушка – в гимнастерке, с санитарной сумкой – пышноволосая, верткая.

– Фрося!

Девушка обернулась: снова ошибся, не Фрося.

А войска все шли и шли мимо. Все вперед и вперед. Все сдвинулось, пошло крутиться назад, в обратную сторону, теперь уже не остановить. И Арсений бросился к штабу. Сердце готово было выскочить вон, хлопнуться наземь: наконец-то пришел его час, теперь-то уж его зачислят, возьмут, это точно!

Его поместили в кузне вместе со всеми адамовскими – из городка и окрестных сел и деревень. Сквозь дощатые стенки виднелись разбросанные по выгону костерки, двигались тени, неясный свет звезд сквозь дыры в крыше волновал его, как и прежде. Арсений лежал на соломе, положив под голову ладони, и улыбался. И счастлив был, оттого что все страшное позади, что теперь он тут со своими, что завтра ему, возможно, выдадут обмундирование, винтовку, научат стрелять, и он начнет воевать с теми, кто принес горе его народу, всей многострадальной земле. Он улыбался еще и оттого, что по эту линию фронта работает все, как и прежде: железные дороги, почта, почтальоны, они отыщут его семью, отвезут письма друзьям – Фросе, Андрею, Семену...

Арсений увидел рядом с собой на соломе угрюмых, обородатевших мужиков в драных стеганках, пиджаках, подпоясанных бельевыми веревками, бабьими платьевыми поясами, в обрезанных валенках и калошах на портянку. В углу сарая, их сборном пункте, лежал отец Семена – Ермила Гудов. «Ну, и воинство», – упало сердце Арсения. Откуда было знать ему, что попал он, куда и стремился, сразу в горячее дело, что в боях за Адамов полк прорыва значительно потерял свой личный состав и пополнился срочно, чем смог, чтобы, поддержав темп, ворваться на Сабуровские высоты, с которыми немецкое командование связывало надежды. Откуда было знать Арсению, что никто не будет обучать его, ни как стрелять из винтовки, ни как ходить в атаку, что свое боевое крещение он примет тут вот вдруг, неожиданно.

Утром их подняли, построили, прогнали километров пятнадцать, до передовой, проходившей теперь перед самым Сабурово. Весь путь Арсений – так получилось – шел рядом с комроты Карпом Митрофановичем Елочкиным, который спешно вводил Арсения в курс солдатских наук. Это была обычная стрелковая рота. В последних боях из прежнего костяка в ней осталось каких-нибудь два десятка бойцов, в последнее время состав разбавляли таким же вот странным образом, превратив роту по сути в штрафную.

В самом деле, тут были и дезертиры, и те, кто попал в плен в самом начале войны, еще в лесах Белоруссии. В смоленских и брянских «котлах», которых враг содержал в огромных концлагерях, отвлекая на охрану почти треть своих войск и большие продовольственные ресурсы. Потом расчетливый враг стал производить «санацию», то есть расстреливать, жечь в лагерных печах военнопленных, партизан, мирное население, чем и вызвано было усилившееся сопротивление. Тогда вражеская пропаганда, учтя все это, применила другую тактику: военнопленных из лагерей стали распускать по домам, по деревням таким начали раздавать землю – сейте, мол, сами кормитесь...

И вот после Сталинграда первое наступление тут – бои за Адамов, первые освобожденные территории. Мужики в оккупации – бывшие

военнопленные. Зло на них проявлялось в новых частях, приходивших из Сибири, с Востока. Что делать с «юбочниками», как быть? Возникали проблемы с охраной, продовольствием, искупление кровью. И плюс еще: эхо гражданской войны... Вот она – штрафная, в основном – крестьянская «армия Рокоссовского»... Но откуда было тогда знать все это Арсению, это теперь все видится с позиции времени, а тогда?...

И такие попадались тут, как и он, «недоросли». У «штрафников», подсылаемых из воинских частей по всему фронту, «храбрость» политработники подпитывали созданием «чувства вины», «вину», дескать, смывайте кровью...

Но откуда было все это знать Арсению. Его сосед по Адамову капитан Елочкин командовал такой ротой. Сюда к нему и попал Арсений. Как раз погоны ввели в нашей армии. У Елочкина на картонных погонах были четыре звездочки, нарисованы химическим карандашом... Так вот, как кто-нибудь опрохвостится на передовой или в тыловой части, так сюда его в роту, к Елочкину. Елочкин справится, у Елочкина, брат, не вырвешься. А теперь вот пошли еще и дезертиры; говорили, вытаскивают таких из-под жениных «юбок». И отчаянных тут хоть отбавляй. Елочкин говорит, Елочкин зря говорить не будет: трусы здесь перестают быть трусами, здесь все прощается, все забывается, кроме одного – трусости. Иные в бою ищут смерти, иные всего только ранения; после госпиталя редко кто сюда возвращается, в роту приходят другие, но кто тут остается бессменно, так это все он, Карп Митрофанович Елочкин, – тутошний, из Адамова, тридцати трех лет отроду, муж своей жены Вареньки, отец семилетних детишек-тройнят – Пети, Васи и Любочки, которые выжили тут в оккупации чудодейственным образом, живут где-то тут и сейчас, в землянке. Другие ротные уже батальоном наворачивают, как, например, Вепринцев, а он, Елочкин, все со своей ротой бессменно. Как где отвлекающий маневр, удар малыми силами, так туда его роту. Ни пуля Елочкина не берет, ни снаряд, ни мина...

«Вепринцев... тоже из Адамова, – слушал Арсений Елочкина рассеянно, приближаясь к передовой. – И с какой хоть улицы

сам-то, когда уехал в Курское артиллерийское?» Все существо Арсения было занято предстоящим. Вот где можно, наконец, себя проявить, отмстить за все, что видел все эти месяцы в Адамове, за тех троих, что повесили... Только бы встать по команде и броситься вперед, в атаку. От лихорадочного возбуждения у Арсения пальцы дрожали. Он мысленно застегивал и мысленно же расстегивал несуществующую верхнюю пуговичку не выданной ему гимнастерки. Пуговичка оторвалась, и он сунул ее по привычке мимо кармана. От возбуждения Арсений был почти радостен, представляя, как врывается во вражескую траншею и стреляет очередь в спины врага из не выданной ему же винтовки Мосина. И враги бегут, показывая спины, а он кричит им вслед что-то сильное, нецензурное... На диспутах в школе он был говоруном, сумел доказать однажды ребятам, что-то ругательное, это ничего, чуточку можно, если ты настоящий мужчина...

Рота не успела расположиться, потеснить старожилов в окопах, как из батальона прислали связного: на рассвете по сигналу «три красные ракеты» штурмовать вражескую траншею, а там, если удастся, на плечах противника, ворваться во вторую линию обороны и продвигаться, на сколько хватит сил, до самого Сабуровского поля.

– Постой, постой, – задержал связного Карп Митрофанович. – Да что они там! Как это в атаку, вперед! Да у меня же половина роты разута-раздета, у половины палки в руках вместо оружия.

– Вепринцев велел передать, приказ свыше, – замялся связной, юркий чернявый парнишка.

– Что велел Вепринцев?

– Елочкин должен понять, разведка боем в болотах... пропадают танкисты, – приостановился связной.

– Хорошо! – резко сказал комроты. – Приказ будет выполнен. – И насутился, сидел так с минуту-другую, глядя на широкое поле от своей до вражеской траншеи и туда, туда, до самых Синяевских высот.

Арсений еще не осознал последних слов Елочкина. Главное – наступать, идти вперед, освобождать всю землю свою до самой границы.

– Пишите, ребята, письма домой, – прыгнул в окоп Карп Митрофанович и отвернулся, сказал глуховато: – Пока жи... пока есть возможность...

Арсений подумал: «Кому писать? Отец где-то на фронте, мать со старыми тоже невесть где – Фросе?» И отдал соседу – усатому, не стриженному мужику – свой листок, а сам стал рассматривать небо, степь и окопы свои и там, за логом, то место, куда ему предстояло бежать через все это поле, в атаку. Он прилег на землю, уперся подбородком в сплетенные руки и перед самым носом увидел сизоватую былку – луговая овсяница; по былке кверху, к солнцу, шустрил муравей. Вот кончилась былка, муравей тыкался в краешек. Арсений наклонил былку вниз, и муравей, развернувшись, зашустрил в обратную сторону – к солнцу.

Неглубокая балка уходила налево и терялась в ракитнике. Где-то там в садах утопала Майская Зорька, куда они с ребятами ходили рыбачить. Он повел взгляд направо – прямо перед окопами был поселок – их дедовский корень. Сюда приезжал он, помнится, раза три на лето – им излазаны все речки, буераки, лощины; сюда же всей школой ездили в девятом классе косить клевера. Давно это было, да и, кажется, было ли? Сейчас в конце клеверов и эти траншеи, а за траншеями – взгорок, за взгорком – Сабурово, Сабуровское поле, Синяевские высоты. А за высотами где-то и Берсеневские болота, в болотах и застряли танкисты. Они ждут его, Арсения, и этого вот заросшего мужика, и вон того цыганистого, загорелого парня, и самого капитана Елочкина, на картонных погонах которого четыре звездочки, нарисованы фиолетовым карандашом...

Арсений стал разглядывать, как в окопе пишут письма ребята. В лаптях. Войска – какие это войска? Какая там часть регулярная, а до гвардейской вообще, как от земли до неба. Если вспомнить небезызвестного Шерлока Холмса, его друга Ватсона, их знаменитый метод индукции – дедукции и применить его на практике, то вот этот мужик – «любочник», которого он одарил высочайше бумагой, есть жалкая ничтожная личность. В женском плюшевом жакете, лебезит перед Елочкиным, однако сам себе на уме. Правда, у него есть вин-товка, и он обращается с ней умело – значит, бывалый.

А вот водит карандашом по котелку, перевернутому вверх дном, курносый парнишка. Сверстники с ним, пожалуй. Пишет, наверное, матери. Под гимнастеркой у парня тельняшка, пишет и улыбается, помогает писать себе языком и губами.

А вот этому парню, с рубцом на лбу, палец, видно, в рот не клади. Нос приплюснут, лицо бугровато. На руке синяя татуировка, слова «Полюбите Толю». Пишет так, для близиру, сам косит глазом по сторонам. Замечает Арсения, подзывает, сипит ему в ухо:

– Ты держись, братишка, меня. С Толей не пропадешь.

Тут же рядом в жеванной, мелко иссеченной гимнастерке лежит в траве седоватый, плотный мужчина – мастеровой какой-нибудь или рабочий с завода, из города. Этот, видать, давно воюет, из костяка роты. Видно, кто тут из костяка: в линялых, обитых дождями, но все-таки в гимнастерках, форменных брюках, в обмотках или кирзовых сапогах. Такие держатся особо – кучкой, спаяны кровью.

С середины ночи забегал по траншее командир – Карп Митрофанович. Арсений прислушался: хочет накормить ребят, а снабженцы отстали. Тут в Адамове Карп Митрофанович теперь, конечно, уважаемый человек, и все ждут от него одного – освобождения их малой да и великой родины и чтобы он жив остался, а как же иначе? Аттестат он отдал жене тут же – в собственные ее руки, а не батальонному писарю, как другие офицеры... А у самого погоны картонные...

– Ничего, зайчонок, – подмигнул Арсению Елочкин. – Живы будем – не помрем. Бог не выдаст, свинья не съест.

И шустрит дальше по траншее в соседнюю роту. Возвращается вскоре – вслед за ним, пригибаясь, бегут два бойца, несут в мисках вчерашнюю кашу.

– Подъем! – командует Елочкин.

– Подходите, ребята, – суется бойцы и раздают кашу: кому – в консервную банку, кому – в фуражку, в лопушок. Этот – «Полюбите Толю» – лежит, не двигается, кивает лениво Арсению: не набивайся перед атакой, не надо, а ну, как ранение в живот?

– Не ели же сколько, – подходит Елочкин, – сил не будет. А поле вон какое широкое. Ешьте, ребята, будет работа...

Те, что поели, отваливаются на траву. Последнюю пачку махорки ротный лично рассыпает каждому по щепотке.

– Закури, – сыплет он в ладонь и Арсению.

– Не научился еще, – мнется Арсений и пересыпает свою пайку в ладонь рядом – этому «Полюбите Толю».

Светает. В низинах отделяется от травинок туман, повисает над лугом. Елочкин, лежа, оправляет в поясе гимнастерку, проверяет ремни, кобуру, смахивает пот со лба, приподнимается на колено.

– Ребята, – говорит он тихо, но так, что его слышат в траншее даже самые дальние. – Вот оно, это наше поле. Широкое поле. У нас с вами, может, последнее. Там наши люди – женщины, братья... Я работал тут агрономом... а дальше – Европа...

– А по сто грамм наркомовских? – перебивает Елочкина тот, в женском жакете-плюшке.

– Не скули, сволочь! – сипит ему на ухо Толя. – Слышь, командир говорит, агроном... хозяин земли...

Звонит в ушах. Все ожидают ракет, команды, броска.

– Ты, парень, напарничка себе присмотри, – подходит к Арсению Карп Митрофанович. – Напарничка и держись. Елочкин тебе говорит, Елочкин зря не скажет.

С пистолетом, вытасненным из кобуры, ротный проходит по траншее. Бойцы сдают письма, фотографии, документы и сразу становятся людьми без прошлого.

Арсений отшатнулся грудью от бруствера, прикинул, как будет всем телом взлетать на него, оглянулся на «Полюбите Толю» и улыбнулся ему. И радостью захлестнуло ему вдруг всю душу. Он глянул налево, отыскал глазами «любочника» с винтовкой и, словно запоминая его, пронзительно впился взглядом в могучую спину в плюшке, распоротой где-то под мышкой.

IV.

Прицелься взглядом к винтовке, Арсений выскочил из окопа и захлебнулся криком. Ракеты еще не успели опасть, опустить-

ся, как все, что было сейчас тут, под Сабурово, и во всем мире, рванулось навстречу Арсению. Ракеты еще только гасли, а уже пали первые – рядом и впереди. Пулеметов и минометов Арсений не слышал и слышать не мог, он слышал только себя. Он встал и рванулся вперед, в этом не было ничего особенного, просто встать и рвануться вперед, а то, что упал он один и упали другие, так это просто упали – упали, и все. И главное даже не в них, а в том, что перед ними лежало поле, длинное, бесконечное поле, а за полем – траншеи, за траншеями – Сабурово, деревня, гребень высотки и где-то там в болотах – наши танкисты. Он не знал еще, как ударяет хмель в голову, и потому ничем не мог сравнить упоение, которое вдруг овладело им при виде этих ракет – их было три, и все красные.

Он увидел перед собой впереди отброшенную высоко и в сторону ногу Елочкина: подошва на сапоге стерта до основания, значит, изношена. И у него, Арсения, кто-то, возможно видит подошву, обмотанную медной проволокой, как далеко назад отлетают его вихлястые, журавлиные ноги.

То упоение, в которое привели его сигнальные ракеты – все три красные, держалось в нем, пока держались в небе они, эти ракеты, и он бежал под их светом впервые, – не на тренировке, не на стадионе, там враг, конечно, и там же его, Арсения, ждали свои – в каждом городе и селении, до самой границы.

В тот миг, пока над ними горели ракеты – три красные, все в Арсении словно наткнулось на стенку, когда рухнул вдруг этот, в полосатой тельняшке, что писал письма матери. И припал на руку тот, с буквами «Полюбите Толю». И упал третий, четвертый...

И все боли мира грянули в грудь Арсению: мелькнул в памяти муравей, только что ползший по сизой быллке; знать бы тому муравью, как коротка его быллка. И тут же скользнуло в Арсении все мимо куда-то от ракет под быллками, лопухами, сапогами, подошвами, под бегущими и падающими, как дрожит, оседает все это в неверном краснеющем свете, и все это – цвета крови, вспыхнувшей на спине у парнишки, и все это всюду кровь его, разведенная, как на молоке, на всем этом жидком рассвете... так умирают, так...

Это чуть ли не сбило с толку Арсения: защемило где-то внизу живота. Появилось желание упасть на землю, вжаться в нее, превратиться в соринку, в муравья. Сейчас у него есть все: руки, ноги, грохот сапог впереди; есть прошлое, настоящее, будущее, но вот расплывается пятно на спине, и не станет сразу же ничего. И будет жизнь и будут другие, но он уже не узнает, что будут другие – это земля его, родина, люди: и мать с отцом, и Андрей с Семеном, и Фрося, и ротный – земляк его Карп Митрофанович, и тысячи тысяч других. Все, что когда-то ему давалось годами, заберется одной секундой. Бежать достичь, вцепиться и отобрать назад – это свое, изначальное, эту землю, где лежат пращуры до миллионных кол н; стереть, растворить в небыли тут могут только его одного, но не страну, не народ его, как когда-то те племена в Азии, Южной Америке, от которых до нас дошли только каменные письмена...

И больно же сделалось ему за парнишку, у которого расплылось пятно на спине, за «Полюбите Толю», припавшего на руку, за всех, кому еще предстояло упасть...

Вот что пронеслось в Арсении между первым и шестым его шагом от бруствера, пока в небе висели ракеты. Он бежал, и слева – из левады, справа – от кладбища – били внахлест пулеметы, из ракетника гавкнули минометы. Арсений увидел, как втянулась в плечи голова «юбочника», как, пригнувшись и таща винтовку за ремень, так что приклад запрыгал по кочкам, «плюшка» эта юркнула в сторону, в небольшую ложбинку. И тогда Арсений с палкой в руках побежал просто вперед, его понесло на пулеметы, и он орал, захлебываясь от восторга, от брызнувших слез: «Дубина народной войны!.. народной войны!.. И колоти, колоти, коли, пока не погибнет все это дерьмо, все нашествие»...

Вдруг в ушах что-то лопнуло. Очнулся он от прогорклости в горле, щекотания в носу. Перед самым носом топорщился ярко-желтый лютик, на нем трепетала пчела. «Значит, жива», – подумал Арсений и услышал стоны. Впереди, совсем близко, были траншеи, там ощущалось движение. Тихо звенело в ушах, эти тихие звоны делали стоны слабыми, какими-то одинаковыми, позже он стал

различать тона. Справа, чуть позади, стонал сипловато тот, в гимнастерке, в домотканых штанах. Что первый положил в лопушок свою порцию каши, а поев, облизал ложку и сунул ее за обмотку. И сейчас его алюминиевая ложка, скорее всего, покоилась тут у него за обмоткой. «Пить», – застонал он, и Арсений облизнул губы. И тут же щекой, теменем, всей головой своей он понял, что солнце стоит высоко. «Братцы, – слышалось теперь уже справа, – пристрелите... пристрелите»...

Трава пахла дурманом и медом. Медовым духом к покосу, бывало, пропахивал дед Филипп, он заводил Арсения к себе в полутемный омшаник, ставил перед ним чашу с прозрачным медом, клал краюху ноздреватого хлеба. Воспоминание усилило муки. А солнце пекло.

На нос упала дождинка, Арсений вздрогнул, устроился поудобнее – лицом ввысь, так и лежал. А небо было бездонное, синее, чем даже любимые Фросины васильки. Справа, из ложбинки, куда нырнул с винтовкой мужик в «плюшке», закричали «ура». Сначала Арсений даже не сообразил, что это атака, потом ему ударило в голову: это же наши, выручают ребята! Бежали свои – тоже с палками, почти без оружия. Слышно было, как немцы забегали по траншее, загорготали, воздух вспороли пулеметные очереди.

Мимо прогрохотало несколько пар сапог. И опять стало тихо. Смолкли и пулеметы. И тогда там, в траншее, опять засмеялись враги, они взвизгивали, захлебывались от визга, как поросята. Арсению стало страшно: так действительно не могут смеяться люди, что они с ума посходили? Он повернулся, чтоб утереть лоб ладонью, и между собой и траншеей увидел лежащих. Только что бежали и вот лежат. Навалом, кто как, друг на друге. Винтовки на палках, палки на винтовках. Пилотка сползла со лба, и ветер, раскатав мягкую русую прядь, швырнул ее на погоны. «Андрей?!» – ахнул Арсений.

Арсений уткнулся зубами в землю, лежал, каменя. Что им надо здесь, этим разбойникам? Так просто убить столько людей! Еще в восьмом классе Григорий Григорьевич, их школьный историк, говорил, что цивилизация вступает в новый этап, когда

войны исчезнут. Торговля и производство дадут человечеству все необходимое. Да, войны исчезнут, но это, возможно, в будущем, а вот сейчас, в эту минуту, перед ним, Арсением, лежали ребята, и ветер веял русой прядью парня, похожего на Андрея, и кто-то, шевеля сухими губами, просил его пристрелить...

Он приподнялся, чтобы лучше разглядеть: «Так Андрей это или не Андрей?» И тут же рядом что-то грохнуло, потом еще и еще. Мины, скорее всего, из миномета, что бил вон оттуда, из-за кривой, разбитой грозой ветлы. И тут же где-то там воздух вспорола еще одна пулеметная очередь, и пули веером прошли над его головой. Он с любопытством глянул на эти свистящие разноцветные мухи; какими-то зияющими, электрическими полосами они уходили за его голову туда – в конец поля и где-то там пропадали. И вдруг справа, почти у самой ноги, словно рвануло холст, поднялся столбик земли, и Арсений задохнулся от газов...

Арсений очнулся. Опершись на локоть, и совсем рядом, за разлатым конским щавелем, он увидел свежую воронку – от мины, а подальше большую – вероятно, воронку от бомбы. Щелкнула пуля – снайпер? Мягко вошла, утонула в человеке, лежащем напротив. Арсений повел взглядом: и справа, и слева лежали еще живые и уже мертвые... Сколько их, Господи! Арсений протянул руку вперед и попал ею в густую, теплую ижицу – ужасно, то была кровь. Послышалось какое-то теньканье рядом – это с края воронки, из человека в воронку тенькала кровь.

И тогда Арсений увидел, что он весь лежит под трупами, они сковали его своей тяжестью, у него свободны только грудь и руки, все остальное тело его под живыми и мертвыми, лежащими кое-как тут, вповалку. Они придавили его, невозможно ни привстать, ни даже ногой шевельнуть. Единственное спасение – это большая воронка. Надо было освободить ноги, перекатиться в нее...

Тут, в воронке, жить еще было можно. И увиделось ему вот что. Сначала на небе обозначился черный квадрат – над ним, над всем этим Сабуровским полем. От всего этого веяло какой-то огненной жидкостью; и он летел в яму какую-то, но только вверх, а не вниз,

летел в эту страшную, проклятую яму, за которой, кажется, не было ничего, кроме пустоты, смерти. Потом огненность сошла с квадрата, и он стал светить, подсвечиваться откуда-то снизу серебреюще розовым, последним лучом уже закотившегося Солнца. И Арсений увидел себя как бы в роли Андрея, но только другого – Болконского, когда тот лежал где-то там, под Аустерлицем и к нему подошел сам Наполеон. Нет, Наполеон ему, Арсению, не явился конечно: далековато, наверное, во времени и пространстве. Явились свои – те, кто поближе, но тоже самые главные. Сначала Командующий Центральным фронтом Константин Рокоссовский. Вот он стоит во дворе старой школы тут, в Адамове, и распечатывает своих генералов за эту вот атаку на Сабуровском поле, где на каких-то десяти гектарах легли сразу десять тысяч, брошенных в бой почти без оружия – почти все вчерашние хлеборобы, которые совсем ведь недавно еще пахали все эти поля, хлеб выращивали исторически – для страны, исторически – для Европы, для всей мировой цивилизации. «Кровавое месиво!.. Что же это вы, – бьет он в гневе тростью себя по сапогу, вперяясь глазами в своих генералов, – что же это вы убиваете народ так жестоко, бездарно?! Почти по миллиону в год...»

– А кормить, – говорят, – чем? Американская тушонка и яичный порошок только гвардейским частям!

– И безымянно! Люди брошены в бой почти без оружия! Без авиации и артподготовки!... Вас бы в окопы ! Под пулеметы и минометы!...»

И тут свет в квадрате гаснет, видения исчезают. И – тишина. Постепенно квадрат краснеет, как бы от ушедшего за черту Солнца. И наливается кровью, становится багрово-красным. «Если так дело пойдет, будет нас пятьдесят миллионов, а для такой территории надо хотя бы двести». И опять возникают видения: полководцы наши, на самом высшем уровне, герои гражданской войны. Тоже как будто под Аустерлицем. Но только перед ним, Андреем Болконским, уже не Наполеон, а наше Верховное Главнокомандование во главе с товарищем Сталиным, а еще заместитель Верховного Жуков и начальник Генштаба Василевский.

ВАСИЛЕВСКИЙ (докладывая обстановку на Центральном фронте товарищу Сталину). Адамов (Малоархангельск) держит оборону – ни шагу назад, ни километра! А под Прохоровкой враг продвинулся на 35.

СТАЛИН. Ротмистрова там держать нецелесообразно.

ЖУКОВ. Под Адамовом – Сабурово. Трусами брешь закрывают, кровью! В основном хлебоборобской... Помните, повесть Алексея Толстого «Хлеб», бои под Царицыном?

СТАЛИН. Как под Царицыном? Эхо гражданской войны? Ни звука про это. Политбюро считает, что ворошить прошлое подобного рода нет необходимости.

Обращаясь к начальнику Генштаба.

Так что там у нас со стратегическим планом?

ВАСИЛЕВСКИЙ. Центр выстоял – этот Адамов (Малоархангельск). Создается возможность для контрнаступления с разворотом по глубине фронта на Юг и на Север. На Север – отсюда и от Болхова охват Орла, продвижение на Хотынец, далее на Брянск, в Белоруссию. Оттуда возможный удар с Севера на Юг, до Черного моря, – большой «котел». Чем глубже Гитлер продвинется в районе Прохоровки, тем надежнее враг увязнет в глубине нашей обороны... Итак, разворот с Севера – как бы правая рука вперед, а с Юга – как бы левая рука назад... В итоге кольцо неприятелю, «котел» почище Сталинграда...

СТАЛИН. Замечательно. Держать в строжайшей тайне.

ЖУКОВ. Даже Рокоссовский не подозревает.

СТАЛИН. И в дальнейшем держать в тайне. Пусть главными останутся большие города: Курск, Орел, Белгород. Хотя это сражение не за города, а за стратегическое пространство, где решающую роль играют малые города типа этого, как его... Малоархангельск... крепко орешек... На северном фронте Орловско-Курской дуги – Болхов, на южном – Прохоровка... В центре у Рокоссовского – Малоархангельск...

Кровавый квадрат перед Арсением меркнет, Аустерлиц пропадает. Андрей Болконский снова уходит в забвение, куда-то север-

нее Орла – в Ясную Поляну, в прошлое – к Бородино. А тут настоящее – опять пока тишина. Впереди – будущее, опять же это Сабурово, во все стороны перед ним, Арсением, это Сабуровское поле. И немецкая речь где-то близко и снова голоса впереди, в немецких окопах...

Арсений принимается выбираться из-под трупов, из воронок от бомбы, медленно отползает в нашу сторону – на Восток, к Адамову. А с нашей стороны по полю уже ползут санитары. Снова затарахтели немецкие пулеметы, сухо защелкали снайперы, и санитары затихли. Арсений выждал еще с полчаса и ящерицей завилал к тому, что лежал от него в двух шагах. Дотянулся до каблука, потащил на себя в воронку. Посадил паренька поудобнее и заглянул в глаза: в них уже остывали звезды.

Так и сидели вдвоем, друг против друга. А домой к пареньку где-то шло в это время письмо, что писалось им на котелке перед атакой, и идти будет еще неделю, другую. А вслед пойдет другое письмо – от начальства и тоже будет идти неделю, другую. И все эти дни паренек будет жив там где-то, в белой хатке под кленами. Он и сейчас умер не весь. Не правда это, что люди, умирая, сразу уходят куда-то. Почему же тогда, когда в доме покойник, не говорят при нем о смерти? Почему страдальческая гримаса исказит вдруг лицо его? Нет, это не о летаргическом сне – о другом. О том, что у умершего еще живет что-то, какие-то органы, давая ему ощущение жизни. Он, вероятно, еще слышит, понимает тебя, хотя уже ничего не может произнести...

Арсений сидел, обхватив голову, легкий озноб начинал трясти его. Он чувствовал на себе чей-то взгляд. Конечно, этого, лежащего рядом. Лежит и следит за ним, за живым, и, возможно, завидует, а возможно, и нет, потому что ему уж не надо ни пить, ни вставать, ни выбираться отсюда под пулеметами, ни идти завтра снова в атаку. «Мистика какая-то, – вздрогнул Арсений, – лезет всякое». И повел взглядом по полю: тела, тела, лежат себе тихо, лишь один – ему показалось – слегка шевельнулся, просвистел: «Пить!». «Еще одна неубитая, живая душа», – обрадовался Арсений.

Жуть объяла его, со страхом ждал он вечера, следил за малейшими изменениями в небе, за подсветом трав, за всем, что подавало признаки подступающей тьмы, страшной ночной тишины. С болью вслушивался он в голоса, они сходили на нет, умирали. Если бы у него была фляжка, хоть капля воды, он спас бы вон того паренька. И вот этого, справа. Дневное пекло сменилось сумеречной тишиной. Когда Солнце село, зазвенели кузнечики. Арсений повернулся лицом к небу, стал ждать окончательной темноты. И вдруг увидеть дневную Луну – неущербленную, полную. Арсений застонал и потерял сознание...

Он искал поблизости хоть одного лежащего тут неубитого, но они жили только в его воображении; одному пуля вошла прямо в глаз, другой лежал без ноги... Рядом щелкнула пуля, еще одна. Арсений вжался грудью в песок, сердце остановилось. Да что же это такое – головы не дают приподнять!

Высоко над головой висела Луна, ее пепельно-серебряный свет обозначал уже краткие тени. Арсений слегка отдышался и снова пополз к своим, назад с поля боя. От одной живой души к другой. Однако, когда он подползал к лежащему, живая душа уже оказывалась мертвой, убитой. В бессилии Арсений отвалился на край воронки. Трупы смотрели на него, в глазах стекленела луны. У Арсения на спине от страха начинала двигаться кожа...

Луна поднялась еще выше, все вокруг стало бледным каким-то, мертвенным, пепельно-серым. И Арсений понял, что, провозившись, он упустил свой шанс. Вблизи все также маячила не наша – чужая траншея, по траншее уже начиналось движение. Он попробовал приподнять голову, рядом опять же шлепнулась пуля.

Быстро подсохла роса, июльская трава натянулась, сделалась жесткой, пружинистой. Язык уже не вмещался во рту, нёбо было все в кусках, истрескано, наверно, до крови. И вот стоны совсем прекратились. Травинка обозначилась перед глазами, она все двоилась, троилась, он откусил ее, затем поставил метелкой ввысь и крайне задумался: эка вымахала, вытянулась, как струна. Что же держит ее изнутри, такую высокую, тонкую? В чем причина такой удивительной стойкости? «Пить, пить», – снова послышалось где-то.

Что-то толкнуло его изнутри: полынь рядом качнулась и замерла. Арсений приподнялся на локте и увидел фигурку – тонкую, пышноволосяную: «Фро-ся?..» Обхватила раненого рукой, подтянулась, ползет... «Длинный, серебряный чуб. Неужели Андрей?»

– Фрося, – шепчет Арсений так, чтобы было не слышно в чужой траншее.

Ее же могут убить. Вот сейчас у него на глазах. Снайпер уже готовится к выстрелу. Вот берет ее на мушку, следит за ней, прищурился глаз...

– Фрося, – шепчет он.

Впереди что-то сверкнуло.

– А-а-а! – подбросило вверх Арсения, и весь ужас этой атаки, всего, что пришлось пережить ему в эту ночь войны, вырвалось из него в этом крике. – А-а-а!!! – зазвенели перепонки от предельного звука. Что-то лопнуло в горле, он рванулся вперед, хотел еще позвать: «Фрося», а получилось бессвязно: «О-а-а». Он повторил с усилием, уже приказывая себе: «Фрося», напрягся так, что надулись жилы, посинело лицо, и захлебнулся в своей немоте. И жутко стало ему, он привстал на коленки и, упершись лбом о землю, пропахшую кровью, по-звериному зарычал, стал скрести землю когтями, не чувствуя боли. А потом упал на дно воронки и потерял сознание.

Когда пришел в себя, прямо перед глазами Арсений увидел все ту же Луну, на ее фоне ту же травинку – луговую овсяницу: распрямившись, она тянулась метелкой ввысь; и вдруг он все вспомнил и застонал. Срезанная пулеметом, тут же на голову ему упала эта былинка, такая высокая, тонкая. Всю войну, весь бой этот держалась, упертая в себя изнутри, в своей удивительной стойкости, а теперь вот упала.

VI.

Набежали тучи и заслонили Луну, ночную красавицу. Арсений выждал момент и, выбравшись из новой воронки, ящерицей пополз дальше в зыбкой, пепельно-серой ночи. Вот и она – Фрося! Он перевернул ее, коснулся пальцами лица: губы припух-

лы, чуть скуласта – нет, не она. Наклонился еще ниже: нет, не Фрося! Девушка шевельнулась, затрепетала: жива! И он засмеялся, пополз, волоча ее следом, как куклу.

Вот, наконец, и свои. Арсений сидел на дне траншеи и то смеялся, то вздрагивал – плечи его дергались, отходило все его тощее затверженное тело, он закрывался руками, чтобы никто не видел его лица. Кто-то подостлал под него ватник, всунул в руку кружку с водой, он держал ее наотлет зачем-то, и на ресницах его все еще висели, дрожали на ветках белопепельные лепестки, это ромашки изобильно росли перед траншеей и сыпались на него.

Было уже утро. Он увидел совсем близко пышноволосяную, светленькую, в гимнастерке с погонами, совсем незнакомую девушку – «сестричку», заметил сумку ее, пропахшую йодом, и опять же думал о Фросе. Ну, почему так получается, когда очень любишь кого-то, тот непременно должен любить не тебя.

С тех пор, как он нашел тогда Фросино письмо к нему, положенное на видное место, над дверью в брошенном доме, минула, кажется, целая вечность. Она понимала, что, вернувшись с окопов, он непременно придет к ее дому, войдет в квартиру, заметит это письмо. Это было жестокое письмо, но справедливое, честное. Арсений и сейчас помнил его наизусть.

«Дорогой... нет, милый... дорогой... нет, милый Арсений («как она мучилась, подбирая первое слово!»), я покидаю город. И не потому, что боюсь прихода врага, сколько мы уже знаем о девушках, оставшихся на временно оккупированной территории и сделавшихся партизанками, подпольщицами. Я ухожу, потому что ушел Андрей. Я хочу сражаться с ним вместе, плечом к плечу. Я разыщу его в армии, стану медсестрой и когда-нибудь вынесу его с поля боя – ради нашей любви. Да, я люблю Андрея»...

С вражеской стороны снова ударили пулеметы, пуля твякнула в ветку и, срикошетив, ушла за вторую линию траншеи. Мимо – в воображении Арсения – с забинтованной головой пробежал, кажется, Карп Митрофанович, хлопнул Арсения по плечу, пошустрил дальше. Глаза, кажется, глубже осели в глазницах, на виске высохшая глина. «Да, я люблю Андрея, – вспоминал дальше Ар-

сений. – Я люблю его с того школьного вечера, когда он пригласил меня на вальс. Мог бы пригласить Риту, мы стояли с ней вместе, а он пригласил меня... Я уйду, я разыщу Андрея, я буду возле него, потому что без меня его могут убить. Я его защищу, закрою, спасу... А ты сильный, ты даже не знаешь, какой ты, Арсеньюшка, добрый, сильный, хороший... Ты споешь еще нам, твоё третье «до» – твоя самая высокая нота еще впереди... Я уйду... я плачу... Фрося».

Арсений сделал усилие, чтобы что-то сказать, но ничего не получилось, он откинул голову и застонал. Затылок упирался в сырой срез траншеи, где-то в груди все жгло. Электричество, как бы прошив его в атаке с затылка до пят, все еще держало его под напряжением. Ему дали что-то поесть, сказали, что вытасненную им сестричку зовут Сашенька и что ее с пробитым левым плечом уже отправили в медсанбат. Утром Арсений увидел за траншеей свежие холмики, в бузине штабелем были сложены трупы – часть их только что вытащили с нейтральной полосы и не успели похоронить. От роты осталась всего горстка. Жив, однако, Елочкин Карп Митрофанович, значит, рота жива.

По траншее протрусили три автоматчика, прошел сам Карп Митрофанович, бросил на ходу Арсению: «В штабной блиндаж, к командиру полка». Арсений шагнул вниз по ступенькам, ударился лбом о бревно над филанчатой дверью и очутился в прохладном сумраке.

– Арсений? – отступил на шаг плотный, стриженный под ежик, пышноусый полковник – бывший военком Милованов, отец Фроси.

Арсений шагнул к нему молча, из гортани его вырвались какие-то непонятные звуки, такие нелепые, полковник так и застыл.

Милованов сидел за дощатым столом, обхватив ладонями седые виски. Карп Митрофанович стоял перед ним навытяжку. Виктор Степанович повернул к Арсению тяжелое, постаревшее разом лицо:

– Какие ребята легли... сколько адамовских...

Арсений сидел на широкой скамье у стены, спину холодила оклизлая глина, и он впервые так явственно, остро представил

себе, каково сейчас там им, в земле. Цвет нации, соль земли. И танкистов не выручили – те, по-прежнему где-то в топах. И сами все тут разбросаны по холмам. И вспомнилось ему, как еще школьниками ходили они сюда под Сабурово на экскурсию: курганы, погосты, древние кладбища. Ратники, исстари стояли здесь, на кроме южной Руси, а оттуда вон, через незаселенные ходы по Оке и Сосне-реке, сюда, в лесное подстепье, вторгались враги-степняки и падали те и другие тут в ковылях с грудью, прохваченной острым железом. Вот здесь бородастые русичи не пускали Дикую степь из Азии в Европу... Вчера с края Сабуровского поля били навстречу внахлест пулеметы...

– Так-так, – сухими глазами смотрел на него Милованов. – Так-так, – говорил он, чтобы не сказать ничего.

* * *

После полудня их сменили, и роту Елочкина отвели в Адамов. Другими глазами взглянул на свой городок Арсений, но теперь ничего тут уже не могло его удивить. Пожарища, запустение, на улицах бурьян по плечи. Где же мать его, дед, бабка – старая Катерина? Где соседи, знакомые, близкие?..

Они остановились в Сосуновской ветряной мельнице, сохранившейся на окраине, на Подгородней слободке. С детства, воображая из себя Дон Кихота, Арсений представлял именно этот ветряк: с крыльями, залатанными то куском взлохмаченной ветром фанеры, то с листом ржавого кровельного железа, со стенами, обшитыми серым, истресканным от времени тесом. В щели можно было просунуть не только кулак, но, пожалуй, и голову. Сквозь такие щели зимой и летом свистели ветры, за что окрестные мужики прозвали основателя мельницы – купца второй гильдии Нефеда Сосунова – «ветрохвостом», а подгородненский люд окрестил сие ветрогонное место «розой ветров». Арсений читал по жерновам историю ветряка, как по книге. Сколько было перемолото зерна этим серым песчаником, сколько подвод проскрипело отсюда по деревьям, развозя в мешках крупитчатую, вальцовочную, блинную, в скольких лоханях запыхало после хлебного теста; сколько же

народу выкормил этот старый добрый ветряк! А сейчас под замшелыми дубовыми балками перепархивали воробьи, строго смотрело с балок вниз на военных потревоженное воронье.

Людей в роте какой раз осталось всего ничего – с отделение, не больше. Как вошли все в ветряк, так и повалились, кто куда. Арсений развернул портянки, ступил босой ногой наземь, и всего его насквозь, до затылка, прошило сладкой истомой, током родимой земли. Он прилег на локоть и тут же услышал отдаленный запах мучнистого хлеба, более томный мышинный запах и понял, что проголодался; как пошутил кто-то из «юбочников», сейчас он выпил бы ведро молока и съел бы саму корову.

Карп Митрофанович куда-то исчез и вскоре явился со старшиной Кладнюком – старшиной, здоровенным рябым мужиком из-под Тамбова. Кладнюк сбросил сумку с плеча, извлек из нее буханку хлеба и тут же, на камне, начал делить ее на пайки плоским немецким штыком. Потом улыбнулся, погрозил зачем-то пальцем тому, красноносому, в плюшке, тоже оставшемуся в живых. Прошел на цыпочках снова за дверь, вернулся с канистрой.

– Вот, – вздохнул Кладнюк и сдул с глаза в сторону темнорусую прыдку. – Спирт, – смотрел он хитровато. – Выдавали перед атакой на всех, а я не успел раздать... Целая цистерна вон, некому пить.

– Давай, – оживился красноносый и потянулся к канистре.

Вошел Карп Митрофанович.

– Скудновато, ребята? – кивнул он на съестные припасы. – При такой-то щедрой выпивке... Эх, налей-ка! – приказал он старшине и подставил свой котелок под канистру. – Я сейчас, к артиллеристам. Только что прибыли из Резерва Главного Командования. Может, кой-чего разживусь.

И исчез с котелком. Арсений рванулся следом: надо бы сбегать домой, рядом – тут всего ничего огородами. Присел обессилено: куда бежать-то? Ни кола ни двора, небось, не осталось. И, однако, встал, двинулся к выходу из ветряка.

Конечно, ни дома, ни сарая уже не было, никого из соседей. Арсений походил по пепелищам, поковырял головешки. Вот тут была его комната, тут стояла его кровать, а тут был письменный стол, за которым он

написал первые стихи. Его уютная, светлая, милая комнатка с оконцем в сад. Запершись в ней, он перепел в ней, пожалуй, весь теноровый репертуар – арии Ленского, Дубровского, Лоэнгина, Орфея; в каватине Фауста ему никак не удавалось подняться на высшую точку – взять третье «до»... А вот тут была кухня – «чесночная кухня», как у Сервантеса, колбаса с вечным запахом чеснока.

Арсений подтолкнул носком черную головешку и, когда пепел рассеялся, увидел чашу – ту самую, щербатую, деревянную, их древнюю родовую чашу – братину с хохломским тусклова-то-золотистым пером жар-птицы. Что-то дрогнуло в Арсении, он поднял ее, осторожно отер рукавом, отчего перо жар-птицы зазолотело жарче. И тут же на небе перед ним обозначился все тот же черный квадрат. В нем он увидел Гитлера, кого-то из наших генералов, вытянувшихся у старой школы перед Рокоссовским. Затем квадрат стал терять черноту ночи и наполняться кровью зари восходящей, освещающей Сабуровское поле перед закатом. Он увидел себя там раздвоенного какого-то: сначала в черном ночном квадрате, потом – в кроваво-багровом отсвете, под пулеметами – на Сабуровском поле. «Это, наверное, навсегда, – подумал Арсений. – Это по гроб жизни». – «Конечно», – подтвердил Рокоссовский. – А генерала Пухова вызвали в Ставку, к Верховному...»

Видение исчезло, Арсений вернулся снова сюда, в реальность. Артиллеристы – щедрый народ – отвалили ротному знатную снедь: пару длинных банок американской тушонки, кусок ржавого сала и две буханки хлеба. Арсений извлек из рюкзака и поставил на кон дедову чашу.

– Вот-вот, – оценил появление братины Елочкин, Карп Митрофанович. – Знатная штука. – И тут же забулькал в нее из канистры. Все поднялись, придвинулись сюда, ближе к жернову. Вся четвертая рота вместе с ротным – рота бессмертных.

Арсений взял чашу, поднял ее, обвел всех глазами и, покрутив головой, стал пить большими глотками. Стоял и ждал своего черед а Карп Митрофанович, стояли и ждали своего черед а и все остальные, вся рота.

– Как они нас... почти безоружных, сволочи, а? – плакался солдат в плюшке в плечо ротному, у того тоже была подцеплена к шее рука. – Вот! И рюмку взять нечем.

Появился комбат Вепринцев. В балке за ветряком, тихо урча, сосредотачивались «тридцатьчетверки».

VII.

– Так и бывает, как в бане, – прикладывал наутро мокрую тряпку ко лбу Елочкин, – одного убьет, других ранит. И ко мне опять сюда новеньких.

Арсений подбирал себе из сваленного в угол подходящее обмундирование, примерял сапоги.

– Ну как тебе теперь воевать? – обращаясь к Арсению, морщился ротный. – Ишь, онемел! Ни «ура» не закричать в атаке, ни доложить командиру толково. Шел бы ты лучше, браток, в гражданку, помогать бабам. Елочкин тебе говорит, Елочкин зря не скажет. Напишу-ка в штаб такую бумагу... Да и в гражданке, скажу тебе, разве легко? Иду вчера по нашему городку, а уж всюду по пустырям таблички на палках: «улица Урицкого», «улица Либкнехта», «переулок Адлера», женщины и ребятишки камни ворочают... Я бы и сам остался тут, только я, брат, счастливый. Зацепит немного, а ничего, живой, бог дал, покамест пронесит...

И Арсения как контуженного, потерявшего дар речи списали из роты. Полдня пробродил он по окрестностям в поисках штаба полка. Наконец, догадался пристроиться к связному, так по следу его он и пришел к Милованову.

Штаб дивизии, тут же и штаб полка, располагались теперь за Адамовым, в урочище Беленькое, где начинались овраги. В склонах и были открыты блиндажи, хода сообщения замаскированы сверху сетками и ивняком – зарослей тут, у речки, хватало. Всюду сновали штабные, подъезжали на мотоциклах связные офицеры, во все стороны тянулись провода – белые, зеленые, синие. Армия теперь представлялась Арсению далеко не такой, как той осенью, когда оставляла врагу Адамов. Куда подготовленной к этой великой битве в срединной России. И он, Арсений, и

весь этот полк, эта их несчастная рота были всего лишь зернинкой в общем людском притоке, в накопленных силах, их действия почти неощутимы в громаде уже развернувшихся событий. И все же капля и та камень долбит...

Арсений присел нетерпеливо у самого входа в блиндаж, неподалеку от машин в камуфляже. Наконец-то можно войти.

– Тебя направили в тыл, будешь восстанавливать Адамов. – внушал ему полковник Мидлванов – Фросин отец.

Арсений не поднимал головы.

– Ты меня слышишь?! – уже почти кричал ему полковник Милованов. – Будешь помогать гражданам восстанавливать наш Адамов!

Арсений смотрел ему прямо в глаза.

– Будешь восстанавливать Адамов, говорю! – кричал уже во всю глотку ему Милованов, повернулся к сопровождавшему его майору: – Кажется, он сильно контужен?

Вышли из блиндажа. Милованов махнул рукой, двинулся дальше, к машине. За ним заюлил, зашелестел о песок сапогами адъютант – штабной офицер.

Солнце висело над головой гнилым черным орехом. Арсений поник головой: «Нигде не числишься, даже ротный не успел записать». Он прошел через весь городок, в конце концов набрел на родную улицу – свой корень, родимое пепелище. Опять эта черная, недогоревшая чурка – бывшая притолока, о которую он в седьмом классе, помнится, расшиб себе лоб. «Эка фигура, вымахала, с Ивана Великого, – смеялись тогда дядья. – И вот списали его. Женщины и те на фронте, воюют...»

Как хорошо он понимал сейчас своего одноклассника Колю Синицына! С третьего класса у него вдруг стал расти горб, а в шестом Коля влюбился в самую красивую девочку в классе – Иру Столярову и под секретом поведал об этом ему, Арсению. Тогда Арсений не понял Колю, действительно, надо самому пройти через горе, чтобы уметь слышать другого. Счастье, наверное, в том, чтобы, несмотря ни на что, оставаться в своих пределах. Человек не может идти против своего естества, он обязан бороться

за себя, свое счастье, неся счастье в себе другим. В нем, Арсений, еще недостаточно понимание справедливости, нет решительности, чтобы решительно встать против скверны. В нем нет мужской силы, что-то пусто в нем – факт, что-то ущербно... Почти вся рота погибла, а те танкисты, как и прежде, в болотах, а прибывшие танки пожгли на рассвете в атаке ...

Все, что прошло через Арсения после встречи с Фросиным отцом, защелкнулось в мозгах на этой глисте – немецком офицере со шрамом до самого уха. «Сволочь!» – сплюнул Арсений и только хотел растереть плевков каблуком, как тут же почувствовал под каблуком что-то твердое: лопатка, шанцевый инструмент. Маленькая лопатка, которую пристегивал себе к поясу каждый солдат доблестной армии фюрера, чтобы иметь возможность в любой момент выкопать могилку себе тут в русской земле. Арсений поднял лопатку, подержал ее, словно взвешивая, в руке. Сравнил ее со своей: «Круп и Урал, Урал и Круп.... Ничего себе, Пересвет и Челубей»...

Тьма была густая, тревожная, и тревога усиливалась оттого, что воздух стал таким вязким и душным. Вспомнилось, что вчера вечером над речкой низко сновали ласточки. Арсений достал из кармана гребенку, провел ею по волосам – послышалось легкое потрескивание, и тотчас за горизонтом блеснули синие всполохи. Если бы не война, можно было подумать, что надвигается дождь с грозой.

Арсений присел на бугор и задумался: где-то там была передовая – эти всполохи, минные поля, траншеи, засады, проволочные заграждения. Где-то там Берсеневские болота, танкисты... В той стороне где-то над Мурашихой, начали шарить прожекторы, обливая молочным светом каждый холмик и выемку, каждый кустик, дерево, а воздух прочертили белые полосы трассирующих очередей.

Просто так линию фронта не перейти. Арсению вспомнились ласточки; как носились они тогда еще в детстве над речкой Сабуровкой, ныряли в одном месте, проходили под нависшею зарослью, выныривали метрах в двухстах ниже речки. «Так-так,

так-так». Арсений шел в темноте, чувствуя все обостренно, как зверь. Взял еще левее; по терновику прошел на погост. Он знал: погост этот спускается к речке, берега низки и болотисты. Где-то тут должна быть могила еще его дедова деда, родом дед Филипп из Сабурово, в Сабурово их родовой корень.

Арсений приостановился, чтобы отдышаться, задумался. Здесь лежат все свои. Как тут жили соседями, так соседями там и остались, разве что там немного теснее, а так все одно: лежат человек к человеку, поколение к поколению. Да и жизнь тамошняя, вроде как продолжение этой, перемахни через невидимое – попадешь опять же к своим, которые там с незапамятных дней. Может, и дед Филипп уже там, в земле, беседует с дедом деда. Чужаков там не приемлют, самозванцам куртины отдельно – вон турецкое, австрийское кладбища... были тут военнопленные после войн...

Резанула молния, и все вокруг стало мертвенно четко, как под карбидными лампами, которые развешивают самолеты перед бомбежкой. За раkitой просквозились редкие кусты – свежее немецкое кладбище: неошкуренная береза, палка вверх, палка поперек. Кресты и кресты, в голом поле до самой низины...

Арсений сбросил «кирзачи» и, держа наотлет лопату, крался теперь босиком. Еще раз резанула молния – высветило часовенку, дощатую дверь на траве, где-то пониже блеснули темные воды речки Неручь. Сверху капнуло, Арсений вздрогнул: то ли дождик, то ли от пичуги на ветке: и он впервые подумал о том, на кого шел сию секунду, держа наотлет лопату, о немецком часовом. «Имеет ли право человек лишать человека жизни, одним ударом превратив венец творенья в груды костей? Да, а имел ли право тот, на кого он шел тут сейчас с шанцевым инструментом, загубить там, в поле, сразу столько людей, которых он даже и в глаза-то не видел, а не то, чтобы успеть возненавидеть...»

Совсем близко хрустнула ветка, Арсений повернулся на звук – из кладбищенской тьмы на него опять наплывали черный квадрат, красный квадрат, а в них посередке глаза Фроси – глаза Милованова. Арсений тряхнул головой и услышал, как о берег плеснула

вода. Ступил в воду – сладкий холод прошел по ногам, поднялся выше; шагнул еще раз и – ухнул в бурчагу вниз с головой. Он сидел под ветлой, звуки стлались по речке: где-то скрипнула дверь, кто-то заиграл на губной гармошке, гнусавя фальцетом:

«Ви айнс Лили Марлен,
Ви айнс Лили Марлен...»

Гармоника перешла на вальс, Арсений с удивлением уловил свой любимый вальс из «Лебединого озера». Гармоника замолчала, но мелодия оставалась и продолжала звучать. Снова скрипнула дверь. Арсений вдруг вспомнил ту дверь – с письмом Фросиным по-над притолкой и эту дверь – на разбитой часоулке.

Он снял эту дверь с петель, подтащил ее к речке. Она закачалась на воде, словно плот. Арсений лег на плот животом, вжался в плот всем своим гибким телом и, выделяя впереди каждый шорох и всплеск, осторожно подгребая руками и руками же осторожно разбирая ветки над головой, двинулся в кромешной тьме вниз по течению, словно по коридору, тесно укрытому с боков и сверху ивовой зарослью. Совсем близко пикинула снова губная гармоника, мелькнул живой огонек сигареты. Речка Неручь круто вильнула вправо, потом еще раз вправо. От кривляка до Берсенева топей, он знал, оставалось каких-нибудь три километра. Арсений причалил к берегу и, упрятав голову в плечи, двинулся в намечавшийся за кустами рассвет.

Он жутко устал. Положив голову на кротовью кочку, Арсений слушал, как, отходя постепенно, в нем начинают гудеть руки, ноги, спина. И чем больше отходило тело, тем неудобнее, неприятнее, тревожнее делалось на душе. «Если бы встретил вдруг ту глыбу... офицера со шрамом до самого уха... я бы, наверно, убил его. Вот этой лопатой, этой рукой». Арсений сплевывал, представляя, как мягко входит шанцевый инструмент в чужое тело где-то около шеи, как хрустят позвонки, как человек дергается и оседает.

К горлу подкатывал ком, неукротимое, почти физическое отвращение к смерти; ко всему этому примешивался тот еще сладковатый запах в воронке. Арсения начинало поташнивать, он вздохнул поглубже, чтобы прогнать тошноту, смахнул со лба пот

ладонью и тут же увидел на ней несколько кровинок – царапины. «А ведь я бы убил... человека», – пронзило Арсения, и от одной только мысли об этом его стало корчить, тряссти, наконец, все, что было в желудке, рванулось из недр его и пошло из горла неудержимым потоком.

VIII.

Неудержимым потоком вливалась в долину извилистая речка Неручь. Подпертая где-то выше, у Адамовских высот, она ослабляла бег, разливалась на несколько километров, образуя камышовые топи. Сухим бугром, языком в камыши заходила деревня, она так и называлась Топки. Где-то тут, у Топков, и пребывать должна была наша разведка – три танка «Т-34» со взводом автоматчиков на борту. В последний раз, а это было дня четыре назад, их рация сообщила штабу, что ведется бой с численно превосходящим противником. Но ничего о сообщении Арсений не знал, как и не знал ничего о том, в каком точно месте могла сейчас находиться эта наша разведка.

Совсем рассвело. Туман, столбившийся из проток и оконцев, вновь осел, засеребрился росой на стрелах мощной сизо-зеленой куги. Арсений отыскал бугорок посуше, под ольхой, подлез под густо олиственную ольховую ветку и крепко уснул. Проснулся он от человеческого голоса. Боялся даже открыть глаза, чтоб не вызвать движения воздуха, шелеста листьев. Сквозь ресницы он увидел, как по его росному следу, сюда к нему, приближалась женщина. В черном платке до бровей. Подошла совсем близко, стояла, разглядывала его. Спросила что-то, он замотал головой.

– Ладно, идем, – вздохнула сурово крестьянка и пошла обратно теперь уже по двойному росному следу.

Он приподнялся, отодвинул ольховую ветку – на плечи ему, на шею, колени, на острую осоку рядом, как в ливень, просыпались с ветки грузные капли.

Женщина в черном знала места хорошо. Сколько раз то слева, то справа, то сразу с обеих сторон возникали болотные окна, в которые и глянуть-то было страшно, а не то чтобы попасть

ненароком. Двигаясь впереди, всякий раз она ловко находила проход. Прижмемся к березке, наступит где-нибудь возле самого комеля, скакнет разок, другой, а дальше уже и твердо. Местность пошла на подъем. Арсений почувствовал это по тому, как земля под ногами стала упругой, ольховник сменился березками, на островках появились дубки. И вдруг оба сразу уперлись в крутую желтовато-песчаную насыпь, над головой шумели высокие сосны.

Взобрались на насыпь, замер Арсений: на огромной сосновой поляне, в разных местах ее, стояли три «тридцатьчетверки» – дыры в бортах, по траве раскатаны гусеницы. Трава вокруг выжжена, сосны, словно спички, чем-то поломаны запросто.

– Сюда, сюда, – поманила женщина и вильнула куда-то в ракетник. В углу тесной полянки, заросшей ромашками, Арсений увидел свеженасыпанный холм.

– Тут я их и похоронила, – тронула крестьянка в черном платке свежие, еще не обдугтые ветром комья на холмике. – Наши оттуда пришли, – показала она за лес – За ними – немцы. Сильный бой случился, немцев положили тоже немало. Однако своих они увезли, иные из наших все же прорвались, рассыпались по лесам, перелескам.

Под ногами Арсения хрустнули автоматные гильзы, вминались в мягкую хвою осколки от мин и гранат, глаза выхватывали отметины на литых сосновых стволах.

Крестьянка провела его к избе огородами, приказала от греха («а то староста шастает») лезть пока что на печку. С полчасика из-за занавески изучал Арсений избу и саму хозяйку. В избе была одна комнатка, голые лавки по стенке да голый же, грубо сколоченный стол. Единственным украшением служили чей-то портрет над лампадкой (сухой, в улыбке, при очках и бородке, наверно, Калинин) да развешанные по углам пучки сушеных трав. Арсений принялся и уловил каждый запах в отдельности: терпкий чад лесной рябинки, сладкий дух валерьяны, запахи зверобоя, черемуховых, земляничных цветов. Хозяйка развязала у горла черный платок, и взгляду Арсения открылась ее белая шея. Арсений перевел глаза на плечи, грудь, заключил про себя: худая, но сильная женщина.

Она загремела чугуном, из ведра в ведро налила воды, завозилась у загнетки, перегнувшись вся, стала дуть в печи, набирая воздух, снова дуть под щепу. И, когда до него дотянулся пресновато-горчишный дымок, какой обычно идет от горящих торфов, Арсений понял, что хозяйка затевает варить, и забылся в остром, тревожном сне.

Проснулся он от голосов: трое ребятишек – лет пять, восемь, десять – сидели вокруг стола и переговаривались.

– Ты, Федьк, чего малину утром сам съел? – укорял старший самого младшего. – А домой не принес.

– Не принес, – вздохнул Федька и прикрыл ладонью перепачканный ягодами рот. – Я нашел, я и съел.

– А я вчера почему нашла и почему принесла? – затараторила средняя из ребятишек – девчонка.

– От гриба, если съесть сырьем, можно и помереть, – сказал большеголовый Федька.

– А от ягод тоже, тоже, – перебила его девчонка. – Вот сейчас, головастик, у тебя живот вспухнет и лопнешь.

Федька заморгал, на глазах его появились слезы, он выскочил из-за стола, заковылял к печи. Арсений поспешно задернул занавеску и вдруг возле подушки увидел краюшку хлеба – земляного, чугунного, с черными зернинками лебеды, тут же стояла кружка с водой. Арсений выпил воды, посидел, упираясь в потолок затылком, и начал слезать с печи.

Все трое повернули к нему спело-соломенные, русые головы, кое-как стриженные, наверно, овечьими ножницами. Сидели худые и бледные, строгие, с одинаковыми глазами, смотрели в упор и всерьез.

– Ты, дядя, не наш отец? – спросил Арсения Федька.

– Чего ты, какой он отец! – остановил его старший.

– А что же, недавно у нас был тоже дядя, – по-взрослому поджал губы Федька, – а мама сказала: отец. А дядя был ранетый и умер, а мы его похоронили под кустиком.

Из сенец вошла мать, увидела Арсения, остановилась.

– А тебе, Сеньк, – повернулась она к старшему, – говорила ведь, погоди, не приводи саранчу.

«Саранча» заколотила ложками по столу, замотала под лавкой ногами. Арсений сунулся за занавеску, положил на стол краюшку чугунного хлеба.

– Нам хлеба нельзя, – отодвинул краюшку Федька. – Мамка сказала, а то тоже помрем, как Мишка и Настенька. А солицы у вас, дядечка, нет?

– Молчи, – зашипел тот, что постарше, Сенька. – Какая солица у партизан?

– К нам приходили тут партизаны, – подвязала потуже платок хозяйка. – Свои, конечно, последнее съешь, отдашь... А после полевая жандармерия нагрязнула, выгребли картошку из погреба подчистую. Толик, правда, пораньше, а Мишка и Настенька от бессоля погибли. Бежит, зацепится – хлоп, глядишь – ручонка, ножонка сломалась. Уж мы солицу из золы добывать приспособились, да где там...

Плечи у хозяйки передернулись, лицо было жестко по-прежнему. Арсений кивнул на святой угол: что за портрет?

– Наш человек, русский, – сухо поджала губы хозяйка. – Спасает, мы ему верим... Перед войной приезжал в район, грамоту моему мужику вручал.

Похлебав щец, ребяташки гуськом вышли на улицу, пошли в лес на промысел, а Арсений опять забрался на печь, за занавеску. Все думал: кого хоть похоронила хозяйка «под кустиком»? Хозяйка ходила по хате туда-сюда, туда-сюда. Наконец, когда вовсе стемнело, подошла к печи:

– Уж и не знаю, право, говорить тебе или нет? А верить надо... Командира подобрала, из тех... с танков. Помирал, сумку просил через фронт переправить. К своим.

Вышла в сенцы, вернулась с офицерской планшеткой. При копеечном свете лампадки сквозь слюду Арсений увидел топографическую карту: села, речки, поля, перелески – красные кружки, синие крестики, ромбики...

Арсений едва сдерживал дыхание: именно тут, скорее всего, было все, ради чего посылалась разведка.

Хозяйка проводила его далеко. Рассказала, как перейти линию фронта: полем сначала, потом свернуть к топям, войти – не боять-

ся – в самые топи между разбитым грозой дубом, перед ивняком идти по воде, на той неделе топковские бабы ходили этим путем в Адамов за картошкой.

Рано утром Арсений был уже на окраине Адамова, у Сосуновского ветряка. Передал Елочкину планшетку, Карп Митрофанович тут же кинулся в штаб. Рота уже поднялась, все, что осталось от нее, – с отделение. Кто умывался, поставив кружку на жернов, кто делал вокруг ветряка пробежку, кто еще лениво потягивался. Арсений прилег на солому, вытянул ноги, и сейчас же перед ним замелькали картины двух прошедших ночей.

Вернулся Елочкин, стал распекать вновь прибывших, среди них «Полюбите Толю» – с забинтованной головой. Веки сами смежались, Арсений лениво прислушался к разговору.

– Где твоё пэтээр? – спросил его Карп Митрофанович.

– В траншее, наверно, остался, – бодрился «Полюбите Толю».

– Как в траншее?!

– Так ружье на того рыжего записано, а я у него был напарником, – оправдывался «Полюбите Толю». – Я вот жив, а рыжего после той мясорубки увезли в медсанбат. У него и спрашивайте свой пэтээр.

– Рядовой Семечкин, смирно! – рассердился Елочкин. – Да у меня их всего три штуки было на роту. Завтра попрут немецкие танки, чем их – ножом останавливать? Что ее, эту штуковину, в магазин пойдешь, что ли, купишь?

– Да ну вас, скажете, тоже, – ухмыльнулся «Полюбите Толю», он же рядовой Семечкин.

– Вот я тебе и говорю – бурчал под нос себе Карп Митрофанович.

– Да, ладно тебе, вольно... Вот я и говорю: это имущество ротное, не котелок какой-нибудь – боевая единица.

Елочкин проводил свой, как он выражался, «воспитательный час». Сюда к ним подтягивались и остальные: интересно все-таки, прошибет Митрофанович непрошибаемого «пэтээрэшника» или не прошибет? Арсений тоже вслушивался в разговор, и душа его отходила, гудела протяжно, как провода, – привычная обстановка. Елочкин чувствовал интерес со стороны к ним обоим, выставляя Семечкину, казалось бы, неоспоримые аргументы.

– Ты вот шкуру себе испохабил – «Полюбите Толю», «Полюбите Толю»! – поддевал его ротный. – А за что, скажи, тебя «полюбить»? Пэтээр ты бросил в траншее, в карабине ржавчины на три пальца.

– Так вчера только выдали, – помаленьку отступал Семечкин. – Сняли с убитого, не успел почистить.

– Вот, вот, – тут же развивал успех ротный, – оправдание всегда у тебя, брат, найдется. Елочкин тебе сказал, Елочкин зря не скажет... А то был у нас в деревенской бригаде тоже такой вот, навроде тебя, полюбовник, баб любил. Трактор новенький дали, дак он на нем в соседнюю деревню, к девчатам, ездил, пока с головой в бурчагу не ухнул. Тоже мне, нашел легковую – «эмку», понимаешь...

– Всем на легкой ездить хочется, – выступил в подкрепление Семечкина тощий кудрявый солдат в очках – Сдобин, которого все называли Студентом. Он и впрямь до войны был московским студентом, из института иностранных языков. – И Сабурово ваше тут ни при чем, – добавил он и пошел умываться.

– Здесь и твой институт не при чем, – тут же отбил фланговый удар Карп Митрофанович. – А вот при чем оказалась война.

Последний довод Елочкина был настолько неоспорим, что все, кто стоял поблизости, поняли: сражение противной стороной проиграно. «Полюбите Толю» побрел к сирени чистить свой карабин. Студента Карп Митрофанович усадил изучать воинский устав: «И чтоб, понимаешь, к обеду сдал экзамен мне по всем пунктам». Каждому Елочкин нашел дело, и все в маленькой, обезлюдевшей роте завертелось, пошло своим чередом. Арсений вошел в ветряк, присел к жернову, начал чинить гимнастерку.

Снаружи крикнули, что его спрашивает какая-то девушка. Сердце дрогнуло: Фрося?

IX.

Фрося? Нет, то была «сестричка», крестница его, Сашенька, санинструктор Фетисова, вынесенная им с поля боя. Рука у девуш-

ки висела на перевязи, всякое неосторожное движение причиняло ей боль. Арсений взял ее за здоровую руку, отвел подальше от ветряка. Стоял перед нею, молчал.

– А-а, – поняла она его и махнула здоровой рукой. – Свои в медсанбате, как не отпустят? – И смотрела на него снизу вверх, улыбалась доверчиво.

Они шли окраиной Адамова – Вишневой слободкой. Вишневые, яблоневые, грушовые ветви навешивались на пепелища, под каждым деревом обретались пушки, тягачи, танки, полевые кухни, солдаты. Донской, волжский, северный, сибирский выговор. Русые, смоляные, рыжие головы. Скуластые и широкие лица, узкие и открытые глаза. Как будто вся огромная страна сдвинулась и переместилась сюда или прислала сюда, в эти сады, в эту степь, своих сыновей, свою мощь, свою силу. Затевалось что-то огромное, а что – догадаться было нетрудно.

Арсений, чувствуя под Сашенькой гимнастеркой живое тепло, сдерживал шаг. А Сашенька говорила и говорила ему про свое: про детство, которое прошло у нее на Кубани, про техникум, где «делают мастеров по мороженому», про сокурсника Сережку Смирницкого, «строившего ей глазки, но все зря, потому что он ей ну ни капли не нравился». После войны она вернется сюда, в Адамов, и здесь выйдет замуж, и нарожает много-много детишек, они будут у нее все чистенькие, желтенькие, как утята... Арсений слушал ее, и ему по душе была милая Сашенькина болтовня. Она была живая, как ласточка, что провела недавно его по речке Неручи туда, в урочище, к таким же «желтым утятам». Таких девчат, наверное, любят подруги, поверяют им тайны. Гимнастерка на плечах ее побелела, рука висела белой безжизненной куклой, – ладная, мягкая, добрая Сашенька...

Как-то так незаметно они пришли к пруду. Один край плотины был разворочен бомбой, и вода шла в пролом, но, знал Арсений, пройдет какое-то время, и адамовцы исправят плотину, пустят воду в прежнее русло, по створу, под которым неподступно лежало в стеклянном сосуде письмо – обращение к живущим тут: вскрыть его через двадцать пять лет. Арсений шагнул к

створу и по замшелым доскам написал угольком с пепелища: «Сашенька».

Арсений появился перед штабом полка, когда полковник Милованов как раз подъехал на машине в летнем, сине-болотном камуфляже.

– Пропустите, – кинул он часовому и прошел в блиндаж. Арсений стоял перед ним навытяжку.

– Не надо, – махнул куда-то в сторону Милованов, порылся в нагрудном кармане и достал аккуратно сложенное письмо. – Вот, молодой человек, только что получил от Фроси.

Арсений протянул руку.

– Но-но, молодой человек, – не позволил взять письмо Виктор Степанович. – Не все-то тут для тебя, есть и для меня лично... семейная тайна... Что касается тебя, то вот, слушай, «...боюсь, от нашего Адамова ничего не осталось... Я все это время думаю об Арсении, я перед ним виновата, иначе бы он эвакуировался вместе с нами, он бы успел... Свердловск – город большой и красивый. Когда я прохожу в наш госпиталь мимо оперного, я закрываю глаза, вижу сцену и Арсения в роли Лознгина, Ленского, Каварадосси... «Таинственна гармония, красоты необъятной»... Ах, папа, я так переживаю, так боюсь за него, сердце вещует, как бы с ним чего не случилось. В письме я написала ему, что он сильнее Андрея, но это не правда. Андрей готовил себя в офицеры, он уже офицер, а Арсений – хрупкая, тонкая, почти женственная натура”...

– М-м-м, – замотал головой Арсений, и Милованов понял: дальше читать нельзя.

Арсений сделал движение пальцами, и Милованов протянул ему свой блокнот и карандаш.

– «Я хочу воевать!» – написал Арсений размашисто.

– Опять ты за свое, – нахмурился Виктор Степанович. – Данет, сейчас для тебя рода войск, нет! Помогай восстанавливать наш Адамов.

Арсений решительно забрал обратно листок, черкнул нервно:

– «Есть!»

– Ну, в какой род войск тебя? – повернулся спиной к нему полковник Милованов: явно неудобно было перед офицерами – получался

торг, балаган какой-то, семейная сцена. – Ну, в какой?! – повторил он, стараясь уже интонацией поставить точку под разговором.

Арсений снова взял листок и надавил на него так, что хрупнул, недописав, карандаш:

– «Развед»...

– Видали, а? – перевернулся Виктор Степанович и усмехнулся.

– В разведку просится, место, действительно, самое подходящее.

И все офицеры, какие были в блиндаже, ожили, засмеялись. Арсений бросился к выходу.

– Арсений! – закричал вслед Виктор Степанович. – Рядовой Смирнов!!

Арсений бежал вниз по берегу, по лозняку, лопухами, крапивой, татарником, пока не споткнулся на стежке о труп мертвой, уже вздувшейся лошади – пегой, с куцым хвостом, с многозначным тавром на крупе. Осколком ей перебило горло, она, видать, оскалила зубы в долгом крике. Кто-то уже отхватил тесаком ей язык, отрубил лопаткой для варева половину груди. Арсений с ужасом стоял перед вспоротым брюхом: самолетами вились крупные зеленые мухи, карбидно безжизненным светом в безумном испуганном, стеклянном взгляде как бы висела лампа, сбрасываемая с воздуха перед бомбежкой. И черви копошились, самолетики зеленели, звенели, зудели над ней.

– Ммм-а-а, – поднял руки Арсений к небу, на звезды, которые должны были вот-вот появиться, упасть на мины, снаряды, бомбы, которые должны были вот-вот свалиться сюда на них и все разметать.

Воздух вдруг переполнил Арсения, распер ему легкие, грудь. Ужас охватил его, разделил все на круги, на квадраты, красный и черный. Он чувствовал, что в эту щель, образовавшуюся от деления его личности на квадраты, втискивается кто-то другой – неужели Андрей? А может, Семен? А может, вся рота, все это поле Сабуровское, все эта «дуга», весь фронт, вся эта война вместе с ее солдатами и генералами, с их блиндажами, топографическими картами, военными и семейными тайнами, вообще с их Ставкой и самим Верховным Главнокомандованием, а также со всем этим «эхом гражданской

войны», Андреем, павшем вместе с ним в этом его первом и, может быть, последнем бою под этими вражескими, смертоносными кинжалами пулеметов. «Господи, помоги человеку...»

Х.

Первого сентября Сашенька – Смирнова Александра Сергеевна – как всегда, входит в класс с патефончиком, ставит детям всегда одну и ту же пластинку:

«Дан приказ: ему – на Запад...»

... уходили комсомольцы на гражданскую войну...»

Всей школой старались: вкатили на Синяевские высоты огромный, ледниковых времен валун, нанесли на нем буквы-шрамы, эти вечные письма. Отсюда, если присмотреться, видать Сабурово, поле, пруд, плотину, замшелый сток речки Неручи, под которым лежит тот стеклянный сосуд. Вот и двадцать пять, тридцать пять минуло, пройдет пятьдесят, а может, и сто. Кто найдет сосуд, кто прочтет по скрижалям земли, что здесь было, что будет? Кто сказать на смелится, что Адамов (Малоархангельск) – не героический город? Что тогда еще, в сорок третьем, завещали погибшие тут, на Сабуровском поле, в этом треугольнике бессмертия: Малоархангельск – Поныри – Глазуновка?..

Малый город-герой, Центральный фронт. Помнить, проникнуть в самую суть. Это ведь было на стратегическом направлении во главе с Рокоссовским. Только ведь осмыслять войну начинаем. После Москвы, Сталинграда – это первый по значению в битве на Орловско-Курской дуге. Защитник Курска, а вместе с Болховом освободитель Орла и Белгорода, первая фаза, затем грандиозной операции в Белоруссии «Багратион», отбросившей врага за границы страны, единственная операция, попавшая в учебники военных академий мира, фронт, нацеленный в конце концов на Берлин.

Понимаю, осмыслил, начинаю говорить, только лучше поздно, чем никогда. Подыскал для своего малого города местечко в Москве-столице, у могилы Неизвестного Солдата – на камне тут сразу за Мурманском. Один он такой – городок всего заштрихованный временем, город-герой – малый, с трудной судьбой. Мал

Сабуrowsкое поле
золотник, да дорог. А малых подвигов не бывает. Я говорю об этом вместе с Арсением, от имени тысяч и тысяч из «Армии Рокоссовского», что пали тогда, в сорок третьем, в том числе и в страшном бою на Сабуrowsком поле. Именно в память о них в Адамове (Малоархангельске) тогда, в июле сорок третьего, и давали наши бойцы свой самый первый салют из всех видов оружия. По две дивизии в день погибали тогда тут, а на обелисках всего каких-то десятки имен...

Ave Maria! Ave...

Слышали, как поет, отпевает эти места Хемпердинк? «Ave Maria, Ave.. ламапада светла...»

Лето 1978 г. – лето 2007 г.,
г.Малоархангельск -
д.Сабуrowsо,
Поныри, Глазуновка.

ИЗ МОЛИТВЫ ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет настоящий день. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой.

Во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами.

Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не огорчая, никого не смущая.

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение его. Руководи моею волею и научи меня молиться, надеяться, верить, терпеть, прощать и любить.

Аминь.

РЕАЛЬНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ

И.Л.Золотарев

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
(литературно-критические статьи)

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ МИР А.С.ПУШКИНА

Мы стоим у истоков русской фантастики, у ее зарождения, когда фантастическое в традиционном смысле еще не воспринимается обществом и литературой, даже самыми видными представителями, в частности, В.Г.Белинским, Аполлоном Григорьевым, А.Н.Островским и другими. Попробуем применить метод компаративистики и разграничения в отношении русской реалистической фантастики и зарубежной фантастики «чистых» романтиков, определить качественные характеристики того и другого в пушкинскую эпоху, с точки зрения современности. И в русской литературе, и у писателей Запада фантастика является активнейшим романтическим средством познания и изображения. Однако истоки возникновения ее в России и Западной Европе разные. Сама по себе фантастика возникает в Германии конца XVIII – начала XIX веков у таких писателей, как Новалис, Тик, Гофман, в Англии – Уолпол, Радклиф, во Франции – Казот и другие. Ее появление вызывается необходимостью глубже проникнуть в психику человека, исследовать его внутренний мир на базе накопившихся научных знаний со стороны инобытийного мира, ирреальных сил, существующих объективно и агрессивно воздействующих на человека. И потому фантастика западноевропейского толка, имея замковую атмосферу тайны и ужаса, содержит в себе мрачные готические черты «черного» романа.

В основе гармонии мира, мирозданческих тайн А.С.Пушкин всегда ощущал высшее, божественное начало, которое, борясь с

«темными» иррациональными силами Неведомого, в конце концов, побеждало, просветляя и гармонизируя человека. И это одухотворяло поэзию, служило источником ее духовного, все более сложного, нравственного воздействия. Такое глубоко внутреннее – содержательное осуществлялось с помощью внешнего – заключения в соответствующую форму, то есть через усиление, романтизацию реалистического художественного метода. Одним из сильнейших средств романтизации являлось фантастическое, с помощью которого Пушкин мог проникать столь глубоко и эффективно в божественные гармонические первоосновы, улавливая и поэтически осмысляя тот непреложный факт, что фантастика, иными словами, необычное, вроде бы неправдоподобное, – это взгляд на форму отсюда, со стороны людей. То же самое, взгляд на все им же произведенное со стороны Творца – это обычные, рядовые явления, служащие возвышению, обожествлению человека, созданного им же, Богом, по своему образу и подобию. Таков пафос пушкинской поэзии, его реалистической фантастики, заключенной в произведениях, в которых уже тогда намечалась «двуплановость» – первый, реально-бытовой план и план духовно-возвышенный, нравственный; уже тогда намечалось осознание «двоемирия» – мира земного и мира небесного, божественного.

Романтизм как метод изображения пребывает в России недолго (в частности, в поэме «Светлана» В.А.Жуковского, «Русские ночи» В.Ф.Одоевского, в творчестве Бестужева – Марлинского). Русская фантастика сосредотачивается в пределах идущего следом за романтизмом нового художественного направления – в реализме, являясь романтически усиленным средством познания и изображения. Будучи в реализме как в творческом методе, фантастика фиксирует себя уже не в разных способах реалистического метода, а в разных типах познания и изображения – в романтическом и реалистическом. Как романтически усиленное средство познания и изображения фантастика значительно увеличивает возможности реализма. Это и привлекает к ней Пушкина, а следом и других русских писателей, а также французского новеллиста Мериме, осуществившего переводы пушкинских произведений.

Следы фантастического обнаруживаются у Пушкина в лирике, в таких его стихотворениях, как «Анчар», «Бесы», «Пророк», в поэме «Медный всадник», малой трагедии «Каменный гость» и в пьесе «Пир во время чумы», наконец, в рассказах «Выстрел», «Гробовщик» (из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»), повести «Пиковая дама». Романтико-фантастический колорит этих произведений подтверждает мысль о том, что фантастика становится для Пушкина своеобразным углом зрения на реальную действительность. Поэт стремится глубже проникнуть в психологию человека, в его многочисленные связи с тонким миром, совершенствовать свой художественный метод, окрашивая реализм в романтические тона. Вот что об этом пишет В.Г.Белинский: «Античная пластика и строгая простота сочетались в нем с обаятельной игрою романтической рифмы; все акустическое богатство, вся сила русского языка явились в нем в удивительной полноте».

До Пушкина в русской поэзии, как и во всей литературе, не было даже предчувствия фантастического, которое представляет одну из абсолютных сторон человеческого духа. Поэт много сделал для языка, самого стиха, для прекрасного в самой поэзии. Такого ее романтического усиления с применением фантастического, что развивало бы общее, вселенское, инобытийное мирозерцание, до него еще не было. Поэзия Пушкина была призвана стать откровением, предназначение Поэта состоит в том, чтобы завоевать и освоить фантастическое пространство таким образом, чтобы оно могло стать выражением всякого мирозерцания и направления. Не только стихотворение, но и каждое чувство, каждая мысль преисполнены у Пушкина фантастической красотой и природным совершенством. Пушкин созерцает действительность под поэтическим углом зрения. Простота и обаяние, чувство красоты стоят выше всякого выражения, они – музыка в стихе, скульптура – в лирике. Пластически рельефное выражение духа, строгий рисунок мысли, полнота, закономерность целого, нежность, нюансы – все это затем перейдет к другим поэтам, станет для них эталоном.

Пушкин соединяет ирреальный мир с живым чувством, реальными героями и объективной действительностью. Каждая картина, каждый образ видится выражением жизни и страсти. Фантастические произведения поэта, становясь «двуплановыми», отражают новые реалии; в первом, бытовом плане сама действительность, отдельные детали создают впечатление правдоподобия. Творчество Пушкина стройно и выдержано, поэзия чувств естественна, ощутимо стремление высказываться живо и непосредственно. Все это является следствием постоянно обновляемого начала, в том числе и фантастического элемента в его творческой концепции, неустанной работы души и мысли. Ничего лишнего, все в меру, финал гармонирует с началом. Художник не нуждается в выборе поэтических предметов, все у него является предметом поэзии. Что низко в жизни социума, то для Пушкина благородно.

Поэзия Пушкина верна русской действительности, изображая русскую природу, русские характеры. Гений поэта вызывает к высшему, к божественным силам, инобытийному миру. В такой атмосфере, придя в стихи и прозу Пушкина, и развивается фантастическое. Пушкин видится Белинскому «гражданином вселенной», находящем материал для своих поэтических вдохновений в истории, интуитивно ощущающем всеобщее, космически вселенское, фантастическое начало. Чувства, лежащие в основе фантастических произведений Пушкина, гуманны, они проявляются в спокойной образной форме. Любовь и дружба – основа творчества поэта. Грусть его светла и прозрачна. Весь колорит творчества, особенно лирики, происходит от внутренней красоты, преобразованной в эстетику и доводящей ее до фантастического.

И все же как жанр фантастика в литературе того времени еще недостаточна, вот почему оценки Белинского противоречивы. Не совсем воспринимая фантастику в качестве средства изобразительности, критик вынужден сказать, что творчество Пушкина, даже имея вселенский характер, лишено фантастики. «Поэзия его чужда всего фантастического, мечтательного, ложного,

призрачно-идеального; она вся насквозь проникнута действительностью». По мнению Белинского, поэтическая ложь ставит человека во враждебные отношения с реальностью. Человеку надо тратить себя не на бесплодную борьбу со вселенскими силами, а, осваивая их, вписываться в космическую атмосферу, как у Пушкина. Критик говорит о богатом воображении поэта, особенно в таких фантастических стихотворениях, как «Жених», «Утопленник», «Бесы». «Никто из русских поэтов не умел с таким непостижимым искусством спрыскивать живую воду своей творческой фантазии <...> материалы народных наших песен».

Д.С.Мережковский в своей статье «Пушкин» полагает, что в романтических скитаниях по степям Бессарабии, по Кавказу и Тавриде Пушкин находит и извлекает из своей лиры новые звуки. Жажду беспредельной внутренней свободы поэт противопоставляет пустоте и ничтожеству внешних политических форм. И критик объясняет, что потребность такой свободы приводит поэта к столкновению с варварством, которое глубоко и безысходно. Мережковский выводит такую потребность общей, космической, вселенской свободы из взаимосвязи гения и народа. Обладая одновременно и слабостью и силой, эта связь производит фантастически невероятную основу необходимости гения в реальной, жизненной среде. Причину некоторой незавершенности пушкинской поэзии исследователь видит в низком уровне культуры того времени, отмечая, что это обстоятельство делает русского поэта единственным в своем роде среди великих поэтов. Высокая же степень культуры удаляла бы его от бессознательного, произвольного, являющегося базой для всякого творчества. Великому искусству необходима непосредственность восприятия, Пушкин же, чуткий ко всем проявлениям культуры, предназначен к участию в мировой жизни и истории духа. В его поэзии чувствуется спокойствие самой природы, и это помогает глубже проникнуться романтизированным словом Пушкина, войти в атмосферу его фантастических произведений.

Говоря о романтическом стиле поэта и о скрытой за этим фантастике, Белинский, а затем Мережковский имеют в виду именно это романтическое мироощущение, ведущее непременно к фантастике. Имея синтетический характер, творчество Пушкина объясняет реалистический метод романтическими традициями. То, что Мережковский говорит о внутренней свободе поэта, означает установку на свободу творчества. Романтическая поэтика для Пушкина именно такое свободное проявление творчества. Пушкинские произведения изобилуют содержанием личного, романтического, а личное у поэта – это всегда романтика, соизмеряемая со свободой как с чем-то общим и неограничиваемым. В авторских признаниях мы находим у Пушкина мысль о том, что индивидуальные черты проявляются у него как у поэта в такой мере, в какой они не противоречат его же романтическим представлениям. И это создает не конкретность и не повторяемость факта, а типовые, привычные для романтического сознания мысли и чувства.

Герои фантастических произведения Пушкина – носители абсолютного начала. Они люди конкретно эмпирического и в то же время идеального, ирреального мира. Из-за своей причастности к ирреальному пушкинские образы приобретают фантастическую окрашенность. Принцип «двоемирия», лежащий в основе фантастических произведений, содержит в себе противопоставление действительности идеалу. Заметим, в высокой сложной обстановке Пушкин вел неуклонно свое творчество к фантастическому. Так, Аполлон Григорьев не находит в пушкинской поэзии «ничего романтического». А.Н.Островский в своей статье «По случаю открытия памятника Пушкину» говорит о том, что Пушкин освободил литературу от сентиментальности, условности романтизма, сделал ее искренней и самобытной, близкой к самой действительности. На наш взгляд, такие авторитеты смотрят на поэта несколько прямолинейно и односторонне, отмечая в Пушкине то, что им самим интересно и игнорируя то, что станет угодно и интересно литературе.

НЕПОЗНАВАЕМОЕ, АБСОЛЮТНОЕ НАЧАЛО В ПУШКИНСКОЙ ЛИРИКЕ («АНЧАР», «БЕСЫ»)

Герои Пушкина являются носителями абсолютного начала. Они осознают, что ирреальный мир – их родина. Герои пушкинских фантастических произведений видят в идеальном, метафизическом мире божественные сферы, чувствуя влияние «темных» вселенских сил, воздействующих на человека разрушительным образом. Современники Пушкина рассматривают роковые страсти как демонические. Таково их мнение о вселенских иррациональных силах, которые Пушкин отражает в своем творчестве, о роковых страстях, которые делают человека игральным тех самых страстей. Проникновение таких страстей в общество нарушает душевное равновесие людей. Пушкин применяет фантастику интуитивно в целях исследования и изображения героев, в сложных ситуациях придавая своим героям романтизированно-фантастическую окрашенность. Д.Д. Благой отмечает, что, «прежде чем Пушкин стал поэтом действительности, он прошел в своем развитии все основные фазы европейской духовной жизни конца XVIII – начала XIX века». Поэт воспитался на почве рационализма XVIII века и, пройдя романтизм, изобразил в своем творчестве его мировую скорбь.

Ирреальный мир в фантастических произведениях Пушкина имеет на судьбы людей роковое влияние, распространяя романтизированную эстетику на всего Пушкина, особенно на его фантастические произведения, не только на первую половину творчества, но и к первой половине 20-х годов, как полагает Е.А. Маймин. Местный колорит разрабатывается поэтом как фантастический, где субъективное начало подчиняется объективному и не растворяется в нем. В намечающейся «двуплановости» произведений Пушкин показывает

не только психику, но и быт людей. Герои поэта – реальные люди, прототипы его образов, первый план изображения. Пушкинский реализм выводит субъективность человека из объективного мира истории и общества, выделяя конкретного, психологического человека, внутренний мир которого поэт изображает романтическими художественными средствами. Внутренняя жизнь пушкинских героев в то же время показывается бытийно, с помощью реальных деталей, богатой семантики.

Конкретный человек у Пушкина наделяется такими же конкретными чертами и объяснен обстоятельствами. По мнению Е.А.Маймина, реально-бытовой план способствует познанию и исследованию иррациональных сил, существующих в инобытийном мире объективно. Такой мир оказывается основой романтически настроенного героя с его сложной, надмирной душой. Пушкин сохраняет психологию и индивидуальность, идущую от романтизма, реалистические принципы конкретности, отказываясь от индивидуализма. Противоположной точки зрения придерживается Г.А.Гуковский. Характеризуя реалистический метод Пушкина, он отмечает влияние на поэта романтиков, например, В.А.Жуковского: «Пушкин не отказался от наследия Жуковского даже в 1830-х годах, но использовал его, включив в новую, реалистическую систему». Пушкин перерабатывает как идеи, так и стиль, сделав стиль романтика Жуковского элементом своей стилистической системы. Язык романтического произведения лишен всего обычного, преходящего. Вот что пишут критики о романтиках и их атрибутике. По их мнению, поэт-романтик мыслит обобщенными категориями. Романтическая эстетика – это эстетика интенсивного и беспредельного. В.В.Воровский замечает: «Поэт-романтик не просто воспринимает в художественных образах окружающий его мир, а воспринимает его в преувеличенных линиях, в сгущенных красках, в потенцированных формах». И Пушкин воспроизводит эстетические образы не так, как воспринял их, а преувеличенно, романтизировано, фантастично.

Демоническая тема входит в творчество поэта, становясь, однако, одной из многих. Демонические мотивы волнуют Пушкина только в определенный период, постепенно поэт преодолевает их. Его гармонический дух реет над демонизмом, иронией, романтической тоской. В своих фантастических произведениях Пушкин не показывает разочарования жизнью. Его герои побеждают несовершенство мира благодаря высоким свойствам души. Лирический герой поэта глубоко чувствует красоту жизни как высшей формы гармонии бытия, хотя роковые страсти и вносят хаос во внутренний мир человека. При этом Пушкин предоставляет героям понятие грани реального и ирреального. Конечно, судьба их зависит от иррациональных сил, от ирреального мира, но нравственный выбор остается за ними. Они свободны в выборе добра и зла, ответственны за свои поступки. Таков гуманистический пафос лирики Пушкина. Подобные проявления заметны в таких фантастических стихотворениях, как «Анчар», «Бесы», «Жених», «Демон». Большое идейно-художественное обобщение Пушкин вкладывает в фантастику «Анчара», фантастическое «Бесов» отражает демонический мир, губящий человека.

Сущность романтического стиля – это идея романтически настроенной личности. По мнению того же Г.А.Гуковского, романтическая личность – это идея единственно важного, ценного и реального, находимого романтиком только в интроспекции, в индивидуальном самоощущении, «в переживании своей души как целого мира и всего мира». Человек, изображенный с помощью фантастики и романтических художественных средств, свободен в своей внутренней жизни, не выводим не из чего, сам по себе и есть причина всего сущего. Культ свободной личности – основа романтизма, который видит в человеке душу как орудие духа в мире вещей и природы. Душа человека остается свободной от конкретно-исторических условий. Однако в реалистическом методе Пушкин изображает не субъективную единичную реальность, а объективную действительность. В то же время «двоемирие» в фантастических произведениях поэта выражает внутреннее противоречивое единство и независимость свобод-

ных эмоций человека. Субъективность не поглощает весь мир; по мнению В.М.Жирмунского, Пушкин переводит своих героев из демонического в реальный, предметный мир, доминирующий над эмоционально-лирическим. В связи с этим тема фатализма из-за зависимости героев от ирреального мира осложняется еще проблемой внутренней несвободы. Тема свободы драматизируется романтическими антитезами добра и зла, реальным и необычным, жизнью и смертью. Для реалистической фантастики Пушкина характерны роковое предсказание и роковая гибель. Эти романтические мотивы будут исследоваться Пушкиным как наблюдателем за проявлениями иррациональных сил, существующих как во внутреннем мире его героев, так и в окружающей их среде.

Пушкин решает художественные задачи с помощью реалистических средств, обогащенных таким эффективным романтическим средством, как фантастика. Пушкинские герои пытаются преодолеть несвободу своего сознания, в таком случае интерес поэта проявляется как к человеку, вступающему в поединок с роком, так и в трагической судьбе личности из-за воздействия на нее рокового начала. Изображая ирреальный мир с помощью фантастики, Пушкин осмысляет многие явления в сфере человеческого и всеобщего. Реальное и земное поэт изображает в плане идеального и возвышенного. Романтическая эстетика выработала в себе понятия «романтического героя» – необыкновенного, с роковыми страстями; романтического сюжета с элементами тайны и экзотики, романтического пейзажа, тяготеющего к грозным стихиям романтического стиля. Эти понятия указывают на канон. Знаменательно, что Пушкин развивает идеи реализма творчески, не отказываясь от романтических завоеваний. Поэт не может забыть свободолобивых деклараций романтиков, внутренне близких ему, может, поэтому он не желает отказываться от термина «романтизм». Не отказывается он и от самих идей романтизма, поэт дорожит и художественной, и вообще всякой свободой, которой не хватает ему в период романтических увлечений. В то же время Д.Д.Благой отмечает, что «романтическое восприятие жизни и художественно-

романтическое ее воспроизведение в это время не исчерпывают всего отношения поэта к действительности».

Однако романтическая эстетика в ее традиционно сложившихся формах уже не удовлетворяет Пушкина, ибо ее субъективность запрограммирована и ограничена, то есть не до конца свободна. Пушкин исследует закономерности развития действительности с помощью фантастики, изображающей человека как игральные роковые страсти. Но и субъективизм романтической фантастики неприемлем для Пушкина. Принцип «двоемрия» обуславливает исследование человека под влиянием злых иррациональных сил. Тема смерти, связанная с фантастикой, также неприемлема для поэта. Обычно поэты-романтики писали о смерти как об инобытии. Смерть была для них явлением высокого, нетленного мира, служила синонимом абсолютной свободы, представлялась как успокоение, антитеза жизни, ее страданию. Гегель говорит о положительном значении, которое это явление получает в романтическом искусстве: «Смерть устраняет ничтожное и тем способствует освобождению духа от его конечности и раздвоенности, равно как и духовному примирению субъекта с абсолютным».

Пушкин пишет о смерти как о возвышенном явлении и тут же ее отрицает, решая тему роковой зависимости человека от ирреального мира как реалист. Реализм в лирике Пушкина – это правда человеческих чувств в их общем значении, свободное проявление субъективности. Реалистические начала в лирике – это освобождение субъективности, ощущение себя личностью, романтически воспринимающей инобытийный мир, а не только преодолевающей романтическую субъективность. По мнению Г.А.Гуковского, кризис субъективизма тождествен кризису романтизма. «Оттого и в самую байроническую свою пору он одновременно мог написать вовсе не байроническую «Гавриилу»; это была тоже <...> политически бунтарская поэма, и в качестве таковой она, естественно, сближалась с поэзией байронического бунтарства, но в ней принципы романтической субъективности явно оказались отставленными».

Маймин соглашается с Гуковским в определении романтизма в эпических жанрах как кризиса романтизма. Мериме придерживается противоположной точки зрения в решении этой проблемы. Процесс развития пушкинского творчества, считает он, идет от романтизма к реализму, от субъективного к объективному. В стихотворении «Анчар» поэт разрабатывает принцип «двоемирия», показывая влияние демонических сил, в данном случае, существующих в самом человеке. Выстраивая сюжет, Пушкин не только продолжает развивать национальные традиции, но и, прежде всего, опирается на предшествующий опыт мирового литературного процесса. Существует немало отечественных и зарубежных источников, оценивающих характер этого произведения. В.В.Виноградов отмечает тот факт, что Катенин вернул Пушкину одно стихотворение с упреками, на что в ответ Пушкиным и был написан в восточном стиле «Анчар».

В.Катенин изобразил себя в образе сурового русского воина в состязании с греческим певцом, восхвалявшем князя, тогда как русский певец отказался петь о венценосных особах. Под греком Катенин разумел Пушкина и призывал поэта вернуться к романтическому свободолобию. Как подмечают В.В. Виноградов и Д.Д.Благой, пушкинский «Анчар» явился ответом Катенину, где поэт изображает деспотию в образе ядовитого дерева – анчара. В.В.Виноградов обращает внимание на то, что тираническая власть представлена в образе древа жизни, дарованного по милости царя, что являлось распространенным мотивом византийского и восточного искусства. Как художник-реалист Пушкин в разработке этой темы идет совсем другим путем. «Анчар» членится на две части: во-первых, это описание ядовитого дерева, а во-вторых, повествование о гибели посланного к нему за ядом раба. Однако было бы ошибкой считать аллегорию на манер Катенина, только с противоположным значением.

Пушкин создает нужное ему впечатление не традиционным способом – с помощью аллегории, а с помощью фантастики, более сложного художественного приема. Описывая некое древо и подразумевая под ним демонический мир, поэт берет реально

существующее, хотя и необыкновенное, удивительное явление растительного мира. Конкретному описанию дерева Пушкин придает большую поэтическую силу, создавая уникальный художественный образ, ужасающий и потрясающий в то же время своим мрачным величием. Анчар стоит в грозном ореоле, он как бы царит в своих зловещих качествах и тонах среди обитателей пустынь и степей, где «стоит один во всей вселенной». Словосочетание «дерево яда», данное первоначально в заглавии стихотворения, повторяется в четвертой строфе сочетанием «дерево смерти». Это дерево пропитано насквозь, сверху донизу, ядом. Его листва, корни и ствол просто напоены этим ядом.

Слова «яд» и «смерть», а также производные от них нагнетаются поэтом, повторяются из строфы в строфу. «И зелень мертвую ветвей //И корни ядом напоила» (вторая строфа); «Яд каплет сквозь его кору» (третья строфа); «На дерево смерти набезит» (четвертая строфа); «С его ветвей уж ядовит» (пятая строфа). Дерево, переполненное ядом, отравляет и убивает всех, кто только посмеет приблизиться к нему. «К нему и птица не летит //И тигр нейдет». Фантастическая характеристика «темных» иррациональных сил усиливается фантастической атмосферой. Даже воздух отравлен вокруг древа. «<...> лишь вихорь черный// На дерево смерти набезит, //И мчится прочь, уже тлетворный//».

Эпитет «чахлая» пустыня подчеркивает свой звукописью ядовитый характер дерева. Следует повторение согласных и гласных «га», «нг», «гр», повтор слов «ввечеру», «прозрачную смолою», «вихрь черный», «мчится прочь», «туча оросит», «лист дремучий», «песок горючий». В результате возникает музыкальная атмосфера, связанная со звукообразом «Анчара», с его фантастическим колоритом, окрашенным романтически при помощи музыки слов, которая создает особое настроение в предчувствии инобытийного мира. Высокий стиль придает строке торжественность и эпическую величавость. Однако как ни величав образ анчара, нет в нем ничего сверхъестественного. Описание дерева яда – это пролог к главной, не описательной, а сюжетной части

Реальное и невероятное повествования о взаимоотношениях между непобедимым владыкой и его бедным рабом.

Переход от первого, бытового плана, от описания ко второму, духовному плану, к фантастике, совершается поэтом через противопоставление всего того, что было сказано о дереве яда всему тому, что последует за этим. Пушкин дает «двойное» объяснение фантастических событий. Происходящее в реальности мотивируется людской иерархией. «И человека человек //Послал к Анчару властным взглядом, //И тот послушно в путь потек». Эти описания становятся ключом ко всему идейно-художественному содержанию произведения. Фантастическая картина порабощения человека человеком раскрывает глубочайшую аморальность, бесчеловечность отношений абсолютной власти и такого же абсолютного порабощения. Ведь и царь и раб – это люди, какое расстояние ни лежало бы между ними. Однако они перестают быть людьми из-за противоестественности отношений. Далее Пушкин говорит о героях как о рабе и владыке. Человек – царь посылает хладнокровно другого человека – раба на мучительную смерть именно в силу удовлетворения своей агрессивности, властности. С другой стороны, раб покоряется воле тирана, забывая, что он человек. В руках хозяина раб превращается просто в вещь.

Фантастика показывает, как иррациональные силы вытесняют во владыке все человеческое, усиливая его жестокость, тиранство, развившиеся благодаря безграничной власти. Привычка не встречать сопротивления со стороны раба доводит агрессивные иррациональные силы во владыке до апогея. И он посылает слугу на явную смерть одним только «властным взглядом». Привычка к повиновению сказывается в рабе сильнее, чем инстинкт самосохранения. Раб знает, что он послан на верную смерть и идет на нее обреченно, не пытаясь как-то этого избежать. Из всего спектра чувств в нем живет один лишь – рабский инстинкт, безропотное повиновение. Раб напрягает последние силы, чтобы не умереть в пути, только бы выполнить приказ своего владыки. И только тогда, когда раб приносит яд царю, он расслабляется и умирает у ног властителя, удовлетворенный.

Фантастический характер ситуации подчеркивается тихой, покорной смертью раба. Романтика образа умирающего раскрывается в таких деталях, как «пот на бледном челе», «хладные ручьи пота». Простота, спокойствие тона помогают автору глубже проникнуть в психику человека, в инобытийное. Протест против тирана, поработавшего и убивающего ближнего для удовлетворения своего эгоизма и властолюбия, проявляется в стихотворении с необычной интенсивностью. Поэт восстает против агрессивных иррациональных сил, вытесняющих и разрушающих все естественное, духовное в человеке. Роль царя аналогична функции дерева «анчар», у которого он и берет смертоносный яд. Царь становится сам анчаром; только дерево отравляет всех живых в силу своих природных свойств, а царь – сознательно, из-за агрессивности иррациональных сил в нем, желая быть и далее неограниченным владыкой. Эту тождественность образов анчара и царя поэт подчеркивает композиционно симметричным расположением этих слов. Вместе с тем Пушкин откровенно заявляет, что нельзя понимать под словом «древо зла» конституцию, а под словом «стрела» – самодержавие. Таким образом, в небольшом произведении поднята глобальная тема Власти и Человека, исследованы агрессивные иррациональные силы, находящиеся во внутреннем космосе одного человека и губящие другого, исходящие из замкнутого психологического пространства во внешнюю, окружающую среду.

В другом стихотворении Пушкина «Бесы» фантастика подготовлена самой эмоциональной атмосферой зимнего пейзажа. Она возникает уже в начале, в монологе ямщика, как отражение народного мировосприятия и одновременно поэтического и реально-бытового плана. Фантастическое в качестве средства изображения применяется тут по законам творчества. Образная пластика колеблется между достоверностью «изнутри» – для героя и художественным миром «извне» – для рассказчика, а также слушателя – читателя. «Еду, еду в чистом поле// Колокольчик дин-дин-дин.// Страшно, страшно поневоле// Средь неведомых равнин!//» Предчувствия лирического героя подтверждаются

словами другого персонажа – ямщика, о могуществе демонических сил, губящих людей, задержавшихся в пути, в поздний час. «Сбились мы. Что делать нам! // В поле бес нас водит, видно, // Да кружит по сторонам».

Слова ямщика о вмешательстве иррациональных сил в судьбу его и ездока (во второй строфе) подкрепляются фантастическим изображением нечистой силы (в третьей строфе). «Вот – теперь в овраг толкает // Одичалого коня; // Так верстою небывалой // Он торчал передо мной//». И далее демонический мир, мерещившийся персонажам, появляется среди снежной равнины. В четвертой строфе духи обрисованы уже как сами носители демонической силы. «Вьюга злится, вьюга плачет; //Кони чуткие храпят; //Вон уж он далече скачет; //Лишь глаза во мгле горят, // Вижу: духи собрались //Средь белеющих равнин//». Постепенно монолог ямщика перерастает в сознание лирического героя. Фантастическое осложняется литературными ассоциациями, обретая приметы мифопоэтической космологии. «Закружились бесы разны, //Будто листья в ноябре //Сколько их! Куда их гонят?// Что так жалобно поют?» И лирический герой задается вопросом о демоническом мире, о его природе, откуда оно – это скопище бесов? Последняя, пятая строфа воплощает мощь безликих сил, подчиняющих мироздание, вовлекающихся в атмосферу, не зависящую от чьей-либо субъективной воли. «Мутно небо, ночь мутна // Мчатся бесы рой за роем //В беспредельной вышине, // Визгом жалобным и воем // Надрывая сердце мне».

Если фантастика стихотворения «Анчара» изображает иррациональные силы в самих персонажах, в их внутреннем мире, делающем из человека или тирана, убивающего людей, или раба, то эти же агрессивные иррациональные силы находятся вне человека и во внешней среде, в инобытийном мире, но существуют одинаково объективно. В стихотворении «Бесы» Пушкин сопрягает антиподные ответы на вопросы об истине. Проявляется это во взглядах на отношение человека к объективному ходу событий, складывающемуся в процессе эволюции, формирования того или иного порядка вещей. Трагическое

звучание «Бесов» является результатом неантропоцентричности мира закономерностей и подчинения им человека. Однако фольклорная окраска фантастики намечает путь преодоления трагедии. Сама структура стиха отвечает приметам жанра фантастики, проявляющимся через оптимистическое изображение Вселенной. Такое испытание оставляет место для выбора, не диктуя тотальной безысходности.

Принцип «двоемирия» раздвигает границы познания и изображения. Первый, конкретно-эмпирический план исследуется и изображается Пушкиным при помощи обычных персонажей и обстоятельств. В стихотворении «Анчар» и «Бесы» пушкинская фантастика служит, в конечном счете, познанию закономерностей реальной действительности.

Пушкин видит вокруг себя литературное пространство, и вот что он пишет о фантастическом в гоголевской повести «Нос»: «Н.В.Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись». Внимание Пушкина к фантастике в этом отзыве о произведении Гоголя очевидно. Представления и инстинкты одних персонажей передаются другим. Если фантастика стихотворения «Анчар» отражает достоверность внутреннего мира поэта, в душе которого властитель, раздраемый разрушительными инстинктами, убивает прямо и косвенно своих подданных. И этот образ достоверен, иррациональные силы не контролируются разумом. Фантастическое в «Бесах» осложняется еще и литературными ассоциациями. Иррациональные силы, воздействующие на ямщика, передаются лирическому герою через предание и веру в них другого персонажа. Ямщик заражает лирического героя своими суевериями – это рациональное объяснение, одна причина естественной мотивировки.

Пушкин изображает ирреальный мир как во внутреннем мире своих героев, так и во вне, в небесных, божественных сферах.

Фантастика представляет реальное существование инобытийного, отражая романтическое ощущение неантропоцентричности мира. Агрессивные иррациональные силы, существующие одновременно во внутреннем мире героев и во Вселенной, создают представление о зле космического масштаба. Поэт сочувствует человеку как жертве таких злых, агрессивных сил, вводя в стихотворение «Анчар» эпитет типа «бедный» раб. Гуманистический пафос содержится в оценке поэта происходящих в «Анчаре» событий. Нет однозначного ответа на вопрос о добре и зле. У лирического героя нет ни слова о предчувствии беды из-за сопричастности этого героя к агрессивным иррациональным силам. Совершая свой нравственный выбор, пушкинские персонажи приходят к выводу, что они не центр Вселенной, вследствие чего возникает проблема познания и подчинения закономерностям.

Однако познание человека усложняется все новыми открывающимися, ранее неизвестными явлениями, которые человеческий разум в определенное время не имеет возможности объяснить. Задача героев стихотворений «Анчар» и «Бесы» состоит в том, чтобы, познав законы, суметь приспособиться даже в инобытийном мире, а не быть в реальности жертвой себе подобного. Герои должны чувствовать, что если ими управляет не бог и не дьявол, то, скорее всего, иррациональные силы, которые бывают для них губительны. Пушкин не считает, что мир антропоцентричен, теологический характер Вселенной чужд ему. Пушкинское видение подразумевает неантропоцентричность, изображающее инобытийный мир с помощью фантастики. Персонажи вышеназванных стихотворений оказываются перед необходимостью уподобиться «самодержавному владыке» или «бесам», занять позицию лирического героя и, познав, что такое добро и зло, сделать свой выбор. В выборе и заключен смысл познания закономерностей бытия. Фантастика обоих лирических стихотворений поэта предвосхищает осмысление человеком неизвестных природных явлений, иррациональных сил, которые недостаточно объяснены рационалистически, не

могут быть изображены реалистическим способом. То, что человек не мог угадать и познать в фантастических художественных произведениях, он открывает для себя в видениях, в фантастике самих героев. «Двуплановая» фантастика Пушкина как усиленное романтическое средство исследования и изображения инобытийного мира выявляет высокий, живой гуманизм лирики поэта, в том числе «Анчара» и «Бесов».

Русская фантастика, направленная против засилия классицизма с его закоснелыми догмами, опровергала концепцию всесилья Разума. В противоположность этому Пушкин признает романтическую тенденцию объективного существования ирреального мира как во внутреннем мире человека, так и вовне. Иррациональные силы, находящиеся в самих героях и подвергающие их воздействию через себя злого инобытийного мира, условно можно квалифицировать как внутренние иррациональные силы. А злые, роковые иррациональные силы извне, то есть непосредственно из инобытийного мира, как внешние ирреальные силы, также довлеют на внутренний мир героя, но извне, из инобытийного мира. Западноевропейская фантастика была первой внутренней моделью, изображающей идеальный мир лишь в самом человеке, его психике. Русская же фантастика как усиленное романтическое средство изображения очень скоро стала реалистической, существуя в «двуплановой» фантастике, то есть и во внутренней, и во внешней зоне воздействия на героев.

В своих стихотворениях «Анчар» и «Бесы» Пушкин показывает иррациональные силы, которые существуют как реальность, недоступная могущественному Разуму, провозглашенному классицистами. Так, судьба раба предопределена волей царя. Внутренний мир другого, содержащий в себе злые иррациональные силы, довлеет на дух слуги. Раб в свою защиту даже не пытается слова молвить, а не то, чтобы протестовать. Он раб, его единственное кредо – повеление хозяина. Вся радость его – в подчинении, а будь свободен, он мог бы изменить порядок вещей.

В этом стихотворении иррациональные силы изображаются как во внутреннем мире человека, так и в окружающей, инобытийной сфере, хотя обычно лирика раскрывает внутренний мир самого поэта. Душа поэта проявляется через такие эпитеты, как «властный взгляд», «бедный раб», «послушливые стрелы». Пушкин показывает злые бессознательные желания «непобедимого» владыки, посылающего на эшафот, при этом эти люди вызывают жалость, сочувствие. Владыка непобедим из-за покорности слуг, которые даже не пытаются изменить судьбу. И только боги, жалея людей, разделяют с ними страдания. В пушкинской лирике роль богов как «пастырей» по отношению к «пастве» выполняют высшие вселенские силы инобытийного мира, которым поэт придает высший же, космический, гармонично-божественный смысл. Идеальное, существующее в лирике Пушкина как в самих героях, так и вне их, во внешней среде, – в «Анчаре» отвергает деспотическую власть царей, которая зиждется на рабстве, становясь фактом объективного проявления злых иррациональных сил, предопределяющих человеческую судьбу.

Один человек сумел навязать другому желания, выдать их за реальность, ставшей из субъективной такой же объективной, как и все это в самой психологии властителей, существующих благодаря внутренним иррационально-космическим силам. В стихотворении «Анчар» соотношение реальности и бессознательного в воздействии одного на другого склоняется в сторону преобладания злых иррациональных сил во внутреннем космосе, в психике человека. Стихотворение «Бесы» содержат в себе уже иные пропорции реальности и бессознательного. Пластика образа движется от изображения внутреннего мира героя в художественный мир рассказчика и читателя, создавая достоверность ирреального, идеального мира как в самом лирическом герое, так и во всей Вселенной. Монолог ямщика, становясь сознанием лирического героя, не служит примером закрепления мифологических представлений и преданий за сознанием другого человека. Осмысление мифологии происходит путем

восприятия инобытийного, ирреального мира как несомненной реальности.

Реальное и ирреальное пушкинского стихотворения «Бесы» изображается при наличии «двуплановой» фантастики. Реальное существует в первом, бытовом плане, это описание природы, мировосприятия ямщика, лирического героя. Фантастические образы демонов – это олицетворение агрессивных сил в инобытии, угрожающих лирическому герою. Так же, как и в «Анчаре», граница между существованием иррациональных сил как в самом человеке, так и в окружающем его инобытийном мире в стихотворении «Бесы» подвижна. Реальное, в частности, пейзаж, обретает вдруг фантастические черты. «Мчатся тучи, выются тучи; //Невидимкою луна //Освещает снег летучий... //Страшно, страшно поневоле». Фантастический колорит помогает исследованию и отображению бессознательного во внутреннем мире лирического героя. Автор изображает иррациональные силы в образе демонов, как воплощение мирового зла, всеобщей дисгармонии.

Пушкин исследует зло с помощью мифологической фантастики как антитезу добра. «Бес-то был с версту, а то был искрой» в своем мифологическом обличьи, с горящими глазами. Духи зла – это агрессивные иррациональные силы в природе, они и изображаются на снежной равнине живыми, подобными волчьей стае. Иррациональные силы, существующие в мире, столь многочисленны, что не поддаются исследованию до конца. Такие силы, будучи злыми и агрессивными, несут человеку из-за своей неподвластности разуму беды, страдания, а часто и гибель. Эти иррациональные силы отторгают лирического героя от мира как реального, так и инобытийного. Лирический герой пытается противостоять низменности зла, восклицая в ужасе: «Сколько их, куда их гонят?» А они кружатся, духи эти, как листья осенью. И человек у Пушкина задается вопросом о первопричине зла, однако никто не дает ответа.

Неантропоцентрическая картина мира, изображенная мифологической фантастикой, обнаруживает противоречивость познания,

не способную создать общую картину бытия. Противоречия разрешаются на каждом этапе познания, но возникают новые. Диалектика участвует в познании законов бытия, в совокупности борьбы героев со злом. Фантастические герои стихотворения «Бесы» осмысливают законы мироздания, чтобы избежать злых, агрессивных иррациональных сил, стремясь достичь гармонии своего внутреннего космоса с внешним инобытийным миром, освоить хоть в какой-то мере иррациональные силы, чтобы продвинуть их в сторону божественности, в лоно прекрасного, родных им когда-то высших, божественных сфер. Ямщик жалуется ездоку, что не может ехать в пургу, природа восстает против: «Нет дороги, замело; // Коням, барин, тяжело; // Вьюга мне слипает очи; // Все дороги занесло; // Хоть убей, следа не видно». Ямщик поясняет лирическому герою, почему Вселенная не принимает их: слишком много зла в этом мире.

По мнению Р.Н.Поддубной, поэт изображает зло, основываясь на материале фольклора, что создает мифологический тип фантастики. Мы согласны с исследователем, что фантастика стихотворения «Бесы» – мифологическая. Рациональное познание не дает полного объяснения человеческих страданий из-за агрессивности зла. Иррациональные силы вносят дисгармоническую тональность как в окружающий человека мир, так и во внутренний космос героя. Лирический герой слышит жалобные звуки разлада, напоминающие какофонию. Фантастическое мифических существ производит акцентуацию особо важным жизненных процессам в бытии человека, например, на свадьбе и похоронах. Картина полета демонов в инобытии изображается как ответ агрессивных иррациональных сил. Зло кроется не в теологической концепции, оно не носит онтологического характера, зло объективно, существуя в разных формах своего объективного и субъективного проявления. Мифологическая фантастика стихотворения «Бесы» создает впечатление достоверности изображаемых событий. И зло тут интерпретируется как существующее по чьей-то злой воле, независимо от людей.

Принцип «двоемирия» придает художественному произведению Пушкина романтическую окраску. Фантастика как романтизированное средство изображения инобытийного мира подготавливает героев к сознанию и исследованию во многом благодаря предощущениям и предчувствиям. Видения, встающие перед героями, наталкивают на поиск мирозданческих ответов на вопросы о смысле бытия. Герои вступают в диалог друг с другом и благодаря откровениям, превосходящим аналогичные рассуждения, приходят к выводам, что иррациональные силы способствуют поискам истины. Диалог, дополняемый интуицией, видения ямщика, такие же, как и видения лирического героя, создают ощущение зыбкости, шаткости жизни, мирового хаоса, нарождающегося в ямщике ужаса, а в лирическом герое еще и тоски о добре. Пушкинские герои страдают из-за зла, существующего параллельно добру, вызывая желание бороться за добро, не поддаваясь злу. Формы борьбы за гармонию и красоту различны, как и формы проявления зла. Однако, обретая духовность, герои уже не погибают из-за агрессивности иррациональных, метабиологических сил. Если эти силы и воздействуют на внутренний мир героев, доводя их до болезненного состояния, реакция человека на довлеющий характер ирреального мира убеждает их в своей правоте относительно природы добра и зла.

Герои поэта испытываются иррациональными силами как благотворными, так и пагубными. В таком случае литература становится областью предчувствий, догадок, результатом художественных научных открытий в процессе наблюдений над Вселенной, представляя конкретный материал для исследования и изображения. Что же касается сверхсознания с его сновидениями и откровениями – это ирреальное изображается мифологической фантастикой. Мифологемы осознают природную сущность, в частности, демоны изображаются как природное, вселенское зло, мифологически враждебное всему живому на земле. Человек вступает в поединок с демоническим миром, выбирая добро, и бесы не торжествуют победы. Человек остается свободен в своих предпочтениях.

Н.В.ГОГОЛЬ В «ТАИНСТВЕННОМ» «ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОВЕСТЕЙ»

Гоголь сумел создать все формы фантастического, однако уже на уровне достижения в фантастике мистического ощущения. Произведения Гоголя, в которых имеется фантастика, делятся на два типа, которые зависят от того, к какому времени относится действие – к современности или к прошлому. В произведениях о прошлом из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» используется мифологическая фантастика, где высшие иррациональные силы открыто вмешиваются в сюжет. Во всех случаях – это образы, в которых персонифицировано ирреальное, демоническое начало: черт или люди, вступающие в сговор с ним. Фантастические события сообщаются автором-повествователем или отдельным персонажем, являющимся основным повествователем иногда со ссылкой на легенду или на свидетельства предков-очевидцев. Еще одна черта фантастики Гоголя – отсутствие фантастической предыстории. Предыстория, оказывается, не нужна, поскольку действие однородно и во временном отношении, и в отношении самой фантастики. Если Лермонтов делает акцент на изображении ирреального мира, ирреальные силы являются у него демоническими; что ранее было познаваемо с помощью «двуплановой» реалистической фантастики и являлось средством достижения гармоничного состояния героев любой ценой, даже ценой отказа от общественных и религиозных норм, то у Гоголя становится способом интуитивного познания инобытия, ухода от рационального осмысления тайн природы. Так, вера в инобытие возрождается. Общение героев с высшими, «таинственными» существами достигается через экстаз, озарение и откровение, тогда как фантастика Лермонтова отрицает всякое существование сверхъестественного, а выражает бытийные сущности. У Гоголя же яркий пример фантастического – это колдун

из «Страшной мести», адские гномы, населяющие землю с их верховным существом в повести «Вий», черт, который посещает Солоху в «Ночи перед рождеством», ведьма из повести «Майская ночь, или Утопленница» – мачеха девушки-русалки. Портреты носителей демонической силы интерпретируются многозначно. Это и молодые хозяйки, которые, оказывается, обладают сверхъестественной силой, и необыкновенные женщины, высасывающие кровь из своих жертв, вампиры, то есть земные люди, которые тоже персонифицируют злую ирреальную силу. Фантастическое подается у Гоголя с помощью слухов или легенд. Народные предания изображают коллективное сознание народа, что является эпической чертой. Фольклор изображает временное отграничение от действия, но уже не со стороны народа, а с точки зрения индивидуума, человека.

На Западе, в позднем немецком романтизме, наблюдается та же тенденция преобразования фантастики и форм ее проявления. Сами «чистые» романтики говорят о двух видах художников. Одни нагромождают чудеса, не считаясь с принципами правдоподобия, другие дезавуируют фантастические образы, приводят «чудесное» в соприкосновение с внутренним миром героев. По мнению Гофмана, уловить двойственность образов – это, значит, придать пейзажу или характеру поэтические, фантастические черты. Целью фантастики делается задача приобщить фантастическое к настоящей, реальной жизни. Граница между фантастикой и реальностью при изображении в настоящем подвижна, переход из одного состояния в другое протекает незаметно. Говоря о вторжении демонической силы в жизнь, мы замечаем страшный внутренний мир гоголевских героев с их верой в ирреальную силу, тайны и ужасы, придающие «двуплановости», всей романтике произведения, его фантастическим героям мистический колорит. Если фантастическое «чистых» романтиков имеет форму неявной фантастики, то прямое вмешательство фантастических образов в сюжет, повествование и т.д. уступает место цепи совпадений и соответствий с прежде намеченным и существующим в подсознании читателя собственно фантастическим миром. Благодаря

этому скрытые в последнем значении фантастические элементы «обогащаются новыми оттенками и широкой возможностью реальных применений».

Завуалированная фантастика создавалась с помощью разветвленной системы поэтических средств: фантастической предыстории, в форме гипотез и слухов, в виде снов. «Чистые» романтики предполагали существование механизма, аналогичного действию иррациональной силы. Писатели-реалисты насыщают фантастику реалистическим содержанием. Фантастические произведения романтиков, не имея бытового плана, лишаются жизненного правдоподобия. Исследование такого конкретно-бытового плана, воздействующего на внутренний мир фантастических героев, свойственно реалистической фантастике. Возможное у «чистых» романтиков является действительным. Белинский говорит о фантастическом у романтиков, например, у Гофмана, что это поэтическое олицетворение враждебных «таинственных» сил, скрывающихся во внутреннем мире человека. При этом фантастика Гофмана становится реальностью, о чем в свое время говорил Одоевский в «Примечаниях» к «Русским ночам».

Исследователь В.В.Зеньковский выделяет пророческий аспект в духотворном творчестве писателя: остаются загадки, диссонансы и неясности. «Гоголь первый у нас пророк в целостной религиозной культуре, пророк православной культуры <...> Для Гоголя искусство ныне является «незримыми ступенями к христианству» и эта религиозная функция искусства, это религиозное его служение не понижает для него ценности искусства <...> Вера в преображающую силу эстетических переживаний была у Гоголя и раньше, но ныне искусство освещено для него религиозным светом <...> В картине будущего, нарисованной лишь случайными и беглыми штрихами, на Россию возлагались Гоголем особые упования».

Гоголь всегда чувствовал недостаточность реалистического метода при познании и изображении взаимодействия реального и идеального, романтического. И.Ф.Анненский, говоря

об идеализации творчества Гоголя, замечает: «Нас окружают и, вероятно, составляют два мира: мир вещей и мир идей. Эти миры бесконечно далеки один от другого, в творении один только человек являет их высоко – юмористически (в философском смысле) и логически – непримиримым соединением». Анненский развивает мысль о том, что любое произведение Гоголя поражает не только стремлением к наглядности, но и передачей жизни с необыкновенной зоркостью наблюдателя. Правдоподобие вырабатывается у Гоголя постепенно, как и высокий «идеализм» – художественным образом. Таким образом, Анненский склоняется к интерпретациям Мережковского, Розанова и Брюсова, видя в творчестве Гоголя изображение инобытия, хотя Мережковский, Брюсов и Розанов видят в Гоголе символиста, а не реалиста, тогда как Анненский оценивает творчество Гоголя как реалистическое. Заметим, во времена Гоголя существовало определенное представление о соотношении духовных и физических возможностей человека. В европейском идеологическом, культурном и художественном мышлении духовное, интеллектуальное ставилось всегда выше физического.

Обратимся к иерархии духовных и физических ценностей в гоголевской картине мира, внутри структуры художественных произведений. Гоголь признает, что для изображения «двоемрия» в его фантастических произведениях «Нос», «Шинель», «Портрет» понадобились уже романтические изобразительные средства. Для показа воздействия ирреальных сил на внутренний мир героев писатель использует такие романтические средства, как «бесконечная ирония», оппозиция реального и идеального, фантастика как самое эффективное романтическое средство изображения. Эстетическое воззрение Гоголя – романтическое. Романтично восприятие Гоголя, убеждение в божественной идейности истинного искусства, признание его свободной, вдохновенной творческой силы. «Романтично также восприятие мира – в противопоставленности идеального мира художника, реально – миру пошлости».

В фантастической повести «Нос» автор с самого начала ставит загадку перед читателем: «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие».

Персонаж Иван Яковлевич, разрезая хлеб напополам, увидел в середине нос и тут же подумал о невероятности факта: «А совсем по приметам должно быть происшествие необычное: ибо хлеб – дело печеное, а нос совсем не то». Необходимость разъяснения усилена многократным упоминанием тайны. По ходу фантастических событий персонажи невероятной истории ведут себя образно своим характерам, при этом повествователь не забывает о несбыточности происшествия. «Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное; но пропасть, и кому же пропасть? и притом еще на собственной квартире».

Гоголь не комментирует пропажу носа как недоразумение или галлюцинацию персонажа, а создает впечатление ирреальности с помощью восприятия факта другими. Действительно, цирюльник Иван Яковлевич обнаруживает в хлебе у себя этот злосчастный нос. Чиновник газетной экспедиции тоже удивлен крайне. «В самом деле, чрезвычайно странно! – сказал чиновник, – место совершенно гладкое <...> до невероятности». Анненский говорит, что фантастическое не создает иллюзии. Нет у майора Ковалева галлюцинаций, аллегорий или какого-нибудь намека на это.

Образы Гоголя принадлежат реалистической фантастике, изображающей воздействие ирреального мира на героя – коллежского асессора, они связаны с чувствами, мыслями Ковалева. Гоголь выражает одушевленное отношение к пошлости, как к общественному явлению, с которым каждый человек вынужден считаться. Потом писатель подтверждает возвращение носа к Ковалеву аналогичным приемом. Тайна достигает кульминационной точки, но все еще нет ее разрешения. Наконец, и финал, могущий пролить свет на разгадку тайны, тоже никак не объясняет невероятного события. Повествователь соглашается с героями, что ирреальные силы существуют объективно, если они активно вмешиваются в жизнь и судьбу героев. «Вот такая история случилась в северной

столице нашего обширного государства! <...> А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже, ну да где же не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслить, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают».

Хотя рассказчик и сомневается в достоверности происшедших событий, два мира – реальный и ирреальный – все также несоместимы, как две сюжетные плоскости в этой повести. Нос как часть тела существует в одной плоскости, в своем естественном виде. Дается мотивация отделения носа от лица. Персонаж Иван Яковлевич оказывается если не виновником события, то причастным к нему. «Хорошо, черт побери!» – сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В этот момент в дверь выглянул цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала. – Говори вперед: чисты руки? – кричал еще издали ему Ковалев.

– Чисты.

– Врешь!

– Ей богу-с, чисты, сударь».

Вечно грязный – цирюльник Иван Яковлевич заставляет – таки собственный нос покинуть своего хозяина. Однако такой аргумент не имеет реального обоснования, воздействие ирреального мира показано в виде изображения условным романтическим образительным средством – фантастикой. Хотя писатель и намекает на галлюцинации персонажей, но не дает никакого реалистического комментария видениям персонажей, как и в других фантастических произведениях писатель никак не мотивирует их переживания. Гоголь исследует существование идеального, инобытийного мира, закономерности реальности с помощью фантастики, усиливая познание с помощью романтических художественных средств.

В другой плоскости – нос существует сам по себе, у хозяина рангом повыше. «Через две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником, на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шпаге с

плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника». Вина персонажу Ивану Яковлевичу вменяется в том, что нос исчез у него через два дня после бритья.

Ковалев, увидев «важного господина», то есть свой собственный нос в мундире статского советника, не знает, что и подумать о таком невероятном происшествии. Нос, который еще вчера был на лице у него, коллежского асессора, теперь разъезжает в коляске в виде статского советника? Гоголь ищет изобразительные средства для универсального показа подобного рода явлений. Чтобы выставить всю пошлость случая, писатель применяет реалистическую фантастику, допуская рациональное объяснение в реальном плане. Только одна фантастика и способна изобразить усиление пошлости перед натиском инобытийного вмешательства в судьбу отрицательного героя, каким является Ковалев. Остается загадкой вопрос: как нос, став человеком, или живым существом, мог остаться носом и почему Ковалев догадался, что это именно его нос? Очевидно, автор повести «Нос», используя фантастику, изображает определенный тип сверхсознания героя.

Во время эпизода, когда цирюльник бросает нос, завернутый в тряпку, в реку Неву, Гоголь создает игру двумя сюжетными плоскостями. Полицейский, стоявший в начале повести в конце Исаакиевского моста, говорит, что принял нос за господина, затем сквозь очки он-таки разглядел его, как следует. Этот переход из бытового плана в инобытийный остается неразъясненным, но с помощью фантастики все же реальным, зримым. Романтическое противопоставление инобытия конкретному бытию в этом мире реализуется Гоголем через фантастическое, то есть на сей раз без всяких пояснений.

Следуя мысли Ю.В.Манна, приходим к выводу, что гоголевская поэтика «тайны», фантастического заставляет нас обратиться к романтическим традициям. Ярким примером тому могут служить произведения «Необычные приключения Петера Шлемеля», «Шамиссо», «Приключения накануне Нового года», «Выбор невесты» Гофмана, в которых говорится о странной потере человеком своей части тела, а также о том, что при этом возникают

мотивы двойничества, замещения персонажа двойником. Результат таких метаморфоз рассматривается как следствие вмешательства ирреального мира. У романтиков в таких случаях существуют носители ирреальных сил, у Гоголя же вопрос снят полностью, хотя И.Ф.Аненский считает виновником происшествия самого Ковалева, который позволил прикасаться цирюльнику к его, ковалевскому, носу грязными руками. Сказано парадоксально, но, судя реалистически, верно. Таким образом, прямого виновника пропажи носа нет. Ю.В.Манн замечает, что это, действительно, так. Но ведь и сам герой как воплощение пошлости виноват в таком происшедшем с ним чрезвычайном событии. Гоголь снимает носителя фантастики, преобразуя тайну переводом в другую плоскость. Фантастическое, накапливаемое в повести, постепенно идентифицируется с инобытием, его иррациональной, сверхъестественной силой.

Такое же реальное прочтение возможно и для повести «Шинель» Гоголя. Ю.В.Манн полагает, что эпилог в повести «Шинель» фантастичен. Фантастика произведения констатирует факт параллелизма миров – реального и ирреального. Во-первых, для передачи событий используются слухи, которые носятся по городу, трезвоня о несчастье, происшедшем с героем Акакием Акакиевичем. Во-вторых, повествователь сообщает об этом якобы реальном факте, однако при этом не дает никакой определенности. Автор использует реалистическую мотивировку и условное изображение как факт вмешательства ирреальных сил в судьбу героя. «По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели на кошках, на бобрах, на вате енотовые, лисьи, медвежьи шубы – словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали для прикрытия собственной».

«Вдруг он почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было

бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могильно, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя, того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей да еще и распек, – отдавай же теперь свою». Однако идентификация такого таинственного лица, как Акакий Акакиевич, повествователем далее нигде не проводится. Только место в повести о нападении «мертвеца» переработано на значительное лицо. Так, не видно в повести прямой идентификации таинственного персонажа с Акакием Акакиевичем, происходит лишь узнавание его другим персонажем, но узнавание это без колебаний, определенное, имеет законченный результат: да, это бывший мелкий чиновник Акакий Акакиевич, значительное лицо узнает Акакия Акакиевича в состоянии аффекта, ужаса.

Следует заметить, что дурные предчувствия у героев гоголевской фантастики сбываются, ибо они уже полностью поглощены агрессивными силами. Далее возникает фантастическая ситуация, выражающая романтическое восприятие героем инобытийного с помощью фантастики. Значительное лицо не слышит реплики «мертвеца», однако видит его, хотя глагол, выражающий акт слушания, и опущен. Реплика озвучена внутренним, потрясенным чувством другого персонажа. Реплика, можно сказать, немая. Мифологическая мотивировка «встречи» проведена исподволь, незаметно. Читатель узнает о добрых намерениях значительного лица, ему доступны движения сердца, несмотря на то, что высокий чин не дает им в себе обнаружиться. «Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получив генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с равными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон».

Повествователь говорит о впечатлении, какое произвела на генерала смерть его подчиненного Акакия Акакиевича. «Прежде всего ради справедливости требуется сказать, что одно значительное лицо скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича, почувствовало что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо <...> Как только вышел из кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче». Упоминание о вине не забыто. Благодаря этой детали фантастика придвинута к границе реального. Такая мотивированность характерна для реалистической фантастики, видение же персонажа свойственно романтическому способу изображения. Вот как описывается в повести смерть мелкого лица: «Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество <...> За ужином выпил он стакана два шампанского – средство, как известно, недурно действует в рассуждении веселости». Так что видение вышло из предчувствий персонажа благодаря воздействию на его реальный внутренний мир другого – идеального, ирреального мира.

Слухи, всевозможные сплетни в повести «Шинель» изображены, как и в повести «Нос»: никто отдельно не виновен в сплетне, среда виновата. И.Ф. Анненский замечает, что Гоголь не мог выбрать для этого более лучшего изображения, чем фантастического. Сплетня – субстракт фантастики. Форма фантастической повести «Нос» – бытовая. А вот в повести «Шинель» это тень, оказывается, самого Акакия Акакиевича снимает с героя его шинель. Гоголь дает такой фантастический финал на фоне слухов, которые возникают по поводу рассказа о несчастном чиновнике и его плачевной судьбе.

Анненский как критик считает, что фантастическая форма была смягчена рассказом о случае. Слух создает в повести вроде бы непринужденную атмосферу, но чувство мистического страха развивается с самого начала произведения. Обида за человека, угнетенного несправедливостью служебных отношений, вызывает в нас их отрицание. По ходу события развивается двойная

градация того, как глос в герою жизненный интерес и как его прозябание оживлялось под влиянием идеала – сшитой шинели. Зло, по мнению И.Ф.Анненского, в данном случае, могло быть обличено только с помощью фантастики. «Гоголь великолепно выбрал фантастическую форму для момента, когда пошлость на мгновение прозрела. Синтетическая форма творчества натолкнула Гоголя и здесь на фантастическое».

После опубликования своих фантастических произведений Гоголь переделывает повесть «Портрет» с романтической атмосферой инобытия, делая фантастику тут более завуалированной. В повести уже нет загадочного появления портрета в комнате художника Чарткова, он забирает его с собой. Старик не обращается к нему с речью – увещанием в сновидении, он только считает деньги. И таких изменений немало. Усилен реально-психологический план эволюции Чарткова, еще до обнаружения губительного действия портрета художнику вводится предупреждение профессора: «Смотри, брат, <...> у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится – ты им занят, а прочее у тебя, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтобы из тебя не вышел модный живописец». Дается объяснение быстрой славе художника: визит к журналисту, статья в газете. «На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателью ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшем его тот же час «почтеннейшим», пожавшем ему обе руки, расспросившем подробно об имени, отечестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: «О необыкновенных талантах Чарткова».

Наконец, Гоголь изображает дьявола в образе ростовщика на картине как носителя ирреальной силы. «Художник вдруг задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные

глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать». Наряду с реалистическим объяснением талантливого изображения старика на портрете, такое изображение происходит наяву и до того живо, что разрушает гармонию рисунка, как будто это копия с оригинала. Такова реальность изображения детали.

Гоголь усиливает реалистический план с помощью фантастики, воссоздающей атмосферу ирреального мира.

Как реалист Гоголь мотивирует видение сном героя, в котором герой видит портрет и деньги, нужные ему для жизни. Найденные деньги находятся в тайнике, что объясняет их существование рационально. «Полный отчаянья, стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул – и проснулся». И герой задается риторическим вопросом: было ли это просто сновидением или явью? Однако пророческий смысл сна говорит, скорее, об ирреальном, которое существует объективно и оказывает агрессивное воздействие на героя повести.

«“Неужели это был сон?”» – сказал он, взявши себя обеими руками за голову; но страшная живость явления не была похожа на сон». Художник получил изображение, как только ростовщик ушел в рамки, герой заметил также, что он не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом». Изображенный старик ожил и продвинулся к нему, как будто хотел высосать из него кровь. Фантастика снов показывает внутренний мир героя в момент переживания воздействия на него инобытийного мира. «Неужели и это был сон?» Да, он лежит на постели в точно таком же положении, как и заснул. Перед ним ширмы, свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею, – так, как он сам закрыл его».

Реалистическая фантастика усиливается с помощью использования изображения иррациональных сил. «Так, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует донныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносима. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскры-

ваться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить».

Неопределенность появления ростовщика, его чудесных поступков изображается во второй части видения. «Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить кого угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи <...> Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей, но какими-то арифметическими страстными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих – это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распушенные слухи – осталось неизвестно».

Мотивация происходящего существует, когда художник обнаруживает тысячу червоных после ночного видения. Далее образ самого ростовщика, изображенного на портрете, ассоциируется с немотивируемыми, иррациональными силами в рассказе о Коломне. «В одном образе было столько необыкновенного, что заставляло бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Недаром один из персонажей разгадал в нем дьявола». Гоголь, если и называет прямо дьявола своим именем, ущемляя его права, как полагает Ю.В.Манн, то и не устраняет его как персонифицированного носителя фантастического. Все эти примеры свидетельствуют о возможности наличия у Гоголя параллелизма миров – реального и ирреального. Фантастика служит познанию бытия, усиливая и изображая воздействие инобытия на героев повести с их романтическими представлениями.

Вот что пишет по этому поводу Г.А.Гуковский: «Фантастика гоголевских повестей в Петербурге, лишенная субъективизма,

предназначенная раскрыть смысл и характер объективнейшей социальной действительности, окружающей автора, не имеющая ни малейшего отношения к порываниям мечтательного духа поэта в «ту сторону», и, наоборот, направленная на углубление в «эту сторону», – не имеет отношения и к романтической фантастике в целом <...>

Для романтиков фантастическое (мечта!) предстает как благо, для Гоголя – как зло, как суть зла <...> Разумеется, не все петербургские повести Гоголя в данном отношении, как и в других, совершенно одинаковы; так, например, очевидно (я уже упоминал об этом), что «Портрет» стоит ближе к романтической традиции, «Нос» или «Шинель» – дальше от нее.

Говоря об этом, исследователь выделяет мысль о том, что в гоголевских петербургских повестях, как и во всей трактовке творчества Гоголя, ни о каком стремлении изобразить высшую реальность, парящую над обыкновенной действительностью, в применении к этим повестям не может быть и речи. Наоборот, писатель не покидает «видимого им мира вполне земной и весьма обыкновенной реальности». Он выражает ее портрет «в портрете суммарного, более того – интегрального единства города, как социального бытия множества людей, он хочет изобразить не просто ряд признаков жизни этого города, ряд картин бытия ряда отдельных людей, а изобразить единую суть. Многоликого, противоречивого, разрозненного существования и города и людей, его составляющих; и эта суть есть суть современного ему общественного уклада вообще». И уже другой исследователь В.В.Зеньковский делает вывод, что «фантастика безумия» возникает у Гоголя из темы Петербурга 1830-х годов, понятой им в свете проблем исторической действительности. Отсюда у Гоголя тема денег, жадности богатства, отчаяния бедности в «Портрете» и «Шинеле», тема обмана, лжи, нравственной гибели, рядящейся в одежды высокого.

Самая невероятная, фантастическая из всего гоголевского цикла, повесть «Шинель» построена на абсурде. Исследователь

Реальное и невероятное считает произведение не просто шуткой, а резкой сатирой основ бытия и самосознания. В унисон с исследователем звучит мысль И.В. Карташовой о том, что Гоголь в повести «Шинель» доводит до предела, до какой-то высочайшей щемящей ноты тему одиночества, изоляции и беззащитности человека. До полнейшего предела доходит и униженность, «формальность», «механичность» героя.

Сказанное И.Ф. Анненским о романе «Мертвые души» можно отнести и к фантастическим повестям Гоголя «Нос», «Портрет», «Шинель». В этих произведениях заключена невероятная идеалистическая энергия. «То, что мы называем «реализмом Гоголя», есть нечто высшее: это не столько точность, сколько красота изображений, их высшая разумность и целесообразность; это та исключительная сила художественного внушения, которая заставляет нас сосредотачивать вокруг проходящей мимо нас сцены множество фактов».

Отрицательная болезненная сила воздействия инобытия в фантастических произведениях Гоголя уравновешивается красотой. В этом смысле красота является противовесом силам муки самоограничения и жертвы. Жизнь, являясь предлогом поэтической фантазии и делаая ее содержательной, и серьезной, и глубокой, живой, заботится о душевном равновесии, когда человек воспринимает фантастику. «Отрицательная, болезненная сила муки уравновешивается в поэзии силою красоты, в которой заключена возможность счастья».

Демонические мотивы присущи позднему периоду творчества Гоголя. Как реалист Гоголь изображает внутренний мир простых людей, обусловленный их переживаниями и действиями, детерминированными обстоятельствами. Гоголевские герои наделены человеческим началом. Так, Акакий Акакиевич относится к своему скромному труду бескорыстно, даже восторженно, артистически. Униженный обществом, он строит воображаемый мир, что и дает ему возможность не терять человеческого достоинства. Герой наделен положительными нравственными качествами;

с потерей шинели у Акакия Акакиевича нарушается гармония бытия. Это лишает героя его идеала, хаос поселяется в душе из-за подавления человеческого начала агрессивными иррациональными силами. Утрата шинели, переживаемая как катастрофа, приводит героя к конфликту с окружающей средой.

Другой пример разграничения добра и зла через красоту мы находим в гоголевской повести «Нос». Обычное существование героя Ковалева показано уже не как гармоничная жизнь, а как пошлое существование мелкого чиновника – коллежского асессора. Мотив двойничества, пропажи носа является романтическим средством художественного анализа, представляется возможностью с помощью этого факта раскрыть дисгармонию жизни. Конечно, Гоголь допускает ряд ироничных замечаний по поводу нравов петербургского общества в духе романтической литературы того времени, изображающей все «таинственное», невероятное связанным с ирреальным, инобытийным. Сатирическая направленность фантастики помогает писателю победить агрессивность злых сил. Амбивалентный смех реалистического произведения преодолевает разлад, хаотическое состояние в душе героя, создаваемое инобытием. Смех способствует усилению ощущения красоты, устранению безобразного. Тем самым Гоголь борется с уродством бытия, используя сатирическую фантастику в борьбе за красоту внутри и вне человека.

Безобразное, ставшее красотой, превращается под определенным углом зрения в объект эстетического наслаждения. То, что раньше в литературе у «чистых» романтиков считалось средством изображения болезненных явлений, в частности, психики героев, через фантастику реалистов становится средством изучения и показа вторжения инобытийных сил в жизнь и судьбы. Фантастическое изображение красоты бытия предполагает и нравственный смысл, и эстетический аспект. Осуждая и высмеивая безобразное, Гоголь возвышает нравственные ценности, утверждает идеалы. Как художник, раздвигающий возможности реалистической фантастики, писатель добивается преодоления демоническо-

го характера красоты путем ее реалистического осмысления и преобразования через мотивированность героев. Внешнее бытие переходит во внутренний мир, способствуя преодолению страдания и страха, удерживая идеалы, которые могут быть поколеблены иррациональными силами.

В свое время И.Г. Гердер выдвинул идею взаимного перехода возвышенного в моральный аспект. Само это, изменяясь соответственно с человечеством, наполняется все более нравственным содержанием. Гоголь также приходит к кардинальной для него идее безграничности значения самой природы красоты. Писатель убежден, что человек способен увидеть диссонанс между эстетическим совершенством облика героев и несовершенством их этической сущности. Распознавание прекрасного и безобразного происходит с помощью рациональных, реалистических изобразительных средств, а может осуществляться и с помощью фантастики снов, мифологической фантастики.

Согласно Шеллингу, мифология создается совокупным человечеством на определенном этапе его развития. Поэтому в мифах разных народов обнаруживаются общие мотивы. Мифология возникает как индивидуальное сознание народа, когда оно выделяется из всеобщего сознания человечества. Основной принцип его – тождество бытия и мышления – помогает понять природу мифологии. В мифе сливается воедино реальное и идеальное, причем реальное преобладает. Согласно А.Ф. Лосеву, «миф не есть бытие идеальное, но – жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность». Миф – это образ, воспринимаемый как реальность и как состояние духа, реалии, имеющие поведенческий характер. В человеческом поступке сливаются воедино идеальное и реальное, осуществляется их взаимопереход, когда миф становится образом действия. В литературе же миф – это образ знания. Мифологическая фантастика Гоголя передает смысл мифологическими средствами, учитывая еще одну особенность: миф не знает различия между естественным и сверхъестественным, реальным и ирреальным. Принцип «двоемирия», осуществ-

вляемый фантастикой, иррациональными силами, применяется Гоголем как аномалия гармоничного мира к проявлению безобразного.

Мистический страх перед инобытием парализует гоголевских героев. Соответственно и красота изображается писателем с помощью реалистического метода как ирреальная сила, обогащенная демонической тенденцией, в том числе и фантастикой. Совершив эволюцию от романтического понимания и изображения красоты к пониманию того, что красота может становиться фактором зла, Гоголь – реалист не порывает с романтической традицией ее изображения. Многосторонность творчества писателя заключается в реалистическом изображении естественного и разумного, в диалектике действий его героев и романтическом изображении агрессивных иррациональных сил, вторгающихся в их жизнь и судьбы, в показе таких сил путем применения фантастического, что, в конце концов, и обуславливает в пределах «двупланового», фантастического произведения переход в первом, конкретно-бытовом плане от веселого и беззаботного смеха к грусти.

Однако фантастические образы у Гоголя мотивированы психологически, смехом только отчасти, и в этом заключен определенный смысл фантастических произведений писателя. Гоголь нигде не превышает чувства меры. Целесообразность его реальных картин придает красоту художественным произведениям, фантастическое же изображение инобытия способствует постановке проблем, в том числе и утверждению высшей демонической силы в мировосприятии писателя.

Реалистический метод изображения осложняется романтическими элементами, которые сохраняются в творчестве Гоголя до конца его дней. Мы согласны с Ю.В.Манном в том, что Гоголь двигался по направлению от романтического к реализму. Но и романтические традиции дополняли реалистическую манеру писателя в изображении героев, находящихся под воздействием инобытийного. Мифологическая фантастика Гоголя может отображать параллелизм миров только с помощью фантас-

тических образов, подобно тому как невозможно передать смысл мифологии без мифолога, не мифологическими средствами. Метаболичность ирреального мира у Гоголя глубоко мотивирована. Писатель изображает внутренний мир героев «таинственно» и в то же время реалистично как среду обитания человека и общества. Детерминированность событий и мотивация поступков напоминают, что перед нами писатель-реалист. Странные происшествия, часто необъяснимые в романтических произведениях, получают у Гоголя мотивацию, рациональное объяснение то галлюцинациями, то сновидением. Однако, например, тот же сумеречно-ночной фон действия и многократное упоминание о существовании тайны инобытия в размышлениях героя из повести «Портрет» возвращают нас к пониманию романтического способа воспроизведения тут агрессивных иррациональных сил ирреального мира.

К середине 30-х годов XIX века Гоголь осознает демоническое уже не как зло вообще, а как дисгармонию природы, идущую от абсурда к бытию. Однако, в отличие от «чистых» романтиков, Гоголь считает демонической не земную жизнь или земное существование, его языческое, чувственное начало, а разрушение естественного хода жизни. Такое противостояние иррациональных сил и естественного, конкретно-чувственного опыта мог понять, оценить и отобразить только писатель, исповедующий реалистический метод, усиленный и обновленный романтическими элементами. Фантастика как прогрессивное изобразительное средство была усовершенствована Гоголем в целях исследования и изображения явлений, новых для науки и искусства того времени.

«ДВОЕМИРИЕ» В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.С.ТУРГЕНЕВА И П.МЕРИМЕ

Взаимовлияние Тургенева и Мериме во многом объясняется принадлежностью к одному художественному направлению – реализму, значительно обогащенному романтической стихией, свойственной творческому методу обоих писателей. Особую необходимость такого обогащения писатели чувствуют при изображении эмоционального мира своих героев и реализуют это с помощью фактастики как сильного романтического образительного средства. Писатели-реалисты познают и изображают инобытийный мир, иррациональные силы, применяя фантастику, поскольку традиционные реалистические средства оказываются бессильными перед Неведомым. Внимание парадоксальным, «смутным» явлениям в природе придает фантастике Тургенева и Мериме «студийный», экспериментальный характер. Писатели исследуют воздействие ирреальных сил на психику человека через его «смутное», даже болезненное.

Л.В.Пумпянский объясняет фантастику Тургенева интересом к «европейским суевериям», когда «вера в таинственные явления вступает в противоестественный союз с <...> позитивизмом, <...> когда явление, с одной стороны, признается сверхъестественным, а с другой – признается не только его наличие, но и доступность опытному познанию и даже экспериментированию. Таинственное перестает быть фантастикой, становится оккультной эмпирией и уж как таковая входит в литературу». Г.А. Бялый придерживается такой же точки зрения: «Тургенев всегда говорил о том, что он совершенно равнодушен к мистицизму теоретическому, но в своих «таинственных повестях» отдал дань мистицизму эмпирическому».

Вряд ли можно согласиться с определением характера фантастики Тургенева как позиции вульгарного естественно-научного позитивизма и страха перед «агрессивностью метаболического мира» (Пумпянский). «Касаясь вопросов «таинственного» в жизни писатель хотел быть трезвым эмпириком и стремился опираться на данные точных наук» (Муратов). Получается противоречивое сочетание: Тургенев как эмпирик допускал опытное познание сверхъестественного и тем как писатель-реалист утверждал романтически Неведомое, которое не познаваемо. Л.Н.Осьмакова считает: «Таинственное у Тургенева имело качество психического феномена, подлежащего художественному анализу и воплощению. Оно было объектом исследования, и писатель постоянно подчеркивал внутреннюю связь таинственного и психического, соответствующим образом выстраивая повествование и организуя систему изобразительных средств». Роковое происшествие сводится к тому, что герои вступают как бы в общение с потусторонними силами. Социальные реалии усиливают иллюзию достоверности «таинственных» событий. По мнению ученого, что происходит в жизни, то и видится героям Тургенева, ощущающим реальность «таинственного» как раз в силу своего душевного склада и психического состояния. Они люди ничтожной жизни, равнодушные к общественным нуждам, лишённые темперамента, что якобы характерно для тургеневских фантастических героев.

Однако «таинственные повести» Тургенева и фантастические новеллы Мериме отличаются друг от друга не только творческой манерой, но и особенностями «странных» историй, фантастического в них, художественному выражению которых и посвящают свое творчество писатели. Эволюция фантастического в «странных» явлениях подводит к мысли, что эти «исключительные явления» из психики, быта героев «таинственных повестей» однозначно, реальными средствами истолковать невозможно. Вера в «чудо» – реакция человеческого духа, самых художников на «законсервированность», механичность жизни, стремление с помощью романтического пафоса творить новый мир. И это не

менее значимо, чем сама бытовая реальность в привычном ее измерении. Ощущая недостаточность реалистического метода, Тургенев и Мериме расширяют изобразительные возможности применением фантастики как одного из самых романтических средств, моделирующих материальный мир в сочетании с идеальным, изменяя баланс в соотношении реалистического и романтического в пользу романтического.

Предметом внимания Тургенева и Мериме становится ирреальное, при этом оно всегда остается непостижимым, благоприятным материалом для фантастики. По словам Г.Б.Курляндской, «двоемирие» реалистов и «двоемирие» «чистых» романтиков различны по характеру изображения. Попытаемся разграничить их по своей природе, составу, функциональности. «Двоемирие» у Тургенева состоит из идеального, метафизического, божественного мира, заданного извне, и мира конкретно-чувственного, реально-эмоционального как вовне, так и в самом человеке, а у Мериме – только в самом человеке. Иными словами, реалистическое «двоемирие» выражается в двух состояниях – идеально-метафизическом во Вселенной и конкретно-чувственном в человеке. Итак, «двоемирие» у Тургенева существует объективно как внутри нас, так и во вне. А у Мериме – оно существует только во внутреннем мире человека. Фантастические произведения у реалистов – это «двуплановые» произведения. Первый, бытовой план, отражая реальность, участвует в исследовании действительности косвенным образом, своим присутствием стимулируя и усиливая второй, духовный план в его познании инобытийного мира, ирреальных вселенских сил. Такова первая функция реально-бытового плана. Вторая функции его состоит в том, что через посредство второго, духовного плана, наличие всей системы «двуплановости» он придает «двоемирию» особый, реалистический статус. «Двоемирие» романтиков, не имея первого, реально-бытового плана, вообще не имеет «двуплановости», а с тем не имеет и познавательной функции, остается лишь изобразительная тенденция. Следовательно, функция познания у реалистов аккумулируется в первом, конкретно-бытовом плане, который, активизируясь,

Реальное и невероятное придает «двуплановости», а через нее всему реалистическому «двоемирию» исследовательский характер.

Именно земное конкретно и стимулирует второй, духовный план в его проникновении в метафизический космос, провоцируя сближение с ирреальными силами. Так, земное, реальное – бытовое, усиливая второй, духовный план в познании Вселенной, небесных, космических сил подвигает человека в его стремлении снова вернуться на небо, в «райские кущи», где он якобы был некогда и, согласно древнейшим мифам и религиозным легендам, за грехи был сброшен оттуда на землю, где душа, отделившись от тела, и создала прецедент смерти, существование человека в этом мире и якобы души его в мире потустороннем. Так вот, функция реально-бытового плана и включает в себе отдаленный, божественно-внутренний смысл: стремление человека не только вернуться на небо, но и снова воссоединить душу с телом, создать из себя единую одухотворенную систему, опять войти туда, где был человек, снова стать частицей вселенского, духовно-обожествленного мира.

Вот какова панорама, полная глубочайшего внутреннего смысла, открывается первым, конкретно-бытовым планом, а с ним при всей «двуплановой» атрибутике реалистов каков фантастический, богоборческий замысел, заложенный в познании, стоит за реалистическим «двоемирием». Змея, обвивающая чашу, представляет эмблему не только медицины, но и вообще «тайных» человеческих знаний с древнейших времен, конечным итогом которых и является это стремление человека вернуться на небо, материализовав душу и одухотворив тело, обрести себя в едином и бесконечном – в бессмертии души.

Мотив глубоко укорененной, вселенски космической тайны характерен для обоих художников – Тургенева и Мериме. Об этом пишет исследователь И.В.Карташова, говоря «об их сходных воззрениях на искусство», находя у них «отдельные близкие мотивы в их произведениях». В частности, она отмечает удивительное сходство сюжетно-фабульных и образных мотивов в некоторых их повестях и новеллах, когда «мотив тайны и совпа-

дений, пронизывающий оба произведения, разрешается лишь в самом конце, придавая таким образом их сюжету драматическую остроту и напряженность».

Романтическое «двоемирие», при отсутствии «двуплановости», телесно помещает самих писателей-романтиков в реальном мире, а их идеи, творчество, героев – в мире инобытийном, управляя ими посредством космических, ирреальных сил. Романтическая борьба с земным опосредована, реального плана нет, земное только подразумевается. Однако, не будь его даже в помыслах, все у романтиков замерло бы, стояло на месте, а так у романтиков все находится в движении, в диалектике, а диалектика есть борьба противоположностей, источник движения. Значит, противоположное инобытийному есть земное, в помыслах у романтиков все-таки это осознается хотя бы на уровне интуиции.

Фантастическое у писателей-реалистов связано с романтическим типом творчества, а тип творчества зависит еще и от психологического склада личности, от эпохи. На перемене времен в литературе учитывается творческое, личностное, романтическое начало. И Тургенев обращается к духовным ценностям, созданным романтиками. Однако, хотя тип его творчества и романтический, художественный метод писателя остается реалистическим.

«Двоемирие» в фантастических произведениях Тургенева помогает полнее раскрывать сущность человека, так как конкретные обстоятельства не дают возможности проникнуть во внутренний космос человека. Поскольку объективная действительность – внешнее проявление жизни Вселенной – не доступна познанию до конца, герои фантастических произведений Тургенева чувствуют себя существами трагическими, обреченными на непознаваемость иррациональных сил, отвечающих на их познание агрессией.

В «двоемирии» у Мериме действительность расширяется до космических масштабов, объясняя все в человеке неуправляемостью инстинктов, из-за их неосознаваемости. Реаль-

но-бытовой план служит фоном, позволяющем неоднозначно интерпретировать неведомые, иррациональные силы, необъяснимые явления. «Двоемирие» Тургенева допускает многозначное толкование «таинственного», за признанием неведомых сил стоит рациональное объяснение загадочных явлений. В одних фантастических произведениях отсутствие повествователя, как у Тургенева, означает некую недоговоренность, в других, как у Мериме, – стремление выразить себя более отчетливо. А именно, стоя на реалистических позициях, глубинно проникать в жизнь, используя в качестве романтического средства фантастику, и в то же время отрицать всякую мистику. Иными словами, наличие повествователя дает возможность в реалистическом методе с его романтической устремленностью в будущее полнее проявиться фантастике. «Автор оказывается вездесущим. Его мысли входят в пейзажи, внутреннюю форму жизни».

Ирреальный мир в фантастических произведениях Тургенева, являясь своего рода повторением отдельных моментов реального мира, выступает в качестве стимулятора, в одно и то же время отрицающего реальность и утверждающего ее на новом витке повторения. Г.Б.Курляндская считает, что проблему идеала и действительности Тургенев решал всегда с реалистических позиций, используя идейно-художественные достижения романтического искусства в изображении идейно-эмоционального, реального мира героев в своих фантастических произведениях. Связь Тургенева с романтическим искусством сказалась не только в идеализации «высоких» душевных порывов нравственных идеалистов, но и в несомненном интересе к мятежным стихиям страсти, которые представлялись ему «роковыми» и «темными». «Таинственное» в фантастических произведениях, по мнению Курляндской, выступает фантастикой. Сущность и сфера «чудесного» побуждает Тургенева к рациональному осмыслению этой сферы.

Писатель ощущает зависимость внешнего и внутреннего мира человека от недобрых, роковых сил, неподвластных человеческому разуму, что можно изобразить только фантастикой. Обращаясь

к непознанному в своих фантастических произведениях, Тургенев и Мериме выражают воздействие иррациональных, инобытийных сил на психику человека, оказавшегося на пороге неизвестного. Типологическая близость «таинственных повестей» Тургенева фантастическим новеллам Мериме демонстрирует переключение художественного внимания писателей с мира внешнего на мир внутренний, в проникновение и описание психологической обстановки в самом человеке.

Авторские комментарии обнаруживаются при переходе от обыденных, бытовых вопросов к вопросам глобальным, духовно-вселенским. «Двоемирие» писателей-реалистов, способствуя изображению бессилия личности перед наследственно присущими ей качествами характера и психики, возможностью подавить их в себе или в другом усилиями воли, выявляет, в конце концов, инобытийное. Фантастика у Мериме и у Тургенева возникает в результате наблюдения за ирреальным миром и не всегда объяснима реалистически как в тургеневских произведениях, так и в новеллах французского писателя.

Именно непознанное, необходимость определить место человека во вселенской космической жизни и вызывают у писателей большое романтическое чувство и его воплощение в форме фантастики. Писатели избирают те состояния человека, когда он находится между бодрствованием и сном, когда границы яви сливаются со сновидческими границами, что позволяет говорить о странных соотношениях в «двоемирии» реального и ирреального. Бытовой план дает писателям-реалистам возможность исследовать объективные закономерности действительности в их произведениях «Призраки» и «Сон» (Тургенев), «Локис» (Мериме), где второй, духовный план подчеркивает мысль о сопричастности человека с природой и его подчинении законам неведомых сил.

На Международной Тургеневской конференции, посвященной 180-летию писателя, исследователь А.Н.Иезуитов называет тенденцию обогащения реализма романтическими элементами, в том числе и таким эффективным средством, как фантастика,

«философией взаимодействия», когда естественное и сверхъестественное в самом человеке необъяснимы, с точки зрения материалистической философии, и могут быть объяснены только через взаимодействие материального и духовного. Субъективное начало одухотворяет материальное и одновременно испытывает его воздействие, являясь отображением взаимовлияния духовного и материального в самом человеке. По мнению Иезуитова, в своих фантастических произведениях Тургенев изображает новых героев нового времени, именно со стороны такого взаимопроникновения материального и духовного. В этом случае исследователь выступает как реалист, не берущий в расчет существование Неведомого.

На той же Международной Тургеневской конференции исследователь Л.Д.Бугаева в своем докладе «Модальная перспектива поздних повестей Тургенева» говорит: «Когда мир произведения сигнализирует о двойственности или неоднозначности своего референциального статуса – реальность и (или) ирреальность – и как следствие двойственности и неоднозначности существования в воображаемом мире произведения становится необходимым подход, отличный от подхода, принятого по отношению к текстам, основанным исключительно на реалистических или на фантастических мотивировках. Психологический процесс, пробуждая некий иной тип понимания приводит к тому, что динамика вещей наделяет объекты «одушевленностью» и «неодушевленностью» и начинает полную внутреннюю форму жизни».

«Романтические тенденции в реализме Тургенева во многом определяются той особенностью его творческого сочетания социально-исторического, морально-этического плана повествования с планом вселенским» (Курляндская). Исследователи направляют научную мысль на то, что Тургенев сопрягает конкретно-историческое содержание с универсальным, метафизическим. И Тургенева, и Мериме объединяют устремления к вселенским и общечеловеческим категориям, желание уловить отблески высшей реальности в динамичной действительности. Реалисты хотят найти опору человеку, какие-то абсолютные законы в драма-

тических внутренних конфликтах. Однако, по словам Курляндской, русские писатели не сводят «тайну» человеческой личности к физиологии; в отличие от французских реалистов, Тургенев трактует социальность как трансцендентное начало.

Подобно романтикам, русский писатель выходит за пределы конкретно-чувственного познания, опираясь на свой внутренний духовный опыт. А.И.Батюто отмечает такую особенность реалистического «двоемирия» Тургенева: «Эта скоротечная <...> истина неизбежно грешила бы известным эмпирическим, не обладай Тургенев, даже при его огромном изобразительном таланте и человеколюбию, глубоко философским мышлением, неизменно включавшем как будто обычные социальные и психологические явления своей эпохи в вечный поток мировой жизни». Г.А.Бялый пишет об этом следующее: «С точки зрения Тургенева человек живет не только в сфере общественных отношений; он находится также под властью внеисторических, вечных стихий универсальной жизни». В.М. Маркович ставит перед собой в исследовании творчества Тургенева задачу «изучения соотношения и связи универсально-философского начала с другими элементами реалистического изображения действительности».

Злободневные события, социально отточенные характеры и конфликты в фантастических произведениях Тургенева поставлены перед миром вечности. И Тургенев, и Мериме рассматривают вопросы человеческого бытия сквозь временное и конечное, укрупняя характеры героев и выводя проблематику произведений за пределы времени. «Двоемирие» у Тургенева проявляется в двух формах: во-первых, в активно романтическом возвышении над суетным и преходящим, в экстатическом слиянии с гармонически прекрасным как сущностью вселенской жизни, когда герой фантастических произведений приобщается к инобытийному. Соотнесенность человека и иррациональных сил как мирового целого проявляет себя настроениями мировой скорби, когда человек, сознающий в себе непреходящую духовность, противостоит слепорожденной природе, лишенной личностного начала. Однако Тургенев преодолевает философский пессимизм благо-

даря ощущению нравственного смысла жизни. Тема человеческого трагизма сменяется темой вселенской природной жизни как гармонии, исходящей из «разъединения» и «раздробления». Романтическое ощущение жизни как чуда и бессмертной гармонии сопровождается признанием всемогущего Неведомого.

У Мериме высшая форма гармонии заключена в красоте, носящей демонический характер. Впоследствии демоническое у Мериме приобретает готические очертания. По мнению французских исследователей, Мериме показывает патологические случаи в области физиологии, в частности, очевидную бесчувственность одного человека, ненавидящего другого как свою жертву. Отсутствие виновности изображается как показная набожность. Такой тип героя, чувствующий неслыханную вину и осознающий себя абсолютно невиновным, создает в фантастике Мериме шедевр побеждающей невинности. Критические и гуманистические тенденции в его фантастических новеллах воплощаются в этической тематике. Мериме отображает нивелировку личности, условий, воспитывающих мелкие интересы, насаждающих лицемерие и эгоизм. Общество враждебно формированию людей цельных и сильных, способных на бескорыстные чувства. Мериме проникает во внутренний мир человека, показывая обусловленность его характера внешней средой. Общество доводит человека до патологического состояния, Мериме глубоко исследует это в своих «двуплановых» произведениях, используя художественные достижения готики, «черного» романа.

И Тургенев, и Мериме романтически заостренно вскрывают пороки общества, враждебного проявлению настоящего чувства. Однако в способах воспроизведения жизни и архитектонике произведений оба писателя остаются реалистами. Они не упраздняют ни главного героя, ни его характерологии, детерминированности внешними обстоятельствами. И все-таки фантастические произведения Тургенева и Мериме существенно отличаются от их же реалистических произведений. Прежде всего, такие произведения характеризуются «двуплановостью», состоящей из первого, реально-бытового плана и второго, ду-ховного плана.

В сопоставлении с «двоемирием» «чистых» романтиков такое «двоемирие» называют реалистическим, оно сложно, бывает конкретно-чувственное (в самом человеке) и идеально-метафизическое (в инобытийных сферах, во Вселенной).

Сохраняя признаки героя как факт обусловленности такими внешними обстоятельствами, Тургенев существенно меняет угол зрения, точку изображения. Если раньше писатель ориентировал, прежде всего, на восприятие общественно-социального лица своего героя и соответственно ставил акценты на социальных параметрах образа, то в «таинственных повестях» он сокращает их до того количества, какое лишь объясняет психологическое своеобразие героя. А всю силу фантастики нацеливает на устремленность к исследованию той или иной «тайны» во внутреннем мире человека, во взаимоотношении людей и природы. Таким образом, «двоемирие» у Тургенева выражает главную зависимость человека – от Вселенной, ее идеально-метафизических законов, ирреальных, высших божественных сил. Бытовой план создает впечатление реальности, правдоподобия, как и в фантастических новеллах Мериме. Отличительная черта «двоемирия» Мериме заключается в изображении сильных страстей, в исключительных характерах и исследовании физиологии человека.

Итак, у Тургенева метафизический мир находится в самом человеке и вне его. У Мериме идеальный мир существует только во внутреннем мире, в психике человека. Если Тургенев показывает человеческую природу просветленной, гармонизированной природными силами, то Мериме стремится изобразить ее первозданной, страстной и деятельной в своей нацеленности на вселенские, космические миры.

ДИАЛОГ

И.С.ТУРГЕНЕВА И П.МЕРИМЕ

В ЭСТЕТИКЕ ФАНТАСТИЧЕСКОГО

Красота и Любовь – основная тема в фантастических произведениях «Клара Милич (После смерти)» И.С.Тургенева и «Венера Ильльская» П.Мериме. Оба писателя подходят к этой теме с позиций фантастического. Красота и любовь – это не гармоничный путь к счастью, а дорога, ведущая к смерти. По мнению Г.Б.Курляндской, «таинственная повесть» развивается в двух эмоционально разнонаправленных планах, исключающих возможность единой целостной концепции мира. За изображением общения живых с умершими стоит объяснение автором мистических «прозрений» Якова Аратова как болезненных состояний психики. Явление Клары интерпретируется как плод раздраженного, гипертрофированного воображения Аратова. В своей фантастической новелле Мериме, чувствуя недостаточность реалистического метода перед лицом Неведомого, также обращается к ирреальному, фантастическому.

Тургенев создает образ, имея перед собой прототип. Реальность выступает жизненным материалом, который писатель преобразует под определенным углом зрения. Основой повести служит история актрисы Кадминой. Исследуя личность героини, Тургенев отмечает влияние ирреального мира на ее внутренний мир. По словам Г.Б.Курляндской, «главное в повести даже не личность талантливой артистки, покончившей жизнь самоубийством, а сложный процесс перерастания тревожной эмоциональности в осознанную страсть».

В лице Аратова Тургенева дается вариант «лишнего человека» из разночинной демократической среды. Ученый – отшельник, романтик и мечтатель, он посвящает себя научным изысканиям, не связанным с проблемами современности. Как романтик, который находится в постоянном эстетическом возвышении над будничной жизнью, Аратов погружен в свои раздумья, «мистические прозрения» (Тургенев).

Первый выход героя в свет – посещение княгини, покровительницы артистов и художников, имеет для него серьезные последствия; застенчивый и молчаливый, он впервые встречается на вечере с Кларой Милич. Внешность Клары поразила Аратова своей необычностью: «неподвижное лицо», «тепло зубов», «прищуренные ресницы», «душа с таким неподвижным лицом», «движется она, как намагнетизированная». Неосознанное чувство от встречи с Кларой Милич становится очевидным через шесть недель, во время разговора с Купфером, предложившем билет на музыкально-литературный вечер, в котором должна была принять участия и Клара. Потребовалось столько времени, чтобы герой, медлительный из-за своего темперамента, осознал свои чувства к Кларе, воспринимая их то как «таинственные» силы, то как галлюцинации едва осознаваемой любви к этой девушке.

В момент второй встречи – на музыкально-литературном вечере, устроенном у княгини, Аратов заметил Клару сразу же, и она посмотрела на него пристально несколько раз. Эта вторая встреча вносит разлад в душу героя. Любовь возникает не как гармоническое, а как болезненное чувство, неподвластное Разуму.

А вот первая встреча повествователя со статуей богини Красоты Венеры в новелле Мериме: «Это была действительна Венера, притом дивной красоты <...> невозможно представить себе что-либо более совершенное, чем тело этой Венеры <...> Больше всего меня поразила изумительная правдивость форм». Однако уже при первой встрече повествователь отмечает не величавую неподвижность греческих скульпторов, а коварство в напряженных чертах, жестокость, на этом невероятно прекрасном лице. И у Тургенева, и у Мериме – красота и гармоническая, и демоническая, отражающая одновременно обе действительности – и реальную, и ирреальную, метафизическую. Оба писателя-реалиста имеют перед собой опыт русской и французской литературы. Мериме еще в своих статьях, написанных по поводу переведенных им русских писателей, оценивает красоту у Пушкина как гармоническую; у Лермонтова она демоническая, у Гоголя в ней проявляются готические черты. Мериме знает все это, испытывая

давление романтического идеала и французских коллег на свое творчество, склонное к подобной романтизации.

Как и Мериме, Тургенев использует достижения зарубежной литературы в области эстетики, в том числе и романтиков. Предвосхищая научные открытия в психологии, Тургенев показывает, что темперамент персонажей, определяющий ритм их внутренней жизни, зависит от полученной ими наследственности. Герой не может осознать свое чувство из-за медлительности, вялости своего темперамента. Школа воспитания и связанные с этим представления о женской красоте тоже мешают этому осознанию.

Яков Аратов и Клара Милич – антиподы по своему душевному складу. Он – человек созерцательных постижений, меланхолического темперамента, уважающий нормы устоявшегося быта. Она – гордая, своевольная, независимая представительница артистической среды. Но герои сближаются в главном – постоянстве чувства и его глубине, устойчивости и силе эмоций. Тем не менее, встреча героев завершается разрывом из-за различия их темпераментов и жизненного опыта.

Самоубийство Клары переводит историю их интимно-личных отношений на новый этап, отвлекая от привычных созерцаний. Герой чувствует, что он уже находится во власти ирреального мира. Изображая «двоемирие», Тургенев показывает недобрую власть инобытийных сил над своим героем. К Аратову является видение. «Ему снилось: он шел по голой степи, усеянной камнями, под низким небом. Между камнями вилась тропинка; он пошел по ней. Вдруг перед ним поднялось нечто вроде тонкого облачка. Он вглядывается; облачко стало женщиной в белом платье с светлым поясом вокруг стана. Она спешит от него прочь. Он не видел ни лика ее, ни волос, их закрывала длинная ткань». Ирреальный мир отторгает героя, однако властно напоминает о божественных, иррациональных силах, которые находятся в самом Аратове и в идеальном, метафизическом мире. Спокойный отдых, реалистически описанный Тургеневым, сменяется

фантастическим изображением сновидений как свидетельством «двоемирия».

«Двуплановое», фантастическое изображение можно объяснить рационально, ведя одновременно исследование действительности и фиксируя изображение воздействия ирреального мира на героя. Автор относит все это на счет чрезмерности воображения Аратова, его наследственной склонности к прозрениям, усилившимся после смерти Клары Милич.

Тургенев изображает галлюцинацию как плод большого воображения. Сам герой понимает это. С другой стороны, Яков Аратов убежден, что это злые инобытийные силы вмешиваются в его жизнь, а постоянные мысли об этом подтверждают догадку относительно реального существования ирреального мира.

Сон Аратова после известия о смерти Клары Милич и разговора о ней с Купфером А.М.Ремизов объясняет как «вызывающий голос живого пола, не изжитого в жизни, рвущегося из застывшей крови мертвой Клары и действующего без всякого посредника <...> своей живой волей в напряженную среду другого пола». Пробужденное чувство страсти Клары Милич воспринимается и героем, и автором как недобрая, неизвестная человеку сила, поработившая его волю. По мнению Г.Б. Курляндской, Тургенев, понимая сферу Неведомого как одну из стихий «тайных» жизненных сил, психологически достоверно изображает проявление этой сферы бытия. Писатель показывает зарождение и развитие процесса любви, когда обозначаются вершинные, кульминационные точки психического акта, бессознательное становится фактом сознания.

Галлюцинации преследуют Аратова по ночам. Экспериментальный, «студийных» характер «двуплановой» фантастики характеризуется «смутным» состоянием героя в первом, бытовом плане и его контактом с ирреальным миром во втором, духовном плане. В ночь после известия о смерти Клары Милич герой чувствует себя во власти неизвестных сил. «Ему казалось, что с ним что-то свершилось с тех пор, как он лег; что в него что-то внедрилось... что-то завладело им. «Да разве это возможно?

– шептал он бессознательно. – Разве существует такая власть?». Тургенев применяет фантастику для изображения вмешательства ирреального мира в жизнь героя. Вернувшись из Казани, Аратов опять-таки ощущает рядом другое существо, иной мир, который «взял» его. Аратов не может назвать власть потустороннего мира любовью, поскольку он воспринимает воздействие призрака как власть враждебных сил над собой. При жизни Клары он тоже ощущал ее власть над ним как насилие. Образ Клары расходится с его представлениями об идеале женской красоты, активизируя в нем ощущение демонической природы героини.

Предчувствия Аратова подтверждаются его видениями. Герой все больше подпадает под власть ирреального мира. Аратов пытается осмыслить феномен идеального, метафизического мира рационалистически. Мысль о любви, которая сильнее смерти, – в повести как «библейский мотив получает у Тургенева естественнoнаучное толкование» (Бялый).

Писатель объясняет власть умершей женщины над живым человеком воздействием магнетизма. Изображая инобытийное, существующее объективно, Тургенев сохраняет как изначальную данность «тайну» неведомых явлений. Под покровом этой «тайны» тургеневский герой многократно переходит границы из реальности в небытие. В свою очередь, Клара делает то же самое, переходя, наоборот, в реальность из своего инобытия, где она, умершая, находится постоянно. Заметим особо: все эти «переходы» из одного мира в другой происходят у Аратова не только наяву, но и во сне. А сон, являясь особого рода реальностью, «испытывает» (Бахтин) человека. Именно благодаря сну Аратов и осознает себя в своих чувствах к умершей Кларе.

«Двуплановость», выражающая двойственность позиции автора, особенно четко проявляется в сценах галлюцинаций Аратова, являющихся продолжением сновидений, тревожных и невероятных. Просыпаясь в страхе, Аратов ощущает рядом присутствие Клары. Клара, сидящая в кресле, – это и реальность, и результат воспламененного воображения.

Если у Тургенева в его «Кларе Милич (После смерти)» молодые люди в поисках друг друга, а значит, любви и красоты как высшего выражения чувств испытывают себя: Клара переходит в иной мир, а Аратов, испытывая видения, возвращается из своих снов обратно в этот реальный, обычный, бытийный мир, то у Мериме в «Венере Илльской» приговор повествователя красоте сформулирован окончательно: «Такая дивная красота может сочетаться с такой полнейшей бессердечностью»; на скульптуре «выражение сатанинской иронии»; латинская надпись переводилась так: «Берегись того, кто тебя любит, остерегайся любящих». Демоническое ощущение красоты в новелле Мериме, подчеркивая фантастическое восприятие автора, демонстрирует демонизм красоты в этой «Венере Илльской», низведенный до низменного уровня у обывателей Илля. События тут не мотивируются, первый план изображает вмешательство ирреального мира в повседневную жизнь. Герой произведения Альфонс де Пейрорад – типичный буржуа. «Это был высокий молодой человек, двадцати шести лет, с лицом красивым и правильным, но маловыразительным <...> В этот вечер он был одет элегантно, по картинке последнего номера «Модного журнала» <...> Самое главное, она очень богата. Ее тетка из Прада оставила ей все свое состояние. О, я буду очень счастлив».

Если у Тургенева в его «таинственной повести» пробуждающаяся любовь Клары Милич и Якова Аратова, а через нее и ощущение гармонии, красоты мира показывается изнутри, от психологической глубины, влияющей на внешний облик и раскрывающих красоту Клары и Аратова со стороны инобытийной, божественно-нравственной сущности, то у Мериме все происходит наоборот. Герой новеллы Альфонс де Пейрорад и его невеста мадемуазель де Пюигариг изображаются чисто внешне: Альфонс одет с иголочки, у мадемуазель гибкая фигура, контраст тяжелому, мощному сложению жениха. И ценность у Альфонса только одна: состояние, средства, деньги.

Такое же прагматичное, пренебрежительное отношение к красоте и у других жителей городка. За что статуя богини красоты Венеры и мстит им; падая, она переломила своей тяжестью

ногу одному из жителей – Жаку Колю. Примеров невежества и пренебрежения жителей Иллы к красоте немало: это и искажение перевода латинской надписи на скульптуре, и дилетантство, невежество отца и сына Пейрорадов в отношении восприятия искусства. Герои проявляют себя через поступки. Так, один из жителей бросил камень в статую, что характеризует его вандализм. Разворачивающиеся события, не поддаваясь интерпретации, становятся фантастическими. Накануне свадьбы Пейрорад – сын играл в мяч с прохожими. В ответ на слова Альфонса де Пейрорада о будущем выигрыше гигант-испанец после поражения пробормотал: «Ты мне за это заплатишь». После свадьбы рассказчик услышал ночью в доме Пейрорадов, как что-то тяжелое ступает по лестнице. Утром родители и слуги нашли жениха мертвым.

Этому факту с его фантастическим ощущением дается реалистическая мотивация. Слыша шаги, повествователь думает, что это пьяный жених идет по лестнице. Шаги по лестнице и скрип ступенек, представляемые так живо и странно в воображении, создают другой план – ирреальный, фантастический. Герой понимает, что это слуховые галлюцинации: шаги увальня-жениха, как шаги статуи. И повествователь догадывается, что это, скорее всего, демон поднимался по лестнице к новобрачным. И еще, эпизод с попыткой снять кольцо с руки статуи никак не объясняется. Разве тем, что эта чертовка Венера согнула палец и не давала возможности снять с себя кольцо. Таким образом, писатель интерпретирует событие как вполне реальное, находя естественные причины: то герой надел кольцо слишком глубоко на палец статуи, то сама Венера не хочет его снимать. А ведь за фактом стоит тайный смысл: герой надел перстень на руку Венеры как раз в день этой богини, в пятницу, что говорит о невольном обручении с ней, с этой статуей Красоты, чем как бы и подкрепляется реалистическое объяснение происходящего. Предчувствия персонажей сбываются, ирреальный мир наказывает их за кощунственное отношение к красоте и божественным, космическим силам.

Сравним, как одно и то же явление, сама идея Красоты в сочетании с любовью реализуется в «Венере Илльской» Мериме

и тургеневской «Кларе Милич (После смерти)» с точки зрения «двоемирия», инобытийности. Действительно, в новелле французского писателя – это, скорее, равнодушие к красоте, постоянство интереса к материальному, бездуховность. Деньги – конечный результат на таком пути к любви и счастью. В «таинственной повести» Тургенева красота, как гармония и любовь вызывает в Аратове к ирреальному, познаваемому с помощью фантастики. И если у Тургенева в «Кларе Милич (После смерти)» уродливы формы быта, центральной проблемой является стихотворная страсть, красота молодой женщины, создающая драматическую ситуацию, то у Мериме в «Венере Илльской» те же уродливые формы быта выражают иной пафос – вообще невосприятие красоты. Мериме сообщает, что госпожа Пейрорад после смерти мужа распорядилась перелить статую на колокол. И «с тех пор, как в Илле звонит новый колокол (как бы в наказание – И.З.), виноградники уже два раза пострадали от морозов». Применяя «двуплановое», фантастическое изображение писатель, показывая суеверие жителей, стремится проникнуть в будущее, надеясь на изменение нравов в городке, где происходят события. Статуя Венеры становится символом красоты, оскверненной условиями среды. Пейрорад-отец, преисполненный провинциального самомнения, лишен эстетического вкуса и потому не способен воспринимать красоту. А его сын – бестактный и ограниченный Альфонс де Пейрорад, признавая лишь деньги, растаптывает красоту в человеческих отношениях, за что ирреальный мир в образе Венеры, как богини Красоты мстит ему, защищаясь от вандализма. Герои чувствуют к себе враждебное отношение демонических сил. Они суеверны, приписывая свои несчастья потусторонним силам.

У Тургенева, в его «таинственных повестях», по мнению Л.В. Пумпянского, изображение метафизического мира сочетается с естественным объяснением событий. Аратов создает образ героини из тех черт, которые запомнил на эстраде, в сновидении, в стереоскопе: наклоненная голова, взгляд такой, каким был на эстраде. И такая деталь: «Люди нашли женскую прядь волос у Аратова после второго обморока». Тургенев объясня-

ет находку догадкой героя о сестре, которая заложила прядь в дневник актрисы. Мысль о реальности предмета, «прозаизмы» воспринимаются героем как романтическая ирония, характерная для поздних тургеневских произведений, научное объяснение происходящего не снимает вопроса о фантастичности событий.

Тургеневские фантастические герои – это люди, поддающиеся воздействию неизвестных, космических сил. Они склонны к восприятию жизни путем чтения сложных книг, сами же не способны к реальному познанию, легко принимая воображаемое за действительность. В этом своем фантастическом произведении Тургенев изображает процесс зарождения высшей, «неземной» любви, проявляемой у Аратова как реальность в общей жизни. Писатель не хочет, чтобы читатели воспринимали произведение как чистый вымысел, документируя повесть реальной историей актрисы Кадминой. При этом Тургенев подчеркивает мысль о том, что романтическое мироощущение в сознании людей той эпохи еще не изучено, герои обостренно воспринимают сложный – реально-бытийный, ирреально-космический мир.

Вот что пишет на этот счет В.Н. Топоров в своей книге «Странный Тургенев»: «Аратов уже вошел, пока не отдавая себе вполне отчета в этом, в то состояние одержимости, в котором выбора у него уже не было, и он неудержимо двигался в сторону Клары и смутно вырисовывавшейся их судьбы. Но само это встречное движение, его начало зависели не от воли Аратова, а от Клары и его безволия, уступчивости этой вошедшей в него чужой воли – воли и власти, воли и обладания». В своей повести Тургенев изображает главных героев намеренно укрупненно, подчеркивая безволие и пассивность Аратова и магнетизм, всевластность Клары, втягивающей его в свою орбиту. Такое сочетание Клары – медиума и Аратова как объекта ее воздействия отсылает нас к сфере «таинственного», магического, инобытийного. Аратов, представляет первый, реальный, естественный план, а умершая Клара Милич принадлежит уже к другому, ирреальному, идеальному миру.

Следует сказать, что определенные черты пассивности, созерцательности, уступчивости были свойственны и самому Тургеневу. Мотив «чужой воли», обыгрываемый в «Кларе Милич (После смерти)», по своему духу близок писателю. «И если все-таки в «Кларе Милич» тема воли, власти и обладания звучит чаще и ярче, то это происходит потому, что воля и власть активны, и они отданы Кларе, а медиум пассивен по определению и в этом случае является достоянием «страдательного» персонажа – Аратова, готового отдаться в чью-либо власть». Исследователь определенным образом связывает Клару Милич с Полиной Виардо, подчеркивая у Аратова наличие черт, характерных для самого Тургенева и особо выделяя в нем сновидческий дар. Болезненная «наследственность» сказывается на всем его сновидческом творчестве, в частности, на изобразительной палитре, психологической глубине всех трех снов Аратова.

Как мотив агрессивных сил ирреального мира проводится идея такой красоты в «двуплановых», фантастических произведениях Тургенева. Иррациональные, инобытийные силы грубо нарушают душевное равновесие героев. Клара Милич – это символ красоты и любви, весь трагизм которой состоит в том, что ее идеалы не воплотились в жизнь. По мнению И.Ф. Анненского, они ждут своего воплощения в будущем. Тургенев хотел уверить нас, что Аратов боролся с любовью, что эта любовь в конце концов его одолела, «<...> любовь сильнее смерти».

Демоническая красота героини в новелле Мериме «Венера Илльская», выраженная через проникновение таинства красоты в смысл бытия, характеризует отношение к красоте жителей города Илля как обывательское, пренебрежительное. Один из них бросил в статую камнем, демонстрируя свое презрение к духовным ценностям. Разворачивающиеся события не поддаются интерпретации и становятся фантастическими. Мериме не верит в реальность демонических сил и как реалист приводит аргументы в пользу естественного объяснения событий, представляя мир красоты переходящим в уродливые формы. Подобная атмосфера подводит к мысли о реальном существовании ирреального мира,

противостоящего объективной действительности. «Двуплановость» изображения четко прослеживается далее, в картине брачной ночи.

Мериме изображает богиню Красоты с помощью фантастического. «Палец Венеры изменил положение; она сжала руку... понимаете?... выходит, что она моя жена, раз я надел ей кольцо... Она не хочет его возвращать». Рассказчик потрясен и напуган не меньше героя: «Я вздрогнул, и по спине моей пробежали мурашки». Предчувствия персонажей сбываются. Новобрачная передает сцену губительного вторжения ирреальных сил в жизнь семьи; когда она увидела своего мужа, стоящего на коленях перед кроватью в объятиях какого-то зеленого гиганта, сжимающего его со страшной силой, демонстрируя инобытийное.

Так, вводя фантастические элементы в свои произведения, Тургенев и Мериме расширяют понятие красоты до вселенских масштабов. При этом писатели более глубоко отображают личность, находящуюся под воздействием мирозданческих законов. Очевидное и невероятное как в реальных, так и в иррационально-инобытийных сферах способствует осознанию себя в этом мире закономерностей и противоречий. С помощью такого усилено романтического средства познания и изображения, как фантастика, Тургенев и Мериме развивают реализм как творческий метод, глубже раскрывают его эстетические возможности, совершенствуя человека как личность, склонную к инобытийному.

ТОНКИЙ МИР В «ТАИНСТВЕННЫХ ПОВЕСТЯХ» И.С. ТУРГЕНЕВА

(Мнение отечественных и французских исследователей)

По мысли французского исследователя А. Пажеса, в контексте критики рационализма, ознаменовавшего собой эпоху Просвещения, пробуждается особый интерес к фантастике, поскольку рациональными способами невозможно было выразить личность в ее все усложнявшемся взаимодействии с действительностью. В связи с достижениями науки роль фантастического в литературе возрастает. Благодаря научным открытиям то, что вчера казалось невероятным, сегодня становится очевидным, вымысел воспринимается как нечто правдоподобное. Переходя рубежи необычного, фантастика усиливает впечатление от возможного. В связи с этим усиливается интерес к «таинственным повестям» И.С.Тургенева. Сама художественная природа фантастики, предвосхищая дальнейшие открытия, изменяет качество бытия, нашего мироощущения. Человек начинает лучше представлять себя. Он видится совокупностью трех начал: материального, идеального и духовного. Писатели всегда обращались и обращаются к духовному, тонкому миру, который остается для нас фантастическим, малоисследованным.

В своей статье о Гоголе И.Ф.Анненский писал: «Фантастическое и реальное не стоят на гранях мира, а часто близки друг к другу».

На первый взгляд, область фантастического противоречит человеческому опыту. Однако в искусстве фантастика теснее сближается с действительностью, особенно в нравственных, морально-этических категориях, в различении Добра и Зла. Анненский замечает, что именно в искусстве фантастическое лучше служит торжеству правды, являясь активнейшим средством познания. Веру Тургенева в «таинственные» явления Л.В.Пумпянский объясняет ситуацией, когда «явление с одной стороны признается сверхъестественным, а с другой – признается не только его наличность, но и доступность опытному познанию и даже эксперимен-

тированию, следовательно, его «естественность». Таинственное перестает быть фантастикой, становится оккультной эмпирией и уж как таковая входит в литературу». Г.А.Бялый считает, что в «таинственных повестях» Тургенев отдал дань модному в то время увлечению, связанному с распространением позитивистского воззрения на природу и человека.

Г.Б.Курляндская, полемизируя с этими исследователями, полагает, что «вряд ли можно согласиться с определением позиции Тургенева в «таинственных повестях» как позиции вульгарного буржуазного метаболического мира».

Возьмем фантастический эпизод из рассказа «Собака». Герою грезится собака. « .. Но откуда собаке взяться? Сам я не держу; разве, думаю, забежала какая-нибудь «заболтушая»? Я кликнул своего слугу... Вошел слуга со свечкой... – Какая, говорит, собака?»... нагнулся мой Филька, стал свечкой под кроватью водить. «Да тут, – говорит, – никакой собаки нет», нагнулся и я: точно нет собаки. – Что за притча!... Но на следующую ночь – вообразите! – то же самое повторилось. Как только я свечку задул, опять скребет, ушами хлопает. Опять я позвал Фильку, опять он поглядел под кроватью – опять ничего! Услал я его, задул свечку – тьфу ты черт! Собака Тут как тут. И как есть собака: так вот и слышно, как она дышит, как зубами по шерсти перебирает, блок ищет... Явственно таково!.. Филька! – говорю я, – как ты это понимаешь?» – «А как мне это понимать прикажете, Порфирий Капитоныч? – Наваждение!»... Это наваждение и было предупреждением герою о грозящей ему опасности. Он отправляется к ясновидящему, который советует ему купить собаку. Она-то и спасет его от смерти, которую несла ему привидевшаяся собака.

В рассказе поставлена проблема подчинения воли стихийным силам природы. Тургенев показывает здесь воздействие на героев не открытых еще природных сил, используя фантастику как необходимое средство, с помощью которого можно проникнуть в потаенный мир человеческой души.

В повести «Странная история» Тургенев ставит проблему недостаточно изученного гипноза и воли. Вот как он описывает

состояние героя во время гипнотического сеанса: «...и, странное дело! в одно и то же время я почувствовал нечто вроде страха и, словно по приказанию, немедленно принялся думать о моем старом гувернере... Веки мои слипались... косматая фигура с белесоватыми глазами в синей чуйке задвоилась передо мной и вдруг совсем исчезла!.. Опять надвинулся туман, и вдруг из этого тумана, начиная с белых, кверху приподнятых волос, явственно стала вырисовываться голова старика Дессера! (гувернера)... Я вскрикнул». Эту же тему находим и в повести «Песнь торжествующей любви», которую исследователи Бялый, Курляндская рассматривают как иллюстрацию проявления Несознательного. И это возможно при наличии, с одной стороны, фантастических природных сил с нечеловеческой волей, с другой – самого человека и жажды его подчинения высшим вселенским законам.

В повести «Сон» Бялый видит проявление фантастического в таких эпизодах, как сны рассказчика, исчезновение трупа барона. Основной проблемой произведения исследователи Р.Н.Поддубная, А.Б.Муратов считают проблемы наследственности. Разделяя эту точку зрения, видим, что фантастика в повести «Сон» не подвергает сомнению тот факт, что применение в произведении фантастического способствует познанию и осмыслению реальности. «Я отыскиваю моего отца, который не умер, но почему-то прячется от нас и живет именно в одном из этих домов... Он несколько не похож на моего настоящего отца: он высок ростом, худошав, черноволос... Этот человек был тот отец, которого я отыскивал, которого я видел во сне!» Проявление бессознательного помогает проникнуть в тайны мироздания. Тургенев предвосхищает открытия в области психологии, медицины.

По мнению исследователей, тургеневская повесть «Стук... стук... стук!» посвящена теме фатализма. Так, Л. Долотова находит в молодом поколении (в период создания произведения) пессимизм, даже трагизм, связанный с крахом общественных идеалов, выраженные фантастическим способом.

«Я ни на минуту не обманывался насчет ее последних слов, – прибавил Теглев, – я уверен, что она покончила с жизнью, и... что

это она звала меня туда... за собою...». Все это побуждает героя к напряжению душевных сил, выражая его характер с помощью такого усиленного романтического приема, как фантастика. Эти галлюцинации доводят героя до самоубийства. В повести «Призраки» Ж. Зельдхейя-Деак определяет основную мысль как растущую тревогу перед смертью из-за «ничтожества» жизни.

А.П.Чудаков говорит о нереальности «полетов с призраком женщины». Л.Н.Осьмакова утверждает, что «сугубо личностный план изображения и художественный конфликт вытекают уже из столкновений различных начал во внутреннем мире человека». Высшей точкой движения сюжета становится тайна, потрясая героя. Герой как будто общается с потусторонними силами. Социальные реалии не влияют на разрешение конфликта. Они придают лишь усиление, дополнительную функцию, образуя аллюзию загадочности, невероятности.

Г.Б.Курляндская считает, что фантастические произведения Тургенева исследуют «разные сферы сознания личности». Человек изначально зависит от наследственности. Так, в повести «Фауст» героиня полюбит вопреки запретам матери, но мать не потеряет власти над ней, являясь ей из потустороннего мира. Непреодолимый рок сталкивает родных друг для друга людей. «Оглянитесь, – сказала она мне дрожащим голосом, – вы ничего не видите? – Ничего. – А вы разве что-нибудь видите? – Мою мать, – медленно проговорила она и затрепетала вся».

Тургенев показывает роковое влияние инобытийных сил на своих героев, применяя фантастические приемы для решения поставленных задач.

Неоднозначную оценку вызывает у исследователей повесть «Клара Милич (После смерти)». Г.А.Бялый видит в ней идею магнетизма в сочетании с мистицизмом. Г.Б.Курляндская считает, что в повести преобладает романтическая стихия, связанная с признанием инобытийного как объективной реальности. П.Г.Пустовойт также считает, что произведению свойственно чередование бытовых и сверхъестественных сцен, что романтизирует прозаическую обстановку. Таким образом, фантастическое у

Тургенева является способом отражения субъективно-психологического состояния человека и его мироощущения.

Так, реалистическое искусство воплощает правду о человеке, если она не укладывается в рациональные рамки. Однако литература и искусство не копируют действительность. Тургенев использует такой условный, романтически усиленный прием, как фантастика, для достижения того ирреального, что нельзя было изобразить обычным реалистическим способом. Фантастика служит углублению познания внутреннего мира человека, пребывания его в земном и космическом мире. Писатели показывают те состояния человека, которые нельзя объяснить рационалистически. В связи с этим в литературе растет значение фантастики как способа познания человека, самой действительности, тонкого, духовного мира, куда вечно стремится человеческая душа.

СОДЕРЖАНИЕ

Л.М.ЗОЛОТАРЕВ. «САБУРОВСКОЕ ПОЛЕ» (Повести)	
«Не рыдай меня, мати» (повесть-причеть)	4
Седмица (реальное в мистическом освещении)	79
36 писем женщины (семейная хроника, эпистолярный жанр)	256
Дан приказ, или Сабуровское поле (военная повесть)	324
И.Л.ЗОЛОТАРЕВ. РЕАЛЬНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ	
Вместо послесловия, литературно-критические статьи	
Фантастический мир А.С.Пушкина	370
Непознаваемое, абсолютное начало в пушкинской лирике («Анчар», Бесы)	376
Н.В.Гоголь в «таинственном» «Петербургских повестей»	393
«Двоемирие» в фантастических произведениях	
И.С. Тургенева и П. Мериме	412
Диалог И. Тургенева и П. Мериме в эстетике фантастического	423
Невероятное в «таинственных повестях» И.С.Тургенева (мнения отечественных и французских исследователей)	434

Золотарев Леонард Михайлович
«Сабуровское поле» (повести)

Золотарев Игорь Леонардович
Реальное и невероятное
(вместо послесловия).
Литературно-критические статьи.

Редакция и корректура Л.М.Золотарева.
Рецензия художественного текста и научных статей –
доктор филологических наук, профессор

Осмоловский Олег Николаевич

Издатель Александр Воробьев
Лицензия ИД «00283 от 1 октября 1999 г.,
выдана Министерством Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Подписано в печать 23.07.2008 г. Формат 60x84 ¹/₁₆.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 27,5.

Тираж 100 экз. Заказ № 507.



В книге моей с одинокого дерева
Стаю швыряет в полет, как праща.
Ярки поля. Что-то потеряно,
В желтой соломе едва трепеща.
Это терпенье мое огромное,
Это не зелень,
Не рай в ветрах.
Это черное в синем, бездонное, —
Жатва и прах, крики и крах.
Как по душе мне те птицы, их кружево!
Как насмехается стая над ружьями!

Жам Сакре
в переводе Л. М. Золотарева